

|| 7 ||

НОВОБЫИ МИР

НОВОБЫИ МИР

|| 1975 ||

7



1975



НОВЫЙ МИР

Е Ж Е М Е С Я Ч Н Ы Й
ЛИТЕРАТУРНО - ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО - ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Издается с 1925 г.

№ 7

Июль, 1975 г.

О Р Г А Н С О Ю З А П И С А Т Е Л Е Й С С С Р

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
КОНСТАНТИН ВАНШЕНКИН — Из лирики, стихи	3
НИКОЛАЙ ЗАДОРНОВ — Симода, роман	9
ЮРИЙ РЫГХЭУ — Когда киты уходят, современная легенда	95
ЮРИЙ КУЗНЕЦОВ — Перо, стихи	152
ИЗ ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДИЯ	
ЕФИМ ДОРОШ — Страницы ненаписанных книг. Вступление и послесловие академика Д. Лихачева	156
ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ	
А. НОВИКОВ — «Нормандия» в небе России	211
ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА	
АЛ. ОВЧАРЕНКО — Вчера, сегодня, завтра. Проблема человека и ее художественное решение	238
КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ	
<i>Литература и искусство</i>	
В. Косолапов. Это тоже был фронт... — Виталий Коротич. Направление роста. — В. Новиков. Высокое достоинство реализма.	261
<i>Политика и наука</i>	
Н. Наумов. Последние версты войны. — С. Троицкий. Биография Александра Невского: поиски и находки.	276

(См. на обороте)

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР»
Москва

СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

	Стр.
КОРОТКО О КНИГАХ — А. Мельников. — О. В. Свенцицкая. Фриц Платтен — пламенный революционер. ♦ В. Богатырев. — Юрий Авдеенко. Дикий хмель. Роман. ♦ Л. Антопольский. — Смена литературных стилей. На материале русской литературы XIX—XX веков. ♦ А. Нуйкин. — Борис Неменский. Распахни окно. Мысли художника об эстетическом воспитании. ♦ А. Аникст. — Оливер Голдсмит. Гражданин мира, или Письма китайского философа, проживающего в Лондоне, своим друзьям на Востоке	283
КНИЖНЫЕ НОВИНКИ	287

КОНСТАНТИН ВАНШЕНКИН

★

ИЗ ЛИРИКИ

ТРУБАЧ

Неторопливо и без штук
Средь зимнего тумана
Уже серебряный мундштук
Он вынул из кармана.

И, словно дальний знак судьбы,
Мы различаем слабо
Проникновенный звук трубы,
Несущийся от штаба.

К занятиям, или на обед,
Или сигнал к отбою —
Он защищает вас от бед
Размеренной трубою.

Но есть минута трубача,
Прекрасная на диво,
Когда стоит он, трепеща,
В полшаге от комдива.

Почти не слышны голоса,
Полкам так сладко спится.
И он трубит, прикрыв глаза,—
Повадка певчей птицы.

И исторгает гулко медь
Те сгустки нот, в которых
И наша жизнь, и наша смерть,
И хрип и рев моторов.

Потом холодная звезда
Опять зовет к покою.
Но он обязан быть всегда
У штаба под рукою.

И женщины во тьме ночей,
Когда смолкают трубы,
Целуют редко трубачей
В припухшие их губы.

ЗАБЫВЧИВЫЙ ПЕВЕЦ

Забывчивый певец
С книжонкой записною,
Запомнишь наконец
Любимую страну
Ту песню, что жива,
Что родилась в рубашке?
А ты ее слова
Мусолишь по бумажке!

Забывчивый певец,
Судьба твоя скупая!
А ведь свистел свинец,
К той песне подступая,

И на губах ребят,
Которых нынче нету,
Сквозь дождь и снегопад
Плыла она по свету.

Не требую уже
С тебя такого счета,
Но ладно бы в душе
Хоть шевельнулось что-то.

Забывчивый певец!..

ЦИКЛАМЕН

В саду снега сидели сиднем,
Не ожидая перемен.
А на окошке вашем зимнем
Потягивался цикламен.

Была короткая заминка
Пред тем, чтоб снова зацвести.
Он был как розовый фламинго
В начале длинного пути.

Как молодая балеринка,
Что на занятиях одна,
Задумавшаяся былинка,
Вдруг задержалась у окна.

* * *

Холодный ветер с юга.
Застава отдана.
По переулкам вьюга,
И дует от окна.

Что ж, к северной метели
Давно привыкли мы.
Привыкнем ли к модели
Теперешней зимы?

Холодный ветер с юга.
Какой нелепый путь!
Забывчивость ли друга
Иль хуже что-нибудь?

* * *

Пробивают проспекты сквозь город
Или просеки тянут сквозь лес —
Окруженный щитами заборов
Или в чащах зияет разрез.

Крупный клен, как ты вымахал мощно,
Шелестящий, зеленый, прости,—
Ты давно уже думал, что можно
Безбоязненно дальше расти.

Старый дом, ты надежен и прочен
И еще простоял бы сто лет.
Выбор места был, видно, порочен,
В этом гибели крылся секрет.

С точки зренья законов и этик —
В самый раз для езды и ходьбы.
Только жаль неудачников этих,
Оборвавшейся этой судьбы.

* * *

Ранней юности угар
И отложенная кара,
Ибо страшен не удар,
А последствия удара.

Не мальчишеский ушиб,
Что глаза туманит странно,
А вонзенный в сердце шип,
Та контузия и рана.

Но бывает давний шрам
С каждым годом все бледнее.
Но бывает давний срам
С каждым годом все больше...

РАЗЛАД

В звоне томительных дней,
После каникул,
Вдруг он из жизни твоей
С легкостью выпал.

Не из созвездья звезда
В гаснущем крике —
Выпал птенцом из гнезда,
Строчкой из книги.

ПАМЯТИ ПОЭТА

Он был поэт, но небольшой,
И, этого не сознавая,
К большим тянулся всей душой,
Лишь неудобства создавая.

А впрочем, что тут за беда —
Любитель жизни и транжира,
Не понимавший никогда
Литературного ранжира!

* * *

И уже без всяких слез
Над сырой могилой
Женский голос произнес:
— Жил-старался, милый!..—

Боже мой, какой удел!
Сквозь войну дорога.
Кое-что потом успел,
Вообще — немного.

Только слышал крови гул
Словно бы спросонок.
И — старался. И — тянул
Изо всех силенок.

И отчетливей всего
Врезалось в сознание
Это кровное его
Раннее старание.

...Хлопья белые в окне
Лес далекий смажут.
Может, так и обо мне —
Жил-старался! — скажут.

* * *

Нас раздражает резкий голос,
Трамвайный лязг, соседский пляс.
Но рев грозы, где тьма кололась,
Нас освежающе потряс.

И есть еще другое пенье,
Что так достойно похвалы:
Приносит нам успокоенье
Звук топора или пилы.

ВЕТЕР

Так был ветер напорист,
Будто в мире ночном
Разогнавшийся поезд
Проходил за окном.

В нарастании жутком
Непроглядной порой
С небольшим промежутком
Надвигался второй.

И, охвачен волнением,
Различал я сквозь сон,
Как по рощам осенним
Был гудок разнесен.

Ощущал до пробудки
Прогибание шпал
И всю ночь словно в будке
У обходчика спал.

КОРАБЛИ

Ночью ушли корабли.
Мы к ним привыкли, без шуток.
В бухте они провели
Все-таки несколько суток.

Утром проснулись — их нет.
Берег спокойно-безлюден,
И растекается свет
Снова начавшихся буден.

Ранней воды монолит,
Тронутый ветром осенним...
Что же, однако, велит
С тихим вздохнуть облегченьем?

* * *

В больничной операционной
Пронзает душу сильный свет.
Как бы вопрос дискуссионный:
Мы живы будем или нет?

В больничной дремлющей палате
Один — без памяти пока.
А двое, может и некстати,
Играют рядом в дурака.

В больничном длинном коридоре
На нашем третьем этаже
Отсутствует прямое горе —
Здесь те, что выбрались уже.

В больничной прачечной жестоко
Вываривается белье,
Влачащее на грани срока
Существование свое.

ПЕРЕД УТРОМ

Белый коврик по мерке двора,
Аккуратный и чистый — к рассвету,
И лишь черного люка дыра,
Будто кто притушил сигарету.

У подъезда внизу «Жигули»
Дополняют пейзаж законный
И, покуда их не завели,
Тоже белой покрыты попоной.

Утро не отпечатало след
И у нас ни о чем не спросило,
Но в двух окнах горит уже свет,
И за это им тоже спасибо.



НИКОЛАЙ ЗАДОРНОВ

★

СИМОДА

Роман

Глава 1

Черный знак секты дзэн

На высокой корме судна местной постройки, за балясинами раскрашенных перил сидели четверо матросов, глядя, как управляются моряки-японцы.

Над морем взошло солнце, а на далеком берегу синие горбы сопок тихо двигались в тени, как звери в стаде.

От горы Фудзи дул попутный ветер, наполняя большой квадратный парус из бумажной материи, наложенной на бамбуки. Посередине паруса черной краской выведен знак в виде двух толстых параллельных перекладин или брусьев, скрещивающихся с двумя такими же. Вчера матрос Киселев, понимавший по-японски, объяснил товарищам, что это знак буддийской секты.

Пожилой старшинка в травяной шляпе, в ссевшихся штанах, на разломаченных подошвах-сандалиях из поношенной соломы шагнул вперед. Он что-то крикнул на палубу, не опуская руки с тяжелого кормового правила, которое через узкую и длинную прорезь в верхнем палубном настиле косо уходило под корму, держа в воде скрепленную двойку весел, широких, как деревянные лопаты.

Василий Букреев, молодой рябоватый матрос с носом картофелиной, из-под которого редью пущены жесткие, русые, прокуренные дожелта усы, толкнул локтем товарища и вытаращил маленькие глаза. Янка Берзинь усмехнулся, и тонкий вздернутый нос его, казалось, поднялся еще выше. Унтер-офицер Аввакумов покосился, трогая чубуком трубки рыжий с проседью ус, переходивший в бакенбардину. Он пустил дым от затыжки, и все лицо его залилось, как рыжий лесной пожар. Совсем молоденький, некрасивый и суховатый в плечах и скулах, со слабыми беленькими усиками матрос, сидевший чуть особняком, смотрел неодобрительно, как японцы вытаскивали на веревках из люка сбитуую из глины печь на широкой деревянной плахе.

— Погода будет жаркая,— заметил Василий Букреев.

Еще двое русских матросов спали прямо на голом настиле кормы. Букрееву тоже хотелось спать. Но повар сейчас поставит варить рис и хорошую рыбу.

Поваренок откинул лежачую дверь и полез за рисом, который хранится в том же кубрике, где сложены мешки и скатки матросов. Там тесно и, видно, душно будет от печи в такой горячий зимний денек. Тут за теплом не станет! Солнце накалило чистые доски палуб-

ного настила, отражаясь как от зеркал. На море холодно, а в японских деревьях сейчас повсюду цветы.

Печь затопили, на нее поставили малый котел с водой. Тут же чайник. Дымок закурился из деревянной трубы.

— Печка, братцы! — сказал, просыпаясь, младший корабельный плотник Анисим Дементьев. — Как пароход!

Все матросы засмеялись. Ну кому, кроме японцев, придет в голову таскать печку с места на место!

Из вежливости засмеялись старшинка и сидевший подле него полицейский, а за ними все японцы.

Молодой серьезный матрос с беленькими усами улыбнулсянисходительно.

— Учужал? — спросил он проснувшегося товарища.

Японцам было очень смешно. Человек спал не вовремя, вдруг проснулся и что-то громко заявил. Угрюмые усачи повеселели. Пока не похоже было, что они могут так смеяться. «Очень приятно!» — полагал старшинка. Он знал русских прежде и желал, чтобы они понравились японцам. Почувствовалось что-то приятное в характерах этих суровых казенных людей из морского войска адмирала Путятина. Хотелось бы выразить им свое расположение, но это еще рано, неприлично и не полагается обнаружить без причины знание их языка, к тому же рядом, поджав ноги, на циновке сидел зорко наблюдающий за всем метcke¹ с саблей, очень тихий, но очень значительный и, конечно, строгий.

Шестой русский матрос, свернувшись калачиком, крепко спал, чуть не касаясь исчерна-смуглым безусым лицом кожаных ножен сабли полицейского.

Эти шестеро матросов адмирала Путятина посланы на японском судне в деревню Хэда...

Корабль «Диана» адмирала Путятина, прибывшего в Японию для дипломатических переговоров о заключении договора между Россией и Японией, стоял в бухте города Симода, когда произошло небывалое землетрясение. Тряслась суша, морское дно выступало из воды, ударяя судно. «Диана» потеряла руль и киль. Приливная волна цунами, поднявшись над городом Симода, хлынула на него, уничтожая все.

С пробоинами, на которые удалось наложить пластырь из смоленой парусины, корабль «Диана» носило по бухте между скал. Матросы и офицеры неустанно откачивали помпами воду из трюма.

Когда землетрясение окончилось, адмирал Путятин съехал на берег и предложил японцам помочь чем мог. Каждый день адмирал посылал на берег по сто матросов поправлять или строить нано-во дома.

Через несколько дней адмирал получил от японского правительства позволение отремонтировать свой корабль в деревне Хэда, где бухта лучше и спокойней, чем в Симода. На переходе начался сильнейший шторм, и «Диана» затонула у черного песчаного берега под горой Фудзи. Все люди спаслись.

Японцы разрешили адмиралу построить новый корабль. В бухту Хэда пешком отправился адмирал, офицеры и более пятисот матросов. Вон в тех горах целая вооруженная армия моряков шагает сейчас по дорогам.

До сих пор, как знали матросы, Япония была закрыта для иностранцев. Но по дружбе и соседству, а более, видно, из уважения к

¹ Метске, или метсукэ, — полицейский.

адмиралу Путятину дано разрешение — пройти с командой по дорогам страны, жить в Японии. Договор с Россией еще не подписан, но Япония, судя по всем признакам, отменяет старые законы...

Труба от печи задымила всюю, и вскоре в котле закипела вода. У печки появился столик со множеством корбочек и мешочков. Повар готовил завтрак с разными приправами. Он резал редьку так тонко, что она становилась похожей на взбитые сливки или на пену.

После гибели «Дианы» адмирал прежде всего призвал к себе корабельных плотников Глухарева и Аввакумова, мичмана Александра Колокольцова и лейтенанта Александра Можайского. Положили оторванную дверь на бочку и стали чертить за таким столом.

— Шхунешка немудрящая, более сорока человек не возьмет,— толковал Глухарев на другой день, глядя на чертеж.

— Большую нам и не нужно. Шхуну пошлем на Амур, чтобы известить о нашей участи,— ответил адмирал.— Идет война, и мы должны спешить.

Японцы предлагали перевезти весь экипаж в Хэда на своих джонках, но Путятин отказался. Часть спасенных грузов он решил отправить на уцелевших дианских шлюпках. Другая часть пошла под надзором Аввакумова на джонке, а по-японски — сэнкуофунэ, что означает «лодка водоизмещением в тысячу камней», или, как считают матросы, в тысячу японских тонн.

Перед Фудзи засверкал крутой хребет в сплошном снегу, закрывший подножье великой горы белой стеной. Солнце переместилось. Сопки на другой стороне залива стали ближе, на них различается желтизна и краснота. Местами в серую чащу нагих деревьев, похожих на прутья, воткнуты черные перья хиноки и веера сосен.

Японец в хорошем бумажном ватном халате, с саблей, сидевший вблизи спавшего Киселева, приподнялся и ушел вниз по лесенке. Старшинка толкнул Аввакумова локтем и подмигнул вслед полицейскому. Возвратившись на высокий настил кормы, японец с саблей так любезно и с такими ласковыми поклонами обернулся к Аввакумову, что, казалось, лучше и не могло быть спутника и товарища.

Голодные матросы ждали обеда. Они слышали, что японцы едут на кораблях готовят раз в день. Второй раз едят на ночь, но к тому времени судно придет в Хэда. Японцы, видно, готовились потчевать гостей хоть раз, да на славу. Притащили за уши деревянную лоханку. Повар взял из нее живую рыбу в ярких синих пятнах с горошину. Вычистил ее, но не стал варить, а нарезал из спинки толстые ломтики и красиво разместил их на деревянном крашеном блюде. На другом — окружил живого рака облаками из струганой редьки. Из ведра вынул красного вареного осьминога.

— Мы это чудовище не едим! — пробормотал мрачный молодой матросик Маточкин, терпеливо глотая слюни.

Все сухари размокли, запасы продовольствия погибли вместе с «Дианой», лежат на дне морском! Сутками не спали, работали у помп, откачивая воду, налаживали потеси вместо руля, а их срывало, подводили пластиры под проломленные борта. Последняя ночь, когда «Диана» погибла, была самая страшная. Высаживались в бурю по лееру...

Японцы толпой пролезли под парусом и стали кланяться, приглашая гостей.

— Получите, пожалуйста! — сказал старшинка.

Никто из матросов не удивился, что японец говорит по-русски.

— У них все не так! — сказал Аввакумов, заглянув вниз в разрез кормы.— Разве это руль?

— Как его, кусать ли, резать? — спросил Василий Букреев, усаживаясь подле осьминога.

— Киселев, вставай! — Берзинь будил исчерна-смуглого матросика.

У всех матросов усы как усы, а у Киселева — как черная сажа на верхней губе.

Матросик вскочил проворно и достал из-за голенища деревянную ложку.

— У них закон не разрешает строить хорошие суда, — сказал Берзинь, — чтобы люди не уплывали далеко от государства.

— Уплывали! — ответил по-русски старшинка.

Он кивнул на мецке, который замешкался, поправляя сбитую туфлю. Старшинка приложил палец к губам.

— Где выгучился по-нашему? — спросил Василий.

— На Аляске, — ответил старшинка, — и в Иркутске.

— У вас, говорят, тут и русские прячутся? — спросил Берзинь.

Японец посмотрел на его тонкий вздернутый нос, на лихо закрученные белокурые усы и усмехнулся.

Вразвалку подошел мецке и сел.

Старшинка мог бы рассказать, как он попал в Россию. Рыбацкое судно из города Симода унесло в океан. Кончились запасы воды, риса и топлива. Умиравших рыбаков подобрала китобойная шхуна. Американцы одели их в свои куртки, дали сапоги и брюки, кормили западной едой и потом передали всех русскому кораблю, шедшему в Ситху. Японцы жили сначала в Ситхе, потом на Камчатке, в Охотске, бывали в Иркутске. Один из них крестился и женился. Приняв фамилию Японов, он в Иркутске построил дом на Иерусалимской горе. По примеру жившего в Иркутске аляскинского индейца записался в военное сословие и считал себя русским самураем. Русские уговаривали его стать попом. «Проповедь истины — самое важное...» — говорили они. Все улицы, все деревни и все места в городе по имени святых. Всюду церкви, и всех обучают главной вере.

Капитан Линденберг по приказанию из Петербурга доставил пятерых японцев из Охотска в город Симода за два года до прибытия в Японию эскадр Путятина и американца Перри. Японские власти не хотели принять своих спасенных рыбаков, гнали их прочь. «Уезжайте обратно в Россию! — говорили чиновники. — А если останетесь, то будете казнены или окажетесь в вечном заточении!» Прежде чем явилась полиция, на корабль сбежалась вся Симода — и стар и мал, богачи и беднота, рыбаки, рисосеятеля побросали свои поля и явились посмотреть, как живут иностранцы на корабле. Пришли из деревни родные одного из спасенных. Привезенным рыбакам очень страшно было увидеть родные горы и, не сойдя на родную землю, отправляться обратно в Россию. Кораблю приказано было через несколько дней уйти из Симода. Линденберг подчинился. В назначенный день на корабле поставили паруса. Когда вышли в море, все пятеро японцев встали перед капитаном на колени и попросили высадить их в пустынной бухте между скал.

Они так горячо просили, что даже ледяной Линденберг уступил. На баркасе свезли всех на безлюдный берег.

— Зачем строить корабль? — удивлялся мрачный молодой матрос. — От Японии рукой подать до Сахалина. Японцы взяли бы перевести команду на джонках.

— Ешь, Маточкин! — отозвался Васька Букреев. — Чудовище-то попробуй!

Мецке вежливо поклонился матросам, как бы принимая их приветствия, и, подвинувшись к вкусной снеди, стал быстро закидывать палочками в рот куски.

Авакумов нехотя поел, набил трубку и закурил. Старшинка надел шляпу и пошел к рулю, приняв весло у мальчика.

Ветер стих, парус повис.

— Азия...— сказал Авакумов.

Японские паруса, как и весла и сами суда, по его мнению, никуда не годились. Разрезная корма с двойным рулем! А по морю ходят!

— Видно, людей у них много лишних! Ваша люди не жалеи!— обратился он к шкиперу.

— Да!— ответил старшинка и весело засмеялся.

Он опять отдал весло мальчику, пробежал по судну, шлепая соломенными подметками на босых ногах. Японцы ставили на борта тяжелые весла.

— Пособим, братцы!— предложил Авакумов.

Матросы разошлись по бортам. Тяжелые гребни японцы ворочают не к себе, а от себя, падают, наваливаясь на них грудью. Матросы стали по-своему, лицом к корме, и все враз, равняясь по загребному Берзиню, потянули неудобные весла на себя. Судно пошло.

Залив гладок и зелен. Чистая вода просматривается на большую глубину.

— Эх, вашу мать!— в восторге заорал Букреев, чувствуя, что судно идет ходко.

Нет офицеров. Нет и боцмана. На сытое брюхо Васька не мог удержаться от запретной брани, как не могла не петь птица весной.

Янка Берзень, желая поддержать общее настроение, тоже выругался, показывая товарищам, что и ему хорошо.

— И это у них зима!— сказал Васька.

Небо чистое, горизонт отступил далеко. Адмирала нет. Сидит только шпион—японец с саблей. Но он тихий. Как у них заведено...

— Хрена тебе!— сказал Васька японцу.

Мецке в ответ поклонился и улыбнулся.

— В Симоду бы теперь...— сказал Берзень.

Васька и Янка слыли в экипаже первейшими по обходительности. Они живо устанавливали знакомства с японцами, несмотря на все строжайшие запреты и угрозы офицеров. Так было еще до землетрясения, погубившего город Симода. А после, когда все жители оказались в нужде, голы и голодны, матросы стали для них желанными помощниками, особенно для женщин и детей. У многих погибли мужья и отцы.

— Эх! А какой был корабль!— вспомнил Берзень.

— Старый дурак,— молвил Васька.— Сам он разбил корабль!

Васька полагал, что сейчас можно избранить и адмирала. По словице: за глаза и царя ругают.

— Хотя бы и не разбил? Какая разница!— флегматично отвечал Берзень.

— Конечно... Зараза! Смотри, шпион-то уставился... Ты чё понимаешь?

— Чего он понимает? Услыхал «адмирал»,— сказал Берзень.

— Нет, у них в Симоду все понимают по-русски,— сказал Маточкин.— А почему ты знаешь, может, и этот шпион у нас жил.

Полицейский поспешно улыбнулся и кивнул несколько раз. Авакумов протянул ему кисет с табаком. Японец поблагодарил и набил свою маленькую медную трубочку. На миг зло и косо поймал взглядом Ваську и опять ласково кивнул.

Матросы продолжали дружно грести и громко и без зла ругались вразнобой, так что казалось — их брань заполняет весь Тихий океан.

Японцы притихли, словно окончательно убедились в превосходстве и могуществе прибывших иностранцев. Хотя и замечали в этих усатых морских солдатах много смешного, о чем потом можно будет порассказать.

Аввакумов на хорошем счету у адмирала и у капитана. Он первейший плотник. Евфимий Васильевич Путятин подолгу беседует с ним и с любимцем своим Глухаревым. В Хэда послал Аввакумова, велел осмотреться, выбрать удобное место для постройки шхуны. Такое дело обычно поручалось офицеру.

Берзиль — артиллерист, комендор: звание почетное. Он шел охранять груз, в том числе фальконет и к нему ядра.

Васька Букреев — удалой марсовый. В шторм при высадке с гибнущего корабля, когда вельбот перевернулся, спас адмирала, вытащил его из воды.

Киселев подсел к мецке. Ноги матроса, казалось, не гнулись, он, вытягивая их, клонился набок, как это делали все русские, когда им приходилось садиться на циновку.

Мецке сказал что-то шкиперу. Тот позвал одного из японцев.

Киселев, было задремавший, удивленно открыл левый глаз, быстро посмотрел на мецке, словно узнал что-то важное, но тут же опять задремал и даже захрапел.

Матросам известно, что Киселев — крещеный японец. Он все торчит около мецке или только притворяется, что спит. Адмирал не зря послал его с Аввакумовым.

Киселев — японец свой, очень товарищеский. Он понял, как мецке сказал шкиперу: «Надо сейчас показать эбису², что наблюдение за ними имеется!» Шкипер это же повторил японцу Иосида.

Голый до пояса, с сединой вокруг лысины, маленький и тощий, Иосида, словно скелет, затянутый в пергаментный мешок, кости так и лезли из кожи, подошел к Ваське, показал на солнце и стал объяснять, что пора сменяться.

Аввакумов распустил пояс и рыгнул.

Сразу же мецке и старшинка вежливо улыгнулись и поклонились ему. У мецке в руках появилась глиняная бутылочка. В толстую рюмку с наперсток он налил сакэ и подал Аввакумову.

Японцы гребли, стоя на каждом весле по двое, лицом к носу. Судно скорости не теряло. Серый полуголый Иосида, сменяя Ваську, несколько раз показал осторожно на люк. Он улыбался, мигал таинственно и кивал своей страшной головой, и черные огоньки его зрачков сверкали из почерневших глубоких глазниц. Васька ему очень нравился, может быть, таких славных, веселых и добрых людей никогда еще не видел.

Букреев нажал ногой на люк, и крышка приподнялась. В глубине кубрика среди множества набросанных вещей чьи-то быстрые руки развязывали мешок с плотничьим инструментом. Это мешок Аввакумова.

Букреев спрыгнул. Человек выскользнул из-под его рук, как ящерица. Васька знал, что у японцев принято шпионить за каждым, но он полагал, что назначенный для этого мецке сидит наверху, курит и пьет сакэ.

А наверху японцы, падая на весла, ритмично качались. Им известно, что иностранцев сопровождает мецке, но что, кроме него, на

² Эбису — варвар. Так называли японцы всех европейцев.

судне есть тайный шпион, он спрятан в одном из шкафов, куда моряки складывают одежду, обувь и соломенные подстилки, на которых спят. Очень маленький, как земляной паук, похожий на тех, у кого японцы, по легенде, в древности отвоевали острова и отняли маленьких женщин. Но шпион, который идет с командой, уж удивительно маленький. Появление такого маленького, но хитрого и злого существа, похожего на обезьяну, озаботило всю команду.

Иосида знает, что он сам теперь на всю жизнь, как цепью к бревну, прикован к тайной полиции. Иосида тоже был среди рыбаков, спасенных русскими.

Два года назад и он прибыл с Линденбергом в город Симода, потом было объявлено, что он и все его товарищи как знающие иностранный язык должны погибнуть или помогать тайным властям. Так заведено в Японии исстари и навсегда. Никто, конечно, умирать зря не хотел. Иосида, как и старшинка, знал по-русски. А старый мецке по-русски не знал. Не понимал по-русски и тайный шпион, спрятанный в трюме. Но и он, говорят, учился где-то у каких-то русских, ставших японцами. Где они — тайна, никто не знает, но где-то есть.

Мецке Танака-сан хотел бы знать по-русски, да не знает! Чтобы русские устрашились и обиделись, велел показать, что за ними наблюдают и что все их вещи проверяются.

Шестеро морских солдат, эбису, теперь поняли, что за ними наблюдает не только приставленный шпион с саблей, который все записывает и улыбается. Есть еще другой, более ужасный, который ползает в глубине судна, как червь, и ускользает, как ящерица.

Васька успел сорвать с себя ремень и пряжкой оттянул метнувшегося в щель человека.

— Крысы у вас! — сказал он, воротясь наверх и застегивая ремень. — Сгрызут весь рис. — Букреев грубо дернул за рукав мецке. — Крыса рис ела... — Матрос кивнул на люк и, растопырив пальцы, показал обеими руками, какого размера крыса.

— О-о! — удивился полицейский.

Ветер подул. Подняли черный знак секты дзэн — напоминание о вечном покорстве и справедливости. Весла убраны.

Васька подошел к Иосида и шлепнул его ладонью по лысине. Тот задрожал и поклонился.

— Спасибо! — сказал Иосида по-русски.

— Хороший народ японцы! — сказал Букреев, примасывая голову на скатке шинели, и стал рассказывать, как он по совету Иосида достал шпиона пряжкой по спине.

— Все не так, как у людей! — сказал Аввакумов.

— А в Симодэ есть гора, — говорил Берзинь, вытягиваясь на кормовом настиле во весь рост, узкое острое лицо его сморщилось от слепящего солнца, — называется «Лежащая женщина». Эх, хороший городок.

— А сначала было строго! — сказал Васька, укладываясь рядом с товарищем.

— После землетрясения старший лейтенант послал команду на берег в помощь пострадавшим, а вы пошли заведение исправлять, — сказал Аввакумов.

Янка Берзинь вдруг прыснул:

— Велел идти строить городское управление... Да ошиблись, получилось, что попали не в городское управление... Смыто было все начисто, но фундамент остался. Еще так дружно работали.

— Американцам надо сказать, что магарыч с них полагается,— сказал молодой матрос Маточкин.

— Адмирал богомольный, знай себе крестится, старый пень... Он еще удивлялся, почему, мол, Симоду открыли по договору для американцев. Как, мол, они согласились: порт мал да плох. А Симода стоит на оконечности полуострова Идзу. Дойдут моряки до Симоды — и надо ждать в порту перемены ветра. А в Симоде для моряков есть все что желательно.

— Тут и выворачивай карманы,— заметил Аввакумов.

— А Хэда? — спросил Дементьев.

— Хэда — деревня!

— В Хэда мужики. Значит, темная нищета или кулаки. Там от людей добра не жди.

Глядя, как русские дружно залегли спать, Танака подумал: «Пока все идет правильно, никаких упущений!»

Иосида подошел к Букрееву, ласково глядя, показал себе на лысину.

— Меня? — спросил он.

— Да, тебя! — ответил Васька.— Доносчику первый кнут!

Аве — старшинка корабля с черным знаком секты дзэн на парусе,— управляя кормовым веслом, думал, что благословение высших сил одинаково обращено ко всем, и поэтому он должен стараться для хозяина Ота и заботиться о русских. Он знал, какие опасности будут подстерегать русских, пока они в Японии. Тайная полиция любит русских и заботится о них. Но когда, построив корабль, они счастливо уйдут из чужой страны на родину, то поступят под наблюдение своей собственной полиции. Все произойдет совершенно так же, как с пятью японскими рыбаками, возвратившимися из России.

Берзинь во сне почувствовал, как что-то скользит легко и ласково у него на груди, будто пальцы умелого карманщика лезут за пазуху. Он открыл глаза и увидел над собой склоненную голову Иосида.

— Шаусмиги! — сказал Янка спросонья по-латышски.— Ка азиатска сейя!³

Глава 2

Свирепый самурай

Долго спали матросы, словно отсыпались за все свои невгоды и тяжкие труды нескольких лет непрерывного плавания и нелегкой службы. А когда сон больше не шел, как не идет объевшемуся с голodu вкусный кусок, то понемножку стали просыпаться.

Ночь, сыро. Сизый туман находил облаками и отбегал в море, перемежаясь с чистым воздухом, как горы с долинами.

Сгустеть ему недолго в эту пору зимы близ теплых гор. Японцы стали проворней, все босы, надели ватные халаты, завернули рукава и стараются.

Мецке сидел все на том же месте. Стеганный халат на нем топорщился. Киселев не пропускает ни одного его слова и движения. Душа человек, терпеливый, как черт, и старательный. Страшно подумать, как он весь день не уснул, притворяясь спящим.

Маточкин вспомнил, как в шторм, когда в море нет льдов, выкидывает и замывает в прибрежные пески множество дохлых чаек. В силь-

³ Ужасно! Какое азиатское лицо!

ный ветер птиц бьет о скалы насмерть, и сами они дохнут в непогоду, кому уже пора. А ловкие ускользают. Но и ловких бьет. Особенно на Крестовом мысу, где Свят-камень, сколько их зашибает! Там у Свят-камня братским судом поморы судили когда-то лоцмана, выдавшего царю Петру старые берестяные карты — путь в Енисей, в Лену и до Крайнего Носа, откуда еще деды в старину ходили на другой материк. Тогда думали, что остров или такая земля. Называлась не Америка, а Заморье, или Дальняя Варяжка. Об этом писаны, говорят, старинные вожевые книги. Еще тогда все было открыто, описано и зарисовано.

Маточкин убежден, что до Петра и в Японии наши бывали, ходили каким-нибудь запрещенным путем.

Маточкин познакомился с японским старшиной вчера. Старшиной на мотив нашей плясовой спел японскую песню, разводя руками, как в хороводе, и вместе с Иосида они плясали, подпевая по-русски: «Сахар-сахар!» Знали они и камчатскую «кадрель».

Японцы живут на островах. Зачем бы запрещать им дальние плаванья, если бы никто из них не бежал на судах далеко за моря? У нас Петр — создатель флота, прорубил окно. И Петр же запретил беломорским крестьянам строить суда старинного образца для дальнего плаванья. Плавать из Петербурга разрешали, остальным запрещалось. Японцы все жалуются: моря есть, зверей много, охотиться некому, все запрещено, далеко плавать нельзя, никто в море не идет! Видно, и у японцев был свой Петр!

— Кинтяку! — сказал старшиной, поглядев на русских с таким видом, словно настала пора подыматься.

Васька спросонья зол и тревожен. Он прежде всего глянул, на месте ли мецке. Тот скромно сидел, поджав ноги, на своем коврик. Киселев тоже на месте, при нем.

У фонаря Берзинь затягивался потуже. На лице его явилось новое выражение — холодное и жестокое.

Черная кромка глухой тьмы выдавала близкий берег, отличая его почти от такой же черни звездного неба. Но вот близко как по воздуху проплыла мохнатая сосна. Она задержалась среди моря и черного тумана. Потом перешла за корму. Еще одна сосна видна при слабом свете проступавших звезд. Явилась белая гряда камней, битых и обкатанных морем. Видны ясно, как днем, словно камни светились. На берегу появился фонарь, потом другой.

— Кинтяку! — повторил старшиной. — Хэда, — добавил он.

Огонек зажгли на носу судна. По палубе ходили люди с фонарями.

Старшиной показал Васе вынутый из рукава круглый кошелек с запавшими от безденежья боками и показал вокруг во тьму. Букреев понял, что вошли в бухту.

— Кинтяку — круглый японский кошелек, — пояснил старшиной. — Бухта большой, как кошелек круглый, а вокруг деревня Хэда, круглая как колесо. Рыбаки ловят тай, эби, кани... сетями и крючком.

— А селедку?

— Конечно. А тебе селедку надо? Еще есть сакэ. Кижуч по-вашему. Горбуша тоже. И кета!

Теперь много сосен за кормой. Коса отделена от океана цепью камней, на которых тучей стоят ветродуйные сосны. По левому борту выросли как по щучьему велению высокие черные скалы. Ясно, что судно входит в бухту, круглую как кинтяку. Вдали огни едва просвечиваются. Это теплятся через промасленную бумагу слабые огни домашних деревенских лучин. Эх, бедность!

Стало грустно и печально на душе. С фрегата, с сокровища, сверкавшего артиллерией, медью обшивки, украшенного флагами и вымпелами, мчавшегося по морям в торжественной белизне парусов, где жи-

ли с парадами на палубе, с маршировкой, с музыкой духового оркестра! И куда попали! Куда теперь? В берлогу, в медвежий угол, в западню!

— Хорошего здесь не жду! — сказал Янка.

Вася тоже стал затягиваться. Усы, мундир, сапоги и кивер — главное в порядке!

Берзинь полез в люк.

— Он все опять уложил аккуратно, — сказал Янка, поднимая мешок, — как будто так и было...

— Вашу мать... — Вася подмигнул японцам.

— Спасибо за хорошие слова, — любезно кланяясь, сказал по-русски старшинка.

Если бы заранее начальством не было приказано стерпеть все грубости эбису, то очень просто и легко можно было бы доказать, как умеют драться японские моряки. Но ссоры с эбису строго запрещены.

Мецке с фонарем, в ватном халате, из-под которого, как хвост, торчит сабля, стоял на носу судна.

— Слушай, ты теперь уж не ругайся, — остерег Ваську унтер-офицер Аввакумов. Он при тесаке, с ружьем и патронташем, с ранцем за спиной.

Джонка стукнулась о пустынный дощатый помост. На берегу тьма и ни живой души.

Мецке увидел, что Аввакумов, с медалями и с эполетами на шинели, пошел к нему. Целый день широкое лицо мецке улыбалось и казалось мягким, а глаза едва виднелись. Теперь он смотрел прямо, лицо его стало суше. Короткий нос вздернут, кожа на щеках неровная, в шрамах. Зубы, выходящие из-под верхней губы, теперь скрыты.

— Всем идти на берег! — перевел его распоряжение старшинка.

— Ну, брат, — сказал Вася, — как ловушка...

— Стройся! — строго приказал Аввакумов.

Матросы взяли ружья и мешки и построились. Унтер-офицер скомандовал:

— На-ле-во! Шагом арш! — И сам гулко зашагал впереди шеренги.

На палубе и по настилу пристани как одна пара простучали звонкие матросские сапоги.

— Стой!

Из тьмы с фонарями в руках подошли люди. Впереди двое с пиками. За ними во главе толпы шел человек в больших усах, одетый в несколько халатов. Верхний теплый, с поднятым воротником. Сабля на боку.

— Наш артельный самурай! Буси! — пояснил Аввакумову шкипер.

Самурай поднял седые кустистые брови, вытянул и без того длинное лицо, вытаращил глаза и с шипением потянул в себя воздух. Потом он схватился за саблю и шагнул боком вперед, точно хотел кинуться на матросов. Он скривил нос, скорчил отвратительную гримасу, опустил руку и, глядя грозно, стал жевать зубами, словно хотел расправиться, но раздумал.

Японцы подталкивали матросов и поясняли им знаками, чтобы шли, что самурай приглашает к себе.

— Иди жрать! — перевел старшинка.

— Вольно! — скомандовал Аввакумов.

Вася подумал, что не так страшен черт, как его малюют. Он знал, что японцы любят пугать друг друга, всюду разрисовывают разные маски, страшлища.

— Братцы, — сказал унтер, — вы идите. Это хороший японец, — кивнул он на самурая, — ничего плохого вам не сделает. А я с Кисе-

левым останусь на ночь у груза. Я выспался и отдохнул, да и постарше вас, мне много сна не требуется.

— Ну что же, пойдём,— нехотно сказал Букреев.

Самурай с места не трогался, хрипло кашлянул и вытаращил глаза на Берзиня. «Шаусмиги!» — подумал Янка.

Ваське надоело ждать, и он тихо подтолкнул самурая под локоть в длинном рукаве, показывая, что пора идти. В тот же миг кто-то сзади больно ударил Букреева чем-то легким по голове.

Матросы сделали вид, что ничего не случилось. Японцы понесли пики. Все пошли от берега за самураем.

— Какая же тут нищета, боже мой, боже мой! — приговаривал Дементьев, глядя на лачуги.

Легче всех шел Маточкин. Мешок его плотно уложен, вещей лишних нет, нет и сбережений. За мусмешками⁴ он не гоняется. Служба службой. Он надеется, что не навечно. Он еще придет домой и еще успеет жениться на своей, деревенской, которая, верно, только еще начинает ходить в хороводы. Дома у всех косички беленькие, заплетут и наденут на головы венки на Купалу.

— Видишь, какой здешний барон? — сказал Берзинь.

— Эй, барон Шиллинг! — обратился к самураю Васька.

Берзинь японцев не боялся. Янка — бесстрашный матрос, исполнитель и аккуратен, придраться к нему невозможно. Только при баронах Шиллинге и при Энквисте, как замечено, Берзинь чувствует себя не в своей тарелке, видно, по привычке. Он из семьи латышских крестьян, арендующих землю у баронов.

— Да, нос у него баронский, — заметил Маточкин.

В темноте подошли к длинному дому под соломенной крышей. Самурай на крыльце еще что-то долго и строго говорил со своими, делая страшные рожи. В сенях матросы разулись. Какой-то японец подал каждому соломенные подошвы с петлями и провел через пустую галерею в комнату, покрытую циновками из рисовой соломы. Похоже было, что целое крыло старого деревянного дома очищено для гостей.

Оставшись одни, матросы переглянулись и покатались с хохоту. Васька, подхватив голодное брюхо обеими руками, повалился на пол.

— Потеха, братцы!

Какой-то японец приоткрыл дверь и высунулся. Он осторожно внес на подносе четыре глиняных рюмки и четыре катышка риса.

— Вот это славно! — сказал Берзинь.

Матросы подняли рюмки, чокнулись, выпили.

— У тебя что было в рюмке? — растерянно спросил Вася у товарища.

— Вода, — ответил Берзинь.

— И у меня вода.

Глава 3

Деревенская глушь

— Ну, здорово я заспался, — вслух сказал Янка Берзинь, протирая глаза поутру.

В комнате светло и пусто. Янка попытался откатить деревянную раму, заклеенную матовой бумагой, чтобы посмотреть, что делается на свете. Он вспомнил, что сквозь сон слышал, как Дементьев с Маточкиным собирались на пристань.

⁴ От японского слова «мусмэ» — девушка.

Набухшая сырая рама подвинулась. Над окном на ветвях большого дерева висели апельсины. Утро сумрачное. В облаке проступал близкий каменный бок горы в дремучем кипариснике и с гроздьями висящей со скал сухой колючей зелени. Внизу виден вихор бамбуков, все остальное вокруг залито как молоком.

В саду красные блюдца цветов на кусте с блестящей листвой как из зеленого стекла. К подоконнику тянутся на стеблях гладенькие цветочки, желтые и красноватые, такие яркие, что, кажется, на них смотрит солнце.

Из амбара вышла немолодая японка в подоткнутом синем халате, с корзиной мандаринов и с кувшином. Лицо ее, тусклое как печной горшок, едва выглядывает из пестрого платка. Серый кувшин знаком всем матросам. В таких японцы держат сакэ, рисовую водку малой крепости. Из кувшинчиков поменьше угощали офицеров во время дипломатических приемов. Кувшин на окне лачуги — как вывеска питейного притона, приманка. В Симода до землетрясения торговали таким товаром в изобилии. Вообще Симода — веселое место, содержалась там масса лавок и лавочек, притоны, игорные дома. Жители занимались так же искусно ремеслами, садоводством и земледелием, как и надувательством и выколачиванием денег из рукавов азартных японских матросов, заходивших в порт. Их дурачили кто чем мог, и тут часто нищий мало отличался от ростовщика, игрока, бонзы, врача, знахаря, прорицателя или от обычного крестьянина, при случае промышлявшего в своем доме телом заезжей деревенской родственницы или тайной и запретной торговлей дурманящими или раздражающими средствами. При этом чиновники и полицейские Симода очень строго смотрели за соблюдением законов. Но городская тюрьма, по слухам, всегда пустовала. За последний год, как уверяли японцы, Симода стала любимым местом для матросов эскадры американского адмирала Перри.

Кувшин в руках служанки напоминал о заветном городе Симода. У хорошего хозяина в амбаре, видно, немало таких кувшинчиков.

Из дома вышла и остановилась под апельсинами худенькая молодая японочка, почти девочка, в шелку с цветами, с яркими, как подкрашенными, губами, похожими на маленькую розочку, и румяными щечками. Скулы острые, как у вчерашнего старика самурая. Ножики в новеньких соломенных подошвах на красных шнурках, в коротких носках из белой материи, похожих на перчатки с одним пальцем наособицу.

Пожилая японка поклонилась ей. Барышня ответила поклоном покороче.

Вася Букреев вышел из-за цветочной грядки. Японки поклонились матросу. Васька что-то спросил. Девушка ответила без жеманства, видно сказала, что не понимает. Букреев показал на товарища. Янка выскочил из окошка. Девушка низко поклонилась ему. Старшая проворным движением опустила подоткнутый халат, закрывая ноги, и тоже отвесила поклон.

В саду появился самурай. Он шел медленно, не сгибая ног, растопырив руки и не шевеля ими, словно его длинные рукава намокли, как в дождь. Старая японка пробежала мимо него мелкими шажками в сплошном поклоне. Девушка почтительно поклонилась отцу. Самурай ждал поклона от матросов.

Юная японка посмотрела на Васькины усы и перевела взгляд на Янку. Его белокурые волосы казались сейчас нежными и золотистыми.

Самурай, не дождавшись толку, хмыкнул и пошел через сад, как бы снисходительно простив гостей.

— У старика жена и наложница! — усмехнулся вслед ему Василий. — От обеих дети растут!

— Откуда ты узнал?

— Иван сказал.

— Какой Иван?

— Японец Иван. Служит у нашего барона. Он спал у нас под дверью.

— По-русски понимает?

— Считает неверно, сбивается. Но поговорить хочет. Все время говорит, но не все понятно. Я его спросил, мол, хозяин хорош ли. Говорит, что сволочь.

— За что же он так хозяина?

— Говорит — скупой. Гостей одними апельсинами угощает. Работникам дает апельсины, говорит, мол, кушай досыта. Нас заморит.

Берзинь полагал, что хозяин должен быть расчетлив, но работников надо кормить как следует.

Янка посмотрел на неуклюжие строения под соломой, разбросанные за садом. Берзинь любил хозяйство и готов был порадоваться чужому уюту. Но тут жизни не позавидуешь. Не мыза, не корчма и не богатый хутор, хотя у больших соломенных крыш вид родной. Хозяин держит жену и наложницу в одном доме! Янка полагал, что хорошего ничего тут быть не может. Только юная японочка в саду — как залетевшая из другого, прекрасного мира яркая и нежная бабочка.

— Мне Иван уж выговорил, — сказал Васька, — зачем, мол, спать легли не помывшись. Они нам баню приготовили и халаты.

Через пустырь по траве молча шли уставшие после **ночного дежурства** Аввакумов и Киселев.

— Баня топлена, — сообщил им Букреев.

— Не баня, а в кадке вода горячая и в нее лезть всем по очереди, — брюзжал Аввакумов.

Самурай вышел из-за деревьев.

— Наш барон явился, — тихо молвил Букреев.

— Пойди! — сказал самурай по-русски, показывая рукавом халата на другое крыло своего длинного ветхого дома. Он приглашал к себе.

Матросы выкупались в кадушке под навесом, надели чистое белье, халаты; грязное бросили на траве, как велела им пожилая японка, показывая на исподние рубашки. Босые, собрались в большой комнате у хозяина.

Прислуживала гладкая почтительная женщина в высокой и сложной прическе, в строгом шелковом халате дорогого тусклого шелка, видно жена самурая.

Подали воду, потом чай, суп, рыбу сырую и вареную. Появилась свинина с соусами из чилимсы. Перед каждым стоял горячий рис, рассыпчатый и вкусный, но палочками его не ухватишь без привычки, а взять свои ложки матросы не решились.

Самурай разливал сакэ, и все пили.

После бессонной ночи Аввакумов сер лицом и зол, но стал отходить и раздумялся.

Старик кого-то звал несколько раз. Наконец открылась дверь, вошел пожилой японец и сразу пал на колени.

— Дом полон женщин, а работник только один! — заметил Вася Букреев.

Японец — работник, знавший по-русски, — разогнулся, видно стало, что он крепкий и жилистый, в стриженных усах и похож лицом на

приказчика из чаеоторговой фирмы на Литейном, где матросы брали гостинцы для отсылки в деревню.

— Цуси⁵,— показал на Ивана самурай и велел сказать гостям, что за завтраком фрукты — золото. А за ужином — медь.

— Кусай! — самодовольно добавил он по-русски, указывая на апельсины.

Самурай велел своему переводчику спросить, какая в России главная пища. Иван не стал спрашивать у гостей, а сам ответил:

— Хлеб.

Тут же женщины внесли горячие лепешки из муки.

Иван смотрел, как хозяин угощает русских матросов, и злорадствовал в душе. Сколько кушаний! Но если бы он знал... Работник несколько раз делал вид сегодня, что порывается сказать хозяину что-то важное, но что его все время отвлекают... А хозяин Ябадоо, упоенный новой своей работой, не обращал на это внимания.

Под конец обеда опять подали суп и опять чай с глянцевиным печеньем из травы и водорослей.

— Нам целую ночь мецке покою не давал,— рассказывал Аввакумов.— Встанешь — он встанет. Сядешь — он сядет. Я пойду — он хвостом за мной. Все время смеется и кланяется. По берегу сторожа всю ночь ходили с фонарями.

Самурай все предлагал гостям сакэ. Он закурил и угостил матросов. Старик глубоко затягивался табачным дымом, жмурился, лицо его становилось маленьким и жалким. Подолгу задерживал дым в легких, а потом быстро выдыхал и опять тарачился одурманенными глазами.

Василий сказал:

— У меня дед курил так. Затянется и считает до десяти.

— Зачем же? — спросил Аввакумов.

— Трубок не любил, говорил, плохо для здоровья. Заворачивал домашний тютюн в кукурузный лист.

— Откуда же ты родом?

— Курской губернии.

— Курский соловей!

Выходя после завтрака, захмелевший Букреев встретил в галерее японочку в белых перчатках на ногах, наклонился и пощекотал ей щеку усом. Она не противилась, но смотрела с таким жестким любопытством, как бы все запоминая, и так неодобрительно, что Васька отпрянул.

Жилистый Иван подошел к самураю в поклоне и сказал ему на ухо, что хочет сообщить что-то важное.

— Я все время хотел сказать...

— Ну... ну... — нетерпеливо отозвался Ябадоо и подставил ухо поближе.

Доносы и тайны он любил. Всегда надо строго наказать, если кто-то виноват. Самурай велел служанке уйти и унести сакэ. Иван в доме Ябадоо самый ничтожный человек, хотя нужный. Он работник, оруженосец, и признано, что при береговой охране может оказать пользу как бывший пленный в России, знающий варварский язык. До сегодняшнего дня не представилось таких случаев.

— Русские морские солдаты... это-о...

— Ну... ну...

— Это-о... совершенно... Ненастоящие... Не самурай...

⁵ Цуси — переводчик.

— Это не они?

— Нет, это они сами... Но-о... Это-о... из самого низшего, бедного... ничтожного сословия... не заслуживают...

— О-о! — воскликнул Ябадоо, сразу все сообразив.

Он был потрясен и сидел с открытым перекошенным ртом.

Иван торжествовал в душе.

— А сейчас... Сайо...

— Что? — вспыхнул самурай.

Честь дочери он берег. Честь дочери принадлежала только ему, и он один мог распорядиться.

— Шла по галерее... и один морской солдат... с усами... ~~прошел~~ мимо нее.

У Ябадоо полон дом женщин. Со всеми, начиная от жены, самурай обходился справедливо, но с оттенком грубого принуждения, как бы обязательного традиционного насилия, мог схватить за шею и вытолкать, схватить за нос и сжать его пальцами. Этот оттенок насилия исчезал в его обхождении с Сайо.

«Ты сам не самурай, не настоящий дворянин, — думал про хозяина Иван. — Тем обиднее и больнее тебе. Так и надо!»

Оскорбленный Ябадоо сидел на крыльце, курил с важностью и ждал, не появится ли кто-нибудь из полицейских, чтобы сопроводить матросов на пристань. Опять самому? Но тут уж дело не в его чести, а в государственном поручении. Сюда идут шестьсот эбису и, может быть, прибудет столько же японцев. Сегодня рыбакам приказано наловить много рыбы. Это прямо поручается Ябадоо. Это его дело. И он позаботился. В тумане утра одна за другой исчезли лодки и суда хэдских рыбаков.

Но с полицейскими случилось происшествие. Ночью двое охраняли дом самурая. Под утро их срочно вызвали. Оказывается, на храм за деревней ночью напали разбойники. Священник с ними сражался мечом. Потом погнался за разбойниками. Возвратившись, он вдруг обвинил жену, что за это время она изменила ему с молодым монахом. Жена упала без чувств. Присутствовали полицейские, староста и старшины. Ужасная кутерьма! За измену следует женщине смертная казнь. Это очень твердо соблюдается в каждой японской семье, в деревне и в городе. Это главный закон нравственности. Но все же обманутый муж должен доказать. «Почему вы это решили?» — спросил один из чиновников. «Да! — закричал священник, размахивая мечом. — Когда я сражался, — обратился он к начальству, — то она... вот она... сказала ему, вот этому парню, мол, пусть дерутся, а ты не вмешивайся. Она держала его за рукав, когда я подвергал себя опасности». Молодой глуповатый монах при этом уставился в пол. Румяное лицо его ничего не выражало. «Она его жалеет!» — истошно закричал бонза⁶.

Ябадоо и это узнал от Ивана, чуть свет успевшего сбежать на происшествие. Поэтому-то старый самурай все утро ходил в таком волнении по саду. Ябадоо только удивлялся, как мог бонза не думать исключительно о долге во время схватки и погони за преступниками. Ночное событие оказывается немного комическим, хотя и ужасным. Тем более священнику, видимо, ничего не удастся доказать! Он станет посмешищем! Это удел ревнивцев!

Почему бонза вдруг взбесился? Всегда жил тихо и учил молодого монаха. Оба с женой его любили. И так жили и молились. Парень был смирный. В каждом храме всегда живут монахи, приходят учить дети. Всегда при храмах есть квартиры, в которых живут семьи

⁶ Бонза — буддийский священник.

священников. Но если изменяла, то почему же бонза прежде ничего не объявлял? — так размышлял Ябадоо утром, пока не узнал еще более ужасной новости.

Ябадоо — единственный самурай в деревне Хэда на три тысячи жителей. На четыреста семей. Но у него, кроме Ивана, нет ни единого подданного. И Ван, как произносится русское имя работника, смотрит за хозяйством и еще считается бесплатным переводчиком морского охранения. При случае он несет меч Ябадоо. Но и с этим мечом не все благополучно. Еще не ясно, имелось ли право носить меч. Можно ли носить один меч или меч и короткую саблю? Ябадоо хочет доказать свою правоту и поэтому очень щепетилен в вопросах высокой дворянской чести.

Половина деревни Хэда принадлежит князю Мидзуно из близкого городка Нумадзу. В этой-то половине деревни и живет Ябадоо. Но сам Ябадоо — подданный князя Кисю. Князь Мидзуно не признает Ябадоо самураем, считает его простым крестьянином. Ябадоо сумел, однако, стать очень нужным для Мидзуно как родового землевладельца. Ябадоо хотел бы власти, он может согнуть своей железной рукой всю деревню. Но он не подданный князя Мидзуно, и поэтому власть его ограничена. Хотя и грамотный, все изучает, интересуется даже тем, что запрещено. Он очень любит читать. Он дочерей учит грамоте. Но дракон на мелком месте смешон даже ракушкам!

Ябадоо — родовое имя, передающееся от отца к старшему сыну. У Ябадоо, кроме этого имени, есть еще другое имя — Ясобэ и родовая фамилия Сугуро. Ябадоо является подданным княжества Кисю, земли которого довольно далеко отсюда, на другой стороне залива, за горами. Князь Кисю вполне признает Ябадоо своим самураем. А князь Мидзуно не признает. Обязанность Ябадоо очень высока. Он от князя Кисю руководит многочисленными рыбаками деревни Хэда, которые тоже принадлежат князю Кисю. Некоторые из них служат Кисю как рыбаки, а князю Мидзуно — как земледельцы. Это очень сложно и непонятно, но Ябадоо уже привык и знает хорошо их сложное и двойственное положение.

Пограничной охраны здесь почти не существует. Рыбакам, которые охраняют Японию, наблюдают за морем и побережьем, оружие не доверяется, они не воины, хотя первыми видят чужой корабль. Поэтому над ними и поставлен от имени князя Кисю самурай, несущий ответственность, а его старый дырявый дом под соломой — как бы несокрушимая крепость на побережье Идзу, у моря.

Охрана побережья не должна принадлежать здешним князьям, чьи земли на берегу моря. Это небезопасно. Охрана поэтому вверена другому, дальнему князю, нездешнему, охрана ему подчиняется. Его представитель — Ябадоо. Самурай от имени далекого князя Кисю действует смелее и за всем смотрит. А князь Мидзуно не признает Ябадоо самураем...

Как быть? Нынче все самураи беднеют. Ябадоо не сам сюда приехал из Кисю. Ему должность наблюдающего за рыбаками досталась от отца, отцу от деда, тому от прадеда. Все предки его были деятельные и грамотные. Это все записано, рукописи хранятся в старом доме. Если Японию затопит цунами, как Симода, то всплывет невероятное количество сохраняемых древних документов и дневников... Ябадоо так иногда думает, очень опасаясь, что записки могут погибнуть в воде. Или сгореть. Или попасть в руки иностранцев!

Ябадоо, зная, что князю Мидзуно нужны лошади, развел целый табун. Кони пасутся на сопке, которая принадлежит лично ему. Но кроме Ивана у самурая нет подданных.

Ежегодно двух лошадей Ябадоо отводит князю Мидзуно. Тот

очень доволен бывает, благодарит, но самураем так и не признает. Если Мидзуно признает Ябадоо самураем, то не будет получать от него в подарок двух лошадей. Ябадоо платит, чтобы не нести других крестьянских тягот. Вот в какой заколдованный круг он попал благодаря изобретательности своих предков.

В семье Ябадоо шесть дочерей и трое мальчиков. Один парень больной, другой глуповат. Старший сын умный, хорошо учится, ходит к бонзе давно. Ему будет передано имя Ябадоо и должность. Но на коне не может скакать. Его рвет, укачивает, как в море. Он бледнеет и слабеет. Как быть? Есть обычай — брать на воспитание. Но у кого? Крестьянского мальчика Ябадоо не возьмет. А положение с его самурайством такое неясное, что ему никто из самураев не отдаст сына.

Пять дочерей от жены и одна от наложницы. Приходится дочерям самурая тайком исполнять мужскую работу. Как тут не задуматься!

Самая тяжкая и ответственная забота — рыбаки. Руководство рыбаками — обязанность Ябадоо. Это нахальная, безобразная ватага, грубая и нищая. С ними надо очень строго поступать. Следить, чтобы докладывали, не видно ли в море чужих судов, и чтобы сами не убежали. Их приходится жестоко и беспощадно наказывать.

Ябадоо отлично знает рыбацкое кораблестроение. Строго следит, чтобы суда все время строились как принято, подпирались при этом в борт дубинами лучшего качества.

Но вот настало новое, хорошее время. Ябадоо назначен заведующим судостроением в деревне Хэда в помощь эбису на весь срок стройки. Как они будут строить? Ябадоо временно произведен правительством в самурайское достоинство, с предоставлением ему светло-серого кафтана и всех прав до окончания постройки русского корабля. Радость неимоверная, осуществление мечты. Но также забота и тревога. Ведь еще неизвестно, что для западного корабля потребуются. Достаточно ли будет знаний наших мастеров и тех жердей и бревен, которыми Ябадоо готов подпереть строящееся судно с обоих бортов. Начать постройку можно бы и в деревне, около дома плотников. Там широкое место. Но, говорят, западная постройка судна — что-то чудесное, небывалое и особенное. Конечно, если ничтожных людей из их команды мы принимаем за самураев, то какими же окажутся их высшие рыцари?

Не один Ябадоо назначен правительством бакуфу⁷ на важный пост. На такую же должность назначен и купчишка Ота, богач, торгош и судовладелец, который имеет свои корабли, богатеет и возит по морю соль из Осака в Эдо⁸. На одном из его судов пришли эбису. Ота не самурай, очень богатый, грубый и простой, выскочка. Теперь есть рыбаки, которые хотят стать дельцами. Приказчики и матросы Ота-сан хвалят все американское. Ота также временно стал самураем, ему, как и Ябадоо, дан серый чиновничий халат с широкими плечами и передником, и это глубоко оскорбляет Ябадоо в его лучших чувствах. Два новых самурая должны работать вместе, неустанно стараться помогать друг другу изучить западное судостроение и следить друг за другом, также доносить об успехах в работе.

Такова запутанная жизнь!

Но если бы жизнь не была так запутана, то, может быть, не было бы и счастья.

⁷ Бакуфу (буквально — палаточная стоянка) — так называлось высшее правительство Японии.

⁸ Эдо — старое название Токио. Действие романа происходит в 1855 году, во время Крымской войны.

Сегодня Ябадоо на ногах еще до свету. Он проверял, как рыбаки исполняют указание правительства. Увидя огни в их домах, он рассердился. Послал И Вана сказать, что пора идти в море, нельзя спать или лениво собираться! При этом И Ван завернул на происшествие в храме и доставил новости.

Старосты и старшины приказали жителям не удивляться ничему и выказывать полное безразличие к эбису. В домах спрятаться и закрыться как в крепости. Стараться добывать побольше рыбы. А рыбаки? Недисциплинированно рассуждают о том, о чем велено молчать. Это же их дети слышат! Такие безобразия!

Самурай привел вчера прибывших морских солдат к себе, он полагал, что они рыцари. Он брал на себя всю ответственность перед властями и полицией. Неприлично было бы поместить в незаконченный барак. Он это доказал и получил одобрение. Но на самом деле он поступил так из своего любопытства и желания стать более образованным и еще более полезным Японии. Как человек, служащий сразу двум князьям и правительству, он привык всюду успевать.

Репутация Ябадоо вне сомнений. Он показал, что заботится о морских солдатах и наблюдает за ними, так поддерживает достоинство. Одновременно исполняет два важнейших государственных поручения. Изъявляет чувство дружбы к жителям соседней страны, которые прибыли подписывать договор и построить корабль. Верная дружба и полное содействие! Второе: строжайшее наблюдение и изучение. Поэтому самурай привел эбису для щедрых угощений и отдыха в удобствах.

За сакэ сегодня Ябадоо спрашивал их: «Ну как, у вас есть все это?» Удалось задать еще более важный вопрос: «Что, по-вашему, есть в Японии хорошего?»

Все шло чудесно. А какой ужасный конец! Кто же знал!

Ябадоо духом не падает. Они же не самурай, он их удалит вежливо и даст понять то, что полагается. Он приобрел опыт. Это было подготовительное угощение. Теперь он более ответственно пригласит к себе самих морских начальников — рыцарей западного судостроения.

Ябадоо осознавал, что политика правительства по открытию страны верна. Эбису ночевали в доме, где тепло и чисто. Им приятно, их молодые лица выразили благоразумие. Вчера они смеялись от удовольствия, что тут так хорошо. В таком случае у хозяина может составить хорошее мнение. Сегодня около морских воинов засуетилась жена. Дочери принарядились, но выйти в сад отец разрешил лишь любимой Сайо. На это у него были свои соображения.

У западных людей хорошая дисциплина. После бани сегодня переоделись в чистое белье, Ябадоо приказал грязное выстирать женщинами. Но в первую очередь надо заимствовать не мелочи, а настоящее военное кораблестроение, с артиллерией западного образца. Для этого узнавать все секреты. Это совершенно не противоречит другим твердо поставленным задачам.

Ябадоо произведен временно в рыцари, и ему назначено жалованье. Как всем чиновникам в государстве, платят будут рисом. Но чиновники из Эдо говорили, что впоследствии за постройку корабля дадут денег, и если не провинишься, то останешься самураем навсегда.

При большой семье деньги очень пригодятся. Нелегко кормить столько ртов. Ябадоо до сих пор обходился рыбой. Он вправе получать ее от рыбаков для пробы, без вознаграждения.

Старый дом Ябадоо под обрывом горы выстроен, как у богатых: длинный фасад, терраса в окнах, заклеенных бумагой, соединяет как

бы два флигеля по бокам. К этой террасе еще много клетушек пристроено. Тут же сад. Конечно, солома на крыше уже старая и гниет... но выложена толстым слоем, солидно, стрижена с краю очень аккуратно, даже Янка, морской солдат, эбису, осмотрел и пришел в восторг.

Ябадоо построил еще каменный дом под черепицей. Краса и гордость семьи. Новый дом стоит в глубине усадьбы, за деревьями. В нем никто не живет. Ябадоо открыл в каменном доме ломбард. Под залого очень выгодно дает деньги своим же рыбакам, а также княжеским крестьянам. Не зря его, несмотря на все осложнения, должники давно признали самураем. Он предприимчив: ведает с одинаковым усердием береговой охраной в доме под соломенной крышей и закладами в каменном.

Появились матросы в своей военной одежде.

— Наш барон все давится дымом,— молвил Васька, глядя, как Ябадоо курит.

— Нельзя других мучить, так он хоть себя,— подтвердил Берзинь.

— Пойдем,— чисто по-русски ответил им Ябадоо и сам удивился, как запомнил слово. Только вчера услышал его впервые и сразу понял. Васька так сказал. За это получил от рыбака палкой по голове как за неуважение к Ябадоо.

Самурай пошел на пристань с матросами по пыльной тропе между цветов камелий. Он шел, растопырив руки, втайне сильно смущенный и стараясь не выдать себя, вытягивал лицо и грозно хмурился. В какую лужу он сел! Хорошо, что вовремя выяснил И Ван. Он слышал про одну книгу, где описывается, что воины и военные морские солдаты западных эбису не являются самураями, набираются насильно из простонародья, потому жадны, грубы, развратны, как все христиане. Прибывшие на судне в Хэда шестеро матросов недостойны полного уважения. Они не дворяне. Завтра придут морские войска посла Путятин и японские образованные чиновники.

Матросов надо поскорей убрать из дома. А пока соблюдать вежливость, продолжать, как начал. Уходя из дома, Ябадоо велел зарезать курицу для гостей и приготовить лепешки из муки. Жена и дочери стараются.

Маленький, тщедушный Ябадоо держал руку на рукоятке сабли, чтобы все видели, что эбису находятся у него под строгим наблюдением.

У ворот храма самурай встал как вкопанный и стал смотреть на белокорое, причудливо изогнутое дерево без листвы.

— Есть ли такое дерево в вашей стране? — спросил он глубоко-мысленно. Зная, что эбису не понимают, и не дождавшись ответа, Ябадоо продолжал: — Это такое скользкое дерево, что даже обезьяна не может на него залезть.

Он пожевал губами и оглядел матросов, как бы еще надеясь, что его поймут. Хотелось бы от души поделиться с гостями чем-то поразительным.

— Пу-ти-а-тин! — сказал самурай, указывая в ворота на деревянный храм под черной соломой.

Васька понял, что в этом храме будет жить Путятин, адмиралу отведена резиденция.

Над дощатыми ступенями широкий вход раздвинут, и в глубине храма суетятся какие-то люди. Двое японцев вышли из храма, встали на колени перед Ябадоо. Он что-то сказал. Откланялся и пошел дальше. Путь загородил выступ горы в хвойном лесу с пальмами и в колочках, свисавших ворохами, как сено. Вокруг обрыва улица изогнулась. Прошли мимо другого храма и кладбища, дальше дом и сад с

апельсинами на деревьях. Из-под каменной ограды бежал родник. Две тощие японки с начерненными зубами и губами, стуча деревянными подошвами, торопливо побежали прочь, унося полные деревянные ведра на коромыслах с веревками. Самурай, не сгибая ног, шагал дальше, для важности растопырив руки в длинных рукавах.

Вышли на пустырь. Земля тут пахана когда-то, но заросла сорняками. Сотни две японцев в повязках на головах и в шляпах заканчивали постройку четырех бараков. Плетни обмазывали глиной, рыли ямы, обводили весь лагерь городьбой из аккуратно отрезанных сухих и толстых бамбуков одинакового размера. Носильщики тащат в бадьях глину, печники вмазывают котлы. Во дворе чешут и подбирают рисовую солому, подают ее на крутые крыши кровельщикам. С пристани катят тележки с бамбуками и едут арбы-двуколки, запряженные коровами, нагруженные доверху толстыми циновками.

Ябадоо показал на матросов, потом на солнце и опять на постройку.

— Это для нас,— понял Берзинь.— Велит ныне переселиться.

— Да, поторапливает,— молвил Вася.

Обедали на берегу. Подошли Аввакумов и Киселев, отоспавшиеся до обеда. Каждому матросу японцы принесли, как и своим рабочим, по деревянному ящичку с рисом и с холодным несоленым супом в чашках.

Аввакумов, сидя под соломенным навесом, нарисовал для Ябадоо основание русского корабля.

— Называется киль.

— О-о! О-о,— произнес старый судостроитель.

«Ну как это будет возможно у нас?» — подумал Ябадоо. Как бы то ни было, но следовало обеспечить постройку корабля всем необходимым. Ябадоо дружески улыбнулся матросам, словно приготовил для них сюрприз. Откуда-то появился Иосида и сказал, что Ябадоосан приказывает всем шестерым сегодня же переехать из его дома в лагерь, так как один барак готов с утра. Помещения очень хороши.

— Пожалуйста, получите,— добавил он.

После работы матросы пошли за своими вещами. Возле их постелей лежали постиранные рубахи и халаты.

— А где же подштанники? — спросил Букреев.

— Может, еще не просохли? — предположил Берзинь, выглядывая в окно.

Но подштанников нигде не было видно. Нет и работника, спросить не у кого.

— Около бани исподнее лежит на траве! — крикнул со двора Берзинь.

— Стираное?

— Нет, грязное. Как мы бросили, так и лежит.

— Видишь ты! Значит, бабы у них мужское белье стирать стыдятся,— сказал Аввакумов, подбирая в саду свое белье.

— А как же рубахи? Вон как славно выстирали.

— То рубахи...

Вошли в дом. Янка еще задерживался. Вслед за матросами в дверь потихоньку влез И Ван.

— Послушай, брат, у вас бабы такие пыльные, что им кальсон не дозволяется касаться?.. В руки не берут? — спросил Букреев, показывая на свое нестираное белье.

— Спасибо... спасибо... — ответил И Ван.

— Чтобы чего-нибудь не подумала! — мрачно сказал Аввакумов.

Вошел улыбающийся самурай, узнав, о чем речь, объяснил, что такие кальсоны до сих пор японцам неизвестны. Поэтому стирать

лучше самим. При этом Ябадоо посмотрел виновато и ощерился в улыбке.

— Ладно. Мы чужой закон уважаем,— сказал Маточкин.

Янка Берзинь вошел быстро. Он был бледен.

— Ты что? — спросил Васька.

— Я ничего...

— Строго же! Деревня! Вообще-то, наверно, это хорошее правило,— говорил Букреев, когда шли в лагерь.

Мецке Танака, прибывший на судне с матросами, сопровождал их. Он шел рядом, кивал, улыбался и тянул уши, как бы стараясь понять. Говорили про Японию. Мецке сегодня выпался и приступил к делу с новыми силами. Он сознавал, что ночью шпионам хочется спать и наблюдение производится недостаточно.

— Эх, брат, и надоел ты нам! — сказал ему Букреев.— Дал бы я тебе затрещину, чтобы ты долго помнил...

Мецке захихикал. У ворот он низко поклонился и показал, что в лагерь войти не смеет.

— Конечно, тут уж мы никуда не денемся, как в тюрьме,— ответил ему Василий.

Вокруг лагеря поодаль друг от друга прохаживались японцы с саблями.

— Еще пришли два судна с чиновниками из Эдо,— докладывал о раздобытых сведениях Киселев.

Матросы расположились в законченном бараке у стены, когда в барак, дрожа от страха и озираясь, вбежал Иосида. Седые клочья волос торчали на его потной лысине. Он казался еще более жалким, чем на судне.

— Пу-тя-тин! — воскликнул Иосида, протягивая синюю от холода, тощую руку.— Идет! Уже идет!

Он объяснил, что чиновники пришли и стоят во дворе. Они просят, чтобы унтер-офицер от имени русского правительства осмотрел храм, отведенный для адмирала Путятина напротив лагеря. Аввакумова просили надеть форму, взять оружие и с двумя матросами стать в почетном карауле у входа в храм. Снаружи будет стоять японская охрана с саблями, а во дворе и у входа — русские с ружьями.

— Адмиралу это будет очень приятно,— пояснил Иосида.— Очень красиво...

Аввакумову и матросам пришлось заново обряжаться в мундиры и затягиваться.

— Неужели подходят? — удивился Дементьев.

— Евфим Васильевич ходкий! — похвалил Маточкин.

— Как же! Наш адмирал! — с гордостью молвил Василий, надевая кивер и глядя в зеркальце, прилаженное в ранце.

— Выперли нас... Мало погостили,— сказал Янка.

— У барона-то... — молвил Букреев.

— По усам текло, да в рот не попало,— сказал Аввакумов.

Янка Берзинь самодовольно усмехнулся, но смолчал. Сегодня он задержался за баней, после того как товарищи нашли и собрали белье в траве и пошли в свое помещение. Янка заметил в зарослях в саду синий халат японки, проносившей утром кувшины с сакэ и угощение.

Стоило ей мелькнуть в высокой чаще безлистных стволов-прутьев и только раз глянуть на Янку, как проворный матрос вмиг очутился в бамбуках и крепко сжал ее в своих объятиях. Она немолодая и собой неказистая, но все же ладная.

Когда зарычал и закашлялся самурай, ходивший бдительно по саду, то Янка ее уже отпустил, и она пошла, отряхнув халат. По

лицу и по глазам ничего не узнаешь. Как ничего и не было! Вот у кого надо учиться! Такую жги огнем — не признается.

Янка ничего не рассказал товарищам. Когда шли от самурая с вещами, останавливались закуривать, Васька спросил: «Что у тебя руки дрожат? Кур воровал?» Букреев подмигнул товарищу...

— Сейчас построимся и выйдем с ружьями на плечах,— велел Аввакумов.

Глава 4

Боги поют

Над горами появилось незначительное желтоватое облако, которое казалось страшным. Такого еще не бывало в деревне Хэда. Лесные склоны занимались, как пожар, дымом.

— Быстро они вокруг моря дошли! — говорил Аввакумов, стоя у ворот храма с товарищами.

— Здесь еще тихо и цветы,— с оттенком грусти сказал Маточкин, обращаясь к проходившим мимо и улыбающимся ему празднично разряженным, нежным на вид мусмешкам.

Девочки и девушки посмотрели ему в лицо, рассмеялись и прошли гурьбой дальше по улице. С огромными красными, голубыми и пестрыми бантами на спинах, ладненькие и крепкие, в грошовой, но опрятной обуви, они шагали озабоченно, как за важным делом или на богомолье.

Большой овальный куст камелии около поворота дороги похож на слегка склоненную нежную и чистую девушку в праздничном кимоно из шелка, затканного красными цветами. Наверно, в глубочайшей древности первые японки хотели нравиться и радовать, поэтому сшили себе такие одежды, чтобы походить на цветущие кусты. Надевая кимоно, как бы становишься нежным и прекрасным кустом красных и розовых камелий. В свое время это было, конечно, открытие, изобретение гораздо более могущественное, чем современные американские паровые машины с пароходов Перри! Даже несравнимо!

Мецке Танака стоял у поворота дороги. Он проникся за годы службы и наблюдений духом созерцательной философии. Он очень недоволен, что девушки здешней деревни оделись празднично и не обращают внимания на замечания.

Здесь следит за порядком не один Танака. Много мецке нагрнуло в Хэда из столицы Эдо, из Симода и Нирояма. Но Танака считается одним из наиболее опытных...

Девушки в этой глуши дики, не оказывают должного почтения. Поклонились низко, а потом сделали вид, как будто ему следует пройти, а не им полагается убраться с улицы. Здесь, в глухой деревне, люди вообще неучтивы... Если так одеты, то не простые девушки, если из богатых семей и так нарядны, они должны быть обучены манерам. Виноваты родители, зачем отпускают. Лишний раз подтверждается народная мудрость, что женщине, какая бы она ни была, никогда нельзя предоставлять самостоятельность.

Хицно выгнулась верхняя губа в черной реди усишек. Приоткрылись торчащие желтые неровные зубы. Так бы, кажется, мецке и вцепился бы клыками в невинных красоток.

Чувствуя злой, липкий взгляд, девушки приостановились и притихли.

Высокая, с большими огненными глазами, сияющими почти зло-радно,— дочь купца Ота — сказала что-то подруге. Обе засмеялись. Невежливо, даже дерзко смотрели на полицейского, черный огонь не угасал в девичьих глазах.

Мецке с саблей прямо подошел к ним.

Если бы не сухие руки и не островатые отцовские скулы, маленькая и хорошенькая Сайо — дочка Ябадоо — совсем выглядела бы куколкой.

— Ха-ха-ха! — засмеялась она, но не совсем в лицо чиновнику, а чуть в сторону. И поклонилась почтительно.

— Ха-ха-ха-ха-ха-ха! — нахально подхватила высокая девушка и тоже согнулась в поклоне.

Обе в белых туфельках, в белых носках как в перчатках, в ки-моно с цветами, обе в роскошном иссиня-черном блеске девичьих причесок. А вежливости не научились! А ведь бедные деревенские девушки им подражают!

Пять девиц, одетых попроще, но тоже с большими бантами за спиной и в нарядных прическах, испуганно плыли по улице, семья короткими ножками, и тоже смеялись.

...Маленькая фарфоровая статуэтка сегодня получила подарок от западных морских воинов — картинку с изображением европейской женщины, скачущей стоя на коне. Это чудесно! Огромное впечатление! Молодая женщина танцует на коне! Но как это понять? Конечно, только как смелость! Можно ли после этого слушаться стари-чишку-полицейского? Она показывала картинку подруге.

...Идет Ябадоо. Он озабочен и спешит. На шее и на виске взду-лись синие жилы. Мецке зашуршал своим халатом за свирепым са-мураем, как пыль за ветром. Обоих словно сдуло с улицы.

Между низких каменных стен, за которыми торчали ветви с апельсинами, по узкой кривящейся улице бежит лысый пожилой скороход. Он дышит тяжело, как умирающий, при этом закидывая голову, словно поет песню. На ногах большие соломенные сандалии, почти такие же, как Ябадоо надевает на копыта своих верховых лошадей.

На участке крестьянина Нода бьет родник. Тут любимое место женщин, их клуб, отрада сплетниц. Источник аккуратно обложен тесаными камнями. Романтический родник у храма! Каждому, кто учился, приходилось читать про такие источники благоденствия, по-кая и чистоты у китайских классиков. Над крошечным озером с журчащей струей огромная плакучая ива. Участок не огорожен, каждо-му разрешается прийти и взять хорошей воды.

Дом Нода стоит напротив двустворчатых ворот нового лагеря, построенного для эбису. Ворота крепкие, из сосновых рам, зашитых циновками.

Маленький крепыш Нода и долговязый Ота распоряжаются бед-ными крестьянами, которые роют канавы на пустыре. Нода — не-превзойденный мастер на все руки. В его семье от мала до велика все с утра поглядывают в глубь ущелья, в даль горной дороги. В ла-гере приготовления к приему эбису закончены. Женщины, подходя за водой к роднику, получают здесь самые достоверные известия и обмениваются новостями. Видно большое поле: под рогожами, цинов-ками или просто в шалашах из корья живут рабочие, пригнанные сюда на казенные работы и еще не размещенные по квартирам. Лю-ди, как земляные пауки, копошатся на этом поле, где когда-то бога-тый хозяин сеял рис. Теперь он уехал, а поле пока поступило в рас-поряжение высшего правительства бакуфу.

Нода лыс, обут в аккуратные сапожки со стегаными голяшками,

как для похода в колючий лес. Он ласково улыбается, множество морщинок скрывает его глаза.

Нода чуть свет обошел сегодня дома своего десятка и объяснил крестьянам, как следует вести себя с эбису во время их пребывания в деревне Хэда. Разослано тайное распоряжение чиновникам и буддийским священникам, а также старостам: обращаться к самым основным, укрепляющим общество предрассудкам и суевериям, которые сам Нода, как и Ябадоо, считает низкими и недостойными. Но оба понимают, что правительство желает лучшего, стремится спасти население деревни Хэда от сближения с эбису. Это можно понять.

— Они уже идут,— говорила женщина у родника, где стеснился десяток деревянных ведер.

В испуге женщины смотрели на разбухавшую тучу пыли. Мецке заглянул в лицо женщины. Оказалась старой обезьяной с почерненными зубами. Все ведерное собрание поклонилось Ноде, Ябадоо и мецке, и сразу же застучали деревянные гетта, разбегавшиеся во все стороны.

Улица заполнилась народом. Замелькали цветные платки на головах мужчин. Толпа бурлила, словно начиналось восстание. Сумрачно нависли в этот час над деревней горы. Солнце перед заходом пробило тучу и лес золотым взглядом.

С мрачных высоких гор вдруг донесли странные звуки, будто на небе запела божественная труба. Но это пели люди. Все громче, шире и грозней. Это ужасно волнует. Казалось, что поют горы.

Маленькая Сайо молчалива, какой всегда велит ей быть отец. Дочь Ота вздрагивает от нетерпения, вскидывая плечи. Тихо, но с жаром и очень кратко и отрывисто восклицает:

— А!.. А!..

Неприкасаемые тут же толкуются, приехали на лодках или пришли берегом из соседней своей деревни.

— Может быть непорядок,— в ухо самураю кричит мецке, как в бурю, хотя на деревьях лист не шелохнется, а в воздухе теплынь.

— Все правильно,— хрипит Ябадоо, но сам не знает, правильно ли...

«Неприкасаемые бывают очень старательными полицейскими! Отличные! Злые, смелые. Если им когда-нибудь дать равенство, то посадят в тюрьму всю Японию! Но что за безобразие! Лезут дочери Матсусиро! Дочь Ота? Оюки-сан? Неужели матери не могли удержать? Что это? Как неприлично... Но тут и моя Сайо? И моя жена?»

Рядами прошли прибывшие из столицы чиновники и полицейские. Бегущая толпа рабочих и сельчан затягивала крайние, у входа в деревню, дома полосатой бело-голубой материей, привезенной для этого случая из города...

Над горами происходит что-то великое и торжественное. Волнующее пение приближается. Поют небо и горы. Пение распространяется по всему лесу, словно масса эбису движется сюда по всем дорогам. Это пение богов! Сколько же их? Они идут везде, растянулись по всему хребту.

Внезапно все стихло, как будто эбису исчезли в синем мире, и торжественно запела одинокая труба и сразу загрохотали барабаны. Над горной дорогой поднялись новые клубы пыли.

Что-то черное, как гигантский дракон, выползает на дорогу и начинает спускаться вниз по долине, разлинованной рисовыми полями и террасами.

Крики ужаса слышатся вокруг. Хлопают двери и калитки, закрываются ставни.

Вот уже идут. Идут! Мать рыбака заплакала, в страхе дрожа всем телом. Но мальчишки гурьбой помчались навстречу. Осмелев,

и другие дети, мальчики и девочки, прыгали через заборы и присоединялись к бегущим.

— Они страшные... страшные... — уверял старик.

Что же делать? Где та сила, которая могла бы укротить людское любопытство? Это всё женщины виноваты! Их не разгонишь с улицы ничем! Уговоры не действуют! Неужели правительству придется наказывать нашу деревню? В глубине души Ябадоо есть какая-то странная уверенность, что страшного ничего не произойдет. Сейчас не время объяснять себе причины. Свирепый самурай спокоен. Начинается дело. Он обязан строить, заботиться. Воинственное пение и голоса божественных труб вызывают в нем не только восхищение, но и энергию, мужество воина и доблесть строителя корабля. Признавая достоинства и величие эбису, он не желал бы поддаться им ни в чем и никогда! Он еще молод, ему нет и шестидесяти!

— Эбису едят людей! — тыча чуть не в лицо мусмэ дряблым пальцем, стыдит крестьянин. — Бегите скорей отсюда...

— Я хочу, чтобы меня съели! — вызывающе отвечает дочь Ота.

— Вон к нам поворачивают! Бегите!

— Это боги! — шепчет Сайо.

Бонза из храма Хосенди сказал сегодня, что будет молиться и не выйдет встречать. Неприлично, когда гостей встречает бонза. Ведь его вид вечно напоминает не о гостеприимстве, а о похоронах и кладбище. А вон он, прячется за деревом.

Подходят рядами рослые люди в золотых пуговицах и в высоких узких шапках. Уже видны лица в усах. Все они с большими усами!

— Страшно... страшно... — шепчет старушка, но не уходит.

Впереди знамени и адмирала шагает лейтенант Алексей Сибирцев. За ним в первой шеренге — огромные матросы первого взвода первой роты: Маслов, Сизов, Мартыньш, Шкаев и Вайонен.

Людям передавалось волнение, с которым их ждали. Все чувствовали, что на них смотрят. Слово от того, как они войдут, как покажут себя, будет зависеть вся их жизнь здесь. Искры, пролетавшие между напряженной толпой крестьян и марширующим авангардом за спиной Сибирцева, были подобны невидимым, но жгучим молниям.

Гордые и бесстрашные воины, суровые и жестокие — такими видели их из толпы. Усатые эбису, видя разряженную толпу женщин, чувствуя деревенский воздух с дымом и запахом земли, видя сады и цветы, апельсины и сухие пальмы, может быть, очень смягчались.

Первая рота экипажа повзводно, с офицерами шла прямо к морю. За ней через интервал шагал адмирал Путятин с офицерами. Впереди несли его знамя.

Адмирал приказал на последнем привале убрать самураев из головы колонны. Секретарь японского посольства Накамура-сама, сопровождавший его, согласился сразу. Сибирцеву приказано задать шаг. Адмирал горд, что в его экипаже есть такой замечательный стройный офицер с образцовой походкой и с таким серьезным и добрым лицом, по сути, единственное настоящее русское лицо. Сибирцев идет, как молодой бог, — так стройны и легки его ноги. Пусть он и отрекомендует нашу Россию!

Знамя развернули, и трубачи подняли трубы.

«Тяжело в ученье — легко в бою!» — думает Путятин. Он затянут в черный узкий мундир, усы тонко выкручены, сапоги — как черные зеркала, адмирал смотрит щеголем, он помолодел в походе по горам. Он чувствует себя так, словно не только толпы крестьян глядят на него и на всю команду, а и вся Япония. И быть может, не только она, но и целый мир и вся Европа. Ведь когда-нибудь, не сматривая на секретность всего, что делает императорское правительст-

во, мир узнает. Происходит что-то небывалое. Но, как всегда, у нас все потом перехватят и нас же постараются выставить дураками...

Жена-англичанка, провожая в плаванье, предвляла его от излишней скромности в сношениях с иностранцами. Она знает!

«А вы, господа офицеры? Если бы я вас три года день и ночь не муштровал, не требовал бы с вас, не заставлял бы читать, переводить, учить языки, заниматься парусными и абордажными учениями? А жаловались, что я взыскиваю за всякую мелочь! Нет, не мелочь — аккуратность, без которой нельзя владеть современным оружием! И как назло, на смотру японские послы взяли ружье — оказалось нечищено! Вот же! Отличный офицер Алексей Николаевич, понял все! Умница! Ретивый исполнитель... А как шагает...»

Тверже шаг! Черная лавина все ползет и ползет из леса, и не видно конца ей. Интервалы увеличены, колонны растянуты, все рассчитано на эффект. Это не беда, не обман. Это прием. «Каждый генерал должен быть дипломатом!» — думает адмирал Путятин. А ему, генерал-адъютанту, адмиралу и послу, еще предстоит тяжкий труд — надо заключать первый в истории договор о дружбе и границах между Россией и Японией. Еще придется ехать в город Симода, уполномоченные японского правительства там живут и ждут его в этом когда-то прекрасном, цветущем городке, теперь уничтоженном волной цунами...

«Неслыханно!» — думает Ябадоо. Как все японцы, он пылок и впечатлителен. И таким остался до старости.

Уполномоченный японского правительства Накамура сопровождает эбису пешком. Но вот и начальник округа Эгава Тародзаймон въезжает в деревню среди эбису верхом на коне.

В усах пришельцев, в их киверах, в порядке и стройности рядов была не только сила, но и почтительность, любезная японскому сердцу, старательная аккуратность. Все вместе означало уважение к Японии. Нет, это шли не побежденные и не пленники, как рассказывали тайные говорки, это наши гости!

Оркестр стих.

— Спасибо! Спасибо! — стали кланяться низко женщины и за ними вся толпа. — Пожалуйста! Спасибо!

Алексей Сибирцев первый входил в деревню Хэда, за его спиной слышался тяжелый единый шаг сотен ног.

«Теперь пора, — думает Сибирцев. — Еще четыре шага — и...»

В грозной тишине маршируют усатые гренадеры.

— Запевай! — командует Сибирцев.

Над широким, вольным морем, —

начал запевала.

Вдали от родной стороны... —

подхватили дружные тяжелые голоса.

— Ффю-ють, фьют, фьют, — залились присвистом в припеве, заложив пальцы в рот, молодые матросы.

Шли под звуки грозной, грустной и торжественной песни, похожей на гимн. Вступили в улицу.

Страдание, выраженное такой песней, ужасно, непереносимо! Дочь Ота вскрикнула как раненная, ее черные огненные глаза увидели идущего впереди. Эбису, нежный и светлый как бог, шагал со стальным мечом над головой и вдруг красиво вложил его в свои ножны. Она согнулась перед ним, как бы готовая служить, согнулась почтительно, покорно и с благодарностью, что он позволил ей смотреть на него и увидеть что-то новое, неведомое и пока еще таинственное. Она превращается из неприступной красавицы в кимоно и

камелиях в простую японку, от которой требуется лишь покорство и разжигающее сердце терпение.

Эбису все очень строгие, их лица холодны, глаза смотрят честно, не обращают никакого внимания на женщин и думают только о военном долге и своем государе.

— Вот Путятин... Путятин... — сказал Иосида.

Перед адмиралом несли знамя. Все офицеры в эполетах с золотыми кистями. Один эбису был необыкновенным, никогда не виданным человеком. Что-то бесподобное и совершенно удивительное и безобразное. Офицер тоже в золоте на плечах и в золотых пуговицах, но очень высокого роста, напоминает вышки в городе Эдо... Он с белыми глазами, идет в свите Путятина как взрослый среди детей.

Замечен шаман эбису в долгой одежде, с большими волосами. Это страшно! За одну только мысль о христианских священниках людей казнили. Так в течение двухсот пятидесяти лет...

А вторая рота уже входила в деревню с новой песней:

Шел матрос со службы, зашел матрос в кабак...

— Спасибо! Спасибо! — кланялись жители.

...Их судьба выражена в этой песне, хотя мы не понимаем слов! Но мы понимаем их чувства. Мы всегда знали, что есть огромный мир, и даже самые темные и неграмотные в деревне Хэда ожидали, что мир откроется в глубине морей и за морями, куда попадают пока только самые нищие — рыбаки. Знали это хорошо потому, что на берег море выбрасывало испокон веков людей из разных стран. Всегда в море ходят чужие корабли, и все мы в детстве в страхе смотрели с горы на далекое море с парусными кораблями. Всех жалко до слез. Конечно, если не придет распоряжение свыше, чтобы смотреть на эбису по-другому.

Сел матрос на бочку, давай курить табак...

— Э-э-эй, эй-эй, — подхватили все эбису на улицах, в горах и на полях.

Это что-то небывалое, казалось — вся страна пела в воинственном согласии. Сотни голосов в гике и уханье сразу подхватывают на короткое время, а потом опять слышится пение, полное благородства. Это огненный смерч, зажигая сердце, катился по улице, как дракон.

— А у них синие глаза! — зловеще сказала старуха с вычерненными зубами, когда все эбису смолкли и первый взвод стал поворачивать в ворота лагеря.

— Прозрачные, как наша бухта Хэда! — романтически пролепетала тихоня Сайо.

— Как голубые молнии! — вздрогнув, неприлично громко воскликнула дочь Ота.

— У них у всех голубые глаза! — зловеще и грозно повторила старуха, проходя перед разряженными девушками.

А тут повалили матросы, босые, с сапогами, изорванными в походе и перекинутыми на веревках через плечо.

Девушки покорно кланялись.

Шли японские чиновники. Трусили носильщики с подушками чиновных бюрократов. Слуги на плечах тащили каго⁹ — целый дом представителя высшего правительства Накамура-сама... На носилках пронесли больших матросов.

— Ну что же, господя, пока все благополучно, — сказал Путятин капитану и старшему офицеру. — Все держались молодцами, не срамили чести и славы...

⁹ Каго — паланкин.

Представитель японского правительства Накамура Тамея появился подле адмирала, предлагая поклоном и жестами войти в ворота храма. Во двор внесли знамя и вошел отряд матросов, за ними последовали Путятин и Накамура со своими свитами.

Капитан Лесовский отправился принимать лагерь вместе с главным чиновником местной округи высоким красавцем Эгава.

Увидя Аввакумова и матросов, адмирал поздоровался. Матросы зычно отвечали ему.

— Благополучно ли дошли? — спросил адмирал.

А из лагеря донесся дружный крик сотни голосов. Там выстроившийся экипаж отвечал на приветствие капитана, поздравившего матросов с благополучным окончанием перехода.

— Ну как, Аввакумов, выбрал место для постройки корабля? — спросил адмирал, когда японцы простились и ушли, а свита и матросы, служившие адмиралу, стали устраиваться на ночлег в двух отведенных храмах.

— Нет, Евфимий Васильевич, площадки удобной, — ответил Аввакумов. — Кругом теснина. Надо вырезать в горе или рвать скалы. Или сносить дома в деревне... Да они строить не дадут, напрасно говорят. Они все время нам мешали и работать не позволяют. Да вот Киселев, что слышал, скажет вам сам... Да и мы видели, что, кажись, толку не будет, им не это надо...

— А что же они? — обратился адмирал к Киселеву.

— Как всегда, — отвечал матрос.

— Утро вечера мудренее, — сказал Путятин. — На молитву в лагерь, господа! — повернулся Путятин к офицерам.

Он вышел из ворот рядом с рослым отцом Василием в бороде и с крестом на рясе.

Японцы с молчаливым изумлением таращились на человека с крестом, открыто шагавшего по японской земле.

Глава 5

Адмирал Путятин

С вечера было душно и жарко, как летом. Евфимию Васильевичу приснилось на новом месте, что он с женой едет в рессорном экипаже. На облучке рядом с кучером сидит Накамура Тамея и, обращаясь, ласково кивает. Мэри обмахивается веером и говорит: «Как тут красиво!» Евфимий Васильевич отвечает: «Да, я чувствую себя анархистом!»

«Крамольные мысли! Очень опасно!» — еще не просыпаясь, спохватился Путятин. Он поднялся и опомнился. С сознанием вины и множества наделанных оплошностей адмирал уселся на мягкой и глубокой постели. Вечером на доски, положенные матросами на тяжелые козлы, японцы настлали в несколько слоев ватные одеяла. Янцис постелил свежее белье и сбил изрядную подушку, запихав свернутое одеяло в наволочку. Витул поставил в ногах у постели жаровню с углями.

Витул — матрос огромного роста, служивший адмиралу, — вошел, постучав, и отодвинул раму узкой двери.

— Японка вытопивши баню, Евфимий Васильевич, — пожелав доброго утра, доложил он, — только зонт возьмем.

— Подай халат. А где Янцис?

— Янцис на квартире у бонзы, гладит мундир и брюки. Сейчас будет готово вскорости.

Матрос добавил, что Янцис с поваром расположились тут же у

бонзы и будут стоять под рукой, а что сам он спал у алтаря, под дверь у адмирала. Ночь прошла спокойно. Японцы караулят у ворот, но никаких препятствий никому из наших не оказывают и очень почтительны.

«Совсем нехорошо,— подумал Путятин.— Корабль погиб!»

— А Пещуров где?

Матрос ответил, что лейтенант Пещуров о чем-то объяснялся во дворе с японцами и ушел к себе, а мичман Михайлов здесь, на месте.

— Зонт держи,— сказал Путятин.

— У соседей во дворе родниковая вода, Иван ходил туда, а японцы не пустили...

Из узкой комнатки адмирала задняя дверь вела в пристройку, в короткий коридор, там умывальник и отдельная уборная. По этой части японцы, как полагал Евфимий Васильевич, без предрассудков. Ни что человеческое, по их понятиям, не оскверняет храма. В баню надо идти под дождем, через двор со старинными могилами.

Молоденький мичман Михайлов, слыша в комнате сбоку от алтаря за бумажной дверью голос адмирала, подвинул себе журнал дежурства и чернильницу с тушью. Появился слуга при храме и пошире раскатил две створы широчайших, как ворота, дверей храма, выходящих на передний двор в цветах и декоративных деревьях.

На дощатых ступеньках храма у переднего входа под узким навесом крыши стояли два усатых часовых в башлыках и полушубках. У шатровых ворот топтались, видно отсырев за ночь, трое вооруженных самураев под зонтиками, похожие на дам в шелках. Один мал и щупл, как подросток. Мичман Михайлов, как и все офицеры и матросы «Дианы», знал, какую отвагу и смелость выказывают при необходимости эти невзрачные на вид воины.

Михайлов убрал журнал. Оттянув мундиры тронув кортик и палаш, он с форсом прошелся поперек входа, как по открытой сцене.

Храм стоял под высочайшим отвесом горы, по которому стены камня высились над лесом и над изломанной скалой в траве и в ключиках по трещинам. В дожде все мокрое и блестит. На уступах вырос лес. Всюду копны сена висят, как ветхие крыши, и кипарисник в черной хвое.

Вчера Александр Колокольцов уверял, что из этого дерева, которое здесь называется хиноки, можно строить суда, как из сосны и кедра. Можайский не соглашался, говорил, что не верит. Колокольцов уверял, что всю дорогу наблюдал в деревнях поделки из хиноки, видел балки старинных домов, лодки, служившие долгие годы. Стволы хиноки толстые и древесина хороша.

Можайский — красивый офицер огромного роста. Глядя на летающих рыб в заливе, он полагал, что человек может построить летательный аппарат. Он тщательно срисовывает этих рыб, изучает их плавники, на которых они прыгают или летают по воздуху. Японцы боятся Можайского, находят его страшным, умным.

А дождь льет и льет.

...Над соломенной крышей храма с большой высоты из тумана и мелкого дождя свисала огромная лесина вершиной вниз.

Вода множеством мелких водопадов сбегает ко двору и струится по вырубленным канавкам. После землетрясения упали обломки скал и деревьев. Стволы их распилили на дрова, но японцам, видно, было еще недосуг убраться большие обломки.

Послышался голос адмирала. Евфимий Васильевич с легким паром возвратился к себе в левую от алтаря узкую комнату. Сегодня в лагере отец Василий будет служить с утра молебен, и адмирал собирается туда.

Пока адмирал читал про себя молитву перед образком — родительским благословением, — японец, помогавший Янцису, дважды заглядывал в щелку, стараясь догадаться, можно ли подавать мундир. Он с восторгом смотрел сегодня, как Янцис чистил адмиральскую дорогую одежду из цветной шерсти, как разглаживал плечи, выправлял грудь: это очень понятно, какая мужественность обозначается начищенными, как золото, пуговицами и какая готовность к подвигу и даже к смерти! Пу-ти-а-тин! Всегда и все японцы и в Симода и в Нагасаки неизменно восхищались им, и так, видно, будет на века! За счастье считалось встретить Путятину на улице. Это очень удивительный человек. Его взор туманен и строг и обращен внутрь себя! Это очень трогательно. Очень правдивый взор, пробуждающий глубокое уважение.

Честный взор всегда что-то обещает, особенно противникам, которым нельзя не пускаться на хитрости по-американски. Известно, что американцы — воры и всегда обманут. И если у них учиться, то приходится лгать и хитрить. И привыкаешь...

Пришел Янцис с одеждой. Обряжая Евфимия Васильевича, рассказывал, что привезли на кухню рис и растительное масло, порошок, кур в решетчатых ящиках, корм в мешках, муку, соль, разную посуду и, главное, яйца.

— А молока нет, — сказал Путятин скорбно.

Пришел повар Иван в фартуке, сказал, что завтрак будет японский и готовит японец, как велел Евфимий Васильевич. Иван просил распорядиться об обеде из французских блюд, сказал, что есть живые креветки, также омар и палтусина.

Всю дорогу и по Токайдо и по горам говорили о деле, как строить шхуну. На каждом привале раскидывали походную чертежную, офицеры трудились, проводя прямые и кривые на александрийских листах, спасенных старшим штурманом Елкиным. Так и двигалась походная чертежная по Японии. Из оторванной двери матросы выстурали рубанком чертежную доску и несли с собой.

Из лагеря вернулся Михайлов. У капитана Лесовского все в наилучшем виде и порядке, молебен начнут вовремя. Люди еще уставшие, но совершенно довольны, новых больных нет. Доктор Ковалевский говорит, что у матроса Симонова отрезанная нога не только не разбередилась, но, напротив, стала быстрее подживать. Вся команда с утра искупалась в реке, которая протекает через деревню Хэда, вода теплая. Примеру матросов последовал отец Василий, тоже окунался и очень доволен, говорит, псина вся сошла и чувствует себя младенцем. Мыла нет. Мука доставлена еще с вечера, и все жарят лепешки в лагере, жалеют, что нет дрожжей, можно было бы печь подовый хлеб. После завтрака все пойдут на речку стирать бельё японским способом, без мыла. Вместо мыла привезли какую-то мазь вроде глины. Японцы ходили с матросами на реку и показывали, как ею стирать.

После молебна и осмотра лагеря адмирал пошел с капитаном Лесовским и частью назначенных в дело офицеров. Он ввел их в главное помещение храма с алтарем и уселся в большое красное кресло бонзы.

По словам капитана, японцы весь день будут подвозить продовольствие и рыбу. Старший офицер Мусин-Пушкин остался в лагере. Вместе с провиантмейстером, подшкипером и квартирмейстерами он все примет.

— Нам, господа, первым заводить в Японии хлебопечение и мыловарение, — заговорил Путятин. — Из пятисот человек матросов найдутся мастера на всякое дело. Найдется и мыловар и дрожжедел. И печники...

Стол из досок, длинный, как в кают-компании, накрыт шелковой материей.

Появилась вода в чашках, сакэ, горячая курица, рис, суп, рыба на голубом блюде, соленая редька, креветки, также любимые Путятиным, как и Перри, и это очень забавляло японцев, об этом уже все знали.

Дождь закончился. Ветер разогнал рваные облака.

— Вот вам и страна цветов! Холодно и сыро! — входя, сказал барон Шиллинг.

Не склонный к любованию природой, Путятин заметил, что море, которое всегда и всюду одинаково, где бы он ни плывал, здесь не такое, как всюду. Бухта кругла, как выведена по циркулю, земля и горы стеснили ее. Запах моря мягче, чем в других гаванях, словно это пашня, а не море. Водорослями тут, наверно, удобряли землю и японцы их ели, море было — как японская кухня и как сад. Он сказал, что видел сам, как по морю шли волны в две сажени, а в бухте в это время — в полтора фута. Как могут японцы оставлять такую гавань в пренебрежении? Путятин желал японцам заселить страну погуще и намеревался подать советы, как все усовершенствовать и настроить города в более удобных местах.

Солнце наконец выглянуло, выветлив деревенские соломенные крыши. В лагере вразнойой заиграли трубы и слышались голоса унтер-офицеров.

После завтрака Путятин спросил, как обстоит у людей с сапогами и рабочей одеждой.

— А как быть с чернилами? — спросил мичман Зеленой.

— Тушью, господа, можно писать, — ответил лейтенант Можайский. — Завтрак был королевский.

— Как, тушью — и в Петербург?

— А что же, в Петербург! Даже карандашом. Был бы от них толк.

«В Петербург!» — подумал Путятин.

Лейтенант Александр Можайский так высок, что кажется, будто он находится все время где-то в более важной — высшей сфере, чем остальные, как в облаках или на горе, откуда ему неудобно слишком часто спускаться к своим товарищам. Поэтому его зря не беспокоят, он кажется особенным человеком, выше окружающих не только ростом, но и умом и нравственно. Даже когда говорит про плотскую любовь, на одну из своих излюбленных тем, то и тогда представляется гораздо чище и нравственней других. Может быть, еще и благодаря необычайной чистоте лица и ясности синих глаз. Он серьезен всегда, о чем-то думает, может быть, про художественные рисунки, или дагерротипы, или про свои изобретения по механике и химии, про летательные аппараты, про чертежи, которые он тщательно берегает. С утра до вечера озабочен, очень рассеян бывает, но простодушен. Вдруг может станцевать, как простолудин, камаринского под гитару, если сыграет Елкин, руки в боки и при этом мелко-мелко засеменит огромными ногами.

— Немного терпения, господа! — говорил Евфимий Васильевич, видя, что сытые и довольные офицеры не прочь побездельничать среди красивой природы. — Господа офицеры, предворяю вас, что мы должны помнить... мы с вами находимся среди чужого народа, прожившего в изоляции два с половиной столетия и совершенно не подготовленного к общению с иностранцами. Наш долг осторожно положить первый камень в основу этой подготовки и обеспечить себя всем самым простым и необходимым и дать этому народу возможность ознакомиться с нашей жизнью, с нашим благородством и христианской цивилизацией, передать им наши навыки и приемы мастер-

ства, основы нравственности и любви, наши понятия о гигиене и дисциплине...— Он полагал в душе, что волей судьбы не зря разбит его корабль и он с людьми пришел в глубину глубин японской жизни.— Находясь в таком состоянии, без средств и, казалось бы, будучи обречены...— Голос Евфимия Васильевича дрогнул. Адмирал посмотрел вдоль стола на сидящих рядами офицеров и стих. Глубокий взор его, полный силы, направлен, как часто бывало, куда-то внутрь себя, словно он всматривается в свою душу и вслушивается при этом.— Перст всевышнего указывает нам, что, еще не имея ни товаров, ни средств, ни банков и паровых флотов, мы уже сейчас можем принести пользу, помочь отвергнуть домогательства жадных и корыстных соблазнительей. Судьба дает нам случай... Предопределение, указание на будущее. Любезность японцев, их расположение и гостеприимство не должны слишком обнадеживать. Необходимость действовать заодно с другими известными державами... и прочие неблагоприятные обстоятельства... Мы должны помнить, что ежедневно в течение веков в них воспитывалось враждебное чувство к христианам и христианской религии. На их вежливость полагаться нельзя. Любой наш опрометчивый поступок, любое проявление распущенности, небрежности или — хуже того — какого-либо посягательства со стороны наших людей... или нас самих... нарушение их обычаев и порядков будет немедленно замечено японцами и оценено ими по-своему. Помните, что после двух с половиной веков полной изоляции они... что мы... мы первые в их истории иностранцы, живущие в их стране. И восторг и удивление, с которыми они нас встречали, не дают нам повода обольщаться... Как известно, закона об отмене изоляции Японии еще нет... Ни в коем случае не вступайте, господа, ни в какое общение с местным населением... Вам и всем вашим людям... под вашу ответственность. Для нас построен лагерь. Это наш дом, и в нем мы вольны делать все, что мы желаем. Мы в нем учимся, отдыхаем, предаемся молитвам. В свободное время, приказываю, не выпускать людей за пределы лагеря впредь до выработки мной совместно с японскими чиновниками более удобных правил.

— Да чтобы наследства не оставить, господа,— сказал капитан Лесовский, пробегая нешуточным взором по ряду молодых загорелых лиц.

Степан Степанович всегда смотрит в корень и в будущее. Он режет прямо. Он также видел вчера прелестные личики девушек.

Общее движение началось за столом, как в общем зале.

— Да, да! — грубо подтвердил капитан.

— Уж очень соблазнительны японки,— вдруг мечтательно сказал Елкин.

Грянул общий хохот. Мысль была общая и угадана классически. Адмирал покачал головой.

— Однако, господа, я прошу вас это запомнить! — подтвердил он.— Да, проходя по улицам, не смейте входить в дома... Особое внимание обратите, господа, на то, чтобы не было никаких попыток сближения с местным населением, особенно с женским полом, на что я надеюсь, господа, так как знаю ваши благородные качества и образцовую дисциплину экипажа... Любые отношения не должны переходить границ дозволенного... Однако, при всей нашей учтивости и готовности уважать законы Японии, все мы обязаны продолжать ежедневные занятия с людьми. И тут никакие запреты японского правительства не будут мной терпимы. Чтобы спасти людей от падения духа, от тяжелой душевной горечи, в которую погрузятся они при виде иной веры, иных обычаев и темной, неизвестной для них жизни, мы должны занимать их, требуя по новому уставу со всей строгостью. Господа, пустырь перед лагерем превратим в плац для марши-

ровки и ружейных занятий, также для изучения приемов штыкового боя... Надеюсь, нам это разрешат. Вооружите людей кирками и лопатами для расчистки плаца. Сегодня придет баркас и шестерка. Неустанно занимайтесь греблей и парусными учениями. Составить расписание для команд. И занимайтесь по уставу. Для предполагаемой постройки корабля уже сегодня освободить от строевых занятий всех мастеровых и парусников. Остальных будем вводить в работу по мере надобности. В каком состоянии наше оружие, господа? Порох? Фальконет?

Из лагеря пришел старший лейтенант Мусин-Пушкин. Речь сбилась с учебных занятий и перешла на мыло и рис. Прибыла бумага разных сортов, вполне пригодная для чертежей.

Путятин тут же велел Можайскому, Михайлову и Сибирцеву с конкерами садиться немедленно за чертежи.

Мусин-Пушкин продолжал: халаты даны вместо одеял, нет обуви, рабочей одежды, люди в рванье. Адмирал велел секретарю и адъютантам все записывать.

— Евфимий Васильевич, японские чиновники идут,— доложил Пещуров.— Прибыли Накамура Тамея и Эгава Тародзаймон.

Путятин посмотрел на большие карманные часы. Выдвинули красное храмовое кресло. Адмирал снова сел в него.

Затопали матросские сапоги. Впереди шагал Аввакумов с адмиральским знаменем. Он развернул его тяжелую золотую ткань с черным орлом за спиной Путятинна. Двое матросов с ружьями встали по сторонам.

Лесовский спустился по плахам храмовых ступенек встретить секретаря японской правительственной делегации Накамура Тамея и начальника здешней округи Эгава Тародзаймон, явившихся с толпой чиновников.

Здоровяк Накамура — с умными маленькими глазками на большом лице, под зонтом, который нес его самурай, в тяжелом халате, как старая барыня в шелковом салопе.

Чиновники стали складывать мокрые зонтики и отдавать суевшимся поданным.

Лейтенант Сибирцев, лейтенант Можайский, поручик Елкин и мичман Зеленой не пошли через сад, а зашагали по кривой улице к соседнему храму. Дождь стих, небо расчистилось. Настроение у всех четверых преотличное. Адмирал каждому задал дело на сегодня. Можайскому, Сибирцеву, Михайлову и Зеленому — чертить. Унтер-офицерам и фельдфебелям — заняться ротами, Елкину — идти на опись бухты в японской лодке.

Офицеры ночевали в старом, но заново отремонтированном доме священника при храме Хонзенди, который от храма Хосенди, где жил адмирал, отделен лишь садом и кладбищем. Для восьми офицеров японцы отгородили восемь отдельных комнат и девятую просторную — для общих обедов и занятий. Капитан со старшим офицером занимают комнаты по бокам алтаря храма Хонзенди, точно такие же, как Путятин и Пещуров в Хосенди. Оба храма под той же кручей, с которой висят, грозя рухнуть, скалы и деревья, а в дождь льет вода по стенам с вьющимися корнями и лианами.

Офицеры с утра выкупались, денщики привели в порядок их одежду и начищали оружие. Все в наглаженных мундирах с блестящими пуговицами, в киверах, с кортиками и палашами. Слева пустырь, справа садики за изгородями из камня и коричневых досок. Соломенные крыши, нависшие по краям над низкими стенами, как нахлобученные шапки. Промытая дождями густая глянцевиная листва апельсиновых деревьев со спелыми яркими плодами.

Две девушки в кимоно и с зонтиками появились среди улицы, шагая в белых гетта на толстых подошвах. Обе с блестящими черными прическами в девичьих наколках и цветах, с огромными бантами за спиной цвета и формы пестрых бабочек. Шли быстро своей нежной походкой, мелко семеня: пятки врозь, носки вместе, как обученные медвежата.

— Мусмешки, господа! — меняясь в лице и приосанившись, пробормotal Можайский. Он быстро оцупал золотые пуговицы на мундире.

— Как все-таки поэтичны их наряды! — мечтательно сказал Сибирцев. Он узнал девушку, что вчера встречала его в толпе, он сразу заметил ее и подумал, что помнил о ней сегодня.

— Помните, господа, что Евфимий Васильевич велел нам оказывать заботу, почтение и внимание... — объявил толстый Зеленой.

— Так и окажем, господа, почтительность! — повелительно сказал Александр Федорович Можайский.

«Какое-то волшебство! Какая нежность лица... Такое утонченное и естественное совершенство!» — размышлял Алексей Николаевич Сибирцев, стараясь не смотреть в лицо понравившейся девушки, чтобы не смутить ее, и немного стыдясь и не желая выдать своего неясного чувства.

Офицеры подровнялись и зашагали твердо в ногу. Приблизившись к девушкам на четыре шага враз, как по команде вскинули на них головы в высоких киверах и, как при встрече с командующим, взяли под козырек.

Девушки уже стояли на обочине дороги, уступая путь мужчинам и воинам, не разгибаясь и не подымая глаз в почтительном поклоне.

— Адмирал может быть спокоен! — через некоторое время со вздохом сожаления объявил Можайский.

— Евфимий Васильевич сам разбередил сегодня своими остережениями... Я и не думал! И ничего подобного и в голове не было... — оправдывался Елкин.

— Право, вы очень благородны! — сказал Зеленой.

— Евфимий Васильевич нес какую-то чушь... — отозвался Можайский.

— Я не слушал... но наша цивилизация долго тут не устоит, — молвил мичман.

«В такой глухой деревне — и такие красавицы! — подумал Сибирцев. — Ее первую я увидел еще вчера! Сразу бросилась в глаза... Неужели это имеет значение?» Ему казалось, что это, быть может, предчувствие. Но вчера в его голове не было, кажется, ничего подобного...

Глава 6

Накамура Тамея

Унтер-офицер Аввакумов, стоявший со знаменем за креслом адмирала, видел с высоты своего роста все собрание. Напротив Евфимия Васильевича на особой скамеечке сидел Накамура Тамея. Подле него местный дайкан¹⁰ Эгава. Офицеры расположились полукругом, оставляя свободным пространство перед адмиралом, где на коленях стояли переводчики Мориама Эйноске и Татноске. Дальше все помещение храма занимали сидевшие на полу японские чиновники.

Это совсем не такие японцы, что сопровождали Аввакумова с товарищами в плаванье на джонке; одеты чисто и опрятно, в дорожных шелках, лица у них гладкие, сытые и свежие. Кажется, что это

¹⁰ Д а й к а н — начальник округа.

совсем другой народ, и многие не походят на японцев, не походят на мецке Танака и на старшинку Аве, или Авеля, как его звали потом, на изможденного Иосида, которого называли еще и Каином, или на деревенского самурая. Матросы сегодня перепутали и стали звать Каином и мецке. Ябадоо когда говорит, то кажется, что скулы у него выдаются еще сильнее, как у изголодавшегося. А тут у адмирала сидят особые японцы, аристократы, не похожие на свой простой народ...

— Вы понимаете, о чем я говорю? — продолжал Путятин. — Прежде всего, господа, — голос его сел, и адмирал хрипло откашлялся, — я должен заметить... за моими людьми была установлена тут слежка. Шпионы ходили за ними... Это неприлично, господа! Какие же дружественные отношения? Люди идут с грузом, а им досаждают с глушейшей бессмыслицей... Вы понимаете? Поэтому предъявляю требование: чтобы больше этого не было! «Дозвольте бить шпионов лопарями, ваше превосходительство, — просили сегодня матросы, — лепятесь за нами, как хвосты. Ничего делать не дают».

Накамура Тамея, как знает Евфимий Васильевич, добрый человек. Сидит, слушает, моргает и молчит. Накамура никогда не лицемерит и не лжет, самому эти порядки не нравятся, да, видно, еще нет у него силы против привычки и обычая.

Дайкан округа Эгава отвечал сухо и жестко, что-то, видимо, неблагожелательное, в чиновничьем духе. С японцами так: никогда заранее не угадаешь по их тону, о чем они говорят. При переводе всегда окажется что-нибудь другое, не то, что показалось, чего ждешь.

Говорят, что Эгава — умнейший человек, гордость Японии. Администратор деятельный, знаменитый художник, инженер-изобретатель. Построил чугуноплавильные печи у себя в селении Нирояма, в горах, льет там пушки, сторонник открытия Японии, широкого образования и перевооружения. Его картины видели в городе Нумадзу в замке, когда шли в Хэда.

Переводчик Мориама Эйноске, выслушивая речь Эгава, все подкивал.

Путятин ждал. Хитер Мориама! Что-то сейчас выложит... Глаза переводчика совсем исчезли в морщинках. Кажется, что Мориама ужасно спешит точно перевести, делает вид, что волнуется, боится ошибиться, а пожалуй, не торопится, нарочно тянет, чтобы не диктовали в другой раз, что и как ему делать, и не предъявляли требований. Продувной, опытный, знает языки, выучил за последние годы английский. Работая с Путятиным в Нагасаки и в Симода, стал как свой за эти долгие годы переговоров. С американцами работал в Синогава, в Урага, знает американского посла Перри, его капитанов, офицеров, переводчиков и корреспондентов не хуже, чем нас.

— Это из дружеских намерений, — объяснил Мориама. — Адмирал отпустил шесть нижних чинов, и японское правительство отвечало за их сохранность и дисциплину... Морские солдаты, которые были посланы, охранялись, чтобы не было с их стороны ошибки. Поэтому мы можем сообщить, что их поведение образцовое, и грубо и почтительно поблагодарим посла адмирала Путятина.

— Но теперь я здесь и этого чтобы не было.

— Да, — отвечал Эгава.

— У меня есть офицеры свиты, адъютанты и своя охрана, и прошу обо мне также не заботиться. Чтобы не было случайностей.

Эгава поблагодарил.

«Вот и пойми их! Ну да я сказал и повторять не стану!» — полагал Путятин.

— Господа, теперь нам придется говорить о постройке корабля.

Но в будущем дела решать можно вдвоем или втроем и нет необходимости для всякого пустяка конгрессы созывать...

Раздался общий почтительный смех японцев.

Эгава сказал, что потом он хотел бы представить своих чиновников и объяснить, какие у кого из них обязанности при отношениях японских властей с прибывшими гостями, а также по делам кораблестроения.

«Почему же потом?» — недоумевая, подумал Путятин.

Накамура Тамея сказал, что он сейчас уезжает в город Симода. Он прибыл проститься с послом Путятиним, выразить ему наилучшие пожелания и твердую надежду, что все намерения посла осуществлятсь. Накамура Тамея говорил, прижав к груди руки. Его маленькие глаза ласково смотрели из-под большого выпуклого лба. «Как это они меня посадили в лужу... Кажется, я поторопился. Можно было выслушать Накамуру и не предъявлять ему претензии... Впрочем, Накамура — умный человек...»

— Вы, Накамура-сама, поймете меня...

— Да, я вполне понимаю вас, посол Путятин.

Капитан Лесовский знал, что секретарь дипломатического посольства, сопровождавший их в походе, должен по прибытии в Хэда возвратиться в город, где живут послы. При храме на этот случай держали наготове взвод вооруженных матросов для почетной церемонии. Степан Степанович послал офицера с приказанием выставить караул во дворе.

Путятин поднялся. Ему даже хотелось бы обнять, благословить и поцеловать перед разлукой этого заботливого японца, который так много старался для экипажа и офицеров после гибели судна. Адмирал еще раз попросил передать сердечную благодарность и приветы главным послам — Кавадзи и Тсутсуй, жившим в ожидании возобновления переговоров в Симода. Кавадзи тоже гордость Японии, умнейший дипломат, один из самых высших чиновников.

— Если будет что-то важное для нас, может быть приход русского судна, то вы, Накамура-сама, известите меня.

— Будет обязательно так исполнено, — в порыве чувства ответил японец. — В таком случае я сам постараюсь незамедлительно приехать сюда, посол Путятин.

— Зачем же вам беспокоиться?

— Мне всегда очень приятно что-нибудь сделать для вас.

— Я знаю это и благодарю!

Едва Путятин и Накамура переступили порог храма, как лейтенант барон Энквист отдал команду и поднял сверкающий палаш. Звякнули ружья, и шеренга матросов взяла на караул.

Адмирал и Накамура прошли перед строем. У ворот ждали носильщики и многочисленная свита.

Прощаясь, Накамура, как всегда тихо, сказал:

— Теперь, когда вы, посол Путятин, и рыцари-офицеры внесены в правительственный список Эдо японского государства, вы видите перемены. Ваши требования здесь будут исполняться сразу, так же как если бы их отдавал высший вельможа Японии. Прошу вас принять мое личное мнение, что постройка шхуны очень важна также для нашего государства.

— Спасибо, Накамура-сама.

— Всем руководит, за все отвечает перед вами Эгава-сама.

Простились за руку, и вскоре каго, поднятое на плечи носильщиками, поплыло вдоль по улице.

Впереди паланкина столичного чиновника пошли самураи, понесли значки на древках.

Глава 7

Список Эдо

— Вы, Татноске-сама, любезно рекомендовали нам Эгаву-сама как рентмейстера здешней округи,— обращаясь к переводчику, говорил по-голландски барон Шиллинг во время небольшого перерыва в заседании, когда все пили зеленый чай, поданный на маленьких столиках в комнате при храме от имени адмирала, но в его отсутствие.— Мне кажется,— продолжал барон,— что Эгава-чин более имеет влияние на спины населения, чем на земельную ренту.

Как всегда, и японцы и русские старались узнать побольше друг о друге при каждом частном разговоре. Шиллинг потянул в себя со свистом чай.

— Да, да, Ширигу-сама,— отвечал переводчик.— А! О! Вы видели?

— Да, я видел, как хлестали по его приказу рыбаков в Миасиме. Да и по дороге, когда Эгава-чин, сидя верхом на коне, сопровождал нас. Все исполняли его распоряжения мгновенно. Наверно, он тут многих вздул...

— Но и к карманам он также имеет отношение,— ехидно усмехнулся переводчик.

— В таком случае это исправник по-нашему,— сказал барон, делая вид, что не замечает намека переводчика, любившего получать подарки.

— Эгава-сама назначен правительством возглавлять содействие кораблестроению как инженер,— заговорил Татноске серьезней.— Понравится ли вам вот эта картина? — живо повернулся он, показывая на стену.— Вы знаете, у нас картины вывешиваются на время и меняются по месяцам или по временам года.

— Превосходная работа,— сказал Можайский, уже обративший внимание на полотно.

Тушью и белилами изображена Фудзияма.

— Эту картину написал Эгава-сама,— сказал переводчик.

— Да, он отличный художник! Чья же это квартира?

— Это квартира священника, которому принадлежит храм. У нас в каждом храме сохраняются многие драгоценности.

Александр Федорович Можайский поднялся во весь рост и пошел к картине. Смысл ее показался ему символичным.

В величье сияет снегами гора Фудзи. У подножья ее протянулся отвесный увал весь в снегу и черных елях, угрожающе склоненных над кручей. Увал — крепостная большая стена, защищающая великую гору. Черные ели — воины, схватившиеся за мечи, готовые обнажить их и кинуться на врагов.

«Эгава талантлив и фанатичен! — подумал Можайский.— На вид Эгава скромн! А сколько силы воображения, каков темперамент, право, это человек с большим будущим!»

— Дай бог, чтобы наши городничие писали так,— сказал старший офицер Александр Сергеевич Мусин-Пушкин, разглаживая чубуком от трубки свои нависшие моржовые усы.

— Позвольте... Мало ли у нас исправников и чиновников с наклонностями к поэзии и живописи! Только не Фудзияму же они будут писать,— возразил Шиллинг.

— Хотя бы один написал так Ключевскую на Камчатке,— заметил Можайский.

Переводчик мог бы еще многое добавить к односторонним суждениям русского офицера-переводчика и его коллег о достоинствах дайкана Эгава.

В середине полуострова Идзу, за горными хребтами под дремучими лесами, в уголке цветущей долины расположено селение Нирояма. Там живет Эгава. Нирояма — центр его округи.

В отдалении от села Нирояма за рисовыми полями и пастбищами, у гор, где беднякам дозволяется собирать сучья и ломать сухую траву для растопки, Эгава построил из камня и кирпича две высочайшие «отражательные» печи, похожие на четырехугольные толстые трубы, сужающиеся к вершине и поднявшиеся к небу. Эгава добывает в горах руду, в этих печах плавит чугун, а потом льет отличные пушки европейского образца. Эгава знает по-голландски. Он учит французский и английский. В его усадьбе решается судьба преступников, сюда приходят за судом и правдой, являются откупщики и свозят налоговый рис, который потом идет на оплату чиновников и войска. В усадьбе Эгава помогает хозяину своими знаниями и советами японец Накахама Мандзиро, много лет проживший в Америке.

В Нирояма коллекция из множества кекейдзика с росписями великих людей и талантов. Эти висячие шелка собраны семью поколениями дайканов Эгава, чья должность передается из рода в род.

В доме Эгава прекрасная библиотека, научные лаборатории, мастерская художника. При доме сад, амбары, конюшни, тюрьма, кутузка для мелких преступников. Сюда подбежали маленькие холмы в тяжелых красных и черных соснах, как олени в ветвистых рогах. Гигантские бамбуки растут по склонам над соломенными крышами надворных построек. Величественные ворота из кедра, мельница, старые щербатые жернова, колодец...

Место столь же прекрасное, как картины самого Эгава. Он создает полотна западного типа и помещает их в рамки. Он пишет японские узкие картины красками на шелку. Он отлично чертит. Он сочиняет мужественные воинственные стихи, журчащие, как горный поток, гремящие, как водопад, и стихи любовные, ласковые, как колышущееся зрелое поле.

Все местные шпионы подчиняются ему и назначаются им, за исключением тех, что следят за самим Эгава или за Накамура. Но те шпионы другого, высшего класса, «государственные», по классическому китайскому определению.

После перерыва и чая все снова заняли свои места в большом помещении храма с алтарем. Из своей узкой скромной двери вышел адмирал Путятин, он подошел к столу в сопровождении дайкана, появившегося из такой же двери сбоку от алтаря.

Не сразу разберешь без привычки, во что одет Эгава. На груди (острым углом вниз) что-то чистое и белое, как крахмальная сорочка. Полы короткого черного и блестящего халата с гербами стянуты шнурками, как в черных галунах.

Эгава белолиц в тон своей манишке, как набелен, подобно знатной старухе, или напудрен. У него черная щетина волос над косым лбом, черный завиток волос на высоком и узком бритом темени, длинные, косо посаженные глаза, какие рисуют у японцев лишь европейские художники и каких в Японии нет почти ни у кого. Косые ключья исчерна-синих волос пущены от висков к скулам и похожи на ножи касаток. Острый длинный нос с горбинкой, как сабля. Вид его фигуры, движения напоминают о чем-то режущем, колющем, сражающемся и казнящем, об остром уме, пылком воображении, решительности и энергии при адском умении терпеть и ждать.

Каждый из чиновников, кого называл Эгава, чуть поднимался, кланялся адмиралу, стоя на согнутых ногах, как на уроке гимнастики.

Путятин видел, что на этот раз японцы действовали быстро, целый штат чиновников назначен наблюдать и помогать при закладке шхуны. Дело для них новое и нужное. Как нельзя лучше отнеслось японское правительство к просьбе адмирала разрешить построить новое судно для возвращения с частью команды на родину. Кажется, сильнее, чем все доводы, которые приводил Путятин при переговорах, и чем письма министерства иностранных дел, подействовала эта просьба на японцев. Пришлась им по сердцу. Вот когда Путятин задел живую струну! После кораблекрушения, едва вышел с командой из деревни Миасима, как уже по дороге было получено из столицы согласие на постройку. Пришли в Хэда, а здесь уже все у них на мази!

Право, кажется, и с договором дело теперь пойдет на лад. Не бывать бы счастьем, да несчастье помогло. А ведь предугадывал Евфимий Васильевич! Скажи — будут смеяться! А ведь еще осенью в плавании через Японское море, когда шли сюда на парусном фрегате с Амура и ждали с часу на час встречи с мощной англо-французской паровой эскадрой, думал Путятин между молитвами и учениями, что не может чего-то не произойти такого, чего не ждем ни мы, ни наши противники, а что даст средства и силы нам, поспособствует нашему успеху и победе, что воодушевит верой в нашу правоту и справедливость.

Кто бы мог подумать! Но теперь — на бога надейся, да сам не плошай! Дела будет много, и дела разного. Смолы японцы не гонят, канатов таких, как у нас, не вьют. Что такое шпангоут, не знают. Иные обводы у их кораблей. Хлеба не пекут, мыла не варят... Будет ли помниться, что всему мы их обучим? Или ложь, самохвальство американцев и европейцев все застыят?

Да, вот и открывалось нам новое лицо Японии! Сколько еще может быть у нее этих новых, неведомых нам лиц!

Японским чиновникам на этом собрании нравилось, что послу России подходит красное храмовое кресло из Хосенди и сидит в нем Путятин удобно и важно.

Всем велено не только быть дружественными и оказывать честь и гостеприимство — приказано поступить в распоряжение посла и генерала морских войск Путятина, исполнять все его распоряжения впредь до окончания постройки судна, когда даны будут новые указания правительства. Представляется небывалый случай, как при поимке волшебной птицы.

Теперь Путятин находится как бы на службе японского правительства. Ему и его офицерам назначено жалованье, которое будет выдаваться рисом. Каждому офицеру согласно его положению будет доставлено соответствующее количество мешков с рисом.

А на самих матросов ничего не выписано. Ни единой горсти риса.

В замке Эдо существует правительственный список — генеральная роспись оплаты всех вельмож и чиновников.

В этот так называемый список Эдо внесен первым Путятин. Ему дается богатое княжеское содержание. Все пропитание матросов, мастеровых и унтер-офицеров выписано на Путятина как на богатейшего японского князя и командующего, у которого пятьсот пятьдесят личных слуг и мелких подданных самураев и каждого надо обути, одеть и накормить. Вот на такую необычайную высоту возведен посол Путятин в Японии. Это еще не все: ему дана деревня Хэда и почти тысяча людей. К нему как подданные и подчиненные даймио¹¹ назначены японские чиновники.

¹¹ Д а й м и о — феодальный князь.

К этому прибавляется власть Путятин в его империи. Он адмирал и генерал-адъютант императора. Он владеет деревнями и тысячами крестьян. Император великой соседней страны послал сам его к нашему императору с покорными просьбами.

У Путятин теперь огромная власть в японском государстве. Он признан и принят правительством в новой должности. Чиновники чувствуют ответственность его положения и свою при нем. Часть воздаваемого ему почета они, как его подданные, принимают на свой счет. Путятин теперь как свой японский генерал и руководитель, при этом великий и знатный вельможа. Случай необыкновенный в Японии, куда доступ иностранцам строжайше воспрещен.

Возведение адмирала и посла как бы в сан японского князя с предоставлением прав — это небывало мудрое решение тридцатисемилетнего канцлера князя Абэ Исе но ками.

Но следить за адмиралом придется, как следят и за своими князьями и за самим канцлером гениальным Абэ. Было бы невежливо тайно не следить за Путятиним, не беречь его и не проверять, как лучше поддерживать его работу.

Матрос за спиной у адмирала стоял с развернутым знаменем, на котором золотом выткан двуглавый орел российского императора. Одна голова такого орла повернута, по предположению японцев-ученых, на запад, на Англию и Францию, с которыми сейчас у России война сразу во всех морях мира и в Крыму, на маленьком клочке земли. Другая голова орла смотрит на восток, значит, на Японию? Эта вторая голова остается загадкой! Знамя из толстого шелка и очень важно развернуто. Размеры его — в длину два саяку и три сун. Об этом будет сообщено правительству. Ни о чем другом пока еще нельзя сообщить важных сведений.

По сторонам знамени два белокурых матроса, вооруженных ружьями со штыками и кинжалами, — Иванов и Берзиль, оба высокие, японцам удивительно, как они не задевают киверами потолка. Особенно нравился им Янка Берзиль. У него крутой лоб, а нос короткий, но вздернут высоко, так что нос со лбом составляют как бы прямой угол. Глаза круглые, голубые, круглые брови, а усы вздернуты вверх, как и нос, он весь устремлен еще более ввысь и смотрит козырем, и презрение к окружающим вечно выражает его лицо. Иван — другой важный воин — стоит, отставив ногу. Как это разрешается по уставу.

Подле адмирала сидит лейтенант Шиллинг, свободно говорящий по-голландски. Почти все присутствующие тут офицеры знают по-французски и по-немецки, некоторые по-английски, а может быть, и по-японски, во всяком случае, заметно было, что они иногда улавливали смысл речей чиновников, прежде чем переводчик Татноске начинал говорить по-голландски.

Русские, в свою очередь, подозревали, что среди японцев есть знающие по-русски, отлично известно, что всего лишь четыре года тому назад в Симода высажены кораблем «Князь Меншиков» пятеро японцев, унесенных штормом в Россию и проживших много лет с русскими. Конечно, служба наблюдения, подслушивания и слежки должна быть установлена подозрительными японцами со всей их старательностью и пылкостью. Поживем — увидим!

— Теперь, господа, займемся делами, — сказал Путятин.

— Это очень приятно и понятно. Японцы готовы к делу как всегда! — ответил Эгава-сама.

Матросы подняли ружья. Аввакумов аккуратно свернул знамя. Почетный караул ушел. Путятин отпустил часть офицеров. Ушла

японская охрана. Чиновники остались на местах — каждый из них мог пригодиться для дела.

— Я вам говорил семь дней тому назад,— начал Путятин,— что нам потребуются умелые плотники, кузнецы, а потом понадобятся медники, которые тоже умеют обращаться с инструментом. Мы уже представили вам выгесанные из леса нашими мастерами лекала тех частей корабля, которые нам понадобятся. Нам также срочно нужен лес, бревна для постройки стапеля, на котором и будет заложен сам корабль. Описание стапеля мы вам представили с перечислением нужных для этого заготовок, с указанием веса и размеров. А где же лес?

— Лес заготавливается в долине за горами. Доставлять лес отсюда очень трудно,— ответил Эгава,— но замедления не произойдет.

Путятин велел Пещурову записывать. Для приемки материалов назначалась комиссия из офицеров, боцмана и мастеровых.

— Вокруг деревни на горах строевой лес. Сосны, пригодные не только для постройки стапеля, но и для корабля,— сказал капитан.

— Если рубить здесь, на месте, то очень удорожается цена бревен,— пояснил Эгава.

— Пустые отговорки! — сказал капитан Лесовский.— Боятся, что выйдем за пределы деревни!

Эгава пояснил, что кузнецов еще нет, но они идут в Хэда, придут через два дня.

— А за все материалы,— продолжал адмирал,— после войны русского правительство заплатит золотом. И вы, дайкан, это знаете.

Эгава сделал вид, что сконфузился, но тут же сказал:

— Если посол уверенно говорит, то мы очень благодарим. Мы немедленно готовы начать работу. Это хорошо! Япония очень бедная страна! — как бы извинился Эгава.

Взор адмирала вышел из туманной дали и уперся в Эгава, щеки вспухли, казалось, дыбом поднялись бакенбарды и волосы на голове.

Эгава поспешил поблагодарить.

— Ну, господи,— беря себя в руки, строго и повелительно оглядывая собрание, продолжал Путятин,— у нас еще нет места под площадку для постройки судна...

Эгава ответил, что он готов отправляться на осмотр места. Лодки ждут.

— Лодки или площадка? — резко спросил Александр Колокольцов.

— Площадка должна быть на берегу? — спросил дайкан.

— Да.

— А-а! — разочарованно ответил Эгава. Он, конечно, предполагал, что площадка должна быть на берегу.

Глава 8

Ота-сан

— Но есть дело не менее важное, чем выбор площадки для постройки корабля,— заявил Путятин,— и оно также должно быть решено сейчас.

Напор Путятина, ко всеобщему удивлению, не ослабевал, а усиливался, хотя уже минуло обеденное время и все стали уставать. Посол еще только входил в дело.

Все японцы замерли. Не шелохнутся их мечи, шелка и бумаги.

Путятин помолчал. Лицо его обмякло, он повел носом, поморщился. Посол, конечно, добрый и очень хороший человек, но как старший,

уверенный в себе чиновник. Нос его толстый казался добрым, и, вероятно, ему хотелось такой толстый нос почесать, что сейчас было бы неприлично.

— Объясните, Александр Александрович,— обратился адмирал к Колокольцову.

Все видели, что у адмирала очень хорошие офицеры. Высокие, тонкие и очень сильные. Эти люди — как самурайские сабли. От мецке сообщения прибывали регулярно, когда все эти помощники адмирала умело и храбро несколько дней боролись с волнами во время гибели «Дианы». Знали Сибирцева. Он входил вчера во главе войска в Хэда. Ширигу-сама — переводчик. Еще есть Сюрюкетти-сама, черный, как японец, очень похожий на японца. Еще сенсэ — капитан. Пещуров — красивый племянник адмирала и его приближенный адъютант. Молодой Елкин с белыми волосами, как совсем седой, он снимает карту. Наконец, сегодня всеобщее внимание адмирал обратил на Колокольцова. Высокий, тонкий, как гибкая лоза, глаза смотрят не просто, а очень требовательно и воинственно и даже нахально. Молодой и чувствует за собой покровительство посла, не скрывает этого. Такие молодые чиновники у японцев есть в высшем правительстве из числа обнаруживших при экзамене гениальные способности. С такими же глазами, обещающими решение всех задач. Их после экзамена сразу назначают на необыкновенную должность. Конечно, гений не признается, если нет знатных родственников или покровителя. Словом, если за гения не хлопчут. Таким гением в современной Японии является канцлер, глава правительства бакуфу Абэ Исе но ками, воевода Исе. Абэ в тридцать семь лет на неподвижной должности, где важность обязательна, ужасно разжирел и теперь может умереть. Колокольцов моложе Абэ, крепкий, как железный прут, совсем без жира, шея высокая, скулы похожи на японские, но славянские серые глаза под черными тонкими бровями.

— Прежде чем строить корабль,— заговорил лейтенант, разворачивая перед собой александрийский лист, на котором была изображена путаница из продольных и поперечных линий, с массой ребер и балок, словно у скелета кита или морской коровы,— нам нужно большое помещение — просторный дом, или хороший светлый сарай, или храм для такого же, но большего чертежа, который будет в размер строящегося корабля. На чертеже будет показан весь корабль в натуральный размер, со всеми частями.

Переводчик Татноске добавил, что это та основа, тот план, без которого в европейской цивилизации не обходится ни одно дело.

Теперь понятно, почему назначен Колокольцов. У него тон учителя китайских иероглифов. Такой сорт людей известен. Это ученые, они любят показать свое превосходство над практиками, они есть при каждом деле и в Японии. Они все начинают с бумаги и не признают того, что не записано или не зарисовано. Молодой, но ученый.

Очень приятно, что многое оказывается совершенно одинаково у соседних народов.

Хотя Конфуций учил, что умный человек не может быть ученым, а ученый человек не может быть умным.

Японцы посоветовались между собой, и Эгава ответил, что все храмы заняты под жилье морских офицеров. Также под квартиры помогающих чиновников. Есть только один свободный храм, одиннадцатый по счету, новый, находится за большой рекой, почти в лесу.

Колокольцов взял еще один из чертежей, поменьше, и, развернув, показал:

— Так следует вычертить все части судна... Это...

— О-о! О-о! — прокатилось по рядам чиновников, и тут же все

дружно рассмеялись, видя, что эбису пользуется палочкой для еды как указкой.

— Чертеж судна со всеми его частями должен быть в натуральную величину, не меньше и не больше. Это особенность европейского судостроения. Нельзя строить корабль, не имея плана с чертежом и не имея чертежной. Они должны находиться вблизи работ, а не в лесу или за рекой. Мастера и плотники должны сверять размеры обрабатываемых ими частей с чертежами в натуральную величину. Присутствуют ли здесь мастера-плотники? — спросил Колокольцов.

— Да. Семь старшин плотничьих артелей имеются.

— Где они?

Поднялся Ябадоо, а за ним в отдалении приподнимались японцы попроще, без отметок на халатах.

— Пусть пересядут поближе. Переводите им, Татноске, что сказал лейтенант, — приказал переводчику барон Шиллинг. — Да пусть потеснятся господа чиновники.

Эгава кивал. Дело очень интересное, но сложное. Как тут быть — сразу нельзя ответить. Ум Эгава остр, как плавники касатки, как клочья черных волос на висках самого Эгава.

— Плотник, — объяснил Колокольцов артельным старостам, — он может для точности посмотреть и сверить размеры с чертежом... А у вас подпирают судно пнями или чурками или привязывают его к деревьям.

Чиновники засмеялись, услышав такое правильное рассуждение о японских судостроителях, а плотники, все в опрятных халатах, молчали.

— А как у вас? — спросил вдруг сзади молодой японец.

— Потом все увидите, — ответил Колокольцов.

Попросил позволения поговорить Ота, временно возведенный в самурайское достоинство. Ота — судовладелец и подрядчик, для решения подобных вопросов и назначен на службу как заведующий судостроительством русского корабля в деревне Хэда.

Эгава разрешил.

Ота-сан — худой и белолицый человек с длинным прямым носом и узким лицом, похож на эбису. Ота как-то уже учуял, что послу Путятину приятно, если с ним говорят стоя или хотя бы приподнимаются. Ота, видимо, еще не желал, чтобы посол увидел его сухую фигуру во весь рост.

— Такого большого помещения у нас нет, — почтительно сказал Ота.

Ябадоо злорадно заворочал горячими глазами, сверля постное и почтительное лицо Ота. Что же он лезет? Высочка! Ота — купец с тугой мошной, привык откупаться, совершенно не думает о страхе, и общей чести, и ответственности, и о том, что неприлично так вести себя.

— Но я могу предложить для посла и его больших европейских чертежных планов помещение в размер корабля и прошу посла и генерала флота пойти и осмотреть лично.

Ябадоо как громом поразило. Он рот раскрыл от удивления. Какой карьерист!

Эгава тоже не ждал ничего подобного. А ведь действительно, Ота построил новый дом для своей семьи по разрешению властей. Теперь он всех выгонит вместе с няньками и ребятишками.

Путятин ответил, что благодарит, и спросил, когда можно посмотреть.

Прямой разговор с послом императора! Чудесно! Постное почтительное лицо Ота не менялось.

— Пожалуйста, посмотрите сегодня.

— Ота-сан, вас посол просит подойти поближе,— сказал Татноске.

Сейчас хорошо видно, как высок и строен Ота. На пробритой голове над серединой лба — черная щетина. Лоб высокий и крутой. Все признаки породы! Высокий лоб и длинный нос придавали его длинному тяжелому лицу выражение глубокой задумчивости.

Большими шагами и не сгибаясь, как природный эбису, Ота вышел из рядов чиновников и артельных старост, сидевших на поджатых ногах как на стульях, и поклонился послу. Чуть помедлив, как бы не уверенный, что это надо тут, он встал на колени.

— Какая же длина корабля? — спросил Ота-сан.— И какое требуется помещение?

Ота уже сообразил, что с европейскими вельможами не надо говорить через чиновников. У них обращаются прямо к кому есть дело.

Все русские обратили внимание на необычайно высокий рост Ота. Татноске перевел ответ Колокольцова:

— Длина семьдесят семь футов... Ширина две с половиной сажени...

Железный прут, как Ябадоо прозвал Колокольцова, вскинул свои жесткие глаза и быстро заговорил, называя по-японски — «сун» и «сяку». Не сгибаясь и не опускаясь на циновку, стоя занимался наукой на память, в уме все посчитал и объяснил размеры в японских мерах. Это что-то необыкновенное и опасное. Кажется, эбису подготовились. Они знают Японию больше, чем позволяет.

Эгава замечал, что в новой роли самурая Ота-сан, кажется, быстро освоился. Правительство знает, что делает. Простому человеку нельзя разговаривать с послом, и даже с офицерами нельзя, как с высшим дворянством. Поэтому Ота для удобства дела по совету Эгава произведен мудрым бакуфу в чин. Считается, что, когда судно построится, с Ота снимут этот голубоватый халат с гербами на груди.

— Помещение совершенно подойдет,— сказал Ота.

«Ота выучил Японию!» — подумал Эгава.

«Русские будут в доме Ота! — подумал Ябадоо.— Это унижительно! Выскочка! Перегоняет меня, столбового самурая, как считает княжество Кисю!»

Ябадоо набрался решимости и тоже попросил позволения поговорить.

— У меня уже пришли бревна для корабля и все готово. Я прошу принять все материалы, а также отметить длину и ширину каждого бревна.

«Я живу совсем рядом с храмами Хосенди и Хонзенди, где размещается адмирал и офицеры его посольства и корабли. Эбису говорят со мной прямо без переводчиков. Все же я самурай!»

Адмирал пригляделся к Ябадоо. Этот, кажется, вылез некстати. Путятину стало жаль захолустного дворянина, он поблагодарил, проникаясь к нему добрым чувством, чем-то вроде симпатии к знакомому характеру.

— Ну так, благословясь, господа, за дело! — сказал Путятин.— Вызовите сейчас же Можайского и Сибирцева, пусть оставят свое черчение.

«Пока я работал,— думал Ябадоо,— Ота размещал по квартирам чиновников, а его приказчики принимали прибывшие морем товары. Конечно, предок Ота не был настоящим японцем. Он принесен в нашу страну морем, и Ота всегда любит об этом упомянуть. Он сообщает очень быстро, как эбису. Но я, совершенно не торопясь, также все успеваю. И я ни за что ему не уступлю! Хотя его род живет в на-

шей стране триста сорок один год, как он считает, но не является японским. Ота живет в деревне. А торгует в огромном городе Осака, на Внутреннем море. И в столице Эдо. Он возит соль на собственных судах из Внутреннего моря в Эдо вокруг гористого полуострова Идзу. У него на паях есть гостиница в торговом городе Симода, на морском пути между Эдо и Осакой, для своих моряков, чтобы их заработки не уходили зря».

— Идемте, господа, довольно сидеть в духоте. Посмотрим дом для плаза,— сказал Путятин офицерам, явившимся из чертежной.— Потом идем выбирать место для стапеля. На сегодня довольно, пошли на свежий воздух. Пора за дело, Эгава-чин, хватит пустых разговоров!

«А обед?» — хотел было спросить Леша Сибирцев.

— Я послал домой, чтобы немедленно вынести все вещи,— сказал Ота.— Все будет вам представлено, ваше превосходительство посол.

— Совсем не надо выносить вещи. Я знаю, что у вас комнаты разгораживаются и стены можно убрать. Вы успеете это сделать и после нашего осмотра.

«Впрочем, еще, может быть, помещение послу не подойдет?» — подумал Ябадоо. Он отпустил артельных старост на обед, а сам в хвосте толпы пыжившихся на улице чиновников пошагал к дому Ота.

Вдали от храмов, раздвинув гущу лачуг, за каменной оградой стоял сад с небольшими, еще молодыми деревьями и длинный дом под соломенной высокой крышей. Только одно старое дерево кусуноки росло среди двора. Работники и домашние уже убрали часть вещей из дома Ота, когда Путятин ступил на порог. Разгораживались последние стены, выносились их обитые бумагой складные вставки, похожие на ширмы, и вместо многих комнат образовалось просторное помещение с линиями пыли в просветах между циновками на местах убранных стен. Татами — циновки из рисовой соломы — еще не были убраны, а на стенах висели длинные шелковые картины.

— Мне кажется, что помещение не очень удобное,— сорвалось с языка у Алексея Николаевича, который был голоден и зол.— Безусловно, в натуральную величину чертеж не уложится.

— Да, семидесяти семи футов здесь, конечно, не будет,— сказал Колокольцов. Он вынул из кармана и развернул свою желтую складную сажень и зашагал вдоль стены.

— Эко вы захотели! Это вам не адмиралтейский завод! — пробурчал капитан, которому не очень нравилась важность молодых людей с инженерными познаниями.

— Да, именно не адмиралтейский и не плимутский док,— как бы согласился Колокольцов.— Подойдет для чертежной. Плаз придется строить около стапеля.

Колокольцов снова прошел вдоль длинными шагами, ловко перебрасывая по стене сажень.

— Конечно, господа... Но потеснимся! — сказал он.

«Можно будет переменять чертежи и обойтись!» — полагал адмирал. «Но какое же это помещение...» — хотел подать мнение Сибирцев. Он тоже вынул свой складной фут и пошел по стене.

— Сколько, по-вашему? — спросил Колокольцов и с уверенным видом сложил свою сажень и спрятал в карман.

— Чуть не вдвое меньше, чем надо. Ведь нельзя же, господа, все чертежи так уложить, что ступить негде будет...

— Надо ступать не в сапогах,— сказал Путятин.

— Конечно, не в сапогах!

— Заведите себе японские туфли!

— Да и можно потесниться. Наложим чертеж на чертеж.

— И будем ступать осторожно, как ходят и у нас в чертежных и на плазах, в доках,— подтвердил Колокольцов.

Тут Ота-сан подошел и стал кланяться Путятину. В комнате появились юные девушки в темных кимоно, все хорошенькие как на подбор, и стали вносить маленькие столики.

Эгава был неподкупен и старателен. Но как можно не уважать Ота-сан, когда так вовремя и такие вкусные кушанья! Умеет подать и угостить, когда все проголодались. Адмирал, наверно, не дал бы передохнуть никому до самой ночи! Ну как тут не разрешить построить дом чрезвычайного размера! Человеку, который всех радует, все можно дозволить.

Намереваясь что-то доказывать дайкану, раскрыл было рот Сибирцев, но тут вошла немолодая женщина, но свежая и красивая, с большой прической, в опрятном и богатом халате. За ней появилась знакомая юная тонкая высокая японка в кимоно, затканном красными цветами. Ее он увидел, входя в Хэда. Сегодня на улице отдал ей честь. Пожилая опустилась с полным подносом перед дайканом. Одновременно молоденькая стала на колени около адмирала, подвинув свой поднос с горячими кушаньями и сакэ на его лакированный столик. Она поклонилась.

— Дочь господина Ота,— пояснил переводчик.

— Так что вы хотели сказать против этого помещения, Алексей Николаевич? — спросил капитан, уверенно беря палочками кусок сырой рыбы и макая ее в темный соус.

— Я... Я хотел... впрочем, несмотря на все недостатки, конечно, лучшего места... кажется... найти и невозможно! — меняясь в лице, пробормотал Сибирцев. Он пожал плечами, как бы недоумевая, как мог поддаться влиянию первого необдуманного впечатления.

Все вразнобой соглашались, уже никто никого не слушал, все налегали на вкусную и обильную еду, запивая нежным и приятным вином.

— Монашеские замашки адмирала наткнулись наконец на гостеприимство и небывалую щедрость,— шепнул Шиллинг сидевшему рядом Можайскому, который и ел и набрасывал в альбом девичью голловку.

За перегородкой почтенный Ота-сан, сдерживая недовольство, тихо сказал вошедшей упрямой дочери:

— Я тебе говорю еще раз: сними туфли и выйди к западным гостям босая. Так принято в Америке! Так выходили дочери самураев на приеме американцев в Синогаве, когда подавали еду и сакэ. Это по приказу нашего правительства, изучившего вкусы Америки.

«Это неприлично!» — могла бы ответить Оюки. Она понимала лучше отца, как надо себя сейчас вести и как надо выглядеть. Оюки не послушалась и снова вышла к гостям в гетта и носках.

— Вы японский язык учите с Гошкевичем? — спрашивал адмирал у Сибирцева.

— Да, я учил по вашему приказанию. Немного. Но сейчас даже это принесет мне практическую пользу.

Подавались раки, устрицы, моллюски в раковинах, похожих на чашки правильной формы или на широкие горчишницы с крышкой. Живая, сырая и вареная рыба. Сакэ в кувшинчиках...

Можайский попросил переводчика позвать дочь хозяина. Он показал девушке ее портрет в альбоме.

— Оюки-сан! — ласково сказал Можайский, показывая пальцем на рисунок, а потом кивнул на девушку.

Девушка просияла, но взглянула не на Можайского, а на Алексея Николаевича, как бы желая сказать: «Посмотрите и вы, какая я!»

Сибирцев с удивлением замечал, что здесь она держится совсем свободно, как европейская девушка, получившая хорошее воспитание.

— Голова закружилась после такого обеда, — восторженно молвил мичман Михайлов, когда все офицеры вышли в японский сад и закурили в ожидании адмирала, задержавшегося с хозяином.

Следовало отправляться на осмотр площадки, которую японцы предлагали для постройки стапеля.

— Как они на колени искусно опускаются с подносом!

— Кто же это такие были? — спросил старший офицер Мусин-Пушкин.

— Переводчик Татноске говорил, что это дочери самого Отасан, — пояснил Шиллинг. — Дочери и их подруги.

— Какой букет экзотических цветов! — заявил старший офицер с моржовыми усами и глубоко затянулся табачным дымом.

— Мне кажется, что дочь Ота только одна, — отозвался Сибирцев.

— Мисс Ота!

— А вы не идете с нами, Сибирцев?

— Поздравляю, Алексей Николаевич! До начала постройки стапеля адмирал отдал приказ назначить вас для подготовки чертежной, — выходя из дома, сказал адъютант Пещуров.

— Вот и будет у вас возможность познакомиться с мисс Ота поближе, — с оттенком зависти усмехнулся Михайлов.

«Мисс Ота! Мы с вами почти знакомы!.. Глаза у вас совсем не раскосые», — подумал Сибирцев и сказал в приливе хорошего настроения:

— Я также иду с вами, господа, на выбор площадки! Приказал капитан. Тем временем в доме приберутся..

Появился адмирал с японцами, и все вместе толпой отправились за ворота.

Глава 9

Слоры и отношения

На другой день, когда Колокольцов с переводчиком и Ябадоо явились в храм Хосенди, адмирал с всклокоченными волосами сидел за столом над вычерченными картами. Рядом с ним красный как рак штурманский поручик Елкин. Площадка, которую накануне показали японцы, негодна.

— Японцы лупят с нас бешеные деньги за каждую поделку и за любое бревно, — заговорил Колокольцов.

Вызвали Эгава, дайкана, усадили за большой стол и подали ему чай. Чин со свистом потянул горячую жидкость.

— Переводите ему, барон, — велел Путятин.

Эгава выслушал.

— Еще надо оплатить стоимость перевозки деревьев — пять хон, четыре бу и шесть рин, — ответил дайкан.

— И сколько мо? — осведомился Колокольцов.

Мо — это примерно четверть гроша.

— Ни одного мо. — Эгава сделал вид, что не чувствует насмешки.

— Они с ума сошли! — заговорил Пушкин, сидевший за журналом на дальнем конце стола. Он захлопнул черную тетрадь. — Прошу Эгаву-чин принять мое заявление: вокруг лес на горах. Рубчики у нас есть.

Эгава сморщил лоб и поднял брови, словно его осенило, он как бы только сейчас все сообразил.

— Мои матросы будут рубить сами,— сказал Путятин,— но поставка бревен силами ваших рабочих и обработка должны продолжаться. Откуда вы доставляете лес, если он так дорого нам обходится?

Эгава не имел права отвечать. Лес растет в глубине страны. Все, что находится на расстоянии семи ри от места пребывания эбису, строго сохраняется в секрете. Накахама Мацзиро, приехавший из Америки, объяснял Эгава, как это глупо! Иностранцы видят плохое вооружение японских воинов и отсутствие дисциплины, а мы скрываем от них сосны и овраги в лесу.

Эгава знал, что время идет, сам он под руководством князя Мито строит европейский корабль на берегу залива Эдо. Князь Мито уверяет, что освоил европейскую технику, никогда ее не видя.

Застучали энергичные звонкие шаги, и в храм вошел Сибирцев.

— Честь имею явиться, ваше превосходительство!

— Что с чертежной?

— Приступили к большому чертежу. Бумага нам по распоряжению Эгавы-чин доставлена самая лучшая, несколько сортов. Тушь, кисти, линейки. Часть инструментов делают наши матросы. Чертежные доски. Японцы помогают, и многие уже делают все сами. Господа офицеры и юнкера учатся владеть кистями... Нам прислан ученый японец-математик для точного перевода футов в японские меры.

— Кто его прислал?

— Ота-сан.

— Годно ли помещение?

— Вполне пригодно. Отличное.

— Не мало?

— Маловато.

«Он такой довольный и счастливый,— подумал Путятин.— А помещение мало!»

— Что вы такой довольный, Алексей Николаевич? — с раздражением спросил адмирал.

— Я? Нет, почему же... Напротив, Евфимий Васильевич, я ужасно озабочен и из крайних сил стараюсь сделать все возможное и удержаться... А чертежи втиснем...

— А вы японский язык учили, вы что-нибудь помните? Пригодилось вам? Вот с математиком надо познакомиться...

— Да, я докладывал вам, пользу это приносит практическую... Я и сейчас все время занимаюсь.

— Как же вы занимаетесь без учебника и без преподавателя? Разве это возможно? С кем?

— С японцами!

— В семье Ота,— пояснил Колокольцов, желая подать Леше разумную мысль.

— А-а...— удовлетворенно произнес адмирал.

Ябадоо, слыша, что повторяется имя Ота, сидел как на горячих углях. У Эгава тоска во взоре.

— Да и у самого Ота-сан. Я пользуюсь всяким случаем, чтобы изучать новые слова.

«Что он так сияет?» — снова подумал Путятин.

— И быстро идет?

— Да нет еще...

— Смотрите, господа,— рассердился Евфимий Васильевич,— теперь при работе и общении с японцами вы сближаетесь невольно, входите в их дома, знакомитесь с семьями. Не только за матросами, но и за офицерами смотрите, Алексей Николаевич, за юнкерами особенно!

На этот раз никто не засмеялся.

— Слушаюсь, Евфимий Васильевич,— покорно ответил Сибирцев.
— А теперь, господа, на осмотр места для площадки! Живо! Эгава-чин... Ябадоо-сан... пожалуйста с нами. Лодки чтобы были. Алексей Николаевич, оставьте за себя Карандашова, вы мне будете нужны...

— А как же обед, Евфимий Васильевич? — спросил осмелевший Витул, давно дожидавшийся в дверях.

— Да, пожалуй, надо пообедать... В три часа сбор на пристани, господа.

Евфимий Васильевич просил Эгава остаться, но японец поблагодарил, сказал, что срочные дела постарается исполнить к трем часам, надо все приготовить. Японские подрядчики, старосты, десятники ждут. То же полицейские и чиновники. Масса дел. Можно задохнуться... Эгава-чин ушел с хвостом своих подручных, в том числе и шпионивших за ним.

Он чувствовал, что невероятные доносы уже пишутся. Потоки писем перекрещиваются на дорогах между Нирояма, Эдо, Хэда и Симода... Чего только не наплетут! Самые страшные обвинения без подписей подкинута будут и в замок князя Мито! Говорят, что секта ничирен из храма Сиба хочет послать своих монахов на дороги, ведущие в Хэда. Странное намерение! Очень опасно. Храм Сиба — пристанище шарлатанов, вымогателей! Туда богатые люди сбывают опостылевших жен под видом сошедших с ума как бы для излечения. Монахи, считающиеся врачами, содержат женщин в клетках, избивают их и этим забавляются. Такие сведения о проделках секты ничирен доставил Танака, назначенный одним из старших мецке при постройке корабля, которая еще не начиналась и площадки для которой еще нет, но штаты полиции уже полные.

Ябадоо сидел у дайкана, который квартировал в храме за рекой. Сжавшись от душевного и физического напряжения, самурай излагал свой взгляд на происходящее. Посол Путятин недоволен, он не согласен строить корабль на предложенном вчера месте и грозится жаловаться японскому правительству. При таких обстоятельствах неизвестно, что произойдет. Подрядчик Ота желал бы производить постройку корабля на своей земле, но это, как полагал Ябадоо, очень неудобно. Возможно, что ужасная смута сеется подрядчиком Ота. Вполне достаточно, если чертежная находится в его доме, гнездо для корабля должно находиться на другом месте и на земле совершенно другого хозяина. Таков основной принцип справедливости.

Как всегда, Ябадоо прав, но бессилён. Где этот другой участок?

— Около моего дома, где принимали лес. Я согласен снести амбар и сад. И даже дом. Уйти жить с семьей в лес для славы и процветания Японии.

Это ярко и пышно сказано!

Участок из-под дома совершенно не подойдет. Нужен участок у воды, а не у горы. Под руководством старого Мито строить приходится далеко от воды. Эгава опасается, что всю эту затею постигнет неудача.

...Сибирцев пришел из Хосенди в дом Ота. Хозяин уселся за обед с ним вдвоем. Подавала мисс Ота. Она очень оживлена. Отец сегодня все время на нее поглядывал.

После кроекот хозяин Ота спросил у Сибирцева, правда ли, что молодой самый младший офицер, Сюрюкети-сан, который сегодня чертил со всеми, приходится... Ота-сан заволновался, но потом закончил твердо: приходится родственником великого императора России и поэтому служит у посла?

Кто-то пустил такой слух. Кажется, это Константин Николаевич Посьет, еще когда стояли в Симода. Но здесь помянул об этом Шил-

линг; желая набить цену себе и посольству, он рассказал переводчикам, что юнкер Урусов, красивый юноша, еще почти мальчик, с бровями как смоль, стройный, чуть выше среднего роста, похожий на японца, приходится родственником царствующей фамилии. Японцы не могут выговорить «Урусов» и называют Сюрюкети-сама.

— Да, это правда,— сказал Сибирцев.— Урусовы — родственники царствующего дома.

Он не стал объяснять подробностей. Но это правда. Урусовы, кажется, родня князей Юсуповых, а Юсуповы — родня Романовых. Дальняя родня, но по-японски, кажется, ближняя, и вообще японцам дела нет и не будет, дальняя он или ближняя родня. Они с восторгом и трепетом смотрят на Урусова. Его желания для них — как повеление kami¹². В деревне Хэда родные русского императора! Самодержца империи громадных размеров, от вечных льдов до жарких стран юга! Это чудесно!

Ота знал, что деревня Хэда не раз имела отношение к императорам. Однажды, еще недавно, император Японии подарил деревне Хэда рыболовецкое судно. И при судне подарена императором патриотическая песня. Она начинается словами: «Счастливо при императоре, счастливо!»

Ябадоо разучивает эту песню с рыбаками, и все вместе они при этом танцуют. А дареное судно попало теперь во временное управление не к Ябадоо, а торговому дому Ота. Об этом речь впереди. Споры идут ужасные.

— О-о! — вытянув рот, сделал испуганное лицо Ота. Казалось, нос его стал вдвое длиннее.— Но как же разрешается работать родственнику императора? Сегодня Сюрюкети-сама лежал целый день на брюхе и чертил, прихлебывая пустой чай.

— У нас разрешается. У нас император встает в шесть утра и начинает сам работать.

— О-о-о! — Ота показывал, что потрясен.— И есть у вас еще родственники государя России?

— Среди наших офицеров нет. Вообще у государя немного родственников. Только среди императорских и королевских семей Европы.

— О-о!

Ота практический человек, его проекты и расчеты точны, он всегда и во всем видел близкую возможность или далекую, но обязательную выгоду. В ясном уме его являлись такие сложные замыслы, о которых Сибирцев никогда бы не смог догадаться. Даже подумать не посмел бы!

Ота-сан самодовольно взглянул на вошедшую с чашками дочь. Она, конечно, расцветала!

Ота не желал пока еще посвящать в свои планы Аресей-чин. Но он очень благодарен Сибирцеву. Очень умный молодой человек. Он так и сказал дочери, что Аресей очень хороший, очень умный человек, она должна с ним быть очень любезна. Ота сказал, что очень интересно говорит Аресей. Очень хорошо, что он работает в нашем доме, ценный, интересный собеседник и советчик.

Оюки-сан почему-то разъярилась за эти слова на отца и покраснела до корней волос.

А мокрый, иззябший Ябадоо пришел домой и сам раздевался в сенях, жена подбежала помогать.

¹² Ками — князь, воевода.

— Сегодня никуда не пойдем,— заявил муж в комнате, заталкивая босые ноги под низкий стол, под одеяло, где была горячая жаровня.— Дождь сильный.

— Ну как твои дела с Кокоро-сан?

— Кокоро-сан очень хороший, умный! Очень верно служит своему императору! За каждое бревно, за каждую доску беспокоится. Это меня покоряет. Стараются, чтобы не заплатить Японии лишнего. Очень хорошо понимает в сортах дерева. Деревья называет по-японски. У него есть глаза и умение.

— Он с тобой вежливо говорил?

— Он офицер императора и умеет строить европейские суда. Если бы он грубо говорил, тогда не надо было бы это вспоминать. Как мог увидеть трещину внутри? Под корой все видит. Ответственность за постройку судна на мне, а они работать не начинают, только разговаривают. Погода им не дает. Но знают дело. Я успокоился, когда понял Кокоро-сан. Построит хороший корабль! Возраст дерева знает... Сухое или сырое. Сколько сушили!

— Он не японец!

— Нет.

Ябадоо имел слабость чваниться на людях. Дома он смешлив. Нагрев ноги, он вскочил и стал поспешно изображать, как ходит капитан, как ест посол, как матросы едят рис, а ложки прячут в сапог. Собрались девчонки, и все хохотали. Отец только умолчал, что Кокоро-сан звал его «старый хрыч».

— Да у Ота бардаки и магазины,— сказал самурай, утешая жену и детей,— а у меня — честный труд. Конечно, бардаки выгодней содержать, чем работать...

Утром небо проглянуло.

Ябадоо темнее тучи шел по берегу. Увидел Колокольцова и просиял. Сложил губы бантиком, словно пробовал конфетку. Он обрадовался, как будто встретил родного племянника.

Александр Александрович насторожился, почему Ябадоо стал так хорош. «Я его обругал вчера дураком, а он рад, словно сам оставил меня в дураках».

Ябадоо показал на бухту и на гору, куда вчера не попали. Он сказал по-русски:

— Поедем... сяде...

— Поедем,— отвечал Колокольцов.

— Хоросо!

Ябадоо, подойдя к Татноске, просил перевести, что сегодня после осмотра места скажет для Кокоро-сан что-то очень важное. Ябадоо нахмурил брови, грозно вытянул лицо и тут же ласково улыбнулся Колокольцову.

Глава 10

Ущелье Быка

Серые облака тянулись редью через теплеее солнце. В море, за полукруглой косой в валунах и в соснах, идут волны. В бухте волн почти нет, от этого вода кажется еще синей и холодней. Она прозрачна до далекого дна, где просматриваются с причала дохлые рыбины, как разбросанные большие куски белой бумаги...

Вода билась и хлопала под сваями, куда пришвартовалась сегодня большая японская фунэ, сэнкукуфунэ, «корабль в тысячу камней», Эгава подал его для посла.

Елкин встал у тяжелого бревна — правила с двойной лопатой на конце. Гребцы в коротеньких ватных халатах, падая, налегли грудью на весла. Длинная гора покатилась гучными быками коричневого камня мимо, фунэ пошла под вогнутой кручей. Деревня осталась позади.

В это время погода опять переменялась, угас сиявший в солнце пологий дальний берег, где местные плотники строили лодки для рыбаков. Сизые облака впереди набухли и разлохматились, небо потемнело от гор до гор, словно над бухтой натянули мохнатый потолок. Ветер захолодал, вода померкла и стала серой.

По коричневому, с лесом на вершине быку туман при сильном ветре сползал вниз. Фунэ вышла на траверз лесистого ущелья, и облако понеслось ей навстречу. Оно закутало все вокруг, но вдруг проредилось, приоткрывая лес и дремучее ущелье.

Японцы и матросы, видимо уже знавшие друг друга, перескочили с борта на свежепостроенный причал на сваях, закрепили канаты и поставили трап, делая все это дружно, без слов понимая друг друга, будто служили в одной команде.

Площадка частью вытоптана, а частью в кустарничках и молодых деревьях. Прокатана лесотаска, ведущая к причалу из ущелья. Наверху высокая круча вся в лесу, по ней идет в туман крутое ущелье. По чаще наверху заметен лишь широкий желоб из лесных вершин. Он подымается и тонет в мохнатом потолке облаков.

Внизу, у скалы, обрывающейся к морю, сбоку примостилась жалкая лачужка. Из нее высыпало многочисленное население — лохматые ребятишки, женщины и мужчина, малый и щуплый, как подросток.

В ущелье в стороне от тропы-лесотаски, на поляне — одинокий амбар с большой крышей. Крыша с навесом из осоки, как толстый шлем или дайканская шапка. Стены снизу не защищены, чтобы ветер гулял низом и сушил лес, там видны доски и брусья.

— Чей амбар? — спросил Колокольцов.

— Ота-сан, — ответил Эгава.

Ота тут. Он поклонился.

Ябадоо тоже тут. Он тоже поклонился. Сегодня может быть решительный день, и Ябадоо прощался с семьей так, словно шел на войну. Ябадоо знает про себя, что он грубый, страшный, строит рожи, всем грозит и наказывает зависимых от него рыбаков и рабочих. Надо, чтобы его боялись. Но он сердечный семьянин. Он помогает жене купать ребятишек. Свою младшую дочь-малютку он носит на руках, нежит ее, обнюхивает ее чистую головку. Страшный Ябадоо становится добрым, как старая баба, когда он дома. Поэтому на людях он старается казаться как можно грознее, чтобы видно было всем, что он настоящий самурай. Даже князь Мидзуно теперь обязан с этим согласиться. Иначе он враг правительства.

Очень утешает Ябадоо, как обругал его вчера смело Кокоро-сан. Сильный императорский офицер, гибкий, как стальной прут, олицетворяет здоровье и крепость. Ему только двадцать лет, а он всем распоряжается. Глядя на него и сознавая, что можно извлечь пользу и научиться европейскому кораблестроению, Ябадоо забывал свою неприятность, грозившую стать горем. А нет такого японца, который не смотрел бы далеко вперед и не желал бы иметь крепкую ограду и запоры у своего дома. Кокоро-сан обругал его грубо вчера. Он этим понравился. Принимая доски и бревна, он выказал дельное мужество, хозяйскую сноровку и скупость! Как раз это нужно...

Лесовский отошел к опушке леса, вымеряя площадку шагами. На мокрой траве оставались следы его кованых каблуков.

Стапель еще не проектировали, но Степан Степанович с видом хозяина прикидывал, как он встанет. Для стапеля площадка может быть покатою, это даже хорошо, но тогда грунт должен быть твердым.

Эгава записывал, сколько камня потребуется. В горах трудятся камнеломы, забивают в скалы деревянные клинья, потом этот клин бухнет и дерево ломает камень. Русские еще не подумали, а Эгава знает, что тут почва сползет в море, если ее в обрыве у воды не укрепить камнями.

Все пошли за адмиралом к сараю, в котором хранился лес.

Запахло очень приятно кипарисом, или сандаловым деревом, или просто хорошей душистой сосной.

— Доски и брусья заготовлены давно и хранятся здесь,— пояснил Ота,— но постройка фунэ прекращена до тех пор, пока мы не научимся от вас строить западные суда.

— Хорошей пилки. Сухие доски,— сказал Колокольцов.

— Спасибо,— ответил Ота.— Эти доски я дарю вам... совершенно бесплатно...

Ябадоо бессилен. Но Ябадоо чадолюбив. Вечер вчера и все раннее утро сегодня он провел с детьми. Поэтому так мрачен. Нет от них радости. У него нет здоровых, крепких сыновей, каким сам он был в их возрасте. Он знал, что у захудалых самураев и у мелких пыжащихся чиновников, у этой мелкой сошки, выдающей себя за аристократов, всегда дети нездоровые. В этих семьях стыдятся труда. Но еще хуже у князей, их сытые, здоровые сыновья-красавцы поймают на девке триппер, стыдятся, скрывают и гниют заживо или так потом истаскаются, что негодны стать отцами. Самое страшное для Ябадоо — остаться без крепкого наследника. Его первая цель в жизни — стать самураем. Вторая — иметь наследника. Чем сильнее наследник, тем лучше для Японии. Третье — для себя — опередить Ота, стать богаче Ота... И научиться западному судостроению. Но держишь мальчишку на коленях, а думаешь, что слабенький и глупенький. Как же тут не важничать на улице перед людьми!

— Здесь строились когда-то корабли для перевозки нашего камня в столицу,— объяснил Эгава, выходя.

— Поручик, произведите промер у берега,— сказал Путятин, обращаясь к Елкину.

— Зачем это пригодится? — спросил Деничиро.

Это новый чиновник из столицы. Третий по важности и чину после Накамура Тамея и Эгава. Деничиро в прошлом году ездил на Сахалин по поручению правительства. Он не член делегации Японии, но один из самых энергичных молодых ее служащих.

— Необходимо знать глубины для спуска корабля,— ответил Путятин.— А как называется это место? — обратился он к дайкану.

— Это Усигахора.

— Долина Быка,— перевел Татноске.

— Чья же тут земля? — спросил Сибирцев.

Его начинали интересовать отношения крестьян и помещиков в Японии. Крепостного права нет, но есть зависимость, суть которой не до конца понятна.

— Это земля Ота-сан,— неохотно ответил Татноске.

— А чья гора?

— Это гора господина Ота.

— А мне сказали, что вся северная часть деревни с прилегающими землями принадлежит князю, а южная — другому князю?

Путятин сам помещик, его также интересовали земельные отношения. Он взглянул на дайкана. Эгава понял, что придется объяснять.

Все, что они хотят узнать, до сих пор, наверно, тоже являлось тайной. Вообще тайн так много!.. Но если посол зачислен в список Эдо, а страна открывается и подготавливается для международной торговли, то на такой вопрос можно ответить.

— Это владения князя Мидзуно из города Нумадзу,— сказал Эгава.

— Как же вы говорите, что земля и гора принадлежат Ота?— обратился Сибирцев к Татноске.— Может быть, земля в аренде у Ота?

— Да, да,— закивали японцы.

— Или это собственность Ота?

И с этим согласились. Потом Татноске сказал:

— Нет, это не аренда. Это земля Ота.

— Или владения князя?

— Да, владения князя...

— Господа, довольно воду в ступе толочь! — объявил Степан Степанович Лесовский.

— Эти доски пойдут на лекала,— заметил Колокольцов.

Вызвали матросов и рабочих.

— Выносите все! Тонкие доски кладите отдельно,— велел Александр Александрович,— а плахи нужны для стапеля. Скажите переводчику, чтобы их люди помогли.

Вошли японские рабочие, прибывшие с Эгава и до того сидевшие на поляне на корточках.

Вася Букреев впотьмах не заметил чурбана и зашиб ногу.

— Едят тебя мухи! — запрыгал он.

Молодой японец Таракити с трудом подхватил опущенный конец плахи.

— Давай-ка, брат! — сказал Берзинь.— Бери... А теперь...

— Раз-два — взяли! — сказал по-русски Таракити.

Это тот самый молодой японец, который в храме Хосенди, когда Колокольцов стал при всех иронически отзываться о японском судостроении, вдруг спросил серьезно: «А как у вас?» Еще тогда все обратили на него внимание. Адмирал потребовал, чтобы вопрос молодого плотника был немедленно переведен.

Берзинь и японец подняли на плечи и вынесли тяжелую доску.

— В этом помещении, господа, можно расположить кузницу,— сказал Путятин, осматривая сарай снаружи.

Шиллинг перевел по-голландски, что помещение годно под кузницу, но надо переменить крышу. Соседний сарай адмирал приказал разобрать, нужна площадка для стапеля.

— Есть ли у вас кирпич? — спросил Колокольцов дайкана.

— Да, конечно, кирпич имеется. Сообщите, сколько надо, мы доставим лодками.

— Мы уже говорили, что дальше нам не обойтись своими плотниками и кузнецами. Работы будет много.

— Все плотники этой деревни работают, выполняя заказы адмирала. Сюда идут плотники-судостроители из других мест. Всего будет семь артелей.

Елкин вернулся с промера, когда адмирал и офицеры стояли у самого начала ущелья, казавшегося крутым, падавшим с неба желобом, заросшим лесом.

— Наверху хороший лес,— показал Елкин на обрыв.— Надо рубить и валить, не спрашивая цены.

— Как это не спрашивая цены? — спросил Евфимий Васильевич.

— Алексей Николаевич, этот сарай разобрать, а тот под кузницу,— велел Колокольцов.— Производите съемку площадки и расчеты.

Я полагаю, места тут вполне достаточно, однако часть горы придется срезать, чтобы поставить кнехты.

Колокольцов и Сибирцев прошлись по всей площадке. Потом оба враз вскочили на каменный обрыв и стали подыматься вверх по липкой и мокрой траве. За ними полезли матросы.

— Сосны и тут же пальмы растут! — воскликнул Леша.

Внизу затрещали стены сарая, доски и стропила полетели на землю...

Когда все возвратились в деревню, у ворот чертежной стояла толпа девиц, глядя на часового.

— Их никакой силой не отгонишь, — пожаловался матрос.

— А что им надо? — спросил Лесовский.

— Да просто стоят и ничего им не надо!

Утро. Под открытыми окнами чертежной цветут красные камелии. Стены убраны. Офицеры и юнкера без мундиров ползают по полу, лежат на листах бумаги с линейками, циркулями, кистями и чертежными карандашами. В окна заглядывают дети хозяев.

— Юнкер Корнилов, дайте рисунок крепления шпангоута с килем, — велел Колокольцов. Он попросил чиновников потесниться, а плотников сесть поближе.

Японцы окружили бритыми головами столик, на котором появился чертеж.

— Смотрите. Вот эти две части скрепляются стальной пластиной, которая согнута и образует прямой угол. Одна сторона крепится наглухо к килю, а другая к шпангоуту. Ваши японские суда строятся целиком из дерева. На наших кораблях множество железных частей. Все рисунки будут готовы для кузнецов завтра.

Рассмотрев чертеж горна и мехов, Эгава сказал, что уже привезены японские мехи, которые для японских мастеров привычней, и что японцы будут разогревать поковки по-своему, а русские кузнецы могут ковать, как им привычно.

— У них мехи, Александр Иванович, — сказал кузнец Залавин, — как ящик с поршнем. Вроде паровой машины.

— Завтра, господа, с утра прошу представить мне ваших мастеров, с которыми я буду работать, — сказал Колокольцов. — Устройство корабля я должен объяснить не чиновникам, а мастерам. Срочно начинаем дело. А теперь — адъё...

— Что такое «адъё»? — спросил Татноске. — На каком языке?

Колокольцов поспешно улынулся и постарался полюбезней распрощаться с дайканом. Остальных чиновников, пожелавших задержаться, велел гнать из чертежной как шпионов и никого не подпускать зря.

Ябадоо с крыльца вперил свой свирепый взгляд в топор, которым матрос тесал лекало.

Колокольцов вышел. Солнце грело по-весеннему. Ябадоо кланялся и, подойдя, заговорил по-японски. Из лагеря слышались крики унтер-офицеров.

Татноске объяснил Колокольцову, что Ябадоо приглашает его к себе на обед. Колокольцов нащупал в кармане куски сахара, который сам завернул в японские чистые салфетки. Он раздавал сахар столпившимся во дворе детям. Почтительно глядя на Колокольцова, самурай сморщил лицо, вытянул губы дудкой и все кланялся, а переводчик повторил, что Кокоро-сан приглашается сегодня на обед...

В храме Хосенди адмирал собрал за длинный стол всех, как на военный совет.

— Господа офицеры! — объявил он. — Приступаем к закладке

первого европейского судна в истории Японии. Нечего говорить вам о значении этого. Господа! Я назначаю командиром строящегося корабля Степана Степановича! А заведующим постройкой вас, Александр Александрович! Сам я в ближайшее время должен буду отправиться в город Симода, чтобы продолжать переговоры с японским правительством. Наш корабль — школа для японцев. Но все зависит от вас, господа, и также от наших людей... Через матросов нам от японцев стало известно, господа, что правительство пригрозило рабочим наказаниями и требует от них величайшего старания в изучении наших способов постройки судна.

— Сегодня же начинаем прсектировать стапель,— объявил Лесовский.

Вечером Колокольцов сидел у Ябадоо за лангустами, кроветками и сакэ. Самурай вытягивал губы дудкой. Пили из маленьких чашечек. Ябадоо долго что-то объяснял. Оказалось, что он просит переехать Александра на другую квартиру.

— Куда? Зачем?

Ябадоо ужасно смутился. Потом приосанился и пояснил, что если переехать к нему, то удобней будет работать вместе, можно все время говорить о деле и советоваться, приходиться пить чай. К этому дому ближе источник с хорошей водой. «Однако,— подумал Колокольцов,— предложение, конечно, заманчиво». Ябадоо добавил, что даст несколько комнат. Александру будет очень удобно и тихо, у него будут слуги.

Убраться с глаз капитана — ради одного этого стоит! Неплохо бы зажить вольной жизнью! При всей своей строгости, любви к делу и самодисциплине, Александр полагал, что все же тут он зажил бы на славу! Японец и царь и бог в своей деревне. Но надо очень осторожно... Пока нечего и заикаться. А Ябадоо, кажется, умел брать быка за рога.

Вошла жена самурая, на этот раз с Сайо. Обе встали на колени перед Александром. Сайо — как статуэтка, она маленькая, тонких форм, у нее свежие щечки, взгляд глубокий, но острый и со странным оттенком, как бы покорной оскорбленности. А все же что-то милое и очень привлекательное есть в скуластом обиженном личике.

«Обязательно надо переехать!» — решил Колокольцов.

На другой день Ябадоо-сан созвал рыбаков. Официально он беседовал только со старостами артелей, но к Дому Молодежи все собрались кто мог, все желали знать, что скажет Ябадоо. Необходимо было очень ясно объяснить рыбакам всю их ответственность. Время опасное. Эбису — это дикари, варвары. Их надо страшиться. Очень опасно просто приближаться к ним.

Рыбак Сабуро из дома «У Горы» слушал и улыбался. Это дерзость, безобразия! Говорит самурай по надзору над рыболовством на опаснейшей морской границе, а парень из нашего дома «У Горы» слушает с веселым видом.

Фамилий у рыбаков и крестьян не было. Запрещено иметь фамилии! Так они ухитряются обходить запрет. Название дому не запрещено давать. Есть дом «Кит». Есть дом «У Горы», и прозвища домов потом становятся привычными в обиходе и звучат как фамилии крестьян и рыбаков.

Рыбаки — самые ничтожные, самые нищие люди в Японии! Самые низшие! Хотя и в крестьянском сословии. В части деревни князя Мидзуно есть шестьдесят один рыбак. А в другой части, принадлежащей Огасавара, — тридцать шесть рыбаков.

А У Горы как бы сдерживал ухмылку. Безобразия! Плохой ры-

бак! Очень злой и пьяница. Совсем еще молодой, а говорит, что море знает лучше всех, умеет лучше других ловить. Но где водку берет? Пьянчуга ужасный!

— Нельзя сближаться с эбису. Отходите сразу, если они подходят. Рыбы не давайте. К источникам воды не подпускайте, могут отравить.

— Ах так! — злобно вскрикнул старый рыбак.

Толпа заволновалась. Источниками воды богата деревня, все родники оберегаются.

— А они купаются в реке.

— Это ничего... Пусть... А то они очень грязные, вшивые и вонючие...

Опять прошел шум по толпе собравшихся у Дома Молодежи.

— Мы их учим и стараемся отмыть. Если не хотите заболеть, чтобы зараза попала в дом, близко не подходите, не пускайте в дома и не разрешайте детям и девушкам подходить к ним близко. Это несносные люди, очень плохо плавали по морям, ленились. Корабль был плохой, разбился. Бакуфу их пожалело как несчастных бродяг и разрешило нам их кормить и дать им работу — сделать другое судно и скорей убраться прочь из Японии, чтобы никогда сюда не приходили. После их ухода будет огнем выжжен их лагерь, их дома. Вместе с их вещами будут заживо сожжены правительством все, кто с ними вел знакомство. Если от них останутся дети, то будут убиты, а взрослые сожжены. Выжечь память о них из японских сердец. Вы умные, честные рыбаки. Вам император Японии подарил песню. Начинается: «Счастливо при императоре...» И при песне корабль! Это честь! И вы должны оправдать...

Тут парень из дома «У Горы» хмыкнул. У него в кармане деньги. Он взял рыбу из общего улова и отнес офицерам в Хонзенди... И ничего страшного! Дикарь наш самурай, а не мы и не эбису!

Но самурай заметил ухмылку. И он увидел даже больше, чем было на самом деле, как бдительный страж от правительства бакуфу, который очень строго, строжайше запрещает другим делать то, что сам делает. Но никто про это не знает, а некоторые догадываются и думают: мол, и нам можно... Нет, вам нельзя! Мы вас научим порядку! Заставим уважать песни императора!

Надо было наказать этого парня из дома «У Горы» как следует. Что нам с ним сделать? На чем бы его поймать?.. Наказать примерно в Доме Молодежи, который построен не только для собраний, но и для наказаний. Ябадоо советовался с опытным мецке Танака-сан, старшим инспектором полиции. Тот ответил — совсем необязательно иметь доказательства. Винават каждый. Невиноватых нет. И чем меньше доказательств, тем надо страшней наказывать и тем это полезней, так как устрашает остальных рыбаков.

Убедившись, что старшины рыбаков озабочены, Ябадоо уже думает о возможной ужасной судьбе своих детей, о соблазнительном христианстве, за проповедь которого правительство приказывало кидать в кратеры вулканов целые семьи, о болезнях, зараза которых может проникнуть в дома, обо всем множестве опасностей, грозящих Японии...

Тут расшвирипевший было Ябадоо увидел идущего Колокольцова, наскоро отдал рыбакам распоряжение и, просяв, сложил губы бантиком, поспешил к нему с поклонами и подал руку по-западному.

Во дворе чертежной Аввакумов, Глухарев и Сизов заканчивали лекала шпангоутов. Теперь предстояло тесать лекала поворотных шпангоутов.

Колокольцов велел подать два лекала. На полу, с которого убрали циновки, сидели семеро старшин плотничьих артелей, семеро японцев. С утра вымытые чисто, в новых халатах. Пришли с тушью, кистями, с бумагой, с измерительными инструментами, с угольниками и линейками. Сидят, поджав ноги, и слушают.

Все видели, как во дворе матросы мелом размечали доски и вырубали топорами лекала. Сегодня японские плотники познакомились с таблицей русских мер. Опасаясь, что пожилые плотники понимают все медленно, Колокольцов больше обращается к молодым.

Теперь, как полагает плотник Таракити, надо ему нанести меры: русские и японские на собственный угольник и на линейку с разных сторон, и, переворачивая инструмент, можно сразу переводить одни меры в другие. Но есть много еще неясного, надо будет узнать, спросить ученого-математика Матсусиро, вопросы имеются.

— Это не части корабля, который мы будем строить,— объяснял Колокольцов.— Это лекала. По их размерам из сосновых шпук, из кривых сосен будем вырубать части шпангоутов. Главная часть нашего строящегося корабля— киль. Постройка судна начинается с установки кия. Киль— это продольная балка, или, как называется у вас, кость дракона...

Плотники засмеялись:

— Кость дракона!

Рядом с Таракити сидит плотник Оаке. Щурится и тщательно перерисовывает киль на свою бумагу, выпуская ее левой рукой из свертка, словно пишет письмо.

Эгава пришел и сел в сторонке и тоже стал рисовать. Жажда знаний низвела его до такой простоты. Почти в ряду с плотниками! Эгава знал, что такое киль, он изучал голландские науки.

— Киль придает кораблю устойчивость,— продолжал свой урок Колокольцов.— Килевые суда проходят огромные расстояния, плавают вокруг земного шара, выдерживают штормы... Как вам должно быть известно, Земля круглая... Японцы смогут плавать по всем морям, когда научатся строить килевые суда...

Когда лекция окончилась, Таракити попросил позволения поговорить.

— Говори,— сказал Колокольцов.

— Как и куда надо поставить киль и на чем он держится во время постройки?

— Строится стапель, и киль устанавливается на стапеле. Это увидите скоро. Но прежде чем строить стапель, надо расчистить площадку от кустов, колючек и ваших карликовых пальм, заготовить лес, построить причалы, свезти материалы... Начнем работу с изготовления лекал по чертежам. Прежде посмотрим на лекала... Нам бы таких учеников побольше! — обратился Колокольцов к офицерам.

Таракити смотрел, как Сизов, глядя на рисунок, тешет топором доску. Таракити взял малую пилу и, ставя доску стоймя, начал выпиливать, глядя на чертеж. Пила в аршин длины, но широкая, изогнутая, как дуга. Матрос смотрел, как может плотник управляться таким инструментом. Плотник тянул ее к себе, а потом, казалось, пила сама тинет обратно, своей тяжестью давит и режет дерево, дело шло, и все получалось. Весь чертеж японец изрисовал иероглифами. Иногда измерял расстояние между меловыми отметками и сверял по чертежу. К обеду он прислонил кривое готовое лекало к каменной стене двора.

— Был бы табак, стоило бы тебя угостить! — сказал ему Сизов.

Японец, кажется, догадался и достал коробочку с табаком. Матрос взял у него кусочек тонкой бумаги и скрутил сигарку.

— Господин Ота,— говорил Колокольцов за обедом,— надо срочно изучить европейские цифры вашим плотникам, чтобы разбирать наши чертежи.

— Мой сын всюду на чертежах для плотников ставит русские цифры рядом с японскими цифрами.

За столом сидел еще один самурай, тоже серый как ворона, из вновь произведенных деревенских грамотеев.

— Матсусиро-сан, математик, будет изучать русские цифры и преподавать плотникам,— отрекомендовал Ота.

— Какого размера строится корабль? — спросил математик.

— Семьдесят семь футов в длину.

— Может ли такой корабль обойти вокруг света?

Пришлось отвечать.

Плотники уходили на обед по домам.

— Смогут ли японцы плавать в другие государства, если будут строить килевые корабли? — спросил плотник Таракити у дайкана Эгава.

— Но другие, еще большие корабли строятся совершенно по таким же правилам, как эта шхуна. Нам важно изучить, как высчитывать соотношение частей и центр тяжести корабля.

— А-а! Хи-хи-хи! — согласились плотники, поражаясь широте взглядов и необычайной, небывалой простоте обращения дайкана, который прежде никогда с простыми рабочими не говорил, а только через двух чиновников, через две ступени передавал им важные распоряжения.

Эгава знал, что американцы дружелюбны по договору, но не дали чертежей, поэтому надо воспользоваться всем чем возможно от Пуяттина, который проще и добрей Перри.

Ябадоо восхищался. Колокольцов деятельный, очень хорошо изменяется в лице, всегда совершенно по-разному говорит с разными людьми. С адмиралом, например, не так, как с Лешей, и не так, как с морскими солдатами. При разговоре с японцами у него появляется еще одно лицо. Это чудесно! Но отлично понятно, куда метит Ота, за чем он узнает про родственника русского императора... Однако надо наказать парня по имени Сабуро из дома «У Горы».

— Алексей Николаевич, вы что не спите? — раздался ночью за перегородкой голос Можайского.

— Холодно. Согреться не могу.

— Ужасный холод. Мне кажется, нигде так холодно не было, как в Японии.

— Это все из-за их жаровень! — послышался за другой перегородкой раздраженный голос Колокольцова.— Печей нет, какая-то хлябь, сырость, ни согреться, ни отдохнуть.

— Вот вам и страна цветов... И день и ночь зябнешь... Да это из-за их способов обогреваться. Печей не строят, всюду опасаются пожаров...

Утром все умывались. Денщики и японцы подавали воду и полотенца.

— На реку не пойду сегодня. Я, кажется, господа, не выдержу и перееду на квартиру к японцу,— заявил Колокольцов, застегивая наглухо мундир.— Больше я не могу тут мерзнуть.

— Я велю Сидорову и Онищенко, пусть сложат для нас печи,— сказал Михайлов.

— Право, теперь уже не стоит, весна на носу. Несколько дней осталось,— сказал Колокольцов.

— А вы? В самом деле?

— Да, я, пожалуй, перееду.

— Но как посмотрит на это японское правительство?

— Имейте в виду, Александр Александрович, что у них ничего не делается без ведома правительства и ничего от его взора не ускользнет,— сказал Сибирцев,— и если кто-то приглашается, то это что-то означает...

— Благодарю, господа!

— Вы как японец!

— За последние дни они заметно стали опасаться и сторониться нас. Не будет ли неприятности вашему квартирохозяину?

— Нет, право! Японец — уполномоченный от бакуфу по судостроению, мы целыми днями работаем вместе...

— И он вас приглашает переехать?

— А как адмирал?

— Евфимий Васильевич даже рад. Случай небывалый в истории. А означает это, господа, и вы должны помнить мой совет и наставление, — шутливо продолжал Колокольцов, — что японцам от нас нужно судно и они не иначе как еще при нас сами постараются заложить точную копию нашей «Хэда»... И им до смерти нужно наше руководство при этом. И ради этого они согласны на все и все нам предоставят. Разумеется, при условии, что мы порядочные люди и не тронем самых сокровенных основ их жизни.

— Вы хотите сказать...

— Да... религии... обычаев... семьи... нравственности.

Открылась дверь, и с улицы в общую комнату, где собравшиеся офицеры стоя разговаривали в ожидании, когда будет подан завтрак, вошла Оюки-сан. Она была в темном ватном халате и белых носках-перчатках, с распущенными из-под наколок косами. Девушка встала на колени перед офицерами и поклонилась низко, но с достоинством. Темный халат очень шел ей, она становилась гордой, строгой и серьезной.

Десять молодых людей замолкли.

Вбежал Татноске.

— Извините... ах, я опоздал... я нечаянно ошибся... Извините, — заговорил он по-немецки. — Оюки-сан прислана от... от... чтобы слушать в этом доме и создавать... благородный уют!

— Ваше благородие, кофе подан! — входя, сказал матрос в белом, обращаясь к Карандашову, который ведал офицерским хозяйством.

— Пожалуйста, господа... не знаю, понравится ли то, что я мог сегодня.

— Японцы назначают нам служанок? — спросил его Колокольцов.

— Да, я слышал еще вчера, но не совсем понял, — сказал Пушкин, — и решил не верить прежде времени.

Вспыхнул общий разговор. Офицеры стали строить предположения и догадки, раздался смех.

— Господа! Пожалуйста, будьте... я должен вам объяснить... боже вас спаси предполагать здесь что-то... — забеспокоился Карандашов.

— Как можно!

— За кого вы нас принимаете?

— При рыцарском отношении к женщине...

Голоса оживились, но тон их разнился от смысла слов.

— Господа, предчувствуя, что все вы рыцарски станете оспаривать внимание, я и решил переехать поскорей отсюда, — шутливо сказал Колокольцов.

Сибирцев вышел вместе с Колокольцовым.

— Знаете, Алеша, она прислана для службы в нашем доме, но не для нас, боже спаси так подумать,— сказал Александр Александрович.

— Зачем же тогда?

— Она прислана в личное распоряжение юнкеру Урусову, которого японцы считают родственником нашего государя-императора и считают себя обязанными...

— А почему вы уезжаете? — спросил Алексей.

Колокольцов слегка покраснел и через мгновение ответил:

— Я только ради дела... Но каюта остается за мной.

Они прошли несколько шагов молча.

— Чтобы такая их любезность не бросалась в глаза, сегодня будут присланы еще три девицы. Японцы вчера объяснили Карандашову, что наши матросы не могут убирать помещение и так заботиться о личных вещах офицеров, как это сделают женщины. Но так как семейных женщин, по их закону и обычаю, нельзя ни в коем случае допускать, а тем более ввести в мужское общество, то это вменено в обязанность наиболее образованным девицам... Их мало здесь, но они есть, так как село богатое. Тут и нищих много... Но есть и кулаки. И учат детей как следует. Даже высшие чиновники удивлялись, говорят переводчики, видя в Хэда так хорошо одетых девиц, обученных всему, в том числе и приличным манерам, умеющим петь, танцевать. Поручение дано честным девицам, известным достойным поведением... Я еще предупреду господ офицеров... Адьё, мой друг! Я сегодня перееду.

Глава 11

Грохот в ущелье Усигахора

Рынду, которую с «Дианы» перед ее гибелью снял Николай Шиллинг, матросы привезли на Усигахора, построили перекладину и подвесили. Будут бить склянки, как на корабле, в этом дремучем и сыром, темном ущелье.

Но каков вид! Можайский и Сибирцев стояли на берегу у входа в ущелье, смотрели в сторону моря и не могли оторваться. Отсюда, с Усигахора, видна огненно-снежная Фудзи сверху до подножья, которое кажется сейчас купающимся в ярком, как синька, океане. Фудзи как бы стоит в воротах, которые прорублены природой в бухте Хэда прямо на великую гору. Площадка, где начинаются работы, ворота в океан между горой и косой из валунов и сосен и Фудзи стоят на одной линии. Но голубое подножье Фудзи уже, чем эти ворота, и гора кажется отсюда бережно поставленной прямо посередине. На Фудзи ни облака. Все тучи унесло. У Фудзи вид чистый, мечтательный, чуть грустный, словно она не видит, не всматривается, знать не хочет о том, что начинается на другом берегу залива, в горной морщинке над круглым кратером утонувшего вулкана. Синее море, голубое подножье Фудзи и белоснежная вершина! Японцы считают ее, кажется, мужчиной, рыцарем и богатырем. Может быть!

Узкое ущелье Быка, заросшее лесом, кустарниками и колючками, скатывается крутым желобом к морю. Тропа и ключ почти заросли и заплетены чащей колючек, царапающей сапоги. Ноги скользят по сырой глине и по склизким уступам камня, обросшим мхом и лишаями. Тут и сыро и мокро, на деревьях влага, а на вечнозеленых деревьях по листве, как роса,— сплошные капли.

Много кедров, сосен и хиноки. Древесиной и стволом хиноки по-

ходит, кажется, на кедр, формой громадных ветвей — на кипарис, а зеленью — на тую.

Вода бывает тут большая, выкатала на каменном ложе овальные ступени, эти громадные валы уложены как бревна друг на друга. Слабенький ручей журчит сейчас, можно представить, какие водопады гремят в ливень.

Алексею Сибирцеву и Александру Можайскому с этой каменной лестницы отлично виден клин площадки внизу под горой, где решено ставить стапель. Дальше синее блюдо бухты, открытые рыже-красные ворота в океан и поднимающаяся над ними еще выше сиятельная Фудзи. И чем выше поднимемся мы, тем еще более гордой и мощной будет она.

— Открытый стапель! — говорит Можайский. — Как же? Здесь тайфуны и периоды дождей, вероятно, бывают. Когда? У японцев даже этого толком не узнаешь.

— Нельзя шхуну, однако, строить на открытом стапеле. По сути, тут надо ставить док...

— Надо вырыть два отводных канала для стока ливневых вод, — протягивая руки над бухтой и лесом, говорит Можайский.

— Вот их сокровище, их подлинная тайна... Фудзи... Если бы тебя увидел кто-то из наших великих поэтов... — отозвался Сибирцев, прикрывая бухту и ближние яркие горы ладонью и глядя лишь на Фудзи.

Матросы с треском идут снизу по круче. Толпа их в красных фланелевых рубашках быстро движется вверх. Матросы в сапогах, с топорами, пилами и веревками.

— Зараза, твою душу! — яростно восклицает Маслов, с ожесточением ссекая вокруг себя, как бритвой, серую чащу колючек.

— Топор не затупи!

Все остановились на каменной выбоине пошире и стали закуривать.

Внизу круглая и синяя плоскость бухты с ожерельем из скал, из камней, из садов с апельсинами, из соломенных крыш. Кое-где яркие красные кусты цветов. И над всем синее небо, чуть светлей необычайно яркой сегодня бухты.

Фудзи за морем покрылась голубыми полосами сверху вниз по снежному склону и стояла, как на праздничной молитве, вся в голубых лучах.

Лейтенанты что-то записывали, высчитывали. Можайский, щурясь, прикидывал, вытягивая руку с карандашом.

На огромной высоте, на скале раздался крик. Над отвесом стоял у обрыва Букреев.

— О-ёё-о-о... Ва-ся-я! — закричал снизу Маслов.

Матросы ринулись вверх как по команде. Карабкались умело и быстро, видно, еще не успели запомнить, как их гоняли по реям, когда снизу неслась вдогонку и подгоняла брань и угрозы. Но сейчас никто не гнал и не грозил.

Внизу подул ветер. Выдул барашки. В море перемена. Пошли волны, а бухта стала зеленеть, и зеленые волны в слабой пене похожи на волнующееся поле в колосьях или на камыши. Забрались высоко! Тут холодней, ветер иногда прорвется, ударит по деревьям. Лес хорош. Дивный лес! Что ни ствол, то золото. Корабельный лес по виду, но какова-то окажется древесина в поделках.

Ударом топора Сизов сделал надруб на красной коре. Семен Маслов ударил со своей стороны, топоры задубасили в черед, щепки полетели.

Алексей Сибирцев видел, что древесина хороша, но поддается топору. Однако еще ничего пока не известно, ломкая ли сосна, как от-

паренная доска пойдет на сгиб, вязкая ли. Пригодится ли дерево, или придется ждать, когда пригонят по морю бревна, вырубленные в глубине полуострова. По всему ущелью до самого неба застучали топоры.

— Ну, вот и они! — говорит Маслов. — Эй, приятели!

Снизу по тропе через кустарники гуськом лезли японцы с пилами, топорами и баграми.

— Берегись...

Дерево выстрелило, лопнула древесина, вершина стала клониться. Матросы в высоких кожаных сапогах и японцы в сапогах из стеганой бумажной материи, обшитых кожей ниже щиколотки, отошли на очищенную площадку и сбились в толпу. Ствол упал на кручу, но подпрыгнул на каменных ступенях речного ложа, вышиб фонтан из выбоины и, как стальная пружина, перепрыгнул на нижние ступени, закрывая ручей ветвистой хвоей. Видно было, что хлыст крепкий, как сталь.

— Ой-ой-ее-оо!.. Вася-я!.. — кричат в лесу.

Молодой японец Таракити, с большим выпуклым лбом и глубоко сидящими глазами, подошел к вершине упавшего дерева, вынул из чехла широкую ручную пилу и стал ее прилаживать на сосновой развилке.

Сизов срубал ветви от комля к вершине, ступая вниз по каменным ступеням спиной вперед, захватывая левой рукой ветви, а правой ссекал их топором, пока не задел спиной спину Таракити, подымавшегося навстречу.

— Здорово, Никита, — сказал матрос.

Дальше ствол был чист. Таракити, которого матросы звали Никитой, все спилил. Каждый сучок срезал аккуратно.

Таракити кивнул вежливо. И матрос кивнул ему. Не сговариваясь оба взяли за бревно и перевернули его, чтобы срезать острые, как ножи, обломы ветвей, на которые дерево легло при падении в ключ.

Страдая одышкой, с лицом в тяжелом поту, поднялся японец с саблей. Не в силах перевести дух, Танака молча уставился на Таракити и на Сизова с упреком, как бы желая сказать: мол, еще не знаю, как на это велено будет посмотреть...

Матросы узнали мецке, который сопровождал Букреева и Аввакумова с товарищами на джонке. Все стали оглядываться на полицейского и при этом смеяться. Чувствуя, что на него обращено общее внимание, мецке исчез.

— Улизнул твой городской, брат Никита! — молвил Сизов.

Таракити не лесоруб. Он плотник, но пошел с партией рубщиков: Эгава объяснил ему, что для западного корабля потребуются сосновые развилки и надо будет учиться у морских мастеров, какие выбираются сосны в лесу.

Японцы подбежали, воткнули багры в очищенный от сучьев ствол и дружно потянули. Таракити, нагибаясь, подкладывал под дерево кругляши, и огромное дерево покатилося на них вниз как на колесах. Японцам приходилось удерживать его.

Артельный лесорубов закричал. Застучали предупредительные трещотки. Затрещала тайга, и ствол по каменному ложу помчался вниз. Сизов залез по ветвям на крепкое дерево, как на мачту по вантам, посмотреть, что получится.

Бревно с разгона пошло в воздух, пало на торец, постояло косо на будущей площадке для стапеля и легло.

Матросы обступили лесорубов, и тут же опять появились чиновники.

Заскользили то подгоняемые, то сдерживаемые баграми бревна, валясь друг на друга под кручей.

Сизов слез со своей мачты и поднял топор. Удалая и старательная работа японцев понравилась ему. Матрос подумал, что надо и ему поаккуратней срезать сучья, дело нетрудное, просто с него пока это не требовалось. Только отец дома в деревне, в Костромской губернии, строил избу и, бывало, все учил, как надо в лесу бревна заготавливать.

К обеду матросы пошли вниз.

— Ой-ё-ее-оо... Вася! — опять кричали они Букрееву.

Завалы деревьев внизу пришлось растаскивать. Бревна складывали поодаль от лесотаски.

— Слушай, Букреев, а что за люди странные вон в той лачуге живут? — кивнул Маслов, показывая на маленькую хибарку под скалой, когда уселись на очищенный ствол дерева, чтобы передохнуть.

— А тебе что? — спросил Василий.

— Да такие страшилища... Голодные, а детей полон дом. На самого японца смотреть страшно, — продолжал Маслов.

— Почему страшно? — отвечал Вася. — Люди как люди!

Он на днях заходил в эту лачужку и попросил испить. Ему дали в изломанном кувшине, и Вася выпил. Вкусная горная вода!

— Люди! Жилье хуже конуры!

— Нет, там у них есть дочка, — сказал Шкаев, — ничего собой. Только бедные очень. А сегодня вышла на минутку, и у нее розочка в прическе. Значит, еще живые чем-то...

— Я видел прошлый раз в отлив, мы с поручиком ходили на опись, — их мать лазала на косе по камням. Лазает и каким-то скребком чего-то счищает и складывает в корзину. Вот, видно, и вся их еда...

Иосида, превратившийся теперь в мелкого чиновника и одетый в халат и туфли, приставлен к нижним чинам как матросский переводчик. На вопрос, кто живет в лачуге, Иосида-сан ответил, что там живут Пьющие Воду.

— А ты сам, что ли, не пьющий воду? Все воду пьют, — сказал ему Берзинь.

— Безземельные. Самые бедные люди здесь называются Пьющие Воду. Им, кроме воды, нигде и ничего не полагается.

«Вот и я попил у них воды! Чем могли, тем и угостили, — подумал Вася. — Спасибо!»

— Кончай дело! — крикнул боцман Терентьев. — Собирайсь на обед!.. Садись в баркасы!

На другой день еще одна сотня матросов прибыла на Усигахора с ломами и лопатами. Послышались знакомые свистки и крики боцманов. Каждые четверть часа били в рынду, висевшую теперь у амбара на перекладине.

Наверху рубили лес, но сегодня бревна спускали как можно осторожней, по лесотаске, а не по камням. До самого подножья японцы и матросы бережно вели их на баграх и уж не толкали под обрыв.

Ущелье сходило к морю скатом, который образовался из наносов и зарос лесом.

Сибирцев и Можайский решили эту пологость срезать, отнять у горы площадку, вырубить нужное пространство. Алексей расставил матросов цепями по подлеску, чтобы землю снимали и вгрызались в чащу террасами, как при прокладке выемок на постройке железных дорог.

Японцы на лодках привезли тачки для отката земли. Приехал Эгава посмотреть, что делается. Он стоял у воды и смотрел на ущелье. Пришла большая лодка с наломанным гранитом, и рабочие разгружали ее. От Эгава непрерывно требовались все новые и новые при-

способления, инструменты. По дорогам самураи скакали на конях из Хэда, развозя распоряжения дайкана. Сотни людей работали в окрестных городах и деревнях, делали тачки, ковали лопаты и по всевозможным рисункам исполняли заказы эбису.

«Русские работают как боги! — подумал Эгава. — А мы пока видели их матросов поющими песни, голодными, также на молитве или засыпавшими от усталости при первой же возможности, без всякой дисциплины, что удивляет простых японцев, которые боятся начальства, на траве не спят, ничего подобного себе не позволяют».

Японцы-лесорубы, отделенные от массы работающих матросов цепью чиновников, смотрят сверху.

У Алексея Сибирцева, как у опытного инженера-путейца и топографа, натянуты по всей площадке веревочки на столбах, или леера и шпринги, как называют моряки. Площадка вымерена вдоль и вширь, задана покатость и высота над уровнем моря, до которой землю надо убирать.

Матросы в красных рубахах перекидывали землю лопатами, перевозили на тачках и тут же у берега, возвышая его, трамбовали бабой из чурбана какого-то тяжелого дерева. Эти кругляши пилили из толстых бревен. Земля гудит от перестука.

Можайский строил кузницу. Там ладят горн, привезли деревянные мехи. Смена землекопов устает. Тут же от огромных костров, от берега, где жгут сучья и выкорчеванные кусты, подымается другая смена и принимает лопаты, ломы и ваги от товарищей. Японцы подымают бабу и трамбуют. Старший артельный японец Оаке замечает, что Сибирцев у рынды смотрит на часы. Оаке просит позволения пробить склянки на обед. Бьет так, словно сам служил в экипаже.

Японцы оставляют работы. Десятилетний сынок Оаке достает в своей лодке ящичек с обедом. Там чашки с рисом, холодная сырая рыба кусочками, редька тертая в блюдечке, палочки для еды и еще катышки риса, обернутые в водоросли.

Подходит отец Оаке. Он берет рыбу палочками, окунает ее в зеленый соус с редькой. Едят, сидя на корточках. Японцы не поедут на обед домой. Они будут работать без перерыва.

А русские составляют лопаты в амбаре, собираются на берегу и ждут, когда возвратятся лодки, отвозившие первые партии. В лагере сварены щи из рыбы с капустой и овощами, приготовлены рисовые лепешки.

— Откуда столько народу нагнали? — удивляется Петр Сизов.

Какой-то японец все время смотрит на него и улыбается. Лицо как будто знакомое.

— Хэйбей! Не ты ли! Неужто ты? Здорово!

— Зорово! — отвечает японец по-русски.

— Вас на работу пригнали? Ты из Миасимы? Я знаю тебя, парень. Хэйбей?

— Хэйбей.— Японец показал на себя, но не на сердце и не на грудь, а на скулу и запел: — О мае орося но Путятин!

— О! Здорово! Эй! — Матросы-лесорубы посыпались из амбара и из тайги по обоим скатам ущелья, как горох из мешка, и обступили знакомого японца.

Только один Букреев остался наверху, он залюбовался, глядя оттуда на Фудзи.

— Оё-ёё-ёё-оо... Вася! — опять крикнули снизу.

Хэйбей из тех рыбаков, что под горой Фудзи помогали в шторм выбираться матросам на берег, когда «Диана» погибала у деревни Миасима. Потом Хэйбей сочинил и пел песню про это, упоминая в ней имя Путятина. Это похоже на наши деревенские запевки.

Сизову как у своего хотелось бы спросить у Хэйбей про девушку Фуми, с которой он встречался в деревне, где после высадки в шторм экипаж «Дианы» прожил несколько дней. Похоже, что Хэйбей не зря попался на глаза, может, ему и есть что рассказать знакомому матросу. Но без языка не сговоришься. А люди столпились, и сразу подошли чиновники.

Сизов пошел садиться в баркас.

Матросы звали с собой и Хэйбей, но тот кивнул на чиновников, ударил себя ладонью по шее как топором и засмеялся.

— Чё дичишься? — говорил Вася, обращаясь к японцу, пришедшему из своей лачуги.

Тут же его жена и осмелевшая дочь. Вся семья собирает щепки и мелкие сучья. Отец смотрит и дрожит от страха.

— Мы вам это ущелье расчистим. Будет земля, рис возрастет. Я знаю, у вас на горах как на лестнице рис растет. И будешь есть! Вот так! Растет — и в рот! — продолжал Букреев.

— Ота! — отвечал японец.

— Какая девица милая, а одеться, видно, не во что, — сказал про дочь бедняка лейтенант Сибирцев.

— У них сегодня, ваше благородие, целый день дым идет в дверь, они отродясь столько не топили, — отвечает Букреев. — Дров не берут, боятся. А мы зря сучья жжем... А брать большие сучья боятся.

— Ота! — повторил японец.

— Что Ота?

— Тьфу! — плюнул японец.

— Как ты не понимаешь, — сказал матрос Иван Палий, — это земля Ота, мы ж тому кулаку расчистили, а не ему... Видишь, они только веточки берут... Так что же ты, дурень, не берешь дрова?

Палий клал японцу на руки большие поленья, но тот бросал их на землю, как бы ничего не понимая.

Матросы разобрали лопаты и ушли.

Капитан Лесовский прошелся, осмотрел площадку. Вдали под горой к чему-то придрался, показал кулак матросу.

Сегодня лесотаска широкой черной полосой пробороздила все ущелье. Сибирцев доложил капитану, что рубка теперь идет не только на этом скате, но и за сопкой, где выбираются кривые сосновые штуки для шангоутов. Лес для стапеля заготовлен. Рабочих достаточно.

Можайский доложил капитану, что кузница готова, он поднял японские мехи на каменные фундаменты, а то без привычки нашим кузнецам пришлось бы туго. Для японских кузнецов один горн устроили на земле, чтобы они могли работать по-своему, сидя.

— Есть ли жалобы? — спрашивал капитан, проходя вечером по казарме.

— Жалоба на японцев, Степан Степанович, — шутиливо молвил матрос Палий.

— Объяви, — сказал Лесовский.

— Сизову воды не дали, — ответил Палий, и все матросы засмеялись.

— Где тебе не дали воды, Сизов? В лесу? — обратился капитан к Сизову.

— Вот рядом с лагерем у японца бьет родник на огороде. Мы шли с берега, я хотел испить, а они собрались и не подпустили.

— И правильно, что воду не дают, — ответил боцман Терентьев. — Есть приказ зря в дома и во дворы не заходить.

Глава 12

Дом Молодежи

Юнкер Урусов достал из кармана горсть серебряных монет и побренчал. Что только не делали для него японцы! Выдали ему свои деньги!

— Сколько тебе? — спросил Урусов долговязого рыбака.

Молодой японец Сабуро иронически улыбнулся, глядя на серебро.

— Вот, хватит с лихвой! — сказал матрос-повар, выбрав из горсти юнкера монетку помельче.

— Принеси еще... — сказал Урусов. Сегодня он задавал обед своим товарищам-юнкерам.

Японец пристально смотрел, как Сюрюкети-сан ссыпал деньги обратно в карман. Иметь столько денег и даже не считать! Какое счастье! Сабуро вздохнул. Он сам желал бы так... Он уже накопил десяток серебряных монеток.

Уйти отсюда надо тайком, чтобы не увидели мецке, надо сначала зайти в храм. Хорошо, что высшие морские войны живут в доме священника. Сюда являешься как будто в храм, чтобы помолиться, оставляешь перед кумиром хорошую рыбу. Ее сегодня же, пока свежая, возьмет и съест бонза. Это все знают. Считается, что жертва дается для Kami¹³, но едят бонзы. Множество разных угощений ставится на красный алтарь: апельсины, редька, лепешки, рис в мешочках. И ничто не пропадает зря.

Из общего улова артели часть рыбы раздается рыбакам на их нужды. Рыбы в море очень много, и рыбаки поэтому самые бедные из крестьян, рыба дешевая. Но хорошей, особенной рыбы для аристократической кухни и в море очень мало. Сабуро берет рыбу, чтобы идти и помолиться о здоровье матери, а сам продает в храме офицерам. Рыбу похуже оставляет на алтаре, и никто не догадается, почему Сабуро так часто молится в храме.

Заезжий парикмахер из Симода рассказывал, что в городе среди русских, которых оставил там Путятин и которые живут в храме, есть мальчишка-голландец. Он подсмотрел, говорят, когда бонзы забирают себе продукты, и стал опустошать алтарь прежде них. Был сыт, вкусно кушал, пока не дознались священники.

Сабуро убрался из храма. В доме «У Горы» его ждала мать-старуха. Сели за столик и пообедали.

Зашел артельный и сказал, чтобы Сабуро утром шел в наблюдательный домик на дежурство. Сабуро взглянул испуганно. Артельный ласково улыбнулся ему и ушел оповещать остальных.

Эбису в ущелье между двух сопок чистят площадку, большую, как для нового города. Если идти пешком, то от последней горы отходит коса с камнями и соснами, отгораживающая бухту от океана, коса низкая, но гора над ней высокая и на ней растет хороший лес. Под самой вершиной горы, на склоне, обращенном к бухте, есть старая сосна. Ее толстый ствол расходится двумя мощными развилинами, как рога оленя. Между этих рогов на сосне построен наблюдательный рыбацкий дом. Маленький домик, как для птичек, очень уютный, с теплой крышей из соломы и весь окутанный соломой для утепления, чтобы дежурные не мерзли в холодный ветер. Здесь есть циновки, есть маленький очаг, можно сидеть, пить чай и даже полежать.

Сабуро сидел на корточках, глядя из окошечка домика на бухту. Отсюда все видно; там, где идут густые косяки рыбы, в бухте вода

¹³ Кам и — боги.

темнеет рябыми пятнами. Люди, приезжающие из городов, не верят, что с горы можно видеть рыбу в воде. Сабуро подергал веревочки, которые тянулись из домика вниз через весь лес и скалы, под кручу, до самой воды, где поворачивались деревянные сигналы. Обе артельные лодки с рыбаками стояли наготове. Они теперь знали, куда идти, чтобы не зря бросать невод. Лодки, раскинув дугу поплавков, разошлись, а потом сошлись. Вскоре чайки тучей слетелись над сблизившимися поплавками. Рыба есть. Хороший улов показал своим товарищам Сабуро. Рыбаки пока все молоды. Драчуны, любят выпить сакэ, все хорошие товарищи, но все очень бедные, все боятся послушаться Ябадоо. Он не только глава рыбаков. Самурай наблюдает за охраной границы, а это самое страшное дело в государстве, хотя на самом деле нет ничего страшного. Сабуро берет рыбу и продает, хотя это запрещается. Иногда приходится вспомнить про Ябадоо и подумать, как лучше скрыть свои торговые обороты. Очень смешны и глупы рассуждения самурая про эбису... Какую чушь он порет. Теперь уже все знают, что эбису богаче нас, что американцы имеют хорошее оружие и самодвижущиеся паровые суда, а сигналы передают по телеграфу, а не веревочки дергают.

Внизу выкачивали черпаками улов. Пожилой рыбак поднялся по тропе, принес Сабуро осьминога.

— На тебе свежего! В награду от артели за хорошую наводку.

Сабуро сварил обед, когда послышались глухие шаги.

По тропке кто-то еще шел. Сверкнул варварский штык. Появился усатый эбису с ружьем, потом другой в высокой шапке и тоже в усах и третий без ружья и без усов, но с саблей. Унтер-офицер с двумя нижними чинами шел на водворенный русскими наблюдательный пост на вершине горы, оттуда следят за морем на случай появления вражеских судов в океане. Эбису всегда ходят верхней тропой, а сегодня пришли снизу японской дорогой рыбаков.

У наблюдательного домика остановились. Сабуро не знал, как поступить. Бежать нельзя с дежурства. Матрос с ружьем встал около развилины сосны и что-то объяснял эбису с саблей. Может быть, говорили, что надо и эту развилину спилить, а домик сбросить. Это особенное, очень удобное и нужное им дерево для постройки.

Сабуро не сказал ни единого слова с эбису. Эбису пошли дальше. Один из них вдруг вернулся и что-то спросил у Сабуро, показывая на домик. Сабуро знал, что нельзя говорить, запрещено... Матрос заглянул в наблюдательное помещение и взял там со столика рисовую лепешку, попробовал вареного осьминога, выплюнул, засмеялся и пошел за своими.

Вечером Сабуро относил рыбу самураю. Кто-то говорил в доме Ябадоо не по-японски! Это открытие! Эбису в доме у нашего главнокомандующего! Все врет Ябадоо. Он, как и каждый, хочет побольше выгод от эбису...

Сабуро — высокий, тонкий и сильный юноша с небольшими серьезными глазами. У него узкое лицо, длинная голова и большие уши. За свои молодые годы он очень много передумал о несправедливостях. Выход один — богатеть самому. Поэтому он не мог сдерживать улыбку презрения, когда на днях самурай обратился к артельным рыбакам с призывом к борьбе против страшной опасности, которая грозит Японии. Только непримиримая ненависть к эбису, смертельная вражда, кровавая борьба могут спасти Японию. А у самурая в гостях сидит эбису. И, наверно, не зря сидит. Вот голосочек Сайо послышался! Вот птичка! Шила в мешке не утаишь... Сабуро знал, что Ябадоо еще долго провозится, прежде чем выйдет и передаст с посланцем артели распоряжения на завтра.

Из сеней, скинув туфли, смельчак Сабуро шагнул на ступеньки вверх и босыми ногами вошел в коридор. Минуя две двери, заглянул в третью, где разговаривали. На высоком стуле сидел отвратительный эбису с очень красным носом. Он молод, но мерзок, как старик! Перед ним, почти касаясь своим нежным личиком его огромных ног в шерстяной грубой одежде, стояла на коленях с чашкой в руках прелестная Сайо.

Сабуро пожалел Сайо. У него сердце готово разорваться от боли. Ее отец, конечно, очень глуп и продажен. Заскрипели ступени, Ябадоо спулся по лестнице. Сабуро поспешил в сени.

На другой день Сабуро опять рыбачил. Он сбрасывал невод. А потом лодки сближались и невод вытягивали.

Потом повезли рыбу в лагерь матросам. Это очень страшно, как живут эбису, хуже зверей, как сумасшедшие женщины в храме Сиба или как домашние животные перед отправкой на скотобойню. Им даже не разрешается отдышаться, сидя на циновках разутыми. Они все время в сапогах. Некоторые стоят под ружьем, как изваяние. В кожаную спинную коробку одному наложили камней, притянули к плечам ремнями. Подошел начальник и несколько раз больно ударил этого эбису по лицу рукой. И так с камнями тот стоит все время. А его начальник время от времени опять подходит, кричит ему в лицо и еще ударяет. Остальные все строем ходят по двору и поют. Им не разрешается думать, поэтому все время велят петь. Построили из досок не корабли, а длиннейшие столы на грубых, не обструганных как следует столбах. Все садятся есть, кроме наказанных. Еда очень плохая, рис варить не умеют, но суп очень жирный и вкусный, кажется. Пахнет хорошо. Едят ложками из японских чашек. Ложки грязные, носят в сапогах. Все чашки перед обедом выстраиваются точно в ряд, как по линии, отбитой ниткой с тушью. Ужасная, вонючая жизнь у западных людей. Все стирают и работают, а грязи много. Циновки в казарме уже затоптаны. Неужели ходят в сапогах по татами?..

Потом разносили рыбу японским чиновникам. Чем важней чиновник, тем рыба дается лучше и крупней. Все продукты передаются хозяевам тех квартир, где чиновники остановились.

Сабуро все закончил. Он сидел с матерью за столиком и ел суп с редькой. Обед сегодня без рыбы. Но есть рис! Рис! Не всегда бывает! А рыбы сегодня самим не досталось из-за усатых и вонючих эбису.

Опять пришел артельный, вежливо спросил позволения войти, снял обувь с помощью Сабуро. Вошел, поклонился матери и сказал, что вся рыбацкая молодежь двух артелей северной и южной части деревни собирается завтра вечером в Доме Молодежи.

Сабуро взглянул испуганно. Артельный ласково улыбнулся, сказал несколько добрых слов матери, с каким-то странным оттенком сожаления взглянул на Сабуро и ушел оповещать остальных.

За последние дни рыбаки вели себя очень патриотически. Снова разучивали песню, подаренную рыбакам этой деревни императором. Каждый день громкие молодые голоса запевали: «Счастливо при императоре, счастливо!»

Шли эбису по улице и пели свои странные песни со свистом. А у ворот дома Ябадоо собирались рыбаки, сбегались сразу и опять громко запевали: «Счастливо при императоре, счастливо!»

Скоро Новый год. Эта песня посвящена императору. Но исполнение песни артелью посвящено самураю Ябадоо. Надо умаслить это страшилище. Но как это получается: чем отвратительней и противней отец, тем красивей дочка. Один японский ученый доказывает, что японцы — самый некрасивый народ на свете..

С работы шли Вася, Янка и Семен. Несли пустую бутылку и хотели сменить ее на что-то. Подошли к лавке. Сразу торговец убрал деревянную мерку, которой был подперт навес. Крышка упала и хлопнулась. Лавка закрылась.

Матросы пошли дальше.

Западная бутылка из стекла — большая драгоценность. Это известно всем. Но никто не желал никаких выгод от эбису и не брал бутылки.

У ворот артельного собралась толпа рыбаков.

— Э-эй! — закричали парни. И страшная брань и насмешки посыпались на матросов.

Янка остановился с угрожающим видом. У Янки в руках была лопата, а у Семена дубина. Русские берут в руки палки, когда идут по деревне, чтобы отбиваться от собак. Но собаки от этих палок еще злей становятся.

В Янку полетели камни. Сначала просто бросили два камня, чтобы эбису не были уверены в неприкосновенности. Но потом стали бросать смелей, зло, с бранью, с размаху.

Трое матросов, ни слова не говоря, кинулись бежать. Им кричали: — Позор! Трусы!

Так рыбаки снова становились в деревне Хэда хозяевами положения, как и всегда. Известно, что рыбаки очень смелые и очень сильные, закаленные морем, они кормят весь народ. И они же нищие и злые, поэтому никого не боятся. Бывает, что пьяные рыбаки нагрубят чиновнику. И с ними ничего не поделаешь. Кто сам наткнулся на двух-трех верзил-рыбаков из деревни Хэда, тот знает, как нелегко с ними. Иногда очень маленького роста ученый уймет всю ораву. А иногда богатырь-самурай с саблями ничего не может сделать. Постарается убраться поскорее, чтобы сохранить достоинство и не опуститься до низких личностей. Убивать их нельзя, они добывают рыбу. Никаких слов пьяные не слушают. В деревне молодые рыбаки часто избивали молодых крестьян-рисосеятелей. А Пьющих Воду они не считали за людей, давили, как насекомых.

Рыбаки закидали матросов камнями. Пусть не ходят с работы через деревню, пусть идут в лодках со своими начальниками, как у них полагается.

Но на другой день опять шли с работы эбису через деревню пешком, а не на лодках. Теперь шли сто человек. Войдя в деревню, они грянули свои «Сени». Перед домом, где их вчера били рыбаки камнями, пятеро эбису шли вприсядку под страшную разбойничью песню, уханье, свист, гиканье и вой. Это было красиво! Рыбаки не стали бросать камнями. Они любовались и слушали охотно. Но еще эбису мимо не прошли, как японцы в сотню глоток грянули: «Счастливо при императоре, счастливо!» И гордо промаршировали по улице своей деревни, выстроившись, как эбису, шеренгами.

Сабуро оделся в свой единственный праздничный халат. Артельный сказал ему, чтобы помылся чище. Сабуро вымылся, мать дала ему подержать за пазухой мешочек с благовонной травой, чтобы от сына шел приятный запах. «Его сегодня Ябадоо очень хвалил», — сказала ей вчера артельный.

Дом Молодежи маленький. Так сделано. Молодежь садится очень тесно. Все сжаты с боков до отказа, коленями упираешься в чью-то спину, а в твою тоже жмут ногами. Обычно собирается молодежь, чтобы поговорить о каком-нибудь проступке товарища по артели. Здесь же сразу, если проступок значительный, совершалось наказание. Любопытно, кого и за что будут наказывать сегодня. Это очень зло по-

лучается, даже иногда жалко того, кого наказывали. Но бывает и очень смешно.

Артельный молодых рыбаков еще сам молод. До тридцати пяти лет считается рыбак молодым. Артельный стал тихо говорить, что рыбаки совершили тяжкие преступления. Эбису — враги Японии.

Ябадоо отсутствовал. Он, наверно, ухмылялся, сидя дома и представляя, что сейчас начнется в Доме Молодежи. Ябадоо велел не пропустить такой случай. Измена родине — самое страшное преступление. Надо пресечь сразу, не пятнать чести рыбаков.

— Нельзя пятнать чести хэдских рыбаков, — говорил артельный. — Ты, Сабуру, разговаривал с эбису и нарушил запрет.

Сабуру понурился. Винили его. Это он совершил страшное политическое преступление.

— Да, я разговаривал около домика на сосне с проходившими эбису. Нельзя же было бежать, оставить дежурство!

Но на самом деле не за это винили его. Вокруг все возбужденно засмеялись, слушая оправдания Сабуру.

Вдруг артельный задул фонарь, и сразу град ударов посыпался в темноте на голову Сабуру. Он подумал, что напрасно надел новый халат, напрасно мать с такой любовью собирала его. Били по лицу и по всему телу.

Для того и выстроен такой Дом Молодежи в центре северной части деревни, чтобы все сидели тесно и, когда начнется избиение, каждый мог бы дотянуться до жертвы, схватить ее за что ему хочется. Чем больнее, тем лучше! Этот дом мал, но он гораздо просторней наблюдательного домика на сосне, в котором совершено ужасное политическое преступление. Во тьме бьют беспощадно. Терзать живого человека можно безнаказанно, он не узнает никогда, кто и как мучил его.

Удар по глазам вышиб столб искр. «Это уж начинается что-то ужасное, не просто наказание...» — мелькнуло в мозгу парня, и он стал терять сознание, словно умирал. Потом его привели в чувство чьи-то руки и потом били снова...

А Ябадоо в это время угощает эбису? Там маленькая Сайо...

Потом, лежа у себя в лачуге, приведенный в чувство матерью, Сабуру вспоминал... Все правильно. Был донос. Нужно показательное взыскание. Никто не знал про тайную продажу рыбы. Считалось, что наказание за измену.

Когда раны стали заживать и бледнеть синяки, нанесенные ему лучшими товарищами, Сабуру подумал, что не надо больше никого жалеть и нечего бояться. Теперь он будет копить серебро смелей. Он должен выбиться из этой нищеты и спасти мать от позора. Он раздобудет много серебра любыми средствами... Ну, если не он, то его дети или правнуки должны стать сильнее и богаче Ябадоо...

Только бы зажили эти постыдные, ужасные ссадины. Он и сам также бил других прежде и только сейчас почувствовал, что это означает. Мстить некому. Бьют, а при встрече виду не подадут. Все товарищи ему станут улыбаться, когда он выйдет на работу. Вот так поддерживается дисциплина рыбаков при береговой охране Ябадоо! Страшно, больно, и стыдно, и обидно. Только мать терпит, старается для сына. Она спокойна и утешает его, говорит, что бывает еще хуже. Она собирается в храм благодарить, что сын остался жить, и попросить послать ему выздоровление. Поставит угощение на красный алтарь.

Теперь разваливается родовая сила князей. Они беднеют. Князь Мидзуно, бывая в Хэда, очень ласков с Ота. Ота не боится его, он щедро платит князю. Князь становится содержанкой Ота. Времена меняются. Сабуру еще задавит самурая Ябадоо, или потомки Сабуру согнут и унижат, разорят потомков страшного Ябадоо. Сабуру избит,

изломан, опозорен. Но он мечтает, что его потомки возьмут власть над деревней в свои руки. Они будут возить рыбу на собственных судах в город, который построится на берегу залива Эдо по американскому образцу. У Сабуро есть сметка, память, крепкие руки, сейчас изгрызенные, изорванные. И он еще создаст рыбороторговую фирму.

Ябадоо, как слышала мать, получил награду за правильные указания рыбакам. Деничиро — чиновник бакуфу — очень хвалил его и написал в Эдо, как наказывали рыбаков за малейшее внимание к эбису. Вся Хэда насторожена, вооружена до зубов, как крепость.

Глава 13

Пьющие Воду

Знакомство Букреева с Пьющими Воду началось с воды. Вася заметил, что щупленькая и сутулая девушка уходит с детьми в лачугу неподалеку от ущелья Усигахора. Они прошли раз и другой, пронося охапки дудки сухой травы.

Матрос зашел в лачугу и попросил попить воды. Ему дали хорошей ключевой воды из сломанного кувшинчика. Вася выпил, вытер губы и осмотрелся.

В лачуге без дела сидели лохматый японец с грязным лицом и дети, тощие и, как показалось Васе, все больные. Отец их невелик ростом и щупл. Девушка и девчонка лет десяти помогли матери у очага. Варили чистую воду.

Вася сам в детстве подолгу голодал, его бивали и свои и чужие, на службе заезжали в рыло не так, как дома, а со всем уменiem и старанием. Душа матроса стала черства к чужим страданиям. Но такой нищеты и он не ожидал увидеть. Дети страшные, больные и голодные, с грязными лицами, пьют горячую воду вместо супа и ничего не едят.

На другой день в отлив Вася опять видел, как их мать ползает по громадным камням на косе под соснами и скребет какой-то щепкой. Дочь прошла, неся что-то в тряпке. Вася остановил девушку и попросил показать, что несет. Она развязала узелок. В нем оказались водоросли, мокрые и похожие на навоз. Матрос дал ей пресную лепешку и кусочек сахара, который достал для него Витул, адмиральский постельничий.

Девушка сильно покраснела и спрятала сахар. Даже удивительно — в этом мертвенно-бескровном лице появилось столько крови. Она поклонилась и пошла домой. Зашла за уступ скалы, спряталась в расщелину, попробовала сахар и съела, а хлеб унесла в семью.

Переводчики уже объясняли матросам, что живущих под скалой людей называют Пьющие Воду. Так зовут беднейших крестьян в деревне, не имеющих земли и не сеющих риса, а потому вечно голодных. Кроме права пить воду, у них не было никаких прав. Когда в море шторм, они не могут добывать на берегу водоросли, топят очаг сухой травой и варят чистую воду. Им запрещено брать валежник в лесу, чтобы все видели, какая страшная судьба у ленивых. Словом, это были как бы напоказ и на страх всем погибающие семьи, которые уже не приносили выгоды и пользы и не платили даже князю, и труд их был никому не нужен. Их лишь терпели, и это было милосердием, и они были обречены на медленную гибель.

Вася подумал, что и сам он в своей крестьянской бедности в своем роде тоже был «пьющим воду» и у его матери каждое рождение ребенка не было радостью. Букреевых терпели, называли их ни к чему не способными лодырями. А во флоте Василий хотя и бит по роже,

и луплен по спине, и ему заткнут рот, но не запрещено думать, он герой и лихой марсовый, бегают по вантам и реям, как кошка, бесстрашен на высоте и вообще храбр, и стреляет хорошо, и сам весел. Если такой народ выморить, то кто же будет в солдатах и матросах у царя? Так же и японец — сидит без дела и проклят всеми. А дай ему дело — и он еще себя покажет.

В другой раз Вася принес лепешек и хлеба. Дети кинулись к нему. Японец сидел с безразличным видом, когда матрос погладил его детей по вшивым и косматым головкам. Отец показал на двух мальчиков и провел себе по шее, показывая, что будет этих детей скоро душить. Букреев похолодел от ужаса, надеясь втайне, что, может, и не так понял, но японец жалко улыбнулся и показал на рот, что есть им нечего, и еще раз объяснил жестами, что придется душить своих детей. Тут же были его жена, дочери и все дети. Слушали с безразличным видом. Дети, видно, не понимали.

— Плохо дело, брат, — сказал Вася.

Японец еще раз показал на детей, объясняя, что убьет их скоро, и опять улыбнулся вежливо.

— Чем же убьешь? Как?

Японец показал на голову, как бы изображая шапку бонзы, и сложил руки в знак того, что будет молиться.

«Смеется, а не шутит!» — подумал матрос и решил убраться отсюда поскорей.

Вечером в лагере после молитвы он решился подойти к адмиралу.

— Евфимий Васильевич, дозвоьте к вам обратиться.

Матрос все помнил острые коленки голодной девушки, лихорадочные большие глаза детей, сутулые плечи, испуганные лица.

У Васи широкое в скулах лицо с высоким лбом и заостренным подбородком, светлые глаза и светлые волосы. Смотрел он прямо и четко.

Матросы, битые, вымуштрованные, редко обращались с личными просьбами к адмиралу. Жизнь их была определена до крайности уставом, за них все решено раз и навсегда. Но иногда матросы смело обращались с самыми неожиданными просьбами к адмиралу. Евфимий Васильевич всегда выслушивал, понимая, что и их терпению может наступить предел. Кто-то должен быть для них в плаванье справедливым, каким на суше кажется крестьянам царь.

— Пожалуйста, Букреев, — ответил Евфимий Васильевич.

Василий видел, как и все, что японцы за последние дни доставили лично Евфимию Васильевичу две большие джонки с мешками риса. Это жалование адмиралу, рис из столицы, как потерпевшему крушение, за службу Японии, и за открытие секрета, как строится наш корабль, и на прокорм его людям, как ведется у здешних князей. Это все японцы уже объяснили.

— Пойди со мной, — сказал Путятин.

Он привел матроса в храм, уселся в кресло.

— Говори!

— Евфимий Васильевич, вам японцы пятьсот тонн риса привезли. Дозвольте спросить, мы его возьмем с собою в Россию или продадим здесь?

— Это не мой рис. Я один столько не съем. Я вообще риса мало ем, меня от риса крепит, я пожилой человек, больше люблю черносливы. Они мне прислали рис на всю команду. И там не пятьсот, а тысяча мешков. Так что там и твой рис.

— А если так, то можно ли, Евфимий Васильевич, мне получить мою долю?

— Зачем тебе, куда ты денешь столько риса?

— Голодным детям, Евфимий Васильевич! А то японец объяснял, что у него нет ничего, кроме воды, и что он хочет троих младших убить, чтобы не мучились голодом. Жалко смотреть...

— Детям? — спросил Путятин.

Тень прошла по его лицу. Он вспомнил про своих детей. Конечно, его аристократические английские дети живут на всем готовом, у них все в изобилии. Они обеспечены и сейчас в деревне Пшеничище под Новгородом, в его имении, куда жена с детьми уехала на время войны из Парижа. Но ведь они вдали, давно не видят отца. Мало ли что может с детьми случиться. Болезни, разные неожиданности... Каждый миг может таить опасность. Ему показалось, что если он сейчас не поможет японским детям, то бог ему не простит. Это судьба послала Букреева!

Мать у детей Евфимия Васильевича прекрасная, заботливая, честнейшая женщина, нигде не оставит их без присмотра. Но ведь дети! Мало ли что непредусмотренное может случиться. «Боже, спаси нас, прости и помилуй, спаси несчастных и голодных детей всюду!» Путятин вспомнил детей в голодных семьях своих крепостных крестьян. Если бы для них в эту годину войны принес кто-то из амбаров их помещика-адмирала по мешку муки! Молиться надо, а не обольщаться никакими дипломатическими переговорами и открытиями. Стыдно нам гордиться, важничать всю жизнь, когда народ наш так беден, темен и податлив на подговоры... Первая, кому он поверил, была жена-англичанка. Она сказала, приехав в Россию, что на такой земле и с такими крестьянами доходность может быть гораздо выше, но надо сделать людям лучше жизнь. «Вы плохо содержите свой народ...» Может быть, хотела сказать «как скотов»? Как, бывало, немцы говорили: «Русский — свинья». А потом еще добавляли: мол, что вы хотите хорошего от такого народа... Но Мэри сказала, как у них в Англии народ грабил хлебные магазины... Люди пели песни и шли под суд и в тюрьмы за хлебный каравай для детей... Она рассказала, как это не раз видела сама, и не хотела бы такой же судьбы на своей новой родине русским детям и не хотела, чтобы ее дети жили всю жизнь на пороховой бочке среди бедности.

Граф Нессельроде положил: Путятину возглавить посольство. Не только из-за того, что Путятин опытный моряк. Граф надеялся: Путятин служил в Англии, женат на англичанке, знает Европу. Говорят, что Путятин назначен послом только потому, что женат на англичанке. Граф уверен — нельзя почти никому из природных русских давать поручения в другие страны. Обязательно надерзят, или сплхуют, или выскажут что-то такое, к чему сердце дипломатов других государств не лежит, или проявят напрасную заносчивость, не смогут удержаться от хвастовства.

Евфимий Васильевич всматривается не только внутрь самого себя, но и в японскую жизнь и в самих японцев. И ему хотелось бы сделать что-то очень человеческое для этого народа, но не пустое, а коренное, основательное, может быть, такое, что не сразу будет оценено, за что ему не будет признания и не дадут награды. И чего уж никак не ждет от надежного англомана глава правительства империи. Поэтому могущественный и грозный адмирал Путятин покорно и терпеливо слушал своего нижнего чина.

«Если благополучно вернусь к своим детям, то никогда не забуду бедных в Хэда. Перед смертью завещаю хотя бы несколько сот золотых рублей бедным детям деревни Хэда, пусть отвезут их в Японию мои дочери... Так и скажу дочерям! Что нигде и никогда не видел такой бедности, как здесь... Неужели прав Гошкевич? Он уверяет, что для

устрашения народа здесь уничтожаются и вымариваются целые семьи...»

— Японец живет около нашей площадки. Он пиленный лес охранял у купца, и тот платил ему три чашки риса в день на всю семью. Теперь мы взяли и лес и амбары...

— Возьми, Букреев, мешок риса и отнеси голодным детям. Да объясни японцу, чтобы никогда не убивал их. Сумеешь объяснить?

— Да, это сумею...

— Слава богу! Поди к подшкиперу и скажи, что я велел выдать тебе мешок риса. Если не поверит, пусть придет ко мне. Благослови тебя бог, Василий, на доброе дело... Но что же ты будешь есть сам, если тебя упрекнут товарищи, что отдал свой рис?

— Я на рыбе, ваше превосходительство.

Утром Василию достался чужой правый сапог. Левый свой, а правый кто-то стибрил, но оставил другой. Это просто счастье! Больше радости он и не желал. Сапог почти новый! Конечно, вода пройдет, но все же не так... Ноги мокрые у всей команды. Чих, сип, кашель стоит днем и ночью в бараках.

— Что это за мешок ты везешь, Букреев? — спросил боцман, когда пошли на баркас.

— Это овес для адмиральских лошадей, — ответил Василий.

Боцман смолчал, чтобы не показывать собственной неосведомленности. Сделал вид, что ему это известно и он удовлетворен ясным ответом. Но матрос Соколов удивленно спросил:

— Что же это за лошади?

— Как что за лошади? Пасутся неподалеку от стапеля, только в другом распадке. Адмирал собирается верхом в Симоду. Ему японцы не могут подобрать носилок по размеру, а ему надо ехать подписывать договор.

Разговор пошел о том, что действительно лошади у японцев есть, а они носят чиновников на руках для замедления жизни, хотят побольше забот, затруднений. И коров имеют, но не доят их, молока не пьют, а пашут на коровах и полагают, что для счастья не надо спешить. У здешнего самурая есть корова, а он запрягает ее вместе с ослом, когда едет по делам.

Янка Берзинь при этом смущенно молчал. Что-то он скрывал. Парень — кровь с молоком, румян, а на тех же харчах, что и все.

Помянули, что у самурая, кажется, есть где-то лошади в тайге, может быть табун.

Лодка подошла к площадке, где часть горы убрана, забиты сваи для пристани и заложен фундамент стапеля. Японцы укрепляют берег, выкладывают каменную стену. Матросы ставят столбы для обширного распылочного сарая, и японские плотники выпиливают и вытесывают детали для стапеля...

Букреев оставил мешок, закрыв его матросской курткой. Когда все разошлись по работам, он переложил мешок в японскую лодку и подъехал к дому Пьющего Воду. А когда внес мешок на плече в лагуну, вся семья легла ничком на землю как бы замертво. Матрос поставил мешок стоймя и сам встал на колени.

Дети, немые, в копоты на коже, нечесанные, со скатанными вихрами, как грязные зверята весной, подползли к Васе, когда он осторожно вспорол своим ножом тонкую завязку на мешке из соломы и открылась перламутровая поверхность риса. Японка-мать быстро взяла рис в горсть. Но варить рис не в чем. Вася знал и это. Он снял с пояса и отдал свой котелок. Принес с постройки стружку и обломки досок, два кругляша, оставшиеся от бревна, все то, что японцу брать запрещено. Высек огонь и запалил сушь. Очаг сразу загудел. Чашки бы-

ли такие грязные, что на них, как краска, держался коричневый осадок. Палочки нашлись. Дети ждали терпеливо, когда сварится рис, ни на миг не спуская глаз с котелка. Молодая японка, такая же исхудавшая, как все в этой семье, возилась у очага и, закрываясь краешком платка, похожего на тряпку, тихо и счастливо смеялась. Скулы у нее широкие, а подбородок острый и маленький.

— О-ёё-яся,— вдруг сказала она.

...Вася сидел рядом с девушкой в кругу семьи. Она называла его О-ёё-яся. У нее такой же вздернутый вверх нос, широкий в крутом изгибе, как у утки, у Василия такой же нос. Матрос и Оки — так звали девушку — необычайно походят друг на друга. Но он русский, голубоглазый и рябой. А она черная как смоль, с карими глазами и чистой гладкой кожей, на щеках сегодня проступил слабый румянец.

Дети легли спать. Ушли вверх по лестнице и родители.

...У нее были маленькие, как бы в робости приподнятые плечи, испуганные глаза вечно голодного, задавленного нуждой существа. Такой она была всегда и такой оставалась в его глазах, когда загасили лучину. Икры ее ног острые и сухие, но странно, что у нее такие живые груди, сочные и твердые, как камешки. Удивительно, такая жаркая и нежная она под его рукой, и не верится, как могла созреть в голоде и нищете на одной воде. «Ну, море по колено! Пусть казнят — на ночь в лагерь не пойду!..»

Ночью Вася проснулся и подумал, что все же лучше бы не идти под суд. Если же утром спохватятся — шпицрутенов не избежать. Вспомнил разные наказания, которым подвергали матросов. А он еще жалобил адмирала, говорил про бедных. Теперь представил, как докладывают, что Букреев провинился и в чем... Евфимий Васильевич наступил, молчит, обиделся: подвел его матрос! В кои-то веки ему поверил! Путятин богомольный, доверчивый. Ваське стало жаль и себя и адмирала.

Он потрогал руку японки. Она не спала.

— Яся! — сказала она.

Он не хотел подводить адмирала, зlobить его на своих товарищей. Не плюй в колодец — пригодится воды напиться.

— Оки... я пойду в лагерь... А то меня хватятся и расстреляют как дезертира. Вчера Маслов меня выручил, а Мордобой пронюхает утром...

Яся, щелкая языком и делая разные знаки руками, всегда мог объясниться с японцами. По-английски он говорил бегло, но говорить по-японски еще не научился и сейчас очень жалел, что японка его не понимает. Она ему что-то отвечала, может быть, просила приходить еще, что отец и мать, может быть, будут очень рады.

— А ребят трогать не позволяй, хотя у вас грехом, может, и не считается, но чтобы того не было... Убить нельзя, самый грех... У нас в России выкидыш кто сделает — и то страшный грех. А я буду живой, здоровый, еще приду к тебе.

Японка что-то сообразила и успокоилась.

Матрос вскочил проворно. По сопкам, как тать в ночи, и потом по улицам без фонаря, под страхом смерти от сабель охранявших селение самураев, которые обязаны рубить насмерть каждого, кто ходит без огня — так объяснили матросам, — он добрался до ясно видной на фоне неба городьбы лагеря, похожего на тюремный двор. Он прямо подошел к японцу-полицейскому у загородки, сунул ему несколько дырявых монет, которые зашиб у юнкера за починку сапог. Японец спрятал деньги в мешок рукава и, повернувшись по-европейски четко и топнув сапогом, уткнулся носом между двух вбитых бревен, как бы

ничего не видя. Вася перескочил городьбу. Дальше были все свои, лишь бы спал боцман Терентьев.

— Зачем же тебе погибать? — успокаивал утром друг Янка Берзинь, выслушав его исповедь. — Вот и будешь с ней жить как с женой. Только осторожно и не каждый день. Родители будут довольны и она.

— Да и они...

— Говорят, они продают детей кому угодно по дешевке. Это у них принято. И ты для них не блудня, а благодетель. Ты думаешь, у вас в Питере такого не бывает?

Янка — хороший товарищ, пообещал достать кувшин сакэ.

— Я тебе принесу, а ты отнеси ее отцу, угости. Ему приятно будет. Это очень прилично так. Японцы всегда любят уважение. Ты семье помог, а теперь ему лично. Хорошо будет. А я сакэ достану. Когда еще будет надо — только скажи. Я боцману тоже достаю.

— Спасибо... А где же ты сакэ достаем?

— Да все там же...

Янка решил, что теперь и он может открыть товарищу свою опасную тайну. Янка, придя в Хэда, в первый же день встретился с японкой за усадьбой самурая, он ее и не рассмотрел хорошо. Может, что-то почуял самурай и вечером выселил матросов из своего дома. Японка немолодая, по лицу не разберешь, сколько лет, но телом крепкая, служит в усадьбе у самурая. Видно, вдова. Янка стал к ней похаживать.

— Она и не шибко старенькая, — объяснил Берзинь. — Я тогда сошелся с ней в роще, в бамбуках: Тесно там, бамбуки густые. А она, оказывается, вроде экономки или подшкипера у самурая. У него весь дом стоит на женщинах... Она заведует сакэ и припасами. Как я иду домой, она мне кувшинчик! И набьет карманы печеньем. А я его не ем. Не могу есть из водорослей, хотя бы из муки... Раздам ребятишкам, а сам боюсь, как бы не дознались. Я тебе буду отдавать, а ты отнеси своей...

— Вон что! — удивился Букреев.

— У самурая есть корова, — рассказывал Янка, — и он на ней пахал и ездил. А корова отелилась. Я ее раздоил... И хорошее молоко стала давать. Я, как приду, подою корову. Она сначала не давала доить, стыдилась и упрекала. А потом поняла. Эх, брат, очень хорошее молоко! Они прежде работали на коровах как на быках. А самурай нас один раз выследил и зашел. И видит, я дою корову. Я говорю ему — адмирал! Смотрел он, потом сел на корточки и давай сам доить корову. Теперь я хожу не через рощу, а прямо к ней, он увидит меня и закроет лицо ладонью: мол, не вижу. Он гордый, что за триста лет его корова дала первое молоко в Японии для питья. Я еще обещал его научить есть творог и сметану.

— А правда, лейтенант Колокольцов с его дочерью гуляет?

— Колокольцов имеет свой вход — красное крыльцо, а я хожу с заднего двора. Никогда не встречаемся. Самурай просил меня строго: мол, вы с Александром друг другу на глаза не попадайтесь; грозил выгнать меня. Самурай выучился звать его по-русски, выговаривает Александр! Вчера там был капитан, и они все пили, и переводчики перепились до чертиков.

— А ты?

— А я в лачужке напротив, и мне слышать.

— Больше пока не рассказывай.

— Самурай теперь этой коровой дорожит. Он молоко доставляет Евфимию Васильевичу, и теперь они друзья до гроба. А Путятин говорит: мол, вот как просветил я вас и всю Японию, объяснил вам, как и зачем пьется молоко. Адмирал так рад, говорит, здоровьем поправился; запоров нет, и договор скоро будет. И корабль построятся.

— Вот что значит для правительства твое молоко, Берзинь!

— Как же! И сам сыт... И самурай кланяется и благодарит. Он с виду неказистый, но сволочь со своими. Богатый все же.

— Барон?

— Право, барон. Амбары полны всего, а он семье выдает понемногу. Он скупой. Но для гостей старается. Видно, велено для нас ничего не жалеть, но все записывать. У самурая есть в горах табун лошадей, а он ездил на быках и коровах. Колокольцов ему приглянулся. Все хвалит, говорит, мол, Александр построит для Японии хороший корабль. А я уж молчу. На вот, возьми пряники, она вчера мне дала... Ты ходи к своей, не бойся. Никто не выдаст. Но не часто. Я тоже хожу. Мордобой сам не положит охулки на руку... Может, какая японка его умаслит...

— Слушай, а как они за все занесут цену и запишут в документ, а потом придет в Кронштадт, у нас станут переводчики переводить да разберут, на что мы тут во время войны тратились...

— Тебе-то что! Нас, может, и в живых уже не будет... Ты иди к ней, иди... Чего тебе бояться за государственное казначейство!

Васю не надо было долго уговаривать. Он принес вечером Пьющему Воду кувшинчик сакэ.

— Растащим все богатство у вашего самурая,— сказал он, выставляя угощенье хозяину.— Не знаю, чиновник он или помещик? Вроде и то и другое и вроде не совсем? Ни мясо ни рыба. Давай выпьем. Чокнемся чашками и до дна! Смотри, как я. Учись. Век живи и век учись! Папаша, давай-ка!

День ото дня Оки становилась разговорчивей. Когда приходил ее Яся, она заканчивала хлопоты по хозяйству и садилась рядом. Сначала Оки улыбалась. Потом выставляла рис и рыбу. Она все время повторяла одну и ту же фразу, смысла которой матрос не понимал, но чувствовал в ней что-то тревожное, касавшееся его. Она все время упоминала его имя.

Среди матросов прошел слух, что адмирал едет в Симода и, может быть, работу в Хэда придется прекратить и отправляться после заключения договора из Японии.

На стапеле Василий встретил Иосида.

— Что, к нам теперь? Старый друг, здорово!

— К вам.

— Смотришь?

— Работать послали.

— Какая же работа у тебя? Шпионить за нами?

— Да.

— Ты же у нас жил на Камчатке и в Иркутске и ел наш хлеб. И тебя русские спасли в море. Ты не должен на нас доносить.

— Конечно... Я плохо не сделаю.

— Ты ведь нам старый товарищ.

— Конечно. Но я теперь чиновник. Мне все подчиняются. Я младший переводчик для нижних чинов.

В самом деле, Иосида теперь хоть без сабли, но в чиновничьем сером холщовом халате, похожем на кафтан.

Вася не знал, откуда японцы взяли, будто скоро русским придется уходить. Унтера ничего подобного не слыхали. Работы шли. Вася все же решил, что надо узнать, о чем так упрямо твердит ему девушка.

Вася попросил Иосида по дружбе пойти вместе к знакомому японцу и переводить.

— Японка что-то мне говорит важное, а я не пойму.

Иосида, едва прикрывший чиновничьим халатом свое тщедушное тело с торчавшими ребрами, сморщил сухую кожу на лбу и на

лысине, как пергамент. Иосида, как и все здешние, злился, если замечал интерес и внимание хэдских девиц к морякам.

Вася это понял, но отступать не стал.

— Ну, ты не выдай! Ведь мы друзья... Не будь иудой.

— Нет, Яся, худа нет,— отвечал обиженно Иосида.

Он тоже слышал, что в деревне говорят, будто русские уезжают совсем и бросают работу.

Вася опять получил от Янки кувшинчик сакэ.

Вместе с матросом Иосида явился в семью Пьющего Воду. За чашечкой хмельного он добросовестно все перевел.

— Яся,— говорила японка,— ты от нас никуда не уедешь. Ты никогда от нас не уедешь, Яся.

Васька испугался. В ее речи слышалось что-то пророческое.

— Как это не уеду? Переведи ей, что я военный матрос и присягу приносил.

— Нет, Яся, не шути, как все моряки,— отвечала Оки.— Это известно, все моряки — как ветер моря.

— Я обязательно уеду! — воскликнул Василий.— А знаешь,— обратился он к шпиону,— не все живут так, как я. Другие нашли себе богатеньких.

— Матросы? — живо спросил Иосида.

— Нет... мецке, который с нами ехал. Вот он, говорит, хорошо тут устроился.

— А-а! — разочарованно протянул японец.

Оки заплакала. Она продолжала сквозь слезы. Оказалось, она ходила к ворожейке, та гадала ночью, зажгла красную свечу, водила пальцем по столбцам огромной книги и сказала Оки, что ее возлюбленный никуда и никогда не уедет из Хэда.

— А ты сказала бы, что я морской человек из России. Как же я могу не уехать. Это дезертирство. Я на это никогда не пойду...

Японка не ответила. Она действительно не сказала гадалке, кто он. Но ведь это не важно, кого любишь, важно, что любишь. Было бы стыдно говорить об иностранце. Оки задумалась. Она неспроста пошла ворожить. Она тоже слышала, что моряки скоро бросят работу и уедут воевать с американцами и что вся Япония на это надеется.

Слухи дошли из города Симода, может быть, опять торгошаи, бродячие цирюльники или мелкие ремесленники привезли новости.

— Яся, ты не уедешь от нас,— твердила девушка.

Иосида захмелел и стал пояснять, что сегодня он сам хочет остаться ночевать здесь с маленькой сестрой Оки.

Букреев вывел Иосида из лачуги, затворил дверь и уговорил его идти домой. Но через некоторое время Иосида, распахнув дверь, явился на пороге. Схватившись за косяки, он в бешеной ярости смотрел на Василия.

Матрос с разлета толчком плеча выбил его наружу. Иосида упал как мертвый.

— Не душу ли отдал? — озаботился Вася.

Он вышел за порог и нагнулся. Тут-то Иосида вскочил и кинулся на Ваську. Он ударил матроса всем своим тщедушным и узким телом как железом и обернулся при этом винтом, как бы норовя разбить его на куски. Удара такой силы матрос не ждал и, отлетев, ударился спиной о стену лачуги и лишь поэтому устоял на ногах.

Иосида оказался упрямым и непобедимым драчуном, он, как кошка, кидался на матроса, норовил бить его по глазам, под ложечку и между ног. Но Васька оказался сильнее и опять, ухватив его за шею и не зная, что тут делать, кинул Иосида с уступа в море.

— Плавать не могу... Помоги,— взмолился шпион, барахтаясь в воде под обрывом.

— А доносить не будешь?

— Не буду.

Под скалой было глубоко. Вода холодная. Матрос ухватил Иосида и вытащил его на отмель. В воздухе еще холоднее.

— Мы только пошутили,— сказал мокрый японец.

— Ну ты иди домой. Мне больше толмача не требуется. Я пошел сушиться.

— Здесь не сушишься,— ответил Иосида.— Если сам не уйдешь, то я должен донести.

— Сволочь,— ответил Вася.— Ты не товарищ. Женщины у вас хорошие и честные, и на них все держится. А ты бесстыжий кровопийца и предатель. Начнется война, и тебя никто щадить за эти зверства не будет. Неужели же вас вовремя нельзя отучить?

Вышел Пьющий Воду и, улыбаясь, погладил Иосида по спине, и тот сразу свела судорога. Он упал на землю и стал корчиться. Пьющий Воду засуетился притворно, но не помогал.

— Это ты меня так искалечил... — бормотал Иосида.

— Нет, я тебя и не трогал, это ветер тебе в спину подул,— ласково отвечал хозяин.

— Это у тебя от холодной воды,— сказал Вася.— Я тебя вовремя вытащил... Я и сам едва вылез.

Иосида с трудом пришел в себя. Одежду его высушили в лачуге.

— Каму счастье, каму нету...— запел он по-русски, уходя в одиночестве в темноту по тропе над морем.

Пьющий Воду позвал Василия куда-то. Взял фонарь и зажег слабый светильник.

— Покажу сокровище,— говорил японец.

Под скалой выбоина, и японец достал оттуда длинный шест с хорошо отточенным железным крюком на конце.

— Ты не думай, что мы бедные! У нас это сокровище хранится. Это очень удобная вещь. Это для восстания, когда будем убивать Ога и Ябадоо. Можно крюком хватать за морду или за зад...

Васька начал кое-что соображать. Но его уже ничем нельзя было удивить сегодня.

— А князя из Нумадзу мы зажарим живьем,— продолжал японец.— Князя! — Пьющий Воду захихикал от восторга.— Если пойдешь убивать американцев в Симода, то можешь взять у меня это сокровище. Очень удобная вещь. Возьми ее, если надо, Яся.

— Сколько же мне из-за тебя приходится терпеть,— жаловался матрос, прощаясь с девушкой.

— Мне, Яся, из-за тебя очень тяжело,— не понимая его слов, говорила Оки.

Глава 14

Возвращение Накамура из Симода

Появление Накамура всегда предвещало что-нибудь хорошее. Он, как все знали, честный и благожелательный человек. Накамура Тамея — как живой шов, он воедино соединяет японское общество с русским и оба посольства; без него, верно, все бы перессорились, переобижались друг на друга. Начали бы с пожеланий подружиться, а кончили бы скандалом, а потом, может, и дракой, как бывает, когда обе стороны хотят мира, а боятся друг друга и не доверяют, насторожены, во всем готовы видеть насмешки, неуважение к обычаям, хвастовство,

заносчивость. А там пойдет писать губерния! Лиха беда начать с первой размолвки.

При несоответствии понятий двух народов простые и естественные люди, как Накамура, ценятся на вес золота. Он не маклер, который посредничеством спекулирует монопольно. Накамура с даром прозрения, понимает, как просто было бы людям жить вместе, уступая и призываясь друг у друга, а не вскакивать на дыбы от всякой неприятной малости.

Во дворе зашелестели шелка и замелькали пики, значки, зонты.

— Вот это свита! Право! Сколько новых нахлебников на шею нашим рыбакам,— сказал Можайский и, разгибаясь, как переросший второгодник на «камчатке», потянулся через стол, чтобы прибрать цветные рисунки шхун, которые делал на подарки японцам.

Накамура вошел быстро и, счастливо улыбнувшись, поклонился с видимым удовольствием. Адмирал встал из-за стола и протянул руку.

Уселись напротив друг друга. Путятин в буддийском кресле, Накамура — на табурете, сжав на коленях большие кулаки. Несмотря на жесткий вид и некрасивое лицо, человек этот, как все знали, добр, но при этом расчетлив и далеко не сентиментален.

Путятин сразу же осведомился, каково здоровье Кавадзи-сама, потом спросил о здоровье Тсутсуй-сама.

Все вежливые обычаи должны быть соблюдены, как бы много времени на это ни требовалось. Накамура отвечал, что послы Кавадзи и Тсутсуй со штатом посольства и множеством подданных терпеливо ждут в разрушенном землетрясением городе Симода. Значит, они хотят довести дело до конца и заключить договор, ждут адмирала Путятина, когда он после пережитого ужасного потрясения разместит людей и устроит подданных морских воинов, едва сохранивших свои жизни при потоплении корабля «Диана».

Путятин сказал, что люди размещены под крышами и сыты, что дальнейшие требования будут представлены Эгава, как это делается ежедневно. Офицеры просят выплачивать жалованье деньгами, а не рисом и чтобы лавки не закрывались и торговцы не прятались при их приближении, чтобы им, как и во всякой цивилизованной стране, разрешалось купить что-то необходимое.

Накамура смолчал, полагая, что многое зависит от строительства корабля, при котором обучаются японцы западным наукам, все остальное — в силах японского правительства. А тем более медные гроши матросам и мелкое серебро офицерам. Весь западный мир винит японцев в тугодумье и медлительности. Но к великой чести канцлера Абэ и всего правительства, а также Тсутсуй и Кавадзи надо сказать, что с Путятиним после катастрофы действовали быстро и гениально. Двести пятьдесят лет верности традициям изоляции были молниеносно отброшены, словно все эти годы японцы ждали со дня на день случая, когда удастся переменить политику и открыть страну. Все оказалось продуманным и готовым. Путятину все предоставлено. Случай исключительный. Только просили еще Путятина, чтобы после ухода из Японии он и его офицеры никогда не сообщали никаких подробностей о своей жизни тут другим западным народам и не печатали бы об этом книг.

Путятин смолodu обучен сохранять секреты. Он сразу согласился. Он вообще гораздо лучше американцев и всех других понимал политическую и психологическую конструкцию японского общества, в котором Перри, например, видел лишь пустые церемонии. Нет, это не простые церемонии. За всем видел Путятин тяжкий след большой и большой истории, в какой-то мере как и у нас самих. Тут Иван Алек-

сандрович Гончаров прав, пожалуй, утверждая, что японская жизнь напоминает ему наших бояр с их шутами и приживальщиками. Сам Иван Александрович пока еще мало написал, да и вообще, пожалуй, не напишет ничего все из-за той же нашей таинственной секретности. Путятин охотно дал слово сохранить все в тайне — никто не узнаёт, как в закрытой Японии более полутысячи военных моряков живут на правах самих японцев. Все будет скрыто. И как Берзинь коров доит, как Маслов гонит смолу, как японки в них влюбляются... Как будто адмирал не видит ничего? Но никто не знает! Адмирал строг, хотя в глубине души и знает отлично, что вся жизнь в России и его лично идет не так, как следовало бы... Не так, господа! Но все же зря, кажется, пишут англичане, что бог не одарил русских душевным равновесием.

Путятин понял, что молчание Накамура — залог согласия. Офицерам будут деньги вместо риса. Но надо показать секретарю японских уполномоченных стапель и кузницы. Тогда и все другие просьбы будут уважены.

Однако в мозгу Евфимия Васильевича гвоздем сидело главное, о чем он сам еще и не заикался, соблюдал японский же этикет, или, как говорил Перри, «церемонии». Он не требовал садиться поскорей подписывать договор. Он не сказал посланцу бакуфу, что к этому вполне готов. Говорил не о договоре, а об устройстве своей морской армии, о стапеле, чертежной, о будущей шхуне и о превосходной работе японских плотников.

Старый франт Мориама Эйноске, похожий на боксера из Род-Айленда, самый блестящий и самоуверенный из переводчиков правительства, любезно сказал от имени Накамура-сама, что послы Кавадзи и Тсутсуй приглашают адмирала и посла прибыть в Симода для окончательных переговоров.

Путятин ответил:

— У вас в стране конец года. Близится ваш Новый год и праздники. Тсутсуй Хизен но ками достиг преклонного возраста, и я не должен заставлять его долго ждать... Я хотел бы ехать на переговоры, чтобы послы к празднику вернулись в столицу к своим семьям.

Путятин знал, что возвращение к уже сказанному и повторение очень уместны и будут приняты как знаки вежливости. Он еще несколько раз упомянул про преклонные годы Тсутсуй, называя его то Хизен-сама, то Тсутсуй-кун, то полным официальным княжеским титулом — Тсутсуй Хизен но ками.

Накамура понимал Путятину. Адмирал представил очень вежливый и достойный ответ и вполне требовательный и деловой. Никогда никто из американцев Перри, из прежних русских или из других западных народов так не говорил.

— Идемте в чертежную и на стапель, Накамура-сама.

Путятин еще сказал, что даст Тсутсуй и Кавадзи письменные вопросы к предстоящим переговорам, чтобы было что обсуждать. И эти повторяющиеся возвращения к важному делу показывали хорошую подготовленность и высшее воспитание посла, который перемежал светские замечания и вежливость, а потом твердо возвращался к основному императорскому делу. Таким образом, Путятин подготовился, чтобы встретить такую же вежливость со стороны послов Японии.

Тут другой переводчик тихо донес послу важную новость. Мориама Эйноске довольно старый. Открытие же страны пробуждает в Японии новые молодые силы. Что же это значит? Мориама идет на покой? Оказалось, что совсем не так. Мориама Эйноске только что оставил свою старую семью, он женился на молодой.

Татноске хихикнул.

— В Симодe женился?

— Нет, в Эдо...

А когда он был в Эдо? Ведь в Эдо Мориама был давно. Старая новость! Мориама есть Мориама, и палец в рот ему не клади. Отказался от своей прежней провинциальной семьи и женился на столичной девице? Решил, видно, зажить новой жизнью. Куда он еще метнется? Начало новой карьеры?..

Алексей Сибирцев теперь большую часть дня проводил на площадке, строя ступень и заготавливая материалы, он зашел в чертежную и присел на полу с Карандашовым. Неслышно появился лакированный столик, и стукнули чашки. Алеша приподнялся на колени и увидел Оюки.

Ее яркие глаза выражали ликующую радость. Девушка протянула ему руку, поклонилась и исчезла.

Сибирцев, немного сбитый с толку, стал прихлебывать чай, продолжая разговор.

Оюки не появлялась в офицерском доме. Кажется, она сказала отцу, что больна и служить не может, но сейчас подала столик, угощение и не походила на больную. Может быть, в этом значительность? Но Алеша не привык разгадывать подобные ребусы.

— Оюки-сан,— обратился Алексей к появившейся девушке,— я принес вам журнал... пожалуйста... Что надо сказать в таком случае? Она поняла и серьезно ответила:

— Спасибо... А-ре-са.

— Игирису фунэ,— сказал Алексей, показывая рисунок.— Бал на английском корабле...

Лицо у Оюки широкое, открытое, с выпуклым лбом, со смелым взглядом больших темных глаз под чуть припухшими бровями. И прическа как у русской девушки. Сибирцев, бывало, любовался, когда идут современные девицы по Невскому проспекту, как разговаривают между собой независимо; холодно, с неприступностью посмотрят на блестящего самоуверенного военного, словно хотят сказать: мы вас оставим с носом, господин офицер.

В Петербурге Верочка. Она «классическая», белокурая, с великолепным профилем, любит верховую езду и уверена в своем превосходстве над всеми прочими и в том, что у Алешки не может быть выбора лучше...

Как, однако, Оюки переменилась! Поразительно, как быстро женщины меняются... Право, просится на нее блузка с корсетом и юбка да часы на золотой цепочке, она уже видела картинки, изображающие барышень и дам. Ей уже были показаны девушка-наездница, девушка — стрелок из ружья, девушка-виолончелистка, девушка на баррикаде в сорок восьмом году... А в английском журнале — хлебный бунт, восстание и огромного роста молодая женщина руководит толпой. А еще балы, концерты, дамы и молодые леди. Неужели так быстро ум ее все схватил и провел сравнения? В офицерский дом не ходит, отец в тихом гневе. Вчера, сколько мог понять, она из-за этого-то и ссорилась с отцом. Алексей зашел вечером в опустевшую чертежную за тушью и потихоньку вышел, чтобы не слушать. И преуспел: научился входить и выходить неслышно, незримо. Человек все может, только ему пример подай!

Оюки и Сибирцев нагнулись над столиком. Офицеры и юнкера бросили работу и столпились вокруг, старый журнал, случайно оказавшийся у адмирала с документами в стальном ящике, теперь пригодился.

— Алексей Николаевич, вы здесь? — входя, сказал дежурный мичман Михайлов. — Адмирал идет...

Свите велели не лезть в чертежную. Чиновники и самураи охраны расселись на корточках в сенях и во дворе.

— Очень приятно видеть все это. Здесь ли вычерчивается корабль? — спросил Накамура.

Путятин велел Можайскому и Сибирцеву объяснять.

Вошел Колокольцов.

— Ветер ужасный, и дождь начался, — сказал он, снимая плащ из клеенки и вытирая лицо белым крахмальным платком.

— Наши плотники разбираются ли в чертежах? — поинтересовался Накамура.

— Лучше всего разбираются в чертежах молодые плотники, — ответил Сибирцев.

— А-а! Да-да! — закивал Накамура. — Известны ли имена этих молодых?

— У вас простые люди не имеют фамилий, — сказал Можайский, — но имена их известны: Таракити, Комесабуро...

— Советую вам, Накамура-сама, дать фамилии со временем тем из них, которые покажут способности и старание, — сказал Путятин.

Накамура заметил, что всюду чертежи. Пол выслан одним большим чертежом. Ему объяснили, как шхуна и ее части вычерчены одновременно с разных сторон. Большое количество бумаги дорогих сортов, запрошенных адмиралом, тратилось не зря. Также и тушь.

Множество линий и цифр с замечательной аккуратностью вычерчены на этих листах. Все офицеры работают дисциплинированно. Японский математик, прикомандированный к чертежной, также трудится. У западных людей во всем видна бодрость и военная сила, что может быть обозначено иероглифом, означющим «письмо Верховного Господина», или «приказ свыше»...

— Отправляемся, господа, на стапель! — сказал Евфимий Васильевич.

Толпа артельных, встречая на пристани, кланялась, опускаясь на колени. Колокольцов подозвал трех японцев и, называя их по именам, представил Накамура. Это против всякого этикета. Накамура не должен говорить с простыми людьми. Но он и это снес.

— Я бы на вашем месте, господа, выбрал бы из таких молодых десятка два самых разбитных и смысленных и послал бы их с открытием страны за границу учиться, к нам на верфи или в Америку, даже в любезную вам Голландию, — говорил Путятин. — От ваших самураев и князей пока нет никакого толка и еще долго не будет. Надо искать вот здесь будущих мастеров.

Накамура, как только Татноске начал переводить, показал рукой, чтобы плотников убрал подальше. Самураи живо оттолкнули Таракити и Комесабуро. Дальше разговор не для них. Сообразительные японцы вежливо поклонились и пошли прочь по местам.

Ущелье полно людей. Все преобразено и представляет собой живую картину, как на шелку в богатом доме. Всюду работают вместе японцы и русские. Несколько самураев-шпионов ходят между японскими рабочими.

Накамура видел, как Путятин заговорил с плотником Таракити как с равным и без переводчика. Как можно позволить так говорить без свидетелей? Но это открытие для нас нашего будущего. Путятин еще и позвал этого плотника к Накамура. Можно представителю высшего чиновничества говорить с человеком без чина и фамилии? Путятин это понимает!

— Как же вы, господа, постройте себе флот, если станете чураться мастеров и рабочих? — сказал он.

— Ты по-русски уже что-нибудь знаешь? — спросил Накамура у плотника.

— Маленько знаю, — ответил плотник по-русски.

Матросы на стапеле сочувственно ждали. Товарища могли за такие слова упечь в два счета, но не тут-то было. Евфимий Васильевич с ним.

— В России был царь Петр... — рассказывал Путятин за обедом в храме.

Накамура уже слышал от русских, как царь Петр сблизил Россию с Европой тем, что построил флот и порты. Теперь в Японии русские хотят поступить так, чтобы появился японский Петр. Море для такой великой сухопутной страны, как Россия, необходимо. Для жизни и прогресса. Даже Россия без флота задыхалась. Но для Японии флот еще нужней!

— Царь Петр сам разговаривал с плотниками? — спросил Накамура.

— Да мало что разговаривал... Он сам был плотником и работал топором...

Мориама сказал, что в Симода все очень заняты. Там такой шум... И все сбились с ног...

— Да, мы понимаем. После землетрясения и цунами приходится весь город строить заново. При нас была прислана тысяча рабочих из столицы.

— В Симодэ сейчас много суеты и приехало вдвое больше чиновников. — заговорил Накамура, — но Кавадзи-сама очень хочет видеть вас, посол Путятин, он не занимается другими приемами, для этого существует еще одна делегация.

Путятин знал, что хотя главой японской делегации считается старик Тсутсуй, но все ведет и все вершит великолепный вельможа, высший чиновник из столицы Кавадзи. Однако каких-то делегатов еще занесло в Симода! Кто же это?

— Постойте-ка, — перебил рассказ японца капитан Лесовский, — какая это еще одна делегация?

— Но все ваши вещи, посол, находятся в целости, — продолжал Накамура. — Посыет и Гошкевич здоровы, как я уже говорил, и живут в храме Гекусенди. На берегу лежат ваши орудия с «Дианы», которые посол предусмотрительно приказал отгрузить. Когда американцы увидели эту картину, то подумали, что город сгорел и погиб, а на берегу лежат пушки, и очень обеспокоились и спросили, почему такой ужас, с кем была война у японцев...

Путятин остолбенел. «Что?! — хотелось крикнуть ему. — Американцы пришли в Симоду? А вы... вы... Да вы что? С ума сошли? Что же вы нам об этом сразу не сказали? Это после гибели судна важнейшее известие. Это первый корабль... Мы можем послать с ним известие в Россию... Да что вы...» Но Путятин взял себя в руки и ни слова не сказал. Лесовский спросил:

— Какой американский корабль стоит в Симодэ?

— Пароход «Поухатан».

— Капитан Адамс с ратификацией трактата Перри прибыл в Симоду как в первый открытый по договору порт? — спросил капитан.

Путятин как бы небрежно помянул, что когда много дела, то это хорошо. Но Америка есть Америка, а Россия остается Россией, и тут нет никакой связи и наши переговоры с Японией от этого не зависят.

Японцы были поражены. Посол очень гордо ответил. Это достойно. Император России может быть спокоен. Это благородно.

— Спешить не будем. Едем попозже, раз в Симоде так все заняты, не сейчас сразу,— сказал Путятин.— Завтра ранним утром... Накамура ушел отдыхать.

Путятин собрал военный совет. Он отдал распоряжения и предупредил, что утром сам немедленно отправляется в Симода, что туда пришли американцы и это открывает перед нами широчайшие горизонты.

— Как только трактат будет подписан, мы сможем уйти. Идет война. Если американцы осмелятся взять нас как потерпевших кораблекрушение и доставить на Амур, то, заключив договор, мы встанем в ряды сражающихся против англичан и французов. Американцы как морская нейтральная и дружественная нам нация могут перевезти нас. Здесь, господа, я оставляю Степана Степановича. Если будут затруднения с самим Адамсом, то я попрошу американцев прислать за нами купца, которого можно было бы зафрахтовать... Вы, господа, неукоснительно продолжайте начатое нами дело. Надо поскорее закончить шхуну, подготовить ее достаточно и все объяснить так, чтобы сами японцы могли довести дело до конца в случае нашего ухода.

(Продолжение следует)



ЮРИЙ РЫТХЭУ

★

КОГДА КИТЫ УХОДЯТ

Современная легенда

Часть первая

1

Нау искала глазами этот неожиданный блеск, который ближе к берегу становился ясно различимым — фонтан бил высоко и солнечный свет в нем искрился разноцветной радугой.

Нау бежала по прохладной сырой траве. Прибрежная галька щекотала босые ноги, и тихий смех девушки смешивался со звоном перекатываемых прибором отполированных голышей.

Нау чувствовала себя одновременно упругим ветром, зеленой травой и мокрой галькой, высоким облаком и синим бездонным небом.

И когда из-под ног выбегали испугнутые птицы, евражки, летние серенькие горностаи, Нау кричала им радостно и громко, и звери понимали ее. Они смотрели вслед высокой девушке с черными развевающимися, словно крылья, волосами.

Она никогда не глядела на себя со стороны и не задумывалась, чем отличается от жителей земных нор, от гнездящихся в скалах, от ползающих в траве. Даже угрюмые черные камни были для Нау такими же живыми и близкими, как и все окружающее.

И ко всему, что она видела — живому, имеющему свой голос и свой крик, безмолвному, но движущемуся, и пребывающему в вечном покое, — она относилась одинаково ровно и спокойно.

И так было с ней до тех пор, пока она не заметила приближающийся китовый фонтан, высокий и слышный у берега, пока не увидела длинное, блестящее, упругое тело морского великана — Рэу.

Кит подплывал к берегу, и галька под его тяжестью скрипела. Поднятая им волна накатывалась, обжигая холодом босые ноги Нау.

В первые дни что-то удерживало девушку, и она остерегалась подходить близко. Нечто сильное и властное останавливало ее у прибойной черты, на той линии, где от малейшего прикосновения рассыпались в прах засохшие ракушки, где лежали просоленные в морской воде обломки древесной коры, а то и целые стволы деревьев.

Нау издали смотрела на кита, на громадное черное тело, в котором отражались солнечные блики, и ей казалось, что кит светится изнутри собственным светом.

С громким журчанием в пасть кита втекала вода вместе с мельчайшими красными ракушками и медузами, и над головой Рэу рождалась в водяной пыли солнечная радуга.

Она манила девушку, звала, заставляя переступить безмолвный запрет, невидимый порог, отмеченный грядой разноцветной гальки, что намыта волнами. Ей хотелось приблизиться к радуге, чтобы на ее тело упала хоть одна капля, в которой сверкало маленькое солнце.

И однажды Нау так близко подошла к киту, что фонтан окатил ее с головы до ног.

Это было неожиданно, но все было так, как она предчувствовала — капли были теплые, блестящие и Нау ощущала, как солнечные лучи обволакивают ее, по всему телу разливается новое, знакомое чувство мягкой ласки. Частое дыхание прерывалось, кружилась голова, будто Нау долго смотрела с высоты на бегущие по воде тени облаков.

А кит, словно понимая это, купал ее в теплых струях, пронизанных солнечным светом, лаская мягкими прикосновениями воды и тихим журчанием фонтана.

Нау чувствовала, как растет ее маленькое сердце, заполняя грудь, мешая ровному дыханию. Кровь согревалась, вбирая тепло китового фонтана, и девушка в растерянности стояла неподвижно, не зная, что делать. А ведь раньше она совсем не задумывалась над тем, что делала. Как ветер, волны, облака, пробивающаяся трава и прячущиеся в ней цветы, как евражки и летящие птицы, плывущие по морю звери и рыбы, она была частью этого огромного мира, живого и мертвого, сверкающего и тонущего во мгле, убаюканного тишиной высокого неба и одеялом мягких облаков и ревущего, когда неожиданно сорвавшийся ураган раскачивал морские волны и они обрушивались на берег, стремясь достичь трав, в которых прятала свои озябшие ноги Нау.

А теперь что-то другое накатило на нее, разбудило мысли. Будто она только что проснулась и как бы заново увидела небо, синее море, холмы с зелеными травянистыми склонами, впервые услышала писк суслика, звон птичьего базара под скалами, журчание ручья... Будто она вдруг открыла, что морская вода отличается вкусом от той, что в ручье, что утренний холод исчезает, по мере того как над морем поднимается солнце.

Теперь, когда Нау бежала по тундре, упруго подскакивая на пружинящих кочках, она вдруг останавливалась и склонялась над крохотным голубым пятнышком цветка, словно осколком неба, упавшим с зенита. Голубой глазок качался на тонком зеленом стебельке, и Нау слышала пронзительный, уходящий вдаль звон.

Мир звуков разъялся, как и видимый мир, и теперь Нау различала грохот бьющих о скалы волн, шелестящий звук ветра, гдающегося невидимой огромной ладонью тундровые травы, плеск мелких волн в лагуне, журчание воды в ручье, бегущем по каменистому склону.

По-разному заговорили птицы и звери.

Черный ворон каркал черными звуками, и звук этот был темный и холодный, будто тень на том берегу, куда не достигали солнечные лучи и где лежал вечный снег, темный и рыхлый от старости.

Летние лохматые песцы тьякали, словно выплевывая застывшие в глотке мелкие косточки морошки. Остро и пронзительно свистели суслики, как бы окликая Нау, призывая ее взглянуть на черные глазки нор, вырытые под защитой камней.

Звенели морские птицы, гнездящиеся на прибрежных скалах, и порой, когда они разом взлетали, потревоженные росомарой, в их гвалте тонули все остальные звуки и мир становился уныло-однообразным, серым и плоским.

Нау открыла, что звуки могут быть приятными для уха и такими, от которых хотелось бежать и укрыться куда-нибудь подальше. Зато птичий гомон над утренним ручьем Нау была готова слушать бесконечно. В нем было что-то схожее с радугой над китовым фонтаном, и птичье щебетание рождало в душе ожидание предстоящего чуда.

День ото дня тундра становилась ярче и цветистей. Ноги Нау чернели от сока ягод. Старая тундровая волчица лизала их и смотрела в глаза Нау преданными тоскливыми глазами. Она чуяла приближение зимы, а для себя еще и смерти, потому что она уже ни на что не годилась: трудная жизнь и возраст стерли все ее зубы...

В этот день, как всегда, солнечные лучи разбудили Нау.

Они были такими же яркими, как прежде, однако в них уже не было того всепроникающего тепла, какое было раньше. В их прикосновении к закрытым векам Нау чувствовала предостережение, знак приближающегося ненастья.

Нау окончательно проснулась и утолила голод пригоршней морошки.

Чуткие уши ловили привычный шум морского прибоя, птичий звон над ручьем и шелест травы.

Нау поднялась на ноги и двинулась к морю.

Роса была непривычно студеной. Нау бежала, чтобы согреться и стряхнуть с себя остатки сна. Суслики свистели ей вслед, испуганные куропатки вспархивали из-под ног, но Нау не останавливалась, движимая каким-то тревожно-радостным предчувствием. Обычно на последней галечной гряде, намытой волнами, Нау подбирала плети морских водорослей, добавляя их к скудному завтраку. Но на этот раз она даже не замедлила шага.

Ей уже слышался в прибойном гуле знакомый свист возносящегося к небу китового фонтана.

Блеск моря слепил ей глаза, и Нау не могла как следует рассмотреть берег.

И вдруг она увидела необычное... Подумалось, что это просто наваждение, обман ослепленных блеском воды глаз.

Да, был фонтан, в котором дробилось солнечное сияние, и кит, приткнувшийся к берегу. Но по мере того как Нау всматривалась в морского великана, он становился все прозрачнее, как бы растворялся в облаке мельчайших капелек воды...

Нау моргнула несколько раз, чтобы рассмотреть кита.

Но его не было.

Не было и фонтана с солнечной радугой.

Вместо всего этого она видела на пенной оторочке прибоя человека.

Он стоял и смотрел на нее черными, как у нерпы, глазами. Нау кинула быстрый взгляд на море. Там было пустынно. Ничто не указывало на то, что кит, который мгновение назад был у берега, уплыл. На гребнях прибоя сидели морские кулички и дергали острыми головами. Стаи перелетных птиц низко стлались над водой.

Нау почувствовала, как холодно вокруг. Студеная галька жгла ноги, холоден был воздух, и сами солнечные лучи уже не грели. Человек сделал шаг навстречу, и Нау показалось на миг, что за его плечами мелькнула радуга. Его лицо вдруг переменилось — глаза сузились, рот полуоткрылся, — и от всего его облика повеяло необычным теплом, оно грело даже на расстоянии, звало, обволакивало мягким облаком.

Нау тоже сделала шаг навстречу, неожиданно почувствовав желание прижаться к груди незнакомца, спрятаться там от холода.

Мужчина взял Нау за руку.

Он шел легко, перешагивал мелкие лужицы, перепрыгивал через потоки, и поступь его была подобна полету птицы. Нау словно неслась на крыльях развевающихся черных волос за незнакомцем.

Утренний холод улетучился, стало жарко, и ноги горели, будто она бежала не по прохладной траве, а по песчаным берегам тундровых рек, раскаленным летним солнцем.

Блеск солнца мчался вслед за ними — по глади лагуны, по струям речушек и ручейков, по многочисленным лужам и озерам.

Что же это?

Неведомая, огромная, сравнимая только с солнцем радость. Легкость и тревожно-сладкое ожидание, теплое стеснение в груди от мысли, что он рядом, тот, в котором слилось все, что пришло этим летом, — и огромный кит, и удивительное тепло, и неожиданное открытие того, что она чем-то отлична от птиц и зверей, от трав и волн, от неба и земли...

Что же это такое?

Нау и Рэу — так она мысленно назвала мужчину — поднялись на тундровые холмы, покрытые мягкими, чуть пожелтевшими травами. Под травами лежал подсохший светло-голубой олений мох — ягель, толщей своей защищающий растения от вечной мерзлоты.

С высоты холмов открывалось море, уже далекое, с еле слышным, приглушенным прибоем.

Мужчина остановился, не выпуская руки Нау.

Он повернулся лицом к морю, и девушка вместе с ним посмотрела в синюю даль.

За белой оторочкой прибоя резвились киты. Стая приблизилась к берегу, расцветив радужными фонтанами волны и спугнув куличьи стаи.

И лицо Рэу вновь озарило выражение, от которого исходило тепло, и в его больших черных нерпичьих глазах зажегся теплый желтый огонь.

Мужчина взял ее вторую руку и чуть потянул к себе. Тепло казалось невыносимым, обжигающим, но зовущим. Слегка кружилась голова, и Нау вспомнила, как взбиралась на высокие прибрежные скалы и оттуда подолгу глядела на море, на движущуюся рябь, на чередующиеся волны... Вот так же кружилась голова и крутая даль тянула к себе, вызывая сладостную дрожь в ногах...

Но это было другое, лишь отдаленно напоминавшее зов бездны.

И снова это тепло, нежное, мягкое, как нежный пух в гнезде гаги на холодных скалах, обращенных к морю, вечно обдуваемых ветром и смачиваемых солеными брызгами...

Лицо Рэу было близко, и оно менялось, как меняется тундра и море под ветром с облаками, то открывающими, то закрывающими солнце.

От него пахло морским ветром и водорослями.

Да, она ждала именно его, вот такого, близкого, понятного, сильного и нежного одновременно. И вся ее тревога по утрам, беспокойство по вечерам, когда солнце уходило за морской горизонт, и ощущение радости, когда он китом приплывал к берегу, было предчувствием именно этой встречи, ожиданием счастья.

Рэу опустился на траву, увлекая за собой Нау. Кружилась голова, все казалось окутанное радужной дымкой, и тело словно было погружено в теплый китовый фонтан, обволакивающий, ласкающий прикосновением своих нежных струй.

Иногда Нау казалось, что она летит высоко над поверхностью земли и мягкие светлые облака несут ее вслед за легким ветром.

И одновременно с этим ощущением росло и другое: хотелось слиться воедино с мужчиной,— и это желание было таким сильным, что Нау чувствовала боль от него.

Она не знала еще, что это и есть самое высокое женское счастье, от которого рождается песня, нежность и новая жизнь...

Нау слышала шум китового фонтана, взрывающего воздух над морской волной... Р-р-р-рэ-у!..— чудилось ей.

— Рэу, Рэу, Рэу,— произнесла она несколько раз и открыла глаза.

Лицо Рэу было совсем близко, и его большие черные глаза вбирали в себя девушку, топя ее в мерцающей жаркой черноте.

Теперь Нау не испытывала ни страха, ни тревоги. Она чувствовала, что именно этого ей не хватало, именно этого она ждала. Она только не догадывалась, что это придет к ней в облике мужчины, возникшего из кита.

И вдруг словно солнечный раскаленный луч прошел через все ее тело. И первая мысль ее была: разве боль может быть радостью? И тут же ответ: да, боль может быть самой высокой, необыкновенной радостью, от которой хочется кричать и плакать светлыми горячими слезами. Луч бродил по ее телу, зажигая его, рождая невидимый огонь, и хотелось только одного — чтобы это продолжалось бесконечно долго, вечно...

Когда Нау пришла в себя, то в первое мгновение она испугалась, что все это ей только показалось или приснилось.

Но Рэу сидел с ней рядом и держал в руках ее черные волосы, переливая пряди из одной руки в другую. Он улыбнулся, и лицо его словно озарилось.

Он рассматривал Нау, приближая свое лицо к ней, касался кончиком носа ее носа, и это прикосновение снова разжигало теплившийся в них огонь.

— Разве боль может быть радостью?

— Высшая радость приходит через боль,— ответил Рэу.

Вместе с его словами Нау ощутила знакомые запахи моря — соленой пыли, водорослей, мокрой гальки и распыленных по берегу красных морских звезд.

Перед заходом солнца Рэу встал с примятой травы и зашагал в сторону моря.

Нау шла рядом, не чувствуя под ногами земли.

И чем ближе был шум морского прибора, тем тревожнее становилось у нее на душе. Впервые в жизни она без радости подходила к морю.

Вот уже прибор и куличьи стаи на его изломе.

Рэу остановился.

Солнце падало в воду. Над линией, где соединялось небо с водой, оставался верхний край диска, и от него по воде бежала звонкая светлая дорожка, упиравшаяся в мокрый галечный берег.

Рэу ступил на эту дорожку, шагнул в воду, и на том месте, где только что был человек, мелькнул на мгновение китовый фонтан.

Нау порывисто шагнула в воду, но что-то сильное и властное вытолкнуло ее обратно на берег.

А кит уходил все дальше, и вскоре его фонтан померк вместе с последним отблеском погружившегося в море солнца.

2

Когда солнце вставало над лагуной, достигнув своей высшей точки, Нау спускалась на берег и стояла, пока вдали не начинала играть радуга.

Радость ее росла, по мере того как к берегу приближался кит и громче становилось его взволнованное дыхание.

Обратившись в человека, Рэу брал Нау за руку и шел вместе с ней на мягкие тундровые травы.

Они мало говорили. Многое из того, что нужно было передать друг другу, само собой изливалось через взгляд, прикосновение, просто через долгое молчание.

Проходили дни, полные счастья, невидимого и неслышимого полета души. И однажды Нау увидела, что дальние горы покрылись снегом.

— Что это?

— Это то, что погонит нас в другие моря,— ответил Рэу.

— Значит, ты покинешь меня?

Рэу промолчал.

С каждым днем свидания укорачивались, потому что солнце торопилось уйти в воду, сокращая свой небесный путь. В воздухе закружились белые снежинки. Падая на землю, на лужицы, в бочажки, они таяли, превращались в холодную воду.

Неуютно становилось на земле.

Птичьи стаи улетали на юг, оглашая опустевшую тундру печальными криками.

Умолк звонкий птичий гомон над ручьем, и сама вода в нем потемнела, загустела от частых дождей.

Нау бродила по тундре и разрывала мышинные норы, чтобы достать из них сладкие корешки. Бывали дни, когда она не могла приблизиться к морскому берегу: огромные волны бились о скалы, накатывались на галечную косу, кидаясь на одинокую девушку, стоявшую на высокой гряде.

В такие дни Нау боялась, что Рэу не приплывет.

Но он приплывал.

Однако в его ласках появились тревога и нетерпение.

— Почему ты не остаешься со мной до утра?

— Потому что, если я не вернусь с последним лучом, я навсегда останусь на земле,— ответил Рэу.

— А ты этого не хочешь?

— Не знаю,— ответил Рэу.

Еще совсем недавно, весной, когда он, молодой и сильный, резвился в морской упругой воде, он мог с уверенностью сказать, что никогда и ни за что не променяет вольную морскую стихию на земную твердь. А теперь... Он и не подозревал, что есть в мире такая сила, которая превращает кита в человека и держит его на берегу, заставляя забывать о великой опасности навсегда остаться на земле.

Братья-киты предостерегали его. Отец показал на белую пелену на горизонте. Она с каждым днем приближалась к берегу. Скоро это холодное и белое скует морскую воду и закроет путь к живительному воздуху. Уже ушли в теплые края первейшие враги китов — морские касатки, уплыли моржи, тюлени, и даже мельчайшие морские обитатели, которыми кишели прибрежные отмели, последовали за большими зверями. Все пустынное и молчаливое становилось берега северного моря.

Наступил день, когда за каменным мысом появилась полоса белого льда и от него ощутимо потянуло холодом и резким студеным запахом. Рэу приплыл не один. Остальные киты держались у кромки льда, пуская высоко в воздух хорошо видимые в стлом тумане фонтаны. Их было так много, что испуганные бакланы поднялись и улетели.

Рэу медленно приближался к берегу, сопровождаемый братьями. Они словно придерживали его, не давая ему коснуться прибрежной гальки. Но Рэу пробился к пенному прибюю и вышел на берег.

Он тяжело дышал, и грудь его высоко поднималась.

— Нау,— сказал он,— я пришел к тебе.

— Навсегда?

— Навсегда,— ответил Рэу, и как бы в ответ на эти слова в воздух с шумом взметнулись десятки китовых фонтанов, раздробив солнечный свет и заглушив все остальные звуки.

Рэу взял за руку Нау и повел за собой в тундру, подальше от морского берега, от разъяренных китов-сородичей. Он торопился уйти, боясь, что переменит решение и уйдет вместе со своим китовым племенем далеко, в южные теплые моря, подальше от надвигающихся льдов.

Нау и Рэу прошли тундровым зеленым берегом лагуны и углубились в холмы, где трава уже не была такой мягкой, а в земле чувствовалась близость вечной мерзлоты, таившейся от летнего теплого солнца за толстым слоем мха и прошлогодних трав.

Они уселись на пригорке и долго сидели молча.

Рэу был печален, и на лице его был туман, как в эти осенние утренники.

Нау дотронулась до его щеки пальцем.

Рэу вздрогнул и вздохнул.

— Что будем делать? — спросила Нау.

— Будем жить,— коротко ответил Рэу.— Новой жизнью, жизнью настоящих людей.

Настоящим людям пришлось нелегко в первые зимние дни. Рэу вырыл земляную нору и соорудил над ней свод из жердин, подобранных на берегу. Сверху свод покрыл дерном и сухой травой. Он смастерил копые из расщепленной кости моржа и заколол дикого оленя. Шкуру постлали на ложе, чтобы защитить себя от подземного вечного холода.

Нау вспоминала беспечные дни как давний сон, как то, чего на самом деле никогда не было. Иной раз ей казалось, что и Рэу никогда не был китом, потому что больше не было открытого моря и сколько охватывал взгляд простиралась белая пустыня, покрытая искореженными обломками торосов, вздыбленными ледяными полями, которые светились пронизывающим холодным мерцанием. Ветер бродил меж льдов, выбирался на берег и тщательно заметал все темное снегом, накидываясь на низкую пещеру-землянку, стараясь сровнять ее с белой равниной. Ветер ярился, обнаруживая каждое утро чернее отверстие, из которого поднимался пар живого дыхания людей.

Хотя усталость валила по вечерам с ног первых обитателей косы, они были счастливы, и то высокое и вечное, что соединяло Нау и Рэу, горело с постоянством и силой летнего незаходящего солнца.

Охотничья удача сопутствовала Рэу, и оленьих шкур теперь хватало не только на подстилку, но и на то, чтобы защитить тело от холода.

Нау сучила нитки из сушеных оленьих жил и иглой, выточенной из кости касатки, шивала высушенные и выделанные шкуры. Чтобы тело Рэу не натирала шершавая мездра, Нау на полу тесной хижины мяла оленью шкуру твердыми пятками своих сильных ног.

Горел огонь в каменной плошке, словно маленькое солнце поселилось в занесенной тяжелыми снегами землянке.

Темнота подступала ближе и плотнее. Солнце показывалось лишь узкой красной полоской, но в сердцах Нау и Рэу была твердая вера в то, что обязательно придет новый настоящий день, который будет еще лучше вчерашнего, точно так, как еще более прекрасными они находили друг друга каждое новое утро.

Прошлое как бы не существовало для них, потому что главным, от чего зависела жизнь, тепло в хижине, огонь в каменной площадке, было настоящее. И от настоящего зависело, что будет завтра.

Часто дули ураганы. Слежавшийся снег поднимался в воздух, и плотная пелена мокрого снега и упругого ветра валила человека с ног, прижимала к земле. В такие дни Нау и Рэу отсиживались в хижине.

Прислушиваясь к шороху снега по крыше землянки, Нау вдруг ощутила толчок внутри себя.

— Что там? — встревоженно спросила она, прижав ладонь к животу.

Рэу положил руку на смуглую теплую кожу жены чуть выше темной точки пупка.

И почувствовал биение живого.

— Это будущая жизнь! — радостно сказал он. — Это новое утро нашей жизни! То, ради чего мы вместе!

— Это будущая жизнь, — тихо повторила Нау, прислушиваясь к себе.

Когда утихла пурга, Нау и Рэу вышли на волю. Из-за дальних гор показалось солнце.

— Оно вернулось — источник тепла!

Они кричали от восторга и смотрели друг на друга счастливыми глазами.

Солнце еще было низко, и лучи его окрашивали снег в алый цвет до самого горизонта, который с трудом просматривался вдали.

Рэу мастерил разные орудия. Глядя на него, на падающие на его лоб волосы, Нау припоминала что-то смутное, неправдоподобное, волшебное, которое приключилось с ней неизвестно когда — то ли во сне, то ли наяву. Был ли вправду он китом?

На рассвете Рэу уходил на морской лед.

Нау с нетерпением ожидала его. Смотрела на торосы. Иной раз ей чудилось открытое море, зеленые волны и радужные блики вдали. Что это было? Сердце билось сильнее, волнение сдавливало грудь, и становилось так тепло, что она откидывала капюшон оленьей кухлянки.

Рэу приходил с добычей, и Нау больше не вспоминала о странных мыслях и видениях, занятая разделкой добычи, приготовлением пищи.

Солнце оторвалось от дальнего хребта и поплыло по небу.

Однажды Рэу заметил на южной стороне большого тороса щетинку еле видимых глазом крохотных сосулук.

Знакомая птичья песенка разбудила Нау. Поначалу она не могла понять — то ли эта песенка звучит у нее в душе, то ли за стенами хижины.

Серая полярная пуночка прыгала на тонких озябших ножках и звонко щebetала, подбирая остатки пищи. Она верещала и маленьким острым глазом лукаво посматривала на Нау, как бы поздравляя ее с приходом поры Большого Света.

Нау заметно отяжелела, тело ее округлилось. Она с трудом носила большой живот.

Вместе с теплом в прибрежные разводья приплыли жирные нерпы. Они вылезали греться на солнце, и тут их достигал Рэу. Иной

раз за день он добывал сразу несколько нерп и потом долго оставался дома, поправляя жилище, побитое жестокими зимними ветрами.

Устроившись на солнечной стороне, где уже стоял снег, Нау и Рэу разговаривали о будущем.

— Пройдет время,— задумчиво говорил Рэу,— и рядом с нашей хижинкой вырастут другие жилища, род людей, который мы начали, распространится по морскому побережью. Здесь есть простор, море кишит зверьем, в тундре бегают олени — можно жить и ждать радости, которые сулит завтрашний день.

— Как хорошо думать о том, что будет,— отзывалась Нау.— Когда глядишь вперед, кружится голова, будто смотришь с большой высоты.

На лагуне подтаял снег, и поверхность ее теперь была похожа на плешивую от сырости оленью шкуру.

Как-то Рэу, вернувшись с сопки, откуда он высматривал приближающиеся стада диких оленей, возбужденно сказал:

— Я видел открытое море.

— Открытое море? — тревожным эхом отозвалась Нау.

— Лед сломался,— сказал Рэу.— И большие птичьи стаи летят к этой воде через нашу косу.

— Откуда столько живого приходит на нашу землю? — спросила Нау.

— Должно быть, где-то есть иная земля,— ответил Рэу.— И, быть может, такие, как мы с тобой, существуют еще где-нибудь. Мы только пока не знаем их, пока не встретились с ними.

Теплый ливень разбудил обитателей хижины. Когда они вышли на волю, то увидели, что от льда на лагуне осталось лишь несколько кусков, которые, повинаясь течению, плыли к проливу. А в море свободная ото льда вода уже была видна с порога хижины, и полузабытый запах моря снова щекотал ноздри, рождал смутные желания.

Рэу смастерил сеть из оленьих жил и натянул на обруч из гибкой ветки. Он поднимался на прибрежные скалы и ловил сетью красноклювых топорков.

Последние льдины ушли из лагуны.

Нау непонятно и неудержимо тянуло к воде, и она была готова целыми днями сидеть, глядя на ровную поверхность, следя за толстыми бакланами-рыболовами, за снующими в прозрачной воде серыми бычками и плоскими рыбами, плотно прижимающимися к каменистому дну.

Это случилось ранним утром, когда солнце уже было высоко над мысом и собиралось двинуться в долгий путь над тундровыми холмами.

Она спустилась на прибрежный лужок со свежей, блестящей травой у устья ручейка, сбегающего с горы.

На ее крик прибежал Рэу.

— Подтащи меня ближе к воде,— попросила Нау.

Маленькие китята появились, когда ноги Нау наполовину оказались в воде. Новорожденные поплыли, пуская фонтанчики.

Нау повернулась лицом к Рэу и счастливо улыбнулась.

— Я рада, что они похожи на тебя.

Нау вошла в воду, и набухшие от молока груди оказались в воде. Китята подплыли и начали шумно сосать, касаясь сосков мягкими толстыми губами, меж которыми розовели еще нежные, пушистые зачатки китового уса.

Рэу охотился на непрочном ледовом припае, добывая нерп и лах-таков.

А Нау почти не уходила с берега, возилась со своими детьми, которые росли, набирались сил и уже отваживались уплыть на середину лагуны, на самую глубину.

И тогда Нау тревожно окликала их, зовя именем отца:

— Рэу! Рэу! Рэу!

Китята высоко взметывали фонтанчики, торопились к ней, тыкались мягкими губами ей в грудь и долго и жадно вбирали в себя жирное материнское молоко.

В вечернюю пору, когда солнце покидало сушу и отправлялось в море, чтобы окунуться после долгого дневного перехода в прохладные воды, приходил отец и играл с детьми. Он кидал разноцветные камешки далеко в воду, китята бросались за ними, отыскивали их на дне лагуны.

У лагуны становилось шумно: всплески воды, шипение и свист китовых фонтанов, крики Рэу и Нау — все это смешивалось с щебетанием птиц над ручьем, с хлопаньем крыльев бакланов, удирающих от стремительно плывущих китят. На кочках стояли суслики и одобритительно посвистывали.

С заходом солнца китята отправлялись спать, а родители укладывались здесь же, на берегу, подстелив под себя олени шкуры.

Нау среди ночи часто просыпалась, прислушивалась к плеску воды, чтобы услышать сонное дыхание своих детей. Широко открытыми глазами она смотрела на светлое небо, где еще не было звезд: они зажгутся тогда, когда укоротится солнечный день. Лежа так, без сна, Нау чувствовала себя легким ветром, медленно порхающим над сонными травами и цветами, над волной, плещущейся у уреза, чувствовала себя частью каменного берега, у которого текла студеная океанская вода, облаком под острым краем бледной луны... Она была всем, что расстилалось вокруг нее, всем огромным миром, заполнившим видимое пространство. Она знала, что с наступлением рассвета, когда солнечные лучи ударят в мокрые скалы у мыса, перепрыгнут на галечную косу и заиграют на утренней ряби лагуны, все это исчезнет; она как бы заново превратится в существо, отличное от окружающего. Ей придется напрягаться, чтобы понять, чего хочет старый ворон, взобравшийся на побелевший от времени, отполированный ветрами моржовый череп, ей надо будет задуматься, чтобы догадаться о смысле пения пуночек и свиста евражек. Это рождало раздумья, тревогу. Именно днем приходили трудные мысли о том, что вот китята, будучи ее детьми, плотью от плоти ее и Рэу, все же китята и не могут даже ступить на берег и войти в родительскую хижину...

Нау утешалась слабой надеждой, что со временем китята превратятся в людей, как это случилось с Рэу.

Порой Нау хотелось поделиться тревожными мыслями с Рэу, но тот, казалось, не видел никакой разницы между собой и китятами. Видимо, ему и в голову не приходило, что они — не похожие на него существа. Может быть, это оттого, что Рэу сам был китом в обличье человека...

Рэу был занят с утра до вечера.

Еще весной он загарпунил на льду нескольких моржей и показал Нау, как нужно расщеплять кожи, чтобы они стали тонкими и упругими. Эти сырые кожи он долго держал в мелкой воде лагуны и, пока они там мокли, собирал плавниковые жерди, подбирая их друг

к другу. Нау казалось, что Рэу мастерит скелет какой-то неведомой гигантской рыбы. Он обтачивал дерево заостренными ножами из камня, полировал, сверлил трубчатыми костями и потом крепко связывал лахтачьими ремнями. Когда все было готово, Рэу достал из воды моржовые кожи и обтянул ими деревянный скелет.

— На этой лодке,— объяснил Рэу,— можно уходить далеко от берега.

Первое плавание совершили по лагуне.

Упругая вода била в днище, вызывая звонкий гром, ветер наполнил парус, сшитый из тонко выделанных нерпичьих кож, и лодка помчалась по лагуне. Дети-китята плыли вслед, радостно выпрыгивая из воды, стараясь высоким фонтаном обрызгать родителей.

Лодка шла вдоль галечной косы к проливу, соединяющему лагуну с открытым морем.

Нау весело окликала детей, и ей казалось, что они отзываются ей, лопочут детские слова, радуются вместе с ней изобретению отца.

Рэу, гордый тем, что сотворил такое чудо, выкрикивал что-то сильное, громкое, приятное слуху. Толстые бакланы нехотя уступали дорогу, долго махая крыльями, чтобы подняться над водой, чайки с тревожными криками носились над лодкой, а нерпы выныривали и смотрели вслед, стараясь уразуметь, что за неведомое чудище появилось в их водах.

— Теперь мы стали ближе к детям,— радостно сказала Нау, когда они приплыли обратно и вытащили на берег лодку.

— Завтра выйдем в открытое море,— сказал Рэу.

Море ласково приняло лодку. Нау чувствовала, как сильно и могуче оно, как велики волны, незаметные с берега. Они легко несли на могучей спине кожаную лодку. Сильный и ровный ветер наполнял парус, и вода весело журчала за бортом уходящей от берега лодки.

Глянув на Рэу, Нау удивилась: она никогда не видела на его лице такого выражения. Рэу словно бы слился с лодкой и был с ней единым существом. Каждый удар волны, каждый порыв ветра отражался на нем. Вздываясь на гребень волны вместе с лодкой, Рэу как-то странно придыхал, словно выпускал из себя китовый фонтан. Ветер шевелил его волосы, обвевал напрягшееся лицо и выжимал слезы из широко открытых глаз.

А потом Рэу стал громко и протяжно кричать:

Ветер, сильный ветер,
Смешанный с пылью морской воды!
Подними на могучую спину свою
Кожаную ладью и вознеси
На тропы морских родичей моих,
Чтобы свиделся я с ними и
Сказал, что есть великая сила
В природе, что делает кита
Человеком и дает жизнь
Новому, доселе небывалому
В природе...

Нау, невольно поддаваясь очарованию ритмичных выкриков, вдруг обнаружила, что кричит вместе с Рэу, и новорожденная песня людей звенит вместе с ветром, ударяясь о парус.

Галечная коса давно скрылась из глаз, и скалистые мысы, кое-где покрытые зеленой травой, кажущиеся вблизи разноцветными от лишайников и мхов, стали синими, расстояние смазало их очертания, уменьшило размеры. Теперь огромная водная ширь отделяла кожаную лодку от земли, и это волновало Рэу, наливая его новой силой.

И Нау почувствовала страх.

Твердая, надежная земля была далеко. Маленькой хижины нельзя было рассмотреть.

— Куда мы плывем, Рэу? — спросила Нау.

Рэу прервал пение, и последний звук унесся поверх паруса, смешавшись с шипением зеленых волн.

Выражение лица Рэу переменялось, словно туча нашла на него, и он тихо ответил:

— Не знаю.

Он сел на дно лодки, на частые переплетения деревянных планок, на которые была натянута моржовая кожа.

— Я вспомнил давние годы, — сказал Рэу. — Я был молодым и любопытным и часто отрывался от своих. Уходил далеко, чувствуя себя частью моря, ветра и синего неба. Меня предостерегали. Но я не слушал слова старших. Однажды на меня напали касатки. Они преследовали меня яростно и долго, стараясь прижать к берегу. Но я сумел уйти от них и догнал стаю. В другой раз я оказался среди плавающих льдов, из которых едва выбрался, ободрив до крови все тело... И сегодня, выйдя в море, я снова почувствовал себя молодым и полным сил...

Рэу развернул лодку к берегу.

Когда впереди тонкой полоской обозначилась коса, рядом с лодкой взметнулся китовый фонтан и из глубины показалась голова кита.

— Это мой брат! — обрадованно закричал Рэу. — Гляди, Нау, а вон еще один! Другой позади нас! Они пришли ко мне! Нау, они радуются свиданию с нами!

Киты осторожно подходили к кожаной лодке и толкали ее вперед, придавая ей новую скорость. Их разинутые пасти, украшенные темным частоколом плотного китового уса, казалось, улыбались Нау.

Рэу стоял во весь рост и радостно смотрел на своих братьев.

— Как жаль, что они не понимают человеческого разговора, — сказала Нау.

— Понимать-то понимают, — ответил Рэу, — только говорить не могут. Чтобы иметь речь, надо стать человеком, надо полюбить женщину, как случилось со мной... Это мне говорила мать, когда она вызнала, почему я так стремлюсь к берегу, отчего я так долго не возвращаюсь к стаду. И еще она говорила: все, кто живет на побережье, произошли от китов, которых преобразила любовь...

— Значит, мы не одиноки на берегу? — спросила Нау.

— Может быть, — ответил Рэу.

— Тогда почему я родила китят?

— Потому что я кит, — ответил Рэу, и словно в ответ на эти слова братья, следовавшие за лодкой, взметнулись вверх, выпрыгнув из воды почти на всю свою огромную длину.

Поднятые ими волны едва не захлестнули кожаную лодку, но Рэу только смеялся и кричал что-то громкое и радостное своим братьям.

Вместе с ним радовалась и Нау, и спокойствие возвращалось к ней, по мере того как приближался берег и уже можно было различить белую оторочку прибоя.

Рэу направил лодку в узкий пролив, соединяющий лагуну с морем.

За отмелью дети встретили кожаную лодку и пристроились к бортам, сопровождая ее, пока она плыла от пролива вдоль зеленых тундровых берегов.

На закате Нау покормила детей, и они отплыли на середину лагуны, где обычно проводили ночь.

За вечерней трапезой Рэу сказал:

— Мои братья признали меня. Они увидели, что я остался верен морю.

Когда росы стали холодными и в тундре налились соком ягоды, Нау стала замечать, что детям все труднее подплывать к ней — они выросли.

На рассвете Нау уходила на зеленые холмы, пересекая низкую болотистую луговину, на которой аела спелая морошка. Она собирала в кожаный туесок черную шикшу, голубику, морошку. К полудню возвращалась в хижину. А Рэу все не было: он уплывал в кожаной лодке к Одиноким скалам, торчащим далеко в море, и там охотился на нерпу, гарпунил моржей и встречался со своими братьями.

Нау смешивала ягоды, сдабривала их нерпичьим жиром и ставила на холодок, чтобы угостить лакомством возвратившегося охотника.

На морской стороне галечной косы она ждала возвращения Рэу.

Сначала показывался парус. Он медленно рос, покачиваясь под ветром. Над парусом летели птицы, указывая путь к берегу, а рядом плыли братья-киты.

Нау смотрела на приближающуюся лодку. Теперь можно было различить сидящего в ней охотника, его развевающиеся на ветру черные волосы. По бокам лодки были привязаны нерпичьи и моржовые туши.

На этот раз Рэу приволок большую тушу моржа.

Желтые клыки животного торчали над водой. Рэу и Нау пришлось изрядно потрудиться, чтобы вытянуть на берег гигантское животное.

— Большая кожа у этого моржа, — сказал Рэу. — Мы сделаем из нее покрывку для новой хижины, чтобы нам было просторно в ней.

Он давно заметил, что Нау снова собирается стать матерью, и радовался этому.

С приходом темных ночей подростки перестали подходить к берегу — мели не пускали их. Нау уже не кормила их своим молоком, и дети сами добывали себе еду.

— Им тесно в лагуне, — сказал Рэу и спустил лодку на воду.

Он посадил Нау в середину, сам устроился на корме, чтобы править парусом и рулевым веслом.

Китята ждали родителей на глубоком месте.

— Следуйте за мной! — крикнул им Рэу. — Плывите вслед за нашей лодкой!

Китята пристроились к корме. Они радовались, как всегда, свиданию с отцом и матерью.

Рэу направил лодку в пролив.

Нау молча смотрела на плывущих следом китят. Они издали поднимали головы, и в их глазах, блестящих и ясных, Нау видела невысказанную нежность и сыновнюю преданность. Теплом наполнялась грудь, хотелось очутиться в воде и рядом с ними плыть широкой водной дорогой в открытое море.

В проливе китята чуть замешкались, прощаясь со своей колыбелью — лагуной.

Впереди расстилалось море — широкое, могучее, глубокое, полное новых тайн, друзей и родственников.

Еще издали Нау увидела братьев Рэу, которые поджидали своих родичей.

Лишь только дети выплыли из лагуны, киты двинулись навстречу и окружили их, победно трубя фонтанами воды.

— Теперь я спокоен за них,— сказал Рэу.— Они в родном для них море, среди близких и родичей.

Нау с грустью смотрела на уходящих в море детей.

— Не печалься,— сказал Рэу, дотрагиваясь до ее плеча.— У нас еще будут дети... А дети, вырастая, всегда уходят из родного гнезда. Их ждет собственная жизнь.

Но дети Рэу и Нау еще много раз подходили к берегу на свидание со своими родителями. Всем своим видом они показывали, что им хорошо и вольготно в море, но они помнят отца и мать.

Когда кромка льда показалась на горизонте, Нау родила мальчиков-близнецов. Они лежали по обе стороны счастливой матери и орали во все горло.

Склонившись над ними, Рэу всматривался в новорожденных, и трудно было по его лицу догадаться, доволен он или нет.

Только вчера старшие ушли в теплые края, где будут зимовать вдали от острых льдин и смертельной стужи. Вместе со всем стадом они приплыли прощаться и долго резвились возле самого берега, пугая стаи перелетных птиц.

Опустел берег. На него, зловеще потрескивая, надвигался лед, шурша по мелководью. Свирепел ветер, гоня по галечной косе ледяной дождь, превращающийся на глазах в снег.

В хижине кричали два мальчика, оглашая окрестность и влетая в вой ветра человеческие голоса.

Нау склонялась над ними, и почему-то на память приходили безмолвные первенцы, родившиеся китами и уплывшие в далекие моря. Рэу строил большую ярангу.

Он воткнул колья полукругом и обтянул их нерасщепленной моржовой кожей. Затем соорудил коническую крышу и тоже покрыл кожей, добытой этим летом. Она еще была свежей, не потемнела, и дневной свет проникал внутрь. В теплом желтом свете было уютно. Но для настоящего тепла еще надо было сделать полог. Нау сшила его из шкур белого медведя.

Кожаные туесы и деревянные кадки были заполнены моржовым жиром, в земляном хранилище был достаточный запас мяса. Впереди была зима, но Нау и Рэу не боялись ее, потому что они уже были не одни на этой занесенной снегами Галечной косе у Китового моря, скованного льдами.

4

Весной киты приплывали к берегам Галечной косы. Показывая на них, Нау говорила своим двум мальчишкам:

— Вон плывут ваши братья!

Братья-киты близко подплывали к берегу, почти касаясь головами гальки. Они плескались, ныряли, потом неожиданно всплывали, обдавая Нау и мальчиков брызгами теплой воды.

Мальчишки носились по берегу, и матери порой приходилось их силой оттаскивать подальше от прибора.

Возвращались домой мокрые с головы до ног, и Нау сушила детскую одежду, шила новые торбаса и кухлянки, потому что одежда на ребятишках изнашивалась с невероятной быстротой.

Рэу сопровождали киты и часто помогали, если добыча была тяжела и лодка едва шла по воде.

Киты и люди — это один народ!
Соединившись, земля и море

Родили людей, чье пастбище —
Волны и пучина морская,
Торосы в зимнюю пору!

Рэу пел, и мальчишки затаив дыхание слушали его мощный голос, доносящийся из морской дали.

Волны морские, застывши,
Обратились в тундровые холмы,
Поросли травой, испещрились ягодой;
И все живое, что есть в тундре,
Имеет братьев в волнах морских...

Мальчишки подходили ближе к воде и пели вместе с отцом:

Киты и люди — один народ!
Мы — братья моря и земли!
И рождены для вечной дружбы!

Люди вытаскивали добычу на берег, разделявали ее, и чайки с громкими криками ликования носились над кусками мяса. Волна тихо плескалась у ног, смывая кровь, а вдали сверкали китовые фонтаны, прочерчивая небо, дробя солнечные лучи.

Чередовались зимы и лета. Росли сыновья-первенцы, рождались другие дети, но уже не было больше китят в роду у первых поселенцев Галечной косы.

Ранней весной, когда резким южным ветром откалывало от берега припай, тот, кто первым замечал на горизонте китовый фонтан, приветствовал его радостным криком:

— Братья идут! Братья к нам плывут!

Старели Нау и Рэу, но росли люди, рожденные и вскормленные ими. Среди них были и мужчины и женщины.

Рядом с первой поднимались другие яранги, зажигались новые очаги, и девственный камень покрывался копотью огня, зажженного человеком.

Старел Рэу.

Он уже не выходил в море, и вместо него охотились сыновья — сильные и смелые. Они различались между собой именами, ибо внешне были похожи друг на друга, как похожи их предки — морские исполины.

Двух старших звали Тынэн — Заря, и Тынэвири — Спустившийся с Рассвета. Остальных сыновей тоже нарекли, сообразуясь с их характерами или же по близкому к их появлению событию. Одного звали Вуквун — Камень, другого Кэральгин — по имени северо-восточного ветра, дувшего с особенной силой в день его рождения.. Девочек тоже назвали: Тынэна — Зорька, Тутына — Сумеречный Свет...

Наступает осень не только в природе, но и в жизни человеческой. Рэу попросил Нау сшить ему штаны из белого камуса, снятого с ног матерого зимнего оленя. Это означало, что старик готовится уйти сквозь облака и навсегда оставить этот мир.

В один из ненастных вечеров, когда дождь бил по мокрым моржовым крышам и ветер шарил по стенам, отыскивая вход внутрь жилища, Рэу собрал своих детей.

— Мне скоро предстоит покинуть вас навсегда, — сказал он, спокойно оглядывая всех присутствующих и на мгновение задерживаясь на лице каждого. — Как только рассеются тучи и путь в ясное небо будет открыт, я отправлюсь в дальнюю дорогу... Но прежде чем уйти, я хочу поговорить с вами... Самое главное — никогда не забывайте, что у вас есть могущественные родичи в море. От них вы ведете свое происхождение, и каждый кит — это ваш родственник, родной

ваш брат. Быть братом другому — это не значит внешне походить на него. Братство не во внешнем сходстве. Когда вы поднимаетесь на высокие скалы над морем, у вершины вы видите каменные обломки, многие из которых напоминают человека. Не приходит же вам в голову называть их своими братьями и вести свое происхождение от холодного камня... Мы пришли на землю, потому что есть высшее проявление живого — Великая Любовь. Она сделала меня человеком. И если вы будете любить друг друга, любить своих братьев, вы всегда будете оставаться людьми... Любовь вездесуща. Я думаю, что в этом мире мы не одиноки. Где-то есть другие Галечные косы, на которых стоят яранги и ваши братья ловят нерп, добывают моржей и поют песни о море... Ищите и умножайте себе братьев, потому что только в единении вы будете сильны... И еще прошу вас помнить: моя дорога сквозь облака лежит через море...

В этот год у берегов Галечной косы было необыкновенное скопление китов, словно каждый из них хотел попрощаться с родичем своим, уходящим сквозь облака. Они приближались к берегу, где в безмолвии сидел Рэу. Иногда рядом садилась Нау, и они оба вспоминали молодость, когда на пустынном берегу Великая Любовь соединила кита и женщину.

Рэу думал о тех, кто оставался в море и на берегу после него. Что же, он не сетовал на судьбу. Наверное, он был счастлив, потому что именно ему выпало стать из кита человеком, познать Великую Любовь, о которой говорилось в древних китовых легендах. И всем казалось, что случившееся с Рэу могло происходить только в сказках... Но вот случилось же такое. Значит, сказка — это правда, в которую иногда перестают верить...

Как это прекрасно — жить вместе с Нау!

Весь мир со всей его красотой и нежностью уместился в этой женщине, чье сердце больше неба и чья внутренняя теплота может соперничать с теплом солнца. Она и сделала Рэу человеком своей Великой Любовью.

Рэу повернулся к Нау.

Годы нанесли снегу на ее черные волосы, проложили морщины на лице. Но она была прекрасна и сегодняшней своей красотой.

Как тепло делается в груди, когда смотришь на нее, видишь ее лицо! Да одна мысль о том, что она существует на свете, наполняет сердце нежностью и благодарностью... Жаль ее оставлять. Но она будет с детьми. А потом, придет время, и она воссоединится с ним в вечности.

— Мне было хорошо с тобой, — сказал Рэу.

Рэу угас, когда лед сковал море и первый снег припорошил трещины и разводья.

Сыновья совершили обряд печального прощания.

Обрядили Рэу в белые погребальные одежды, крепко завязали малахай на голове и зажгли костер у порога. Пронесли над очистительным огнем тело покойника и положили на нарту. Сыновья впряглись в нее. Нарта, скрипя полозьями по свежему снегу, двинулась в сторону моря.

Черная от горя Нау в одеянии из темного меха стояла у стены яранги и печальным взглядом провожала своего мужа в вечность.

Она не плакала. Было горе, печаль, но ведь Рэу дошел до конца своего пути, ушел достойно, как подобает человеку, завершившему все свои земные дела.

Ясный день стоял над Галечной косой, похолодавшее зимнее солнце скупо освещало похоронную процессию, тянущуюся через

прибрежные торосы на ровное ледяное поле, где уже была приготовлена широкая прорубь.

Нау смотрела вслед.

Невольная слеза катилась по щеке, холодила кожу и с верхней губы падала на нижнюю, вкусом похожая на крохотный обломок соленого морского льда. Как велик и печален мир! Мыслью своей пытаешься измерить протяженность жизни от далекого прошлого, начала которого не помнишь, а будущее теряется в тумане никем еще не испытанного пребывания в ином, заоблачном мире, где нет уже смерти, где нет сопоставления этого и другого мира... И все это — жизнь, которая сильнее и длиннее, чем твое существование на земле. Как велик и печален мир!

Сыновья молча тянули нарту, стараясь выбирать среди нагромождений торосов ровную дорогу, чтобы последний путь отца был спокойным, чтобы ничто не тревожило навеки уснувшее тело.

Вода у краев погребальной полыньи то поднималась, то опускалась, выдавая взволнованное дыхание моря, словно водная глубина, где обрел жизнь и первое дыхание Рэу, понимала случившееся. В проруби образовалась ледяная каша. Один из сыновей взял черпак, сделанный из тугого оленьего рога и переплетенный лахтачьим ремнем. Отчерпав шугу, прояснив зеленую, почти черную в глубине воду, он остановился и посмотрел на братьев.

Они без слов отвязали тело отца и положили на лед ногами к воде.

Постояв некоторое время, они чуть-чуть толкнули тело, и оно неожиданно легко и быстро скользнуло в воду.

За телом опустили в воду нарту, и она тотчас пошла ко дну, будто была сделана не из легкого дерева, а из тяжелой моржовой кости.

Старший из братьев приблизился к полынье и заглянул в нее. Там отражалось небо и виднелось уходящее вдаль улыбающееся лицо Рэу — он словно кидал прощальный взгляд сыновьям, остававшимся на земле.

А в небе низко над горизонтом сияло солнце. Тишина стояла в природе такая, будто все живое затаило дыхание, перехваченное удивлением и благоговением перед Великой Любовью.

Часть вторая

1

Эну сидел у костра и внимательно слушал Нау. Смеяться над ее рассказами о чудном происхождении приморского народа с некоторых пор вошло в привычку жителей Галечной косы и окрестных селений. Старуха стала местной достопримечательностью, и среди прочих новостей, которыми обменивались путники, обычно сообщалось о здоровье удивительной старухи, о ее рассказах и поучениях.

Однако Эну не показывал виду, что не верит старой Нау. Да и кто знает, может быть, она права, несмотря на то, что говорила чудовищно неправдоподобные вещи: будто бы она в ранней молодости была женой кита и первые ее дети были китята. Никто не знает, сколько ей лет. Самые древние старики утверждали, что в годы своей юности они знали Нау глубокой старухой с теми же всем изрядно надоевшими рассказами о китовом происхождении приморского народа.

В общем-то, все, что рассказывала Нау, было давно, еще с детства, известно Эну.

Он вглядывался в сморщенное, словно печеная моржовая кожа, лицо старухи, в ее удивительно светлые и глубокие глаза, отливающие зеленью морской глубины, и ему становилось не по себе.

У Нау не было своего жилища. Она приходила в любую ярангу Галечной косы, устраивалась как у себя дома и жила несколько дней, а то и месяцев. Она утверждала, что все живущие — ее потомки. Кто знает, может быть, это действительно так? Никому никогда не приходило в голову отказать старой Нау в крове и пище. Но когда она уходила жить в другую ярангу, люди облегченно вздыхали и не удерживали ее.

Несмотря на молодость, Эну почитался в селении мудрейшим человеком. Он знал все, что полагалось знать искусному врачу-лечу, предсказателю погоды, хранителю древних сказаний и обычаев. Но одного Эну не мог определенно утверждать: правду ли говорит старая Нау о происхождении приморского народа? Да, люди Галечной косы чтят морских великанов как возможных своих предков, но уж больно разнятся между собой киты и люди. Мало того, что первые живут в воде, а люди на суше, — киты к тому же огромны и бессловесны, у них и голоса нет... Такие предки несколько неудобны для почитания. Однако вслух никто сомнений не высказывал, и культ китового предка соблюдался на протяжении многих поколений.

Старая Нау смотрела бездонными глазами на огонь, и Эну видел, как отблеск огня тонул в их бесконечной глубине.

— Через меня, — продолжала глухим голосом Нау, — соединились земля и море, от меня родился человек — такой, каким живет он нынче вокруг нас.

— А как же мысль? — осторожно осведомился Эну. — Как научился человек думать?

— Когда я была юна и бегала, как молодая оленуха, по студеным, напитанным водой упругим тундровым кочкам, я и не задумывалась, кто я — песец, птица, волк или россомаха... Мне было все равно, кто я, пока не приплыл Рэу и не озарил меня Великой Любовью. Сама Великая Любовь была тайной, потому что неведомо, откуда она сошла на нас. И тайна родила мысль. Потому что когда есть тайна, человек всегда будет пытаться разгадать ее и разум будет деятелен...

Нау замолчала.

— Выходит, пока есть тайна, будет жив и разум? — учтиво спросил Эну.

— Да, — ответила Нау.

— А речь откуда? Как человек стал разговаривать? — продолжал спрашивать Эну.

— Нам с Рэу очень хотелось поговорить. Вот мы и заговорили...

Эну с выражением недоверия поглядел на Нау: слишком как-то все просто.

— Вещи ведь живут отдельно от человека — вместе со своими названиями, именами, — продолжала Нау. — А из всех живущих на земле слово приходит только к человеку. И речь делает нас людьми...

Эну прислушивался к словам старой Нау. Что-то было в ее словах весомое, мудрое. Мир для нее в самом главном всегда оставался единым. Наивысшим существом для нее всегда был кит...

— А откуда появились другие боги? — осторожно спросил Эну.

— Других богов в природе не существует, — сердито ответила

Нау.— Их напридумали себе люди из страха перед тайной. Когда нет желания разумом отгадать тайну, то начинают делать богов. Сколько тайн, столько и богов, на которых легче всего свалить все. Когда человек проявляет слабость, то часто оправдывается тем, что, мол, ему помешали какие-то неведомые силы. А порой и силу свою начинает приписывать им... Это уже совсем недостойно человека!

— Однако мы все же чтим кита,— напомнил Эну.

— Кит не бог,— решительно сказала Нау.— Он просто наш предок и брат. В вере в бога главное — страх перед непонятным, оттого и заискивают перед ним, боятся наказания. А киты разве наказывают? Они просто живут рядом с нами, готовые всегда прийти на помощь.

Эну шел по берегу моря, встревоженный разговором со старухой. Он нагибался, брал обрывки морской травы и бездумно жевал. Сырой морской ветер, пропитанный резким запахом водорослей, птиц, рыб и зверей, мешал мыслям. Какая-то неумолимая, но пугающая правда чувствовалась в словах старой Нау о том, что человек создал множество богов от страха перед непонятным и неведомым. С этим и боязно согласиться и в то же время соблазнительно. Но как тогда быть с установившимися обычаями? Человеку трудно отказать от привычного, а тем более от богов... Разумная мудрость подсказывает, что не следует резко менять представления человека, если они даже и ложны...

Старая Нау... Ее имя обросло легендами, слухами и покрылось тайнами... Она говорила, что тайны побуждают человеческий разум к деянию. В этом она права. Только разум еще устроен так удивительно, что он часто удовлетворяется готовой отгадкой, видимостью истины, пусть непрочной, со множеством прорех от сомнений и непоследовательностей.

Сколько же Нау живет на земле?

Говорит, что она с самого начала была совсем одна и не знала, кто она — песец, волк, россомаха или евражка... А может быть, тогда она была каким-нибудь животным? Это вполне согласуется с древними легендами о родстве людей с разными животными.

Но вот ее сожителство с китом...

С китом, который силой Великой Любви превратился в человека. Память племени хранила множество рассказов о том, как киты помогали морским людям добывать пищу, охотиться, оберегали от несчастий. Эти рассказы никто не подвергал сомнениям. Но превращение кита в человека... Почему этого больше не случается? Ведь становится же оборотнем охотник, унесенный на льдине в море. Его долго носит во льдах, ветер и буря треплют его одежду, и наконец он остается нагишом на холоде. Но природа не дает ему погибнуть. Иные неожиданно обрастают шерстью, короткой и жесткой, как у лахтака, обретают тюленьи черты, теряют речь и спасаются... Они потом бродят по тундре недалеко от людских поселений. Они воруют еду, рушат земляные мясные хранилища, похищают мясо с вешал и, случается, нападают на женщин и грубо овладевают ими. От этих сожителств потом рождаются странные люди с обилием растительности на лицах, порой немые и глухие или лишенные зрения. Но от китов больше никто и никогда не рождался на этом берегу...

И все-таки с дальних, сумеречных лет идет почитание китов и трепетно-благоговейное отношение к великанам моря. Да и как не благоговеть перед теми, чьи огромные тела поднимают большие волны и чье дыхание взлетает ввысь? Остальные морские звери стараются держаться подальше от человека, боятся его, но киты никогда не уходят, когда кожаные байдары приближаются к ним. Наоборот,

они стараются держаться поблизости, и Эну не раз был свидетелем того, как киты вели за собой охотников на места, богатые тюленями и моржами.

И все же Эну знал, что у жителей Галечной косы не было твердой и безоговорочной веры в рассказы старой Нау о ее жизни с китом. Это считали сказкой, придуманной выжившей из ума старухой. Однако существовала молчаливая договоренность между всеми: никогда не высказывать сомнение самой Нау. Это было бы кощунством...

Нау не занималась специально врачеванием и предсказаниями, но если кто-нибудь обращался к ней за помощью, она никогда не отказывала. Лечила она только травами и настоями крепких бульонов, сдобренных кореньями, а ее предсказания поражали точностью, которая почему-то пугала людей. Может быть, потому, что она с одинаковым равнодушием предвещала и беду и благоденствие. И оттого, что она не скрывала правды, мало было желающих обращаться к ней. Наоборот, остерегались ее острого языка и о важном и главном старались с ней не говорить, полагаясь в таком случае на Эну, который мог утешить уклончивым ответом, вселить надежду туманным, неопределенным обещанием.

Сколько же живет на земле Нау?

Или она вечна, как скалы, холмы и скалистые берега? Но ведь она состарилась... Значит, жизнь и время накладывают на нее свои отметки. Если она помнит время первых людей, то какая же она древняя, ибо нынче люди расселились по всему побережью и по тундре...

Нау рассказывала, что, когда был жив ее муж-кит, олень был дик и на него охотились крадучись. А ныне олени стада пасутся спокойно и человек ходит за ними не скрываясь. Люди даже ездят на оленях, запрягая их в нарты. А ездовых собак тогда не было, утверждала Нау, и только похожие на них волки бродили по тундре, воровали мясо из земляных хранилищ и страшными голосами выли в тихие лунные ночи.

Плескалось море у берегов, загадочное, великое, называемое в песнях Китовым морем.

Там, в пучине, иная, отличная от земной жизнь, и ее слабые признаки доходят до приморских жителей в виде студенистых медуз, красных морских звезд с игольчатой кожей, раковин, мелких рачков и моллюсков.

Но и мир звезд и неба тоже загадочен!

Пристальный взгляд на звездное зимнее небо, когда невесть откуда появляются небесные огни — полярное сияние, — заставляет трепетать душу и вселяет в сердце благоговейный ужас. В светлом круге луны видятся то человеческое лицо, то тени умерших родичей, то живущие люди, которые охотятся, едят точно так же, как и обитатели Земли. Можно ли после всего этого не задуматься о множественности миров, о том, что все эти миры пронизаны неведомыми загадочными силами, имя которым боги-кэлэт?

Да, пусть киты остаются предками, но пренебрегать другими богами не след.

Не каждому дано чувствовать неведомую силу и знать многое. Судьба выбирает из живущих людей особенных и отмечает их даром прозрения и проникновения не только в суть окружающих вещей, но и за грань непонятого. Может быть, сам отмеченный и не может объяснить многого, но его способность предчувствия и предвидения сама по себе благая ценность, которая должна служить всем людям.

Но вот как быть с Нау?

Быть потомком кита почетно и благородно, это возвышает человека, придает ему гордость, стремление стать сильным и независимым, как сильны и независимы эти огромные морские животные. Но вера в кита должна быть благоговейная, покрытая некой тайной. К этой тайне может иметь доступ лишь достойный и избранный судьбой. И чем больше неясного и непонятного в потемках прошлого, тем выше тот, который может объяснить многое.

В таком случае Нау именно тот человек, к которому должны быть обращены почести.

Но личность сама должна быть достойна положения, которое уготовила ей судьба. Не только облик, но и образ жизни, поведение должны соответствовать этому.

А Нау ведет себя так, что лишь отвращает от себя людей. Зачем посвящать каждого в такие подробности, которые только подрывают веру в китовое происхождение людей? Зачем рассказывать о том, что любил есть и как храпел по ночам Рэу? Зачем утверждать совсем неправдоподобное, будто сама Нау рожала китят и среди плавающих в море есть ее прямые потомки? Зачем такое говорить и каждый день твердить об этом, вызывая раздражение у людей?

Да, пусть китовое родство людей — далекая правда, но эта правда должна быть величественна, высока и доступна не каждому, без унижающих ее подробностей. Она должна сиять на расстоянии, как вершины дальних гор.

А как быть с Нау?

По всему видать, жить осталось ей недолго.

Она стара, это правда. Но вот что удивляло: она никогда не жаловалась на свои недуги, не кашляла, не задыхалась, как другие старухи.

Но не вечна же она!

Эну остановился, вглядываясь в море. Привычные глазу китовые фонтаны поднимались то тут, то там, а некоторые возле самого берега.

Эну видел, как недалеко от согбенной фигурки, в которой издали можно было узнать старую Нау, за линией пенного прибора резвились два кита, высоко поднимая головы из воды и пуская шипящие, расцветенные солнечной радугой фонтаны.

2

Охотники уплывали вдаль, в море.

Упругий ветер звенел в парусе из тонких нерпичьих кож, выдубленных и выбеленных в человеческой моче.

Охотники зорко всматривались в морскую поверхность, стараясь не упустить круглой головы нерпы, лахтака или усатой морды моржа.

На носу сидели два гарпунера, держа на коленях длинные орудия с острыми наконечниками из хорошо отточенного полупрозрачного камня.

Наконечник был хитроумно устроен: впиваясь в кожу морского животного, он отскакивал от рукоятки и под натяжением ремня поворачивался в ране поперек, накрепко застревая и давая этим возможность держать добычу как бы на привязи.

На корме сидел Эну, одетый в непромокаемый плащ из хорошо выделанных моржовых кишок. Чуть желтоватый шуршащий плащ хорошо предохранял от любой сырости, особенно от морской, соленой, оставляя сухой внутреннюю одежду из пушистых оленьих шкур, снятых ранней осенью. Одной рукой Эну держал рулевое весло, а другой — ремень, прикрепленный к парусу. С помощью

руля и паруса Эну хорошо управлял лодкой и мог держать скорость даже против ветра.

В эту пору на морском просторе оживленно: откормившиеся на летних пастбищах птичьи стаи, выростившие новое поколение, собираются вместе, чтобы отправиться в неведомые земли, где они проводят холодное время года.

Эну предполагал, что там, куда они улетают, лето не кончается, нет зимних холодов, по всей видимости, там и море не замерзает, потому что туда-то и уходят киты.

Если проследить за направлением полета птиц, за дорогой уходящих китов, легко увидеть, что все они направляются в сторону полуденного солнца. В середине зимы красная заря указывает, что солнце находится именно там... Значит, в ту сторону вслед за солнцем уходят и птицы, и киты, и другие морские звери. Немногие остаются здесь, чтобы переждать долгое холодное время...

Что же там за земля, где в зимнюю пору не замерзает море? И вдруг догадка пронзила Эну: так ведь когда солнце возвращается на эту землю, оно уходит оттуда и, значит, там приходит черед зимних холодов!

Он уже хотел было раскрыть рот, чтобы рассказать товарищам о своем открытии, но воздержался — зачем? Они все равно не поймут всей важности открытия. Если рассуждать дальше, то, идя за солнцем и возвращаясь вместе с ним, можно жить в вечном лете, точно так же, как это делают киты... Эну от волнения вспотел. Вот оно — счастье человеческого, дорога к постоянному теплему времени! Главная забота здешнего человека — это уберечься от губительного дыхания холода. Только наступает лето, как женщины вытаскивают зимние пологи и начинают их латать, пришивая на прохудившиеся места новые лоскутки шкур белого медведя. К осени собирают сухую траву, обкладывают ею полог, чтобы теплый воздух дольше сохранялся в жилище. Но главное — это живительный огонь, который нужно все время поддерживать в жирнике. Тепло — это жизнь, и тот, кто знает дорогу к постоянному теплу, тот настоящий спаситель людей...

Занятый своими размышлениями, Эну совершенно потерял интерес к охоте.

Как удивительно устроен человеческий разум: стоило наткнуться на одну дельную мысль, как она потянула за собой другую, за ней третью. Если судить по времени холодной поры, которая длится очень долго — в отличие от короткого лета, солнце в полуденной стороне находится гораздо дольше, чем над здешними берегами. Значит, там лето дольше и зима короче!

Вот бы найти путь-дорогу к долгому теплу!

Вспотевшей рукой Эну сжал рулевое весло и не сразу сообразил, что кричат ему гарпунеры.

Они увидели стадо моржей и просили повернуть туда байдару.

Эну круто развернул кожаное судно, едва не зачерпнул воды накренившимся бортом.

Дорогу к долгому лету укажут киты. Если они настоящие братья, то не откажут в помощи.

А может быть, старая Нау знает эту дорогу? Иначе откуда она пришла сюда? Не родилась же она от камней, от волков или росомахи... Может быть, она заблудившаяся жительница теплых краев? А кит пришел ей на выручку, чтобы она не погибла здесь от холода?

Обилие мыслей у Эну могло сравниться с полчищами птиц, плавающих в море. Мысли обгоняли друг друга, выстраивались в стаи, разлетались и снова собирались вместе. Они волновали Эну, отвлекая от охоты.

Моржовое стадо уже было близко, и вода вокруг клыкастых голов кипела как в гигантском котле.

Спустили парус. Длинные деревянные весла в кожаных уключинах закрипели, и послушная им байдара устремила к моржовой стае.

Вот звери уже близко. Они поворачивают уснащенные огромными желтыми клыками головы и с ненавистью смотрят на приближающуюся байдару.

Вожак моржового стада, старый самец с обломанным левым клыком, покрытый бугристой, в морских паразитах и шрамах кожей, вдруг развернулся и пошел на байдару.

Может быть, в другое время Эну успел бы отвернуть байдару, чтобы избежать удара. Но на этот раз, отвлеченный размышлениями, он какое-то мгновение промедлил.

Эну видел, как обломанный клык мелькнул внутри байдары меж ног впереди стоящего гарпунера. В байдару хлынула вода, и кожаная лодка стала оседать.

Ужас охватил охотников.

Никто не умел плавать, и единственное спасение было в том, чтобы держаться за надутые поплавки-пыхпыхи, которые, к счастью, уже были приготовлены.

Разъяренный морж долбил и долбил байдару, и она только беспомощно содрогалась, погружаясь по самые борта в ледяную воду.

А родной берег был далеко.

В байдаре было пять человек. А пыхпыха было четыре. За оди ухватились двое — Эну и юноша Кляу, в глазах которого застыл ужас. Ведь Кляу хорошо знал, что делает в таких случаях старейшина байдары. Когда нет надежды на спасение, когда родной берег лишь синее туманной полоской на горизонте, тот, который сидел на руле, вытаскивает свой охотничий нож, закалывает товарищей, а в конце самого себя... Это делается для того, чтобы избавить людей от ненужных мучений.

Кляу это знал и видел перед собой лицо того, кто заколет его первым, потому что именно он оказался ближе всех. Когда бросались в воду, не было времени выбирать пыхпых, надо было спастись...

Как прекрасна жизнь! Даже эти жалкие мгновения, оставшиеся до вечного забвения. Казалось бы, какая разница — быть заколотым чуть раньше или чуть позже, и все-таки Кляу хотелось быть сейчас возле другого пыхпыха, подальше от Эну. Неужто не дрогнет рука у этого человека, которого в селении Галечной косы почитали мудрейшим, знатоком древних обрядов и полузабытых обычаев? Он знал, как надо встретить новорожденного и проводить в последний путь умершего. Он знает, как избавить от лишних мучений товарищей...

Эну медлил, не решаясь приступить к исполнению печального долга. И все же это необходимо сделать. Им все равно не добраться до родного берега...

Как неожиданно и просто кончается жизнь! Кто-то другой найдет дорогу к незамерзающим морям, к землям, где долго тянется теплое лето и солнце высоко стоит в небе, где живут киты и другие теплолюбивые существа.

Товарищи Эну, зная о своей участи и пытаясь отсрочить неминуемую смерть, старались отплыть от него подальше, незаметно отгребая в сторону.

С кого же начинать?

С юного Кляу? Он так мало прожил. Пусть еще поживет... Он будет предпоследним...

Пусть первыми простятся с жизнью те, кто постарше. Вон Опэ. Он

смотрит на берег. В глазах его горе и страх перед неизбежной смертью. На Галечной косе у него остаются жена и шестеро детей. Они еще малы, и общине придется взять на себя заботу о них. Так ведется исстари. Нет обделенных пищей и кровом, но есть те, кто потерял близких... Вот Рэрмэн... Тоже дети у него да красивая жена. Однако она перейдет под покровительство старшего брата, оставшегося в живых... Комо... Все хорошие добытки, сильные мужчины, веселые, искусные в громком пении и радостных танцах.

Эну крикнул:

— Эй, плывите ко мне!

Хорошие люди были на байдаре. Все они откликнулись, и даже те, кто поневоле старался отгрести подальше, смирившись со своей судьбой, поплыли к старейшине байдары, который уже нащупывал в намокших кожаных ножнах охотничий нож с длинным, тщательно заточенным лезвием.

Комо подплыл первым.

Эну не сразу стал кончать его, справедливо полагая, что вид крови может поколебать решение остальных.

Когда все собрались недалеко от затопленной байдары, Кляу вдруг звонким голосом крикнул:

— К нам плывут киты! К нам плывет целое стадо китов!

Все разом глянули туда, куда показывал рукой юноша.

Словно осевший на воду туман, пронизанный радугой, приближался к терпящим бедствие.

Киты плыли с шумом, разрезая осеннюю студеную неподатливую воду.

— Они идут к нам на помощь! — кричал возбужденный юноша. — К нам плывут наши братья! Значит, старая Нау права — они наши кровные братья!

Эну налег на пыхпых, чтобы приподняться над водой, и тоже увидел китов. Они шли как флотилия волшебных кораблей из старинных сказаний о великанах, как огромная песня, надвигающаяся из морских глубин.

Страх и надежда боролись в душе Эну.

Нарушение обычая было чревато возможным наказанием. Но кто будет наказывать? Кто истинные вершители судеб приморского народа?

Приблизясь, киты поплыли тише, явно стараясь не повредить людям. Они окружили потерпевших бедствие, повели их к синему вдали берегу.

Охотники старались держаться ближе друг к другу, ибо так китам было легче вести их.

Вот уже можно различить яранги и струйки синего дыма, тянущиеся к небу.

За линией прибоя киты остановились.

На берегу стояли люди и в изумлении смотрели на своих земляков, обесиленных, но счастливых чудесным избавлением от неминуемой гибели.

Кто-то догадался бросить ременный лить, и Эну ухватил конец.

Один за другим охотников вытянули на берег.

Они встали в ряд перед старой Нау, и вода струилась с их мокрых одежд.

Старуха молча смотрела на них, то и дело переводя взгляд на стадо китов, медленно удаляющееся от берега.

— Брат всегда поможет брату, — тихо сказала она и пошла к ярангам.

В самой большой яранге, где обычно собирались мужчины Галечной косы, гремел бубен, сделанный из высушенного моржового жёлуда.

Обнаженный по пояс Эну в сопровождении Кляу исполнял новый танец, названный им Танцем Кита.

Другие чудесно спасенные подпевали чуть охрипшими голосами, вознося хвалу морским братьям, и звуки новой священной песни уходили через дымовое отверстие к небу и растекались до невидимого в темноте морского горизонта, где, затаив свое шумное дыхание, слушали киты.

Повинуясь ведущему Эну, люди взмахивали расписанными веслами, и там, под потолком, где вялились прошлогодние олени окорока, пропитываясь пахучим дымом, в отблесках костра, в волнах теплого тумана плыло чучело кита, искусно вырезанное из темного плавникового дерева.

Человек только тогда человек,
Когда брата он имеет и душа
Его жаждет отдать добро брату.
Смерть отступила от нас,
Черным крылом задев.
Киты спасли нас.
Возносим хвалу им
И благодарность...

Эну пел и чувствовал, как слова новой песни сами собой рождаются в его душе, и он дивился этому своему состоянию, словно кто-то иной, новый поселился в нем и пел через него...

Брат — это не только тот,
Кто просто похож на тебя.
Брат — это тот, кто сочувствует
Твоему несчастью и приходит на помощь...

В полутьме яранги песня стучала крыльями о просохшие моржовые шкуры, словно била в гигантский бубен, и жители Галечной косы, прислушиваясь к ней, возносились ввысь душой, преисполненной благодарности к морским братьям.

Иные с затаенным чувством стыда вспоминали, как посмеивались над словами старой Нау о братстве с китами и называли ее рассказы о стародавних временах причудами угасающего от старости разумца.

Священный Танец Кита возвестил о рождении нового обычая в жизни обитателей Галечной косы и укрепил их веру в свое необычное происхождение.

3

Когда Айнау вносила в теплый полог кусок синего льда, вместе с ним входило холодное облако, остро пахнущее стужей, щекочущее нос. Лед потрескивал как живой. Ребятишки украдкой прикладывали к нему палец, смоченный слюной, и лед кусался, прихватывая кусочки кожи, белесой пеленой приклеивающийся к поверхности голубого излома.

В эту пору дня на воле все было темно-синим от сумерек и мороза, от темного неба, на которое робко выползали яркие зимние звезды, дрожащие и мерцающие от всепроникающего холода.

Стылую синеву нарушали лишь пятна желтого света, падающие на снег у порога жилищ: в ярангах ждали возвращающихся с зимнего промысла охотников.

Они шли с торосистой стороны моря, медленно обходя высокие льдины. За ними тянулся замерзающий след с яркими вкраплениями крови.

Люди держали путь на желтые пятнышки теплого света от горящих в жиру моховых фитилей.

Тишина висела над Галечной косой, над маленькой кучкой полузанесенных снегом жалких в этом огромном мире яранг.

Кляу поднял глаза: на закатной стороне занималось полярное сияние — начинался веселый праздник богов, и отблески их гигантских разноцветных костров играли в небе. Как плотно населен мир, кажущийся отсюда таким пустынным! И просторное небо, и дальние горы, и мрачные нагромождения скал — все полно жизни, неведомых существ, волшебных сил!

Кляу глубоко вздохнул и пошел быстрее, торопясь к своему жилищу, где его ждали жена и трое детишек — два мальчика и девочка. Он мысленно воображал детские личики, их ожидающие взгляды, особенно пристальные и пытливые глаза старшего, Арманто, ласковое спокойствие жены, и все его нутро, промерзшее на ветровом студеном льду, наполнялось теплом.

Айнау взяла ковшик из тонкого дерева, зачерпнула воды, захватив льдинку, и вышла из яранги. Она встала у порога, следя глазами за мелькающим меж торосов охотником. Из десятков людей она узнавала его по походке на любом расстоянии, которое только может охватить взгляд.

Сердце женщины согрелось нежностью при мысли о муже, о ее Кляу, который с добычей шел домой. Отсвет Великой Любви, которая сделала кита человеком и вызвала к жизни приморский народ, лежал на счастливом лице Айнау.

Охотник медленным, неторопливым шагом приблизился к порогу жилища, молча скинул упряжь, на которой тащил убитую нерпу.

Айнау облила голову убитой нерпы водой, давая «напиться» зверю, отдала остаток воды мужу и втащила добычу в ярангу.

Детишки с радостным гомоном окружили нерпу, положенную на кусок разостланной на полу моржовой кожи. Но нерпа еще была мерзлая и должно пройти время, прежде чем она оттает и мать начнет ее разделывать.

Пока Кляу тщательно выбивал снег из торбасов, развешивал охотничье снаряжение, Айнау толкла в каменной ступе мерзлое мясо, смешивала его с жиром, сдабривала квашеными зелеными листьями.

Это, конечно, еще не настоящая еда. Большое пиршество будет, когда сварится свежее нерпичье мясо.

Когда нерпа достаточно оттаяла, Айнау разрешила тушу, отделив шкуру с жиром.

Ребятишки, глотая слюну, ожидали своего черед.

Наконец мать вырезала из усатой морды два глаза, надрезала их и подала мальчикам. Причмокивая, постанывая от восторга, мальчишки отсасывали нерпичьи глаза, время от времени давая и сестренке попробовать.

Кляу снял с себя всю одежду и остался совсем нагишом, лишь бросив между ног клочок шкуры прошлогоднего молодого олененка.

Пока Айнау разделывала нерпу, в ярангу заходили соседки и каждая уходила с куском мяса, и это наполняло радостью обитателей яранги, потому что считалось: делиться радостью, добром и едой — первейшая и приятная обязанность потомков китов.

С вершины зимы трудно представить, что наступит лето — и на Галечной косе не будет снега, и холмы за лагуной, покрытые сейчас глубокими сугробами, зазеленеют травой, свободная вода потечет с гор широкими ручьями, и безмолвие полярной ночи огласится звонким птичьим щебетанием. Море очистится ото льда, и к берегу приплывут киты...

Когда сладкая боль первого насыщения прошла и легкая дремота охватила обитателей яранги, распластанных на мягких оленьих шкурах, глава семейства начал повествование...

Так водилось в каждой яранге. Дети должны знать свое прошлое, чтобы не чувствовать себя одинокими в этом огромном мире.

Голос Кляу глуховато звучал в теплом пологе, переполненном запахом свежей крови, теплого мяса, горящей в каменном жирнике нерпичьей ворвани...

— Раньше было так: холод и мрак покрывали пространство, не различались ни земля, ни небо, ни вода... Все было одинаково темно, как в пургу,— повествовал Кляу, а вокруг него затаив дыхание лежали детишки, внимая рассказу о прошлом народа Галечной косы.— Луч солнца не пробивал темных туч, из которых вечно сочилась холодная влага... Но вот появилась женщина. Теплыми босыми ногами прошла она по холодной земле, и там, где ступала, вдруг выросла зеленая трава. Оглядевшись, она улыбнулась, и солнце, пробив черные, полные влагой тучи, ответило ей ослепительным светом. Он разогнал мрак и залил все однообразное пространство теплом. И женщина увидела — есть земля и море, небо и скалы, есть Галечная коса, которая отделяет лагуну от моря. В норах живут евражки, песцы бродят меж зеленых холмов, птицы летят над морем... А само море — само море полно жизни, полно плавающих и ныряющих. И ходила женщина по берегу, кормилась ягодами и морскими травами. И не знала, что сама была человеком, ибо не было с ней никого рядом, с кем бы она могла говорить. Пока не пришла к ней Великая Любовь. Великая Любовь сделала из кита человека, и он взял в жены ту женщину. И родила женщина маленьких китят. Росли они поначалу в лагуне, а когда возмужали, то их колыбель — лагуна стала им тесна и через пролив Пильхын они отправились к своим родичам в открытое море. Потом женщина родила детей уже в человеческом обличье. И эти дети — наши предки, от которых мы и ведем наше происхождение.— Кляу примолк и торжественно сказал: — А та самая первая женщина и есть Нау! Она живет среди нас, и мы воздаем ей хвалу!

Последние слова Кляу дети слушали в полусне, и им чудилось далекое неправдоподобное время, когда кит мог превратиться в человека и человеку для пропитания было достаточно ягод и морской травы.

Эти легенды они уже не раз слышали, как и рассказ самого Кляу о том, как киты спасли жизнь ему и его товарищам.

Они видели Танец Кита и с детства учились ему, чтобы в торжественные минуты, когда благодарные чувства рвутся наружу, можно было исполнить его в Большой яранге, где собирались отважные ловцы морских зверей.

Каждое утро уходил Кляу на морской лед. За спиной оставалась Галечная коса, яранги, утонувшие в снегу и напоминавшие о живой жизни тоненькими струйками дыма.

Синева зимнего дня чуть розовела, и из огромного зарева на южной стороне неба вот-вот готовы были проклюнуться первые лучи солнца.

Кляу обходил торосы, осторожно проходил по молодому льду на только что замерзших разводьях и думал о вечном, о том, что всегда волновало его.

В то, что кит когда-то превратился в человека — хотя это некому подтвердить, кроме старой Нау,— все же можно поверить. Возможно, что такое когда-то случилось... Но почему то, что произошло давно, никогда не повторяется теперь?

Много было неясного и непонятного в старинных сказаниях. Когда-то Кляу обратил на это внимание Эну, но тот строго сказал, что так и должно быть: чем больше неясного в старинном сказании, тем оно достовернее и тем больше в него надо верить.

Но почему мир не может быть так ясен, как чист и свеж утренний воздух после душного и теплого полога?

Звездное небо тоже населено множеством существ, охотниками, девушками, оленями... Воображение соединяло созвездия невидимыми линиями и рождало картины небесной жизни. Казалось бы, это та самая жизнь, куда уходили умершие. Но нет! Умершие уходили через облака, это верно, но жили совсем в ином мире, о местоположении которого затруднялись говорить даже такие мудрые люди, как Эну. Однако Кляу видел только звезды, светящиеся точки на небе, и считал, что небо — это гигантская, натянутая поверх всего мира шкура, в ней множество дыр, через которые изливается дождь, сыплется снег. И где-то под этим гигантским шатром живут иные народы. Дым от их костров в виде облаков поднимается в небо, затмевая свет и вызывая ненастную погоду.

Почему окружающий мир так отличен от того, о котором говорят предания? А не нарочно ли мудрецы все затуманивают, чтобы скрыть собственное незнание?

Чем дальше в море уходил Кляу, тем шире открывался удивительный, захватывающий дух вид на хаотическое нагромождение синего льда.

До самого стыка земли и неба громоздились торосы. Среди них виднелись огромные обломки ледяных гор, голубые, как бы светящиеся изнутри собственным светом. В ледовых пещерах было жутко и слышалось тихое потрескивание, словно кто-то невидимый таинственно брел по ледовой крыше в мягких, подбитых шкурой белого медведя торбасах.

Морской вид на первый взгляд однообразен, но это однообразие кажущееся. Вблизи торосистое море полно неожиданностей. А подальше от берега, где сильное морское течение постоянно ломает лед, в черных, курящихся на морозном воздухе белым паром разводьях тихо плывут нерпы, глядя огромными глазами на бело-голубой мир.

С моря, даже с высокого тороса еле видны темные пятнышки яранг. Жалкие маленькие точки, словно заяц наследил. За ними закованная в лед лагуна, границы которой невидимы. Но к югу, где холмы поднимаются и, как морские волны, бегут к синееющим вдали горам, там чувствуется твердая земля, такая же бесконечная, как море.

За зубчатыми вершинами Дальнего хребта бродит зимнее солнце.

Что там, за этим хребтом?

У подножия гор кочуют оленные люди, дальние родичи приморского народа, отколовшиеся еще в стародавние времена, которые хорошо помнит одна старая Нау.

Еще недавно Кляу думал, что с возрастом все тайны откроются ему, что все недомолвки взрослых людей — попытки оградить юнца от того, что полагается знать только зрелому, настоящему охотнику.

А ведь незнание разжигает любопытство и гонит человека в неизведанное.

Как Эну.

Некоторые считали, что тот сошел с ума, ибо здравомыслящему человеку не придет в голову говорить о далекой земле, где солнце вчетверо дольше светит в небе и лето такое долгое, что не успевает оно кончиться, как наступает новая весна.

— Это не сказка,— говорит Эну Кляу,— я уверен, что есть такая земля, и мы с тобой ее найдем... Помнишь тот страшный день, когда

мы едва не погибли? Вот тогда и пришла мне в голову мысль о теплой земле. Кто знает, может, сами киты вложили в меня это открытие...

Кляу слушал Эну, и в душе его росла решимость последовать за ним.

4

На ноздреватом льду, изъеденном весенними жаркими лучами солнца, стояла большая байдара. Ее новая, только что натянутая кожа просвечивала, и когда кто-нибудь прикасался к ней, она гудела, как огромный бубен-ярар.

Вместе с Эну в удивительное, давно задуманное путешествие отправлялся Кляу.

Третьим плыл Комо, лентяй и шутник, однако искусный мастер изображать на окрестных скалах все, что видел перед собой.

Среди провожающих была старая Нау.

От весеннего солнца ее лицо еще больше потемнело, как покрышки яранг, пережившие зимние холода, снегопады, метели и яростное весеннее солнце.

Кляу никогда не думал, что расставание с родными и близкими, с женой и детьми, с Галечной косой, с привычным видом из яранги, окрестными холмами, скалами так мучительно больно, что хочется закричать в полный голос. Боль такая, словно на сердце упал тяжелый камень.

Этот камень не отпускал все то время, пока байдара плыла вдоль ледяного припая, еще не успевшего отойти от земли, мимо высоких скал, с которых Кляу зимой любовался широкими просторами, окружающими селение, и думал о том, что же за теми дальними зубчатыми хребтами. Теперь им придется не просто убедиться в чьих-то давних древних рассказах, а самим увидеть дальнюю землю, где много солнца и где живут предки приморских жителей — киты.

Трудно было расставаться с женой, но еще больше с детьми. В последние мгновения почему-то припомнились прекрасные дни, когда он собирался увести Айнау к себе в ярангу, бродил с ней вдали от селения, по тундровым холмам, где так мягки и ласковы травы...

Люди смотрели вслед уходящей байдаре, которая становилась все меньше, растворяясь в пространстве, как угасающий человек растворяется в бесконечном протяжении времени.

Многие именно так и думали, глядя вслед скрывающейся из поля зрения байдаре.

Все молчали.

Старая Нау поглядела на людей и громко сказала:

— Это зов предков. Ибо киты — вечные странники, вечно путешествующие в огромных морях. И человек не может долго жить на одном месте. Сначала он изобрел байдару, чтобы покорить море, вернуться к своему началу...

— А потом возьмет да полетит в небо, — усмехнулся кто-то.

— Почему нет? — задумчиво произнесла старая Нау. — Может, и такое случится... А сейчас пусть плывут сыновья китов по морю и ищут новое, неизвестное. Только так человек почувствует себя настоящим жителем земли...

И еще долго говорила старая Нау.

Пока свежи были воспоминания об уехавших, ее внимательно слушали.

Но проходило время. Другие события затмевали историю трех безумцев, отправившихся тропой китов искать долгое лето, и лишь родные помнили их рядом с теми, кто навсегда ушел сквозь облака.

А речи старой Нау стали назойливыми. Слушали ее только из

священной обязанности быть внимательными к странной старухе, пережившей само время.

Умерли близкие Коמו и Эну, выросли дети Кляу и очень редко, в ряду полузабытых сказок кто-то вспоминал историю о трех чудаках, отправившихся в далекое путешествие.

Никто тогда не мерил время, потому что оно и так было видно — оно отпечатывалось на облике людей, отмечалось родившимися и выросшими детьми, состарившимися и ушедшими сквозь облака.

Однажды в ясный зимний день на залагунной стороне, где вдаль уходили волнистые холмы, показались три точки. Они медленно увеличивались, приближаясь к ярангам. Еще издали можно было догадаться, что это не кочевники: походка у них была иная. Это не были и гости с дальней стороны: те ездили на собаках и шумно приближались к селению.

А эти шагали очень медленно и несколько раз останавливались, издали внимательно рассматривая открывшийся перед ними берег.

Все люди Галечной косы высыпали на волю: стоял ясный день с низким холодным солнцем, протянувшим свои озябшие лучи далеко в торосистое море.

Порой кто-то ронял вслух предположение о том, кто бы это мог быть.

А незнакомцы все приближались, рождая смутную тревогу в сердцах встречающих.

Путники были одеты причудливо, совсем не похоже на то, как обычно одевались жители Галечной косы. И эта одежда была отмечена печатью долгого нелегкого путешествия. И еще одно внушало раздумья: эти люди были очень немолоды, по всему видать, они уже в том возрасте, когда без особой нужды не отваживаются пускаться в далекий путь.

Неизвестные приблизились, на их изможденных, прорезанных глубокими морщинами лицах была видна искренняя радость.

Старик, одетый в ослепительно белые штаны из меха оленьих ног — свидетельство о готовности уйти сквозь облака,— спросил путников:

— Кто вы и откуда держите путь?

Не сразу ответили пришельцы. Они рассматривали лица встречающих, словно стараясь найти среди них знакомых.

И вдруг старушка, которая долго всматривалась подслеповатыми глазами в одного из путников, откинув седые косы, прикрывавшие исхудалое, изможденное лицо, закричала страшно и громко:

— Кляу! Это мой муж Кляу! Я его узнала!

И в эту минуту все поняли: это те, о ком рассказывали в полузабытых преданиях, о ком вспоминали как об одержимых несбыточной мечтой познать пути китов.

— Значит, вы вернулись,— сказала старая Нау и пошла к Эну, седому тихому старичку.

Глаза его светились мудростью и теплом.

Путников повели в яранги, а они шли, жадно вбирая в себя заново облик родного селения, ибо и это им тоже грезилось в тоскливых сновидениях.

Когда путники отдохнули, потекли бесконечные рассказы.

— Мы прошли по тем удивительным землям, о которых знали только по сказкам,— повествовал Эну.— Мы видели огнедышащие горы и дивились тому, что живущие у их подножия понимали нас и тоже почитали китов своими предками. Они утверждали, что именно там, внутри этих гор, находились жилища китов, что горы эти и есть их гигантские яранги, с вершин которых струится дым домашних

костров. Множество рассказов о жизни китов мы слышали от дальних родичей. Будто в домашней жизни киты мало отличаются от нас и ведут такие же разговоры на всем, пока нам непонятном языке. У них случаются и ссоры, правда очень редко. Тогда содрогается земля, и дым от гигантских костров густеет, и даже иной раз раскаленные камни взлетают над вершинами гор — жены китов, занятые ссорой, перестают следить за очагом.

Путники рассказывали по очереди. Когда один уставал, вступал другой, потом рассказ подхватывал третий. Вместе со всеми слушала рассказы старая Нау, и каждый из вернувшихся дивился тому, что она пережила многих и оставалась такой же крепкой, какой они ее оставили много лет назад.

— В тех краях мы не видели наших привычных зверей, на которых мы здесь охотимся, — вел рассказ Кляу. — Моржей нет, и белый медведь не заходит в те льды. Да и льдов настоящих там не бывает. На зиму образуется лишь небольшой припай, а за ним всю зиму плещется темное море. Люди живут там оленеводством и ловлей рыбы. От такой еды они малосильны и ростом небольшие. Зато этой рыбы там несметные полчища. Вода в реках кипит от нее. Не только люди сами питаются рыбой, но и собак своих кормят...

— Мы шли за солнцем, — продолжал Эну. — Главная наша цель была достичь той земли, где солнце долго светит и тепло держится дольше, чем на нашей земле. Мы видели настоящие деревья, большие, покрытые зелеными листьями, шумящие ветвями, словно живые великаны. Они занимают огромные пространства, и трудно представить, как человек живет в этом зеленом сумраке, как находит дорогу к рекам и к морскому побережью. Мы остерегались углубляться в леса и старались всегда держаться моря, ибо знали, что китовые тропы — это дороги морские.

— Сначала мы подумали, что дошли до китовых пределов, когда увидели огнедышащие горы, — сказал Кома. — Однако надо было найти вход в них. Нас удивило, что поблизости мы не видели китов. И мы пошли дальше, переправляясь через реки с помощью тамошних жителей: наша байдара давно обветшала и стала непригодной. Потом нам встретились люди, которые уже не понимали нашего разговора. Большинство людей считало нас своими братьями, не обижало...

— Но не везде было так, — вздохнул Эну. — В одной стране, где люди живут, собирая выросшие за лето растения и разводя животных, чье молоко они пьют, словно это простая вода, нас схватили и заперли в сумеречный дом. Там они держали нас очень долго, несколько лет. Мы стали уже понимать их речь, а они все опасались нас и говорили всякое — будто мы какие-то оборотни, пришедшие на их землю, чтобы причинить ее жителям вред. Однако остерегались нас лишать жизни, боясь еще большего несчастья. Кормили нас всяческой травой, от которой мы поначалу сильно ослабели, но потом привыкли и стали снова обретать прежнюю силу. И вот однажды вывели нас на солнечный свет, от которого мы отвыкли так, что первое время не могли держать глаза открытыми, и повели в огромную ярангу, сложенную из больших камней. Там сидел важный человек, который хотел знать, откуда мы появились и что за намерения у нас. И ответили мы этому любопытному человеку, что приходим мы от китов и идем по их тропам, чтобы познать земли, где много тепла и мало холода, где зимует солнце и перелетные птицы. Внимательно выслушал нас важный человек и спросил, откуда мы знаем о своем происхождении. Тогда мы сказали, что живет в нашем селении прародительница наша — старая Нау, которая родила наш народ... Сильно взволновали мы этим сообщением жителей теплой земли. И сказал

тот человек, что и они ведут свое происхождение от китов, однако предания старины они воспринимают уже как сказки и многие давно не верят тому, что где-то существует прародительница морских людей.

— И рассказали они нам легенду о своем происхождении,— продолжал поседевший Кляу, в котором счастливая старая жена видела молодого мужа, уходившего в дальний путь.— Слушали мы ее, и словно звучал голос старой Нау и перед нами воскресало наше собственное детство. И сказали нам те люди, что издавна им завещано: пока брат будет чтить брата, помогать ему, беречь его жизнь, пока любовь и согласие будут царить между людьми, до тех пор где-то будет жить прародительница людей, женщина, жена Кита, мать всех приморских жителей.

— Мы шли дальше, потому что хотели достичь вечного тепла,— заговорил Комо.— Мы продирались через гигантские травы и брели реками, вода в которых была горяча, как кровь только что убитого моржа. Солнце всегда стояло высоко, и снег выпадал только на одну ночь. Утром он таял. Тамошние люди все же страдали, считая это страшным холодом. Они дивились нам и толпами собирались, когда видели, как мы обливаемся потом при таком тепле, которое для них — жестокий мороз...

— А дорога китов шла еще дальше,— продолжал Эну.— Мы видели, как они уходили в теплое море, блистая фонтанами. А у нас сил оставалось только на обратный путь. Мы понимали: узанное принадлежит не только нам, но и вам, потому что мы часть одного целого, называемого приморским народом. Мы много увидели и достигли края земли. Мы уже знали из рассказов тамошних людей, что дальше зимы нет, одно нескончаемое лето. Но та жизнь уже была не для нас, и мы повернули обратно.

— Мы торопились,— подхватил рассказ Кляу,— нам хотелось увидеть родные лица, услышать полузабытые, но дорогие нам голоса, которые мерещились нам в снах... Мы торопились на свою родину, как спешат ранней весной киты, возвращаясь в студеные воды.

Несколько долгих вечеров рассказывали путники о своих приключениях, знакомстве с удивительными людьми, неведомыми обычаями, чудными зверями и странной пищей. Затаив дыхание жители Галечной косы внимали словам о том, что в иных землях люди никогда не видят белого снега и с трудом верят, что вода может обретать твердость камня, а дождевые капли падать сверху в виде мягких белых хлопьев.

Когда иссякли рассказы и утомленные долгими повествованиями путники все чаще и чаще стали замолкать, старая Нау спросила:

— Вы увидели новые земли, незнакомые народы и странных зверей. Скажите нам, какая земля показалась вам самой прекрасной?

Путники переглянулись между собой.

И ответил Кляу:

— Это верно, что мы увидели много. Но мы познали великую истину: нет ничего прекраснее своей родины, родной земли, где ты появился на свет, где живут твои родные и близкие, где звучит родная речь и знакомые с далекого детства старинные сказания...

Эти слова прозвучали в притихшей яранге как звук крыльев волшебной птицы, принесшей важную весть.

И старая Нау сказала:

— Я всегда так думала: прекрасное — это то, что рядом с тобой. И киты возвращаются к нам с уходом льдов потому, что эти берега — их родина и родина нашего народа.

Эну уже был дряхл и немощен.

Коמו мог только изображать на скалах еще не стершиеся в памяти картины, и лишь Кляу удалось сочинить и исполнить Танец Путешественника.

Сколько лет они провели в пути, никто не мог сосчитать. И все же, несмотря на то, что он был сед, Кляу еще был силен.

Он пережил своих спутников и скончался в глубокой старости, оплакиваемый родичами. Обряжала его в последний путь вечная старуха Нау. Седая, крепкая, с черным, словно дубленая моржовая кожа, лицом, она пришла в ярангу, где поселились горе и печаль. Готовый отправиться в последний путь, Кляу лежал в белых камусовых штанах, в белой кухлянке.

Нау молча прошла к пологу и откинула лоскут медвежьей шкуры, накрывавший покойника.

У Кляу было просветленное и спокойное лицо.

Старуха попросила принести выквзпойгын.

Принесли отполированную, чуть согнутую палку с углублением в середине, куда вставляется каменный нож для выделки шкур.

Старая Нау угнездила конец палки под голову покойного и шепотом начала беседовать с ним.

Она задавала пространные вопросы и ждала, что ответит умерший. Ответы Кляу были односложны, но значительны. Он пожелал взять с собой крепкие торбаса и копье, которым он добывал пропитание.

Старая Нау тихим спокойным голосом передавала пожелания покойного, и у головы покинувшего этот мир выростала кучка вещей для последнего путешествия сквозь облака.

Мужчины понесли Кляу на Холмы Усопших.

А жизнь продолжалась. Наступала новая весна, и поднявшееся над снегами солнце щедро освещало тундру и ледовитое море.

5

Внук Эну, Гиву, хрупкий и задумчивый юноша, пришел к старой Нау и спросил ее:

— В чем тайна твоего бессмертия?

Старуха удивленно воззрилась на него.

О таком не полагалось спрашивать. Это было дерзко и кощунственно.

Этот юноша всегда беспокоил других людей неуместными вопросами, глубокой задумчивостью, которая посещала его часто в самое неподходящее время: то на охоте, то на священном жертвоприношении ушедшим сквозь облака.

— Нет тайны и нет бессмертия,— ответила Нау.

— Но ты живешь всегда,— возразил юноша.— Значит, есть бессмертие и есть тайна.

— Я живу,— задумчиво ответила Нау и почувствовала, что этот ответ пришел неведомо откуда и она высказала его вслух, не успев удивиться.— Я живу, потому что существует Великая Любовь.

— Значит, если ее не станет, ты умрешь? — спросил юноша.

— Но Великая Любовь вечна,— ответила Нау.

Гиву задумался.

Нау смотрела на него. Отчего он такой? Или его мучает значение собственного имени? Быть Вездесущим по имени нелегко. Ведь нарекают человека не просто так, а стараясь дать ему направление жизни. Сама Нау дала это имя, ибо родился мужчина, который вел свое

происхождение от самого Эну, человека, в чьей голове родилась идея пройти тропами китов в поисках истины и теплой земли.

— Много сомнений,— вздохнул парень.— Они мучают меня и не дают спать.

— Ты тело свое больше испытывай,— посоветовала Нау.— От внутреннего напряжения у тебя сомнения. Наверное, много думаешь о женщинах?

— И это есть,— грустно сознался Гиву.

На прощание старая Нау посоветовала:

— Ты поменьше спрашивай, больше старайся сам узнать.

Осенью, когда моржовое стадо вылегло под скалами мыса, несколько дней Гиву наблюдал за спариванием животных и дрожал от возбуждения, сдерживая себя, чтобы не повалить первую попавшуюся женщину. Они как раз невдалеке собирали ягоды, ворошили мышинные кладовые в поисках сладких кореньев. Но Гиву боролся с собой. Он решил не поддаваться страстям, смутно догадываясь, что ответы на его сомнения где-то там, за этими настойчивыми позывами собственного тела.

Он ушел в тундру.

Бродил в тишине прохладного дня и подолгу смотрел в прозрачные потоки, где плыли рыбы, медленно шевеля плавниками. Серо-голубые тела речных обитателей казались ожившими картинками, выбитыми на скалах Комо, одним из легендарных путешественников.

Гиву, утоляя жажду в речках, разглядывал свое отражение. На юношу смотрело худое удлиненное лицо с большими, широко открытыми глазами.

Кто-то когда-то говорил ему, что таким был в молодости его знаменитый дед Эну. Но Эну нашел выход своему ненасытному любопытству и отправился в путешествие, которое заняло у него всю жизнь.

Если Гиву пойдет по его следам, он увидит лишь то, что видели и Эну, и Комо, и Кляу.

Куда идти?

Есть она, эта тайна. Она рядом, тайна бессмертия и долгой жизни старой Нау.

Но она ревниво охраняет ее, и никто — ни в прошлом, ни в настоящем — не может похвастаться, что достоверно знает, в чем загадка старой Нау.

Однажды Гиву пришло в голову: чтобы заглянуть хоть краем глаза в эту загадку, надо попытаться лишить старуху жизни. Но он сам испугался этой мысли и тут же отогнал ее от себя.

Но именно эта мысль, если честно признаться, пригнала Гиву к старой Нау и заставила задать вопрос напрямик.

И тайна все равно осталась тайной.

В чем она?

Откуда все это — беспредельность мира, облака над тундрой и зеленая трава, которая каждую осень желтеет?

Откуда эти цветы, словно брызги небесной голубизны, красные ягоды морощки и потоки вод, в которых резвятся молчаливые, полные спокойствия рыбы? Откуда звери, птицы, морские обитатели? Неужто тайна происхождения людей объясняется так просто, как говорит об этом старая Нау?

И наконец, почему так мучительно настойчивы эти вопросы, которые будят среди ночи, лишают сна, толкают на безумные поступки, рождают мысли об убийстве старой Нау?

Ровный упругий ветер гладил тундру, и волны, катящиеся по желтой траве, напоминали морские.

Гиву шел по тундре, перескакивая неустойчивые моховые кочки, перепрыгивая через бочажки и мелкие ручейки. Он не чувствовал усталости, и легкий ветер казался ему собственными крыльями, несущими его над землей. Он ждал, когда у него появится такое ощущение, которое было у Нау, когда она была молода и еще не знала Кита — Рэу. Он ждал появления чувства слитности с окружающей природой, ему хотелось быть одновременно и ветром, и вот этим ручейком, и сонными рыбами на дне его, травой, упруго качающейся кочкой, облезлым линияющим песцом, стройным журавлем, вышагивающим на покрытом морошкой болоте, евражкой и мышкой, волочащей в нору сладкий корешок — пэлкурэн...

Но ничего такого у Гиву не появлялось. Он несколько раз больно ударился о скрытый в траве камень, и боль в ноге все время напоминала о себе, отвлекая от возвышенных мыслей.

Может быть, такого не было и у старой Нау?

Может быть, все это она выдумала?

И даже не было путешествия в теплые дальние страны, где солнце неумолимо бродит по небу и люди выращивают на земле пищу, питаются, как иные тундровые животные, травой?

Говорят, что сомневающиеся в древних легендах всегда были. Тот же Эну, предок Гиву, оттого и отправился в дальнюю дорогу, что сомневался, хотя, как утверждали, сам же был спасен китами от неминуемой смерти.

Гиву уселся на пригорке.

Запах осенних трав слегка дурманил голову. Потом этот запах вместе с сухой травой на всю зиму поселится в яранге и в зимние оттепели будет усиливаться, напоминая о зеленом мире, полном тепла и ласкающих глаз цветов.

Большинство людей живет спокойно, не задумываясь об окружающем мире, стараясь не доискиваться причин удивительных природных явлений. Почему эти мысли и сомнения пришли именно к нему? Предопределено ли это кем-то из иных миров, какими-то иными силами, далекими от существующих рядом и видимых простым глазом? Или это свойства его собственного духа и тела, тела более слабого, чем у сверстников?

Гиву снова вспомнил о женщинах.

Странные существа. Для чего природа создала их столь не похожими на мужчин? Только ли для продолжения рода и для наслаждений, которые они сулят мужчинам? Почему самая высшая радость, которую когда-либо испытывает человек, связана с будущей жизнью? Тогда что же... Тогда, если убить другого человека... Что тогда испытает тот, кто совершит это? Нечто противоположное радости обладания? Но жизнь светлее и радостнее смерти. Значит, тот, кто зачинает жизнь, познает высшую радость...

Гиву огляделся просветленными глазами. Одно открытие уже есть. Оно лежало совсем рядом, стоило только протянуть руку чуть дальше. И это тоже радость — радость удовлетворения жаждущей мысли...

Обрадованный Гиву прыжком поднялся и побежал в селение, черневшее приземистыми ярангами на другом берегу лагуны, с ее морской стороны.

Гиву не терпелось проверить открытие.

Он увидел женщину у ручья. Она сидела на корточках и набивала листьями-кукунэт кожаный мешочек. Отчего это зеленые листья называются точно так же, как и сокровенное женское? Гиву остановился чуть поодаль. Он следил загоревшимися глазами за каждым движением женщины и мысленно приближался к ней, дотрагивался до нее горячими руками, срывал с нее меховой кэркэр...

А потом, не в силах удержать рвущееся наружу желание, он большими прыжками, словно тундровый бурый медведь, подбежал к женщине, напугав ее, заставив выронить кожаный мешочек — он скатился вниз по откосу, рассыпая плотно уложенные листочки кукунэт...

— Ты меня испугал, — сказала женщина, когда Гиву отпустил ее со стоном разочарования, не ощутив той великой радости, которая свидетельствовала бы о том, что он зачал новую жизнь.

— Скажи мне, что ты почувствовала, когда я тебя взял? — спросил Гиву.

— Я же тебе сказала — испуг, — повторила женщина. — Ты мне не дал ничего почувствовать, кроме испуга.

— Значит, я виноват, — разочарованно протянул Гиву, поднимаясь с холодной жесткой земли.

Отчего это так? Желал женщину сильно, словно горел огнем. Казалось, готов был ради нее пройти через вершины гор, а насытил огненное желание — и такое разочарование, будто пытался утолить жажду только что выпавшим снегом.

Он зашагал прочь от женщины, а та, отряхнувшись, пошла вниз по откосу и принялась собирать рассыпанные примятые кукунэт.

6

После того как забили моржей на лежбище, наготовили мяса и жира и наполнили мясные ямы и снежницы, сохранившиеся на теневых сторонах долин, выменяли у кочевых людей наполненные жиром кожаные мешки на мясо и шкуры оленя, принялись готовиться к Китовому празднику.

На деревянные обручи, сомкнутые над паром, натягивали хорошо выделанные моржовые желудки, приторачивали рукоятки, выточенные из моржовых клыков. Расписывали ритуальные весла, изображая старинную легенду о том, как киты спасли терпящих бедствие охотников.

Сочиняли новые песни и танцы, шили нарядную одежду и красили оленью мездру кровавой охрой, добытой у подножия Дальнего хребта.

В тот день жители Галечной косы были разбужены привычным гулом приблизившегося к берегу китового стада. Оно заполнило пространство от кромки льда, уже надвигающейся на берег, до самых скал, о которые билась загустевшая от холода океанская вода.

На восходе все жители селения со стариками и малыми детьми направились на берег. На блюдах лежали красные креветки, крошечные лучи морских звезд, обломки ракушек, клешней, сушеные моллюски, обрывки морской травы. Все было сдобрено жиром нерпы.

Седовласые старики хриплыми голосами пели старинные песни, ведущие свое начало еще от легендарного Рэу. Им подпевали женщины и молодые люди.

От множества китовых фонтанов вода кипела, и в воздухе висела мельчайшая, похожая на пар водяная пыль.

По знаку старейшего люди побросали дары в волны, и киты словно по приказу возблагодарили земных братьев высокими фонтанами и медленно удалились привычной тропой к берегам, где в долгую зимнюю пору не замерзает вода.

Гиву вместе со всеми бросал в волны крошево священной пищи, которую сам бы ни за что не взял в рот, пел песни, но думал о своем — о том, откуда у человека такая крепкая вера в эти бессмысленные действия...

После захода солнца в Большой яранге загремели бубны, и каж-

дый исполнил Танец Кита, стараясь превзойти другого в искусстве выражения чувств и настроения.

Гиву медленно натягивал танцевальные перчатки; на черной нерпичьей коже были нашиты фигуры маленьких китят. Когда танцор шевелил пальцами или двигал рукой, китята приходили в движение, и казалось, что они плывут по темной морской воде.

Каждый раз, танцуя в такт ударам бубна, Гиву дивился про себя неожиданному ощущению. Он словно бы снова начинал расти, все увеличиваясь в размерах, заполняя просторную ярангу, наконец вылетал через верхнее дымовое отверстие и растекался всюду, по всей Галечной косе — до пролива, до лагуны, до скалистых гротов, забитых прошлогодним снегом, превратившимся в темный лед.

Вместе с ним росло его сердце и легкие, которым уже мало было воздуху здесь, в яранге.

Когда он танцевал, занятый собственными ощущениями, он никого не видел и звуки бубнов и голоса певцов звучали внутри его самого.

На этот раз Гиву вдруг увидел глаза женщины, которую он взял на берегу ручья и жаждал зачать с ней новую жизнь. Она тогда сказала об испуге. Да, он тогда почти и не помнил, как это случилось, желание все затмило — небо, землю, жесткую, покрытую мелкими камнями землю...

Сейчас внутри у него росло тепло, незнакомое, новое, будто кто-то забрался к нему в грудь и терпеливо разжигал там маленький костерок, слегка дуя в огонь.

Руки Гиву трепетали на уровне лица, он видел узор на перчатках, и сквозь него, сквозь тела нашитых китят, плывущих по темному морю, видел глаза той женщины. Он с радостным беспокойством прислушивался к растущему теплу, к нежности, к новому чувству, в котором не было того яростного огня желания, а было тихое пение, словно колеблющееся пламя на снежном поле.

С первым снегом Гиву поставил отдельную от родителей ярангу и привел в нее ту женщину, которая отныне считалась его женой.

Жаркими ночами Гиву ждал прихода наивысшего счастья, которое ознаменовало бы зарождение, зачатие новой жизни, но как ни старался он, а этого не случалось.

Разочарованный, он уходил в тундру и бродил по пологим холмам, забираясь иной раз так далеко, что домой приходил только к утру.

Он долго и упорно размышлял наедине. Мысли роились в голове, как летние комары, появляясь и исчезая помимо его воли. Они были странные и назойливые, и от них уже нельзя было просто отмахнуться. Они требовали ответа.

Старая Нау пришла поздним вечером и устроилась в углу яранги. Она так и продолжала жить, переходя из одной яранги в другую, и никому в голову не приходило отказать ей в приюте.

Она разговаривала с женой Гиву об обычных женских делах, о выделке шкур, о шитье одежды, о том, из каких жил выходят наилучшие нитки, как вялить нерпичьи лапы так, чтобы кожа снималась легко, как перчатка с руки...

Гиву слушал старуху, и одна мысль все время билась, как пойманная в сеть птица: действительно ли она бессмертна? Если да, то в чем тайна ее бессмертия?

Среди ночи Гиву проснулся в холодном поту. Он нащупал остро заточенный нож и представил, как лезвие входит в жилистую, хрящеватую старческую шею Нау и темная кровь окрашивает белую шерсть оленьей постели.

Он даже слышал, как хрипит старуха, испуская последнее дыхание, и вечная жизнь уносится вдаль, в синее небо, сквозь зимние облака, подсвеченные луной и полярным сиянием.

Гиву не знал, как отвлечь себя, чем отогнать эти страшные мысли. Он прижался к жене, ощутив всем телом мягкую, словно излучающую тепло кожу. Жена покорно придвинулась к нему, раскрываясь навстречу, как весенний тундровый цветок.

Гиву вдруг почувствовал то долгожданное, сокровенное... Почувствовал огромную нежность, которая, словно сладкая боль, притаилась где-то в глубине и долго не отпускала... А по мере того как она уходила, странное блаженство охватывало тело, возносило на волшебную вершину, откуда оно стремглав несло вниз, и ветер свистел в ушах, как в те мгновения, когда Гиву мальчишкой на санках из моржовых бивней катился по склону горы от вершины до заснеженной лагуны.

На этот раз он был уверен в том, что зачал новую жизнь. Мысль о старой Нау, о ее бессмертии теперь казалась такой маленькой и незначительной, что Гиву усмехнулся про себя и вышел из яранги в ночную свежесть зимней полярной ночи.

Он шел в тундру, окрыленный радостью и новой песней, которая рвалась из груди, из огромной нежности, облаком заполнившей грудь. Может, это и есть та Великая Любовь, о которой толкует старая Нау? И он приобщился к ней, она осенила его, наградив за терпение и упорство.

Гиву видел перед собой густую синеву, которая постепенно переходила в усыпанное яркими звездами ночное небо. На северной стороне, за спиной Гиву, полыхало полярное сияние, отблески огня пирующих в подземельях китов освещали уснувшую землю морских охотников.

Гиву пересек лагуну и, пройдя через пологие холмы, к восходу недолгого солнца оказался у подножия Дальнего хребта.

Далеко он зашел. Он бы прошел и дальше, но тут внезапно его остановил голос:

— Стой и оглянись!

Гиву покорно остановился.

Все было по-прежнему, и ничего нового и особенного он не увидел. Так же светили в вышине звезды, только чуть поблекли перед восходом солнца, да полярное сияние погасло...

— Как ты теперь видишь?

Голос был странный, словно им было все наполнено вокруг. Он исходил отовсюду — сверху, снизу, из разных мест, куда бы ни поворачивался Гиву. Он не удивился возникновению этого голоса, словно так и должно было случиться.

Повинуясь невидимому голосу, Гиву еще раз огляделся и обнаружил, что видит он и впрямь как-то иначе, его глаза как бы промылись, очистились, стряхнули пелену некоего тумана. Все было удивительно отчетливо: каждая складка отполированного ветром снега, каждый оттенок его цвета, меняющегося вместе с освещением неба, каждый камешек или сухая травинка, торчащая из-под снега. Ноздри чували дальние и ближние запахи речного льда, промерзшей насквозь земли, изнемогающей под толстым слоем снега...

— Отныне ты будешь видеть и слышать больше и лучше, чем другой человек!

Так сказал невидимый голос, и настороженное ухо Гиву уловило, как голос стал затихать, будто горное эхо, уносящееся в пространство.

Из груди рвались вопросы: кто ты? почему ты избрал именно меня, а не кого-то другого? почему ты ничего не сказал о тайне старой Нау?

Но что-то такое было, что сдерживало эти вопросы и не давало им вырваться наружу.

Гиву вернулся в селение, и жена с молчаливым удивлением взглянула на него: она никогда не видела мужа таким просветленным, счастливым, не обремененным своими всегдашними смутными мыслями.

Гиву уходил на охоту и возвращался с добычей, ноги сами несли его туда, где таились нерпы, вылезавшие на снежный покров морского льда.

Заметив его удачливость, другие жители Галечной косы стали спрашивать его о видах на охоту, и, к собственному удивлению, Гиву отвечал уверенно и давал всегда дельные советы.

И повелось в селении, что к Гиву стали приходиться по всякому поводу, когда, например, заболели ребенок или собака.

И Гиву давал советы, снабжал людей лекарствами, сделанными из разных трав и снадобий, куда входили разные части тела морских животных, желчь белых медведей и загустевшая черная кровь лахтака.

Иногда Гиву чувствовал необходимость сам вызвать Голос, и тогда он брал бубен, смачивал гудящую поверхность водой, тушил огонь в пологе и начинал петь, время от времени останавливаясь и прислушиваясь.

Слова приходили неведомо откуда, но Гиву ни разу не пришло в голову усомниться в их истинности или искать источник этих голосов. Лишь глубокие бездонные глаза старой Нау вызывали беспокойство, но стоило подумать о чем-то другом, как мысли об этой старухе сами собой исчезали.

Постепенно Гиву стал самым известным и необходимым человеком в селении, и люди, перед тем как приступить к важному делу, считали своей обязанностью посоветоваться с ним.

И люди стали называть его энэныльын, что означало исцеляющий.

7

Жена Гиву родила крепкого коричневого мальчишку, который сразу же заорал громко и требовательно. Старая Нау обтерла его синим весенним снегом, завернула в мягкий пыжик. Присыпала пупок пеплом жженой коры, а каменное лезвие, которым обрезала пуповину, положила в кожаный мешок и спрятала в укромное место.

— Как китенок,— приговаривала старая Нау, любуясь лоснящейся кожей малыша.

Голоса предрекли мальчишке благополучие, и Гиву чувствовал, как в его груди бьется огромное счастливое сердце, переполненное нежностью.

— Наверное, это и есть Крылья Великой Любви,— высказал предположение Гиву за вечерней трапезой.

Старуха молча покачала головой.

— Великая Любовь простирается на всех людей,— сказала она.

— А я забочусь об остальных людях тоже,— возразил Гиву.

— Но при этом любуешься собой,— возразила старуха.— Если бы в твоём сердце не было удовлетворения от того, что ты делаешь, тогда ты мог бы сказать — я познал Великую Любовь...

Эти слова испортили лучезарное настроение Гиву.

В довершение к этому в селение пришла никогда не виданная болезнь.

Люди вдруг начинали плохо видеть, теряли вкус к еде, лежали целыми днями безучастные ко всему, пока тихо не уходили сквозь облака.

Покойников торопливо свозили на Холм Усопших, но некормленные собаки приволакивали в селенье обгрызенные руки, ноги и головы умерших.

В ярангу Гиву пришли растерянные жители Галечной косы.

— На тебя одного надежда,— сказали они.

Гиву молчал, ибо не знал, что ответить несчастным, испуганным людям. Он сам был в полной растерянности и каждое утро со страхом прислушивался к сонному дыханию сына, с тревогой ожидая признаков надвигающейся болезни. Он словно носил в себе хрупкий сосуд, наполненный драгоценной жидкостью, в котором сосредоточилась его любовь к новой жизни, к мальчику.

— Мы знаем, что ты видишь и слышишь лучше, нежели мы,— говорили опечаленные люди.— И вся наша надежда только на тебя.

Что мог ответить Гиву?

Он стоял перед людьми склонив голову.

И он услышал голос изнутри, такой отчетливый и ясный, что вздрогнул. Но никто, кроме него, не уловил ни слова. «Иди на край селения, там под скалами ты увидишь тех, кто привез болезнь на Галечную косу...»

Гиву чуть наклонил голову в знак того, что услышал голос, но люди поняли так, что он согласен им помочь, и они в почтительном молчании вышли из яранги, исполненные надежды на спасение.

Гиву тщательно оделся, натянув поверх меховой кухлянки длинный кожаный балахон, украшенный полосками разноцветной шерсти оленя, кусочками кожи и меха. На ногах у него были низкие торбаса с тщательно вышитым орнаментом, повторяющим рисунок на ритуальных веслах. На руки он надел теплые рукавицы и взял священный посох из легкого суставчатого дерева с кружком на конце, чтобы не проваливаться в снег.

Стояла удивительно тихая погода. Солнце светило с вершины небосвода, и лучи его, отражаясь от снега, от полированных склонов сугробов, больно били в глаза. Гиву вытащил из-за пазухи кожаную накладку с узкой прорезью и повязал на лицо. Повязка хорошо защищала глаза от мучительной боли.

Несмотря на хорошую ясную погоду, Галечная коса поражала пустынностью и безлюдьем. Даже собаки лежали неподвижно, свернувшись у яранг, и равнодушно смотрели на единственного человека, который шел мимо них, широко размахивая посохом из священного суставчатого дерева.

Синяя тень прыгала с сугроба на сугроб, словно стараясь обогнать человека, и тень от священной палки то изламывалась, то укорачивалась.

Гиву прошел последнюю ярангу, прошагал по снежному полю и подошел к подножию скал.

Отсюда, повинувшись какому-то наитию, Гиву повернул в сторону моря и на возвышении, намытом волнами, но нынче покрытом снегом, остановился и огляделся.

Под скалами темнела синяя тень, торосы уходили вдаль, повсюду кругом царила ослепительная солнечная тишина, от которой в груди росла тревога и сохло в горле.

Здесь пролегла дорога, по которой жители Галечной косы уезжали на собачьих упряжках в море, в гости в соседние селения. В другое время снег в этих местах был бы испещрен следами полозьев нарт, но сейчас это была девственная белая поверхность.

Но что это?

Какие-то мухи, комары...

Но разве они могут существовать нынче, на снегу! Днем еще можно ощутить солнечное тепло, да и то если долго и неподвижно стоять, повернувшись лицом к свету, а ночью бывает такой мороз, что и покрытые густой шерстью собаки просятся в ярангу. А тут какие-то насекомые...

Гиву поспешил к мелькающим на снегу темным пятнышкам и и вдруг остановился в изумлении. Сердце забилось то ли от ужаса, то ли еще от чего-то: перед ним стоял человек. В кухлянке, в торбасах. На голове его красовался малахай. Самый что ни на есть взавправдашний человек с отчетливыми чертами лица, улыбающийся с виноватым видом, но... величиной с сустав мизинца, а может быть, еще меньше. Гиву уставился на него и похолодел от ужаса: еще шаг — и он бы наступил на этого человека и раздавил его своими лахтачьими подошвами.

— Ты кто такой? — спросил Гиву, опустившись на колени.

— Мы рэккэны,— ответил человек.

И тут Гиву заметил, что отовсюду к нему торопятся, переваливая через снежные ямки, казавшиеся им глубокими рытвинами, такие же человечки. Они широко размахивали руками, и поэтому только вблизи их можно было как следует рассмотреть. Но еще более Гиву удивился, когда увидел мчащуюся к нему собачью упряжку и запряженных в нее собачек размером чуть больше мух.

— Что же вы тут делаете? — спросил Гиву.

— Болезнь везем,— ответил человек.— Знаем, какую беду мы причинили вашему селению. Но такова наша горькая доля. Мы стараемся всегда проезжать вдали от людских селений, но на этот раз пурга запутала следы, сбила нас с дороги и мы оказались здесь. Теперь ваши люди будут болеть до тех пор, пока не проедем. А для нас, которые намного меньше вас, для наших собачек расстояние от первой яранги Галечной косы до последней велико. Нам требуется несколько дней, чтобы одолеть его. На ночь мы останавливаемся, отдыхаем, а утром — дальше в путь.

— Так что же нам делать? — с беспокойством спросил Гиву.

— Уж и не знаем, как быть,— вздохнул человек, и Гиву увидел, как из его крошечного ротика вырвался еле видимый парок.

Голоса у рэккэнов были тонюсенькими, чем-то походили на птичье щебетание, но слова они произносили отчетливо, ясно.

— А много вас тут? — спросил Гиву.

— Десяток нарт,— последовал ответ.

Остальные рэккэны внимательно слушали разговор, а некоторые присели на торбаса Гиву и удивленно разглядывали швы, видимо казавшиеся им гигантскими.

— Давайте я вас провезу через селение на своей нарте! — предложил Гиву.

— Это было бы хорошо! — обрадовался человек.— Только будь с нами поосторожнее — ты же великан!

— Я уж постараюсь,— пообещал Гиву.

— И еще один уговор: наше существование для людей тайна,— многозначительно произнес рэккэн.

— Я понимаю,— ответил Гиву.

Он бегом вернулся к своей яранге, снял с крыши легкую нарту, перевернул ее вверх полозьями, смочил их, чтобы на них образовался тонкий слой льда и они хорошо бы скользили по снегу.

Хотел было запрячь собак, но, подумав, решил от них отказаться: кто знает, не поедят ли голодные псы этих маленьких рэккэнов вместе с их упряжками?

Впрягшись, он почти бегом поспешил к подножию скал. Земляки его с удивлением наблюдали за ним, и несколько собак решились пролаять вслед.

Гиву спешил, почему-то боясь, что вот придет он на место, а там ничего такого не окажется: уж очень неправдоподобными показались ему человечки. Эта неправдоподобность, как ни странно, усиливалась еще и тем, что они были такие же точно, как настоящие люди. Гиву вспомнил маленький клочок пара, вырвавшийся изо рта рэккэна, и его охватило какое-то удивительное волнение.

Рэккэны ждали Гиву.

Они подогнали крохотные нарты с непонятным, крепко увязанным грузом, а мухоподобные собачки еле слышно тявкали, и Гиву сдерживал себя, чтобы не улыбнуться, глядя на них.

Сами рэккэны были очень серьезные. Они попросили Гиву помочь им погрузиться на его нарту, потому что она для них была очень высока. Гиву снял рукавицы и осторожно, двумя пальцами стал поднимать рэккэнов и их собачек на нарту. Он чувствовал под пальцами их живые крохотные тельца, ощущал движения их ручек, одетых в рукавицы, и ножек, обутих в торбаса, всматривался в их серьезные лица и все ждал, что вот он проснется — и все эти причудливые видения улетучатся, как это всегда бывает после красочного сна. Но пробуждения не наступало. Гиву осторожно грузил рэккэнов на свою нарту, пристраивая их так, чтобы они не свалились.

Наконец все было готово, и он впрягся в упряжь.

Он шел кромкой морского льда так, чтобы со стороны яранг его не было видно. Иногда он оглядывался и видел рэккэнов, сгрудившихся на нарте, крепко вцепившихся друг в друга. Он слышал повизгивание крохотных собачек, вскрики человечков и старался идти потише и выбирать путь поровнее, смекая, что маленький для него снежный заструг для рэккэнов — высочайшая гряда торосов и легкий удар полозьев о кусок льдинки может вышибить из них дух.

Гиву прошел последнюю ярангу и повернул на юго-запад, чтобы и соседнее селение осталось в стороне от пути этих рэккэнов, везущих болезнь.

Еще груза человечков на свою нарту, Гиву старался рассмотреть, что же это за болезнь и как она выглядит. Но груз был плотно увязан, и ничего нельзя было увидеть.

Недалеко от пролива Пильхын Гиву остановился.

Один рэккэн осторожно прошел по доске к передку нарты и сказал:

— Отсюда мы поедем сами.

Гиву осторожно снимал нарты, собачек и самих рэккэнов.

Они хлопотали вокруг упряжек, распутывали постромки, покривали на своих собачек, похожих на мух, и Гиву снова чувствовал себя странно и неловко, и ему порой приходила мысль о том, что он попросту несказанно вырос, стал великаном.

Рэккэны сели на свои нарточки. Тот, кто первым повстречался с Гиву, подошел к его правому торбасу и сказал:

— Мы едем дальше. Благодарим тебя за то, что ты помог нам. Но еще больше ты помог своим землякам. Мы и так стараемся идти в обход, но плохо знаем землю и случается иногда, что натыкаемся на людское селение...

— А как выглядит сама болезнь? — решившись, спросил Гиву.

Лицо рэккэна перекошил ужас, и он таинственным шепотом сказал:

— Этого не дано никому видеть. Болезни уложены на наши нарты, и мы не смеем распаковывать их. Но оттуда исходит дух, который поражает людей, когда мы проезжаем через поселения...

— А сами-то вы не подвержены этим болезням? — спросил Гиву.

— Нас они щадят, — ответил рэккэн. — Иначе на чем бы они ездили?

Рэккэны тронули свои крохотные нарты и поехали вперед, оставляя на снегу еле видимый след, который можно было разглядеть лишь низко нагнувшись. Через некоторое время, когда нарты исчезли из поля зрения, Гиву сделал несколько шагов вперед, чтобы догнать рэккэнов, но уже не смог ни увидеть их, ни найти следы на снегу — они словно растворились в голубом весеннем воздухе, пронизанном солнечным светом.

Гиву медленно возвращался в селение, а навстречу ему попадались исхудавшие, но уже выздоравливающие люди.

Гиву вошел в свою ярангу и громко сказал жене:

— Болезнь уехала!

Старая Нау заметила недоверие на лице женщины и укоризненно сказала:

— Почему ты не веришь мужу? Он сказал правду.

А потом, к вечеру, когда солнце склонилось над розовыми снегами, старая Нау сказала людям, собравшимся в яранге Гиву:

— Правда всегда удивительнее выдумки, и ей иной раз труднее поверить, чем пустому бахвальству. Бывает, что человек собственным глазам не верит. Но сегодня вы стали свидетелями великой правды — Гиву спас людей. Судьба отмечает таким даром исцеления особых людей. Они способны верить в то, во что никогда не поверит обыкновенный смертный: эта правда покажется ему слишком неправдоподобной.

Часть третья

1

Гиву было уже много лет. У него росли внуки, а сын, которого он уберег от болезни, увезенной рэккэнами, прославился по всему побережью силой и удачливостью.

Гиву чувствовал приближение старости, словно притаившуюся за горами зиму. По утрам ему не хотелось вставать, и он долго лежал в постели, высунув голову из полога, разглядывая небо в дымовое отверстие, вдыхал свежий воздух и думал о сокровенном: о тайне бессмертия. Да, это было так — старая Нау оставалась в точности такой же, как и в годы его детства, юности, зрелости и наконец старости, его, самого знаменитого человека, самого уважаемого и почитаемого не только на Галечной косе, но и в далеких окрестностях. Ничто ее не брало — ни голод, который не раз посещал селение, ни холод, ни дожди, ни снежные бураны.

В Священные Китовые праздники, когда встречали первые стада или провожали их на долгую зиму, старую Нау по-прежнему сажали на почетное место, но обращали на нее столько же внимания, сколько на ритуальное весло, расписанное изображениями китов.

Зато люди не переставали славословить Гиву, большого человека, способного указать места, богатые зверем, предсказать погоду, вылечить занедужившего.

А что старая Нау?

Кроме сказок о китовом происхождении людей да неправдоподобных рассказов о том, что она была женой Кита — Рэу и сама

рожала китят, от нее не было толку. Даже в то, что она живет вечно, никто не верил, потому что проверить это было невозможно.

Но Гиву знал: если Нау и не бессмертна, то, во всяком случае, она живет столько, сколько не живет обыкновенный человек. В редкие месяцы, когда она переселялась в ярангу Гиву, он старался рассмотреть то особенное, что отличало старуху от простого смертного жителя Галечной косы. Но старая Нау была обычна до скуки. Она ела все, что едят в ее возрасте, остерегалась жесткой и грубой пищи, ибо зубы ее были стерты до самых корней. Она спала чутко и часто просыпалась среди ночи. Разговаривала о совершенно обычных вещах, и, если на нее не находил зуд рассказывать истории о китах, она сплетничала, судачила о чисто женских делах. Стыдно признаться, но Гиву не только внимательно присматривался к привычкам и поведению старухи, но и подсматривал за тем, как она справляла свои естественные нужды. Ничего особенного, все точно так же, как у всех людей ее возраста...

Так в чем же дело?

И однажды Гиву сам спросил ее об этом.

— Не первый раз задают мне такой вопрос,— с оттенком недовольства заметила Нау.

— Людям любопытно,— настаивал Гиву.

— Я не чувствую себя долгоживущей,— уклончиво ответила Нау.

— Однако какая ты была в годы моего детства, такая и осталась по сию пору, когда я уже старик,— сказал Гиву.

— Почему ты спрашиваешь о несущественном? — раздраженно заметила старая Нау.— Разве у тебя нет других забот?

— Однако если попытаться тебя убить — интересно, умрешь ли ты от телесной раны? — спросил выведенный из себя Гиву.

Старуха с удивлением поглядела на Гиву, и две мутные слезинки выкатились из ее глаз.

— Как ты мог такое сказать? — всхлинула она.— Ты, верно, нездоров... Разве может человек поднять руку на человека? Да он перестанет быть человеком, если только это сделает...

Гиву потом понял, что именно этот неосторожно вырвавшийся вопрос ускорил его уход через облака в другой мир... Как же он мог такое спросить? И после этого Гиву во взгляде старой Нау улавливал глубокое сочувствие и сострадание, хотя на вид он был еще крепок и ничем не болел до самой смерти. Только силы от него уходили, словно в середине лета иссякал ручей, по мере того как уменьшался питающий его снежник.

И у старого Гиву напоследок даже не осталось сил, чтобы ненавидеть старую Нау.

Он понял, что как бы ему ни было хорошо, как бы его ни величали и какие бы почести ни воздавали, настоящее счастье — у старой Нау, которая и с виду и по образу жизни обыкновенная старуха. Но старуха, которая знает тайну бессмертия и Великую Истину. Да, она говорила о Великой Любви, но все уже относились к ней как к той же сказке, в которой повествовалось о том, как в стародавние чудные времена приплывал кит к берегу и жил с женщиной на мягких травах на другом берегу лагуны, как потом родились от этой Великой Любви китята, а за ними и люди, населившие берега моря... Может быть, и было когда-то такое, но не со старой Нау... Или все же с ней?

Поворочавшись в мягкой оленьей постели до полудня, старый Гиву выходил из яранги и садился на большой камень, служивший грузилом для моржовой крыши. Он сидел, и мимо него проходили

люди — мужчины, женщины, детишки. Они почтительно здоровались с Гиву и по привычке просили у него совета.

После него все останется. И это высокое небо, облака, скалы, море... Его земляки тоже потом умрут, но вместе с вечными горами, облаками, небом и ветром всегда будет существовать эта старуха — старая Нау.

Подбежал внук — Армагиргин. Он чуть не свалил с камня деда и громко расхохотался, когда увидел, как тот зашатался и стал хвататься за воздух.

— Недобрый ты, — укоризненно сказал ему Гиву. — Разве можно смеяться над слабым и немощным?

— Но это так весело! — уверял его Армагиргин. — Ты как рыба канаельгин, когда окажется на берегу!

Гиву смотрел на внука и точно себя видел в детстве. Правда, в отличие от него Армагиргин был крепок телом, оживлен и общителен. Но внутренние его черты, которые Гиву скрывал когда-то из-за своей телесной немощи, у внука были выставлены наружу, словно нашитые на кухлянку яркие украшения. Честолюбие, стремление властвовать над другими, сладкое удовлетворение от повиновения других — все это было так знакомо... И если Гиву утолил жажду честолюбия долгим и упорным трудом и размышлениями, оглядываясь и спотыкаясь, то Армагиргин брал все это с ходу.

Многое объяснялось, конечно, тем, что он был внуком такого человека, как Гиву.

Но каково будет разочарование, когда он увидит, что есть человек, через которого не переступить. Даже когда делаешь вид, что Нау не существует, что ее присутствие не волнует, все равно она — как немой укор, как олицетворение совести. Эта старая Нау — вечная старуха, которая живет как бы вне времени, с одним и тем же рассказом о китах.

Гиву вспомнил, что сказал Армагиргин, когда услышал о том, что в море плавают его братья-киты. «Не хочу, чтобы эти безобразные чудовища были моими братьями! — кричал мальчишка в слезах. — Они огромные, черные и страшные!»

Старая Нау с ужасом смотрела на Армагиргина и что-то шептала, наверное свои китовые заклинания. Тогда с трудом удалось успокоить мальчика. Но с возрастом он не изменил своего отношения к рассказам старой Нау, и на его лице всегда бродила усмешка, когда кто-нибудь при нем начинал рассказывать старую-престарую сказку о происхождении приморского народа.

Когда Армагиргин впервые пошел на морскую охоту на молодой лед, только что покрывший море, Гиву дал ему в руки чудесный посох из легчайшего суставчатого дерева и сказал ему такие напутственные слова:

— Этот посох через многие дальние земли пронес наш предок Эну в поисках Истины.

— И он нашел ее? — торопливо спросил Армагиргин.

— Он сказал, возвратившись из дальнего пути: истина одна — нет ничего лучше нашей земли, родины...

— И это все, что он привез? — усмехнулся Армагиргин.

— И еще он привез эту палку, которая переходит в нашем роду достойнейшему, — сказал Гиву.

Армагиргин взял безо всякого видимого трепета суставчатую священную палку и подивился ее легкости.

— Пусть эта палка принесет тебе счастье и удачу, — сказал Гиву дрожащим от волнения и избытка любви к внуку голосом.

— Прежде всего я сам постараюсь добыть зверя,— сказал Армагиргин и отправился в море вместе со своими сверстниками.

Возвратились они с богатой добычей: Армагиргин тащил трех нерп. Его спутники потом рассказывали, как он удачно ловил тюленей. Поймав зверя, он уволокивал его подальше от воды, садился на него верхом и с громким хохотом тащился на спине бедного животного к воде. У самой воды он соскакивал снова, оттаскивал тюленя подальше от воды и опять садился на него, пока зверь в изнеможении не клал голову на снег.

Эти рассказы веселили всех, и только старая Нау укоризненно качала головой и шептала свои китовые заклинания.

Когда Гиву почувствовал, что смерть уже стоит у входа в ярангу, он повелел призвать к нему Армагиргина. Внук пришел веселый, нетерпеливый, видно, ему не хотелось долго оставаться в затхлости плохо проветриваемого полога, где уже ощутимо пахло тленом.

— Внук мой,— проникновенно заговорил Гиву и крепко взял за руку Армагиргина, словно боясь, что он не даст договорить, не послушает и убежит к своим громогласным друзьям, шумевшим за стенами яранги.— Хочу тебе на прощание сказать: ты многого добьешься в жизни, большего, чем я, я это чувствую... Только предостеречь тебя хочу: ты никто, пока не разгадаешь тайну этой старой женщины...

— Какой женщины? — удивился Армагиргин.

— Старой Нау...

— Ах этой! — махнул рукой Армагиргин.— Так она сумасшедшая. И все, что она говорит, всем уже давным-давно надоело, потому что это неправда!

— Армагиргин...— Гиву попытался сжать сильнее руку внука, но тут последние силы покинули старика и его оставил дух, вознесшийся вверх через широко распахнутое дымовое отверстие и дальше — через облака...

2

Да, это был настоящий человек, которым любовались все на Галечной косе и вообще всюду, где только жили морские охотники и оленные люди.

Сильный, красивый, высокий, с громким голосом, от которого покрывалась рябью спокойная вода лагуны, Армагиргин говорил, что все счастье человека в его силе, в том, что человек может все и ему все дозволено.

Он еще в детстве смеялся над теми женщинами, которые оставляли в мышиных норах часть корешков и еще одаривали мышей кусочком сушеного мяса.

— От этих маленьких ничтожеств надо брать все! — говорил Армагиргин и костяной мотыжкой разорял мышиные норы, выгребая оттуда последние пзлкумрэт. Если он заводил невод в лагуне, то потом старался бросить в котел все до последнего малька.

И при этом говорил и хохотал громко.

Людам было хорошо с ним, потому что каждый мог говорить то, что хотел, делать то, что ему надобно, и удовлетворять свои желания так легко и просто, как спать и есть.

Понемногу люди перестали благодарить морских великанов за помощь в морской охоте. Армагиргин утверждал, что это только кажется, будто киты пригоняют морских зверей к берегам. А на самом деле животные приходят сами, по своей нужде.

Осенью, когда за мысом на галечном пляже, омываемом сту-

денным прибором, вылегли моржи, решено было бить их ранним утром, когда выйдет солнце.

Охотники подкрались сверху, тайком спустились и напали на мирно отдыхающих животных. Они кололи всех не разбирая, старых и молодых. Глухой стон моржей и тяжкий дух поднимался над морем, вплетаясь в резкий запах холодного моря.

Когда последний морж был заколот, Армагиргин поднял вверх окровавленный нож и крикнул так громко и победно, что с соседних скал поднялись тысячные стада гнездящихся птиц.

А вдали плыли киты, и фонтаны поднимались над водой.

— Мы! — кричал Армагиргин. — Мы настоящие хозяева земли! Все, что нам надобно, мы будем брать, не благодаря и не спрашивая об этом никого!

Всю зиму жители Галечной косы валялись в сытой истоме. Подземные мясные хранилища были переполнены. На охоту ходили лишь истосковавшиеся по свежему нерпичьему мясу. По вечерам в Большой яранге били в бубны и пели песни о человеческой удачливости, о том, что сильным людям все дозволено и доблесть человека, настоящего мужчины в том, чтобы суметь ухватить сегодняшнее счастье, словно иную красавицу за развевающиеся волосы.

Армагиргин взял себе еще одну жену, ибо при таком обилии еды сил у него было столько, что ему уже мало было одной женщины, а через год, когда было разорено моржовое лежбище, взял и третью.

Певцы сочиняли о нем песни и в танцах изображали его великим человеком, подарившим людям настоящее счастье сегодняшней жизни. Это не было обещанием будущих благ, это не было призрачным утешением, когда несчастный человек кидал крошки сушеного мяса непонятым богам, это было настоящее сытое счастье, от которого человек громко рыгал и смотрел на все сверху вниз, словно он неожиданно воспарил над землей.

На следующую осень моржи не вылегли на лежбище. Они далеко обходили Галечную косу, и людям приходилось гнаться за ними далеко от берега.

Но это только раззадоривало и воспаляло охотников, которые не знали, куда девать силу, накопленную сытой зимой. Сильными руками они гребли и сообщали байдарам такую скорость, что иной раз пытались состязаться с китами, которые по-прежнему, не опасаясь людей, плавали рядом с их байдарками.

— Эй вы, предки! — кричал им Армагиргин. — А ну покажите, братья, как вы плаваете!

И киты, словно принимая вызов, мчались рядом с байдарками, обдавая сидящих в них брызгами фонтанов.

Когда охотники возвращались к берегу, ведя на буксире убитых моржей, на берегу уже ждали женщины и старики. Вместе с ними стояла старая Нау, ставшая за последние годы очень молчаливой. Она еще больше состарилась, хотя никогда не жаловалась на свои недуги.

Переселяясь из яранги в ярангу, она обходила жилище Армагиргина, но тот только криво усмехался и говорил вслух, что присутствие этой старухи, преисполненной пустыми сказками, навеивает на него тоску.

— Разве здравомыслящий человек может поверить в то, что эти толстые бессловесные твари, эти горы жира и мяса — наши братья? — разглагольствовал Армагиргин. — Чтобы выдумать такое, надо впасть в старческое слабоумие. Нет, сильный человек стоит над всеми зверями!

Люди внимали словам Армагиргина и сначала в душе, а потом и вслух стали с ним соглашаться, ибо то, что он говорил, было ясно и понятно в отличие от странных утверждений старой Нау о родстве с китами.

Они любовались своим земляком Армагиргином и всячески прославляли его, упоминая его имя при всяком случае.

А Армагиргин не знал, куда приложить свои великие силы.

Раз он вышел на охоту в одиночном каяке в Ирвытгыр, сужающийся залив, который отделял другое море длинной косой с двумя высокими горами на ней.

Он греб маленьким двухлопастным веслом навстречу поднимающемуся солнцу и громко пел:

Я превыше всего на свете!
Силы моей никто не одолеет!
Морские пучины, небесные выси —
Все я достану, стоит мне
Только захотеть этого!

Каяк мчался по солнечной дорожке, словно летел поверх воды, обретая невидимые крылья. Вода журчала под кожаным днищем, подпевая охотнику, и каяк на ней подпрыгивал и звенел.

Когда берега скрылись в дымке, Армагиргин остановился и огляделся. Он любил вот так, один, выходить в море, чтобы испытать себя, ощутить еще раз, как много может сильный человек, вооруженный острым копьем.

Невдалеке мелькнула голова нерпы. В одно мгновение Армагиргин вонзил в нее гарпун и привязал бездыханное тело к борту каяка. Еще немного времени — и вторая нерпа покоилась в воде у другого борта. Хотелось совершить еще что-то необычное, потешить себя, поиграть своей силой.

Хоть бы налетел ветер, чтобы побороться с волнами, ощутить напор стихии и выйти победителем в борьбе с ней. После таких испытаний становишься еще сильнее и взор твой как бы пронзает большие расстояния.

Но безоблачное небо и тишина указывали на то, что спокойствие и хорошая погода воцарились на морском просторе.

Армагиргин играл двухлопастным веслом, вертел каяк, поворачивался в нем, но не было никого на огромном пространстве, кто бы мог увидеть и оценить его силу и ловкость. Лишь, как обычно, невдалеке резвились киты, и чувствующий к ним всегдашнюю неприязнь Армагиргин выкрикивал обидные и вызывающие слова в их сторону.

Когда солнце начало свой путь обратно к горизонту, Армагиргин поплыл к берегу, плавно рассекая воду веслом.

Когда в поле зрения показались яранги, охотник заметил впереди усатую голову лахтака.

Лахтак почти до ластов высунулся из воды и с любопытством смотрел на проплывающего охотника.

Армагиргин почувствовал, как в нем начинает играть кровь. Он отцепил нерп, которые тут же пошли на дно, и погнал каяк к лахтаку. Но тот нырнул, оставив на воде лишь расходящиеся круги.

Армагиргин с досады плюнул на воду и снова повел каяк к тому месту, где, по его предположению, мог вынырнуть лахтак.

Зверь показался так близко, что от неожиданности Армагиргин вздрогнул. Лахтак как бы насмешливо посмотрел на охотника и так же издевательски медленно ушел под воду, и Армагиргин отчетливо видел, как отлого вниз, в глубину, уходило серое тело усатого тюленя.

Это окончательно разгневало Армагиргина, и он готов был отправиться в морскую пучину вслед за насмешливым лахтаком.

Охотник подплыл к тому месту, где должен был вынырнуть лахтак. Как только он показался, Армагиргин быстро нагнулся и двумя руками ухватил его за усатую голову, но лахтак легко выскользнул и резко нырнул.

Армагиргин крепко выругался и приготовил гарпун.

На этот раз лахтак вынырнул довольно далеко от каяка. Охотник бросил гарпун, вложив в удар всю силу злости. Острие прошло лахтачью кожу, как бы привязав животное к лодке. Армагиргин потянул ременный линь, осторожно приближая к себе раненое животное.

Огромными глазами, словно умоляя избавить его от мучений, лахтак смотрел на Армагиргина, но тот, усмехаясь, громко пел песню и греб изо всех сил. Каяк его шел так быстро, что следом вспенивалась вода.

На берегу, как обычно, стояли земляки и громкими криками приветствия встречали Армагиргина, славя его силу и удачливость.

Армагиргин подтащил лахтака и сказал:

— Не надо его добивать!

С этими словами он выскочил на берег и кинулся с острым ножом на лахтака. Снял с живого зверя шкуру вместе со слоем жира. Люди никогда такого не видели, и как они ни уважали и ни боялись Армагиргина, на этот раз они примолкли, охваченные ужасом.

Тело бедного лахтака представляло собой сплошную кровотокащую рану. Со злорадным громким смехом Армагиргин высоко поднял лахтака и бросил в воду, оставив на берегу снятую вместе со слоем жира его кожу.

— Ну теперь пльви и расскажи своим морским богам о том, как силен и велик Армагиргин! — кричал охотник. — Расскажи им сказку, как рассказывает наша сумасшедшая старая Нау! А где она? Почему она не пришла на берег?

— Занедужила она, — сообщил кто-то.

— Как занедужила? — нахмурившись, спросил Армагиргин. — Она ведь вечная и никогда не болеет!

И вправду, никто не мог вспомнить, чтобы старая Нау когда-нибудь болела.

Но на этот раз она действительно слегла и не выходила из яранги.

Ободранный лахтак медленно отплывал от берега, и в прозрачной ясной воде за ним тянулся кровавый след.

Солнце быстро опускалось в море, и вдруг неведь откуда над горизонтом появились тучи и потянуло ветром. Гладкая морская вода покрылась рябью, и когда люди поднялись к ярангам, в берег ударила первая волна.

На побережье погода меняется быстро и неожиданно, но как это случилось сегодня, такого никто не помнил. Порыв ветра сразу же сорвал несколько крыш. Большое кожаное ведро с грохотом протачило мимо укрепленных на подставках байдар. Гирлянды сушащихся моржовых кишок посрывало и унесло за лагуну.

Словно и не было ясного летнего дня: все почернело, потемнело и с низкого неба хлынул проливной дождь.

Крики людей, укрепляющих жилища, смешивались с воем ветра, гул накатывающихся на берег волн пронзался воем испуганных собак и плачем ребятишек.

В довершение всего мрак осветился вспышками молний.

— Илкэй! Илкэй! — в ужасе кричали люди.

Огненные стрелы прочерчивали небо, и дымовые отверстия яранг освещались синим зловещим светом.

Армагиргин сидел в своей яранге и дрожащими руками сжимал рукоятку священного бубна, оставленного ему покойным дедом Гиву. Он пытался вспомнить слова песнопений, но на память приходили совсем другие слова, с которыми он привык обращаться к морю, к животным, к своим землякам. Как же они звучат, те слова добра и любви?

В тоске, оставив бубен, Армагиргин выполз из своей яранги и, пригибаясь под ветром, цепляясь за неровности земли, пробрался в ярангу, где лежала большая старая Нау.

— А, это ты пришел,— слабым голосом сказала старуха.

— Что это? — в испуге спросил Армагиргин.— Неужто в отместку за то, что я сделал с лахтаком?

— Это только предостережение,— слабо произнесла Нау.— Буря пройдет, вечно она продолжаться не может, однако ты должен взглянуть на себя со стороны и увидеть себя другими глазами.

— Какими же? — спросил Армагиргин.

— Глазами Великой Любви.

Армагиргин промолчал: он с детства слышал эту сказку, но даже сейчас, при свете молний и в грохоте бури, продолжал сомневаться...

— А что делать? — спросил Армагиргин.

— Жить согласно совести,— сказала старая Нау.

— А как это? — не понял Армагиргин.

Старая Нау приподнялась на локте и с удивлением взглянула на Армагиргина.

— Ну уж если ты не знаешь, как это, все равно без толку тебе говорить...

Армагиргин ушел от старой Нау в непонятном для себя состоянии. Да, он понимал, что своими поступками он вызывал возмущение природных сил. Но, с другой стороны, и раньше бывали сильные бури...

Огромные волны перекатывались через низкие места Галечной косы, и жители яранг, расположенных на морской стороне, уже покинули свои жилища и, сгибаясь под тяжестью скарба, бежали на другой берег лагуны, куда не могли достать волны.

Армагиргин с трудом добрался до своей яранги.

Волны уже разрушили одну стенку, обращенную к морю, и пенястая вода заполняла чоттагин. Очаг затопило, и вперемежку с пеплом плавали морские звезды и обрывки водорослей. Еще одна волна ударила, и вплыл маленький моржонок с только что пробивающимися клыками. Он смешно бил лапами, пытаясь уцепиться за землю, и жалобно моргал маленькими, спрятанными за толстыми кожаными складками глазами. Ничего особенного в этом моржонке не было, если бы не его ярко-красная кожа, которая словно сама горела.

Следующей волной моржонка смыло обратно в море.

К утру ветер стал немного утихать.

Армагиргин выбрался наружу.

Ветер еще был так силен, что море казалось кипящим. Огромные волны светились вершинами, вспененные верхушки отсвечивали, и отблеск их простирался далеко, до самого горизонта.

Молчаливый и подавленный вернулся Армагиргин в свою ярангу.

3

Люди все-таки заметили, как сильно переменилась старая Нау после памятной бури, когда едва не снесло яранги Галечной косы. Раньше она была хоть и старой, но крепкой женщиной, теперь же она выглядела просто дряхлой и, наверное, стала хуже видеть, потому что путала людей и часто отвечала невпопад. Единственно что она

хорошо помнила и всегда рассказывала — это всем известную сказку о китовом происхождении приморского народа.

Люди прятали усмешку, если она дрожащим от старости голосом повествовала о давней странной жизни в одиночку, когда она, босая и счастливая, бродила по мягкой траве в ожидании Великой Любви, которая явилась ей в образе кита из морской дали.

Когда ребятишки начинали громко дразнить старуху, уже мало кто останавливал их: не до нее было.

Трудно стало жить приморскому народу. Часто случалось так, что к наступлению холодов всего наполовину были наполнены мясные хранилища, и звонкой студеной зимой людям приходилось вышагивать по морскому льду огромные расстояния в поисках тюленей или белых медведей.

Холодными вечерами, когда скудный огонь освещал внутренность полога, кто-то вспоминал, что было время, когда берега Галечной косы кишели зверьем и охота была больше развлечением и пробой сил для молодых мужчин, нежели тяжким трудом.

Несколько раз на Галечную косу приезжали рэккэны и привозили болезни. Но уже не было такого человека, который бы нашел их и помог им быстрее проехать селение. Поэтому люди мерли, и дорога на Холм Усопших не заносилась снегом.

Армагиргин не щадил себя. С первыми проблесками зари он уходил на лед и возвращался лишь глубокой ночью. И чаще всего с пустыми руками: морозы сковали всю открытую воду, ветра не было и повсюду море было покрыто льдом.

Чаще всего встречались следы белых медведей. Армагиргин смекнул, что если идти по следу хозяина льдов, то иногда можно набрести на полуобглоданную тушу нерпы. В другое время принести такую добычу домой считалось не только кощунственным, но и в высшей степени позорным. Но когда дома ждали голодные ребятишки, да и самому так хотелось есть, что судороги пустого желудка причиняли боль, выбирать не приходилось.

Вот и теперь охотник шел, стараясь не потерять следов белого медведя. Они отчетливо виднелись на снегу, словно в них была налита сибева темного зимнего неба вместе с блестками звезд и радужными осколками полярного сияния.

Острый зимний воздух резал легкие, выстуживал последние остатки тепла. Армагиргин старался дышать редко, берег каждый выдох и шел размеренным, но широким шагом. Медведь выбирал ровную дорогу, обходил высокие торосы и ропаки.

След его был чист, и это настораживало охотника: значит, медведь был без добычи и поделиться с человеком ему было нечем.

Когда Армагиргин уже подумывал прекратить преследование, он увидел медведя. Умка стоял на невысоком торосе и смотрел на человека. Он стоял спокойный, уверенный в себе и в своей силе. В его чуть заостренной морде с маленьким черным кончиком носа таилась откровенная насмешка над слабым, голодным человеком.

Армагиргин ощутил в груди гнев.

А почему бы ему не убить белого медведя? Пусть он один, нет у него помощника, который бы отвлек внимание зверя, — так обычно охотились на умку жители Галечной косы.

Но медведю, видно, не хотелось вступать в сражение с человеком. Он не спеша спустился с тороса и так же неторопливо зашагал прочь, загребая выворотом лап сухой мелкий снег.

Армагиргин с копьем наперевес кинулся на медведя. Зверь, почуввав погоню, оглянулся, и на его бесстрастной морде застыло выражение удивления.

Он остановился и повернулся к охотнику.

Армагиргин подбежал и, собрав все свои силы, вонзил копье под переднюю лапу, в самое сердце.

Как-то по-человечьи охнув, медведь упал и сломал древко копья. Глаза его, в которых еще светилось удивление, постепенно заволокло туманом смерти.

Армагиргин некоторое время неподвижно стоял перед поверженным зверем и чувствовал, как внутри его растет огромная горячая лавина радости и гордости за себя.

Не в силах сдержать своих чувств, он закричал дико и громко, и голос его отражался от острых граней торосов, разносился по белой пустыне, загроможденной хаосом битого льда:

— Я один убил умку! Я своей рукой вонзил копье, и вот он, владыка льдов, лежит поверженный передо мной! А ну, есть еще кто в море? Кто хочет помериться со мной силой?

И только прокричав несколько раз эти слова, Армагиргин принял ся разделять убитого зверя: надо было торопиться — мороз скоро так скует мясо, что никакой нож не возьмет. Свежую медведя, Армагиргин то и дело кидал в рот куски еще теплого мяса, с удовольствием чувствуя, как сытость входит в тело, наполняет густым теплом кровь.

Он постарался взять столько мяса, сколько мог унести на себе.

Тяжелая ноша не тяготила его, потому что это было мясо, это была жизнь, которая обещает спокойствие, крепкий сон, уверенность в будущем и наслаждение от сознания своего могущества.

Армагиргина встретили домочадцы и некоторые соседи, которые еще издали по мелькающей среди торосов тени распознали, что охотник идет с добычей и добыл он скорее всего умку, потому что если бы это была нерпа, то он бы тащил ее волоком по снегу.

Встречающие радостно приветствовали Армагиргина. Он коротко и точно указал, где остатки умки, и туда бегом на своих быстрых и сильных ногах отправились юноши.

Женщины поставили большие котлы над огнем, и перед рассветом, когда мясо сварилось, в ярангу созвали самых уважаемых жителей Галечной косы.

— И старую Нау позовите, — напомнил Армагиргин.

Старуха пришла. Седые космы почти скрывали ее изможденное лицо. Глянув на ее руки, Армагиргин подумал, что кожа на них напоминает старый, потемневший от дождей плащ из моржовых кишок. Сильно сдала за последнее время вечная жительница Нау!

Старуха пристроилась возле ярко горящего жирника, где было тепло и сильнее пахло свежим мясом.

— Удача пришла к тебе, — тихо сказала она охотнику.

Армагиргин победно усмехнулся:

— Я ее взял своими руками!

— Да, — кивнула старая Нау. — Удача идет к тому, у кого сильные руки. Но для полноты жизни этого мало, надо любить друг друга, любить брата, а не только себя...

— Ну вот, опять ты за свои сказки! — засмеялся Армагиргин. — Давайте лучше будем есть свежее мясо!

Женщины поставили перед собравшимися длинное деревянное блюдо, на котором дымилось и исходило паром мясо медведя. Все с нетерпением принялись за еду, и долгое молчание, нарушаемое лишь громким чавканьем и глуховатыми стонами насыщающихся людей, воцарилось в просторном пологе сильнейшего и удачливейшего на Галечной косе человека.

По мере того как желудки наполнялись мясом, развязывались языки, и люди начинали вспоминать времена удачливой охоты, вожде-

ленно мечтали о наступлении лета, когда будет вдоволь моржового мяса и не будет долгих темных голодных зимних ночей.

— Лето будет трудное,— сказала Нау, кладя на очистившееся деревянное блюдо хорошо обглоданную косточку.

— Откуда ты знаешь? — с вызовом спросил Армагиргин.

— Просто знаю,— спокойно ответила Нау.

— Кто-то тебе сказал об этом?

— Я сама знаю,— возразила старуха, — зачем мне слушать кого-то? Армагиргин долгим взглядом смерил старую женщину.

— Тогда предскажи нам, чтобы удачи было больше...

— Об этом надо было раньше думать,— ответила старая Нау.— Любить надо не только себя, но и все вокруг, и любить бескорыстно. А ведь ты позвал сегодня гостей не оттого, что тебе хотелось поделиться с ними мясом, а единственно из желания похвастаться. Чтобы люди видели и знали: вот я каков, Армагиргин!

— А если даже так, это не твоё дело! — сердито заметил Армагиргин.— Твоё дело рассказывать сказки, а не учить людей, как им надо жить.

— Тогда я тебе расскажу другую сказку,— спокойно ответила старая Нау.— Вот послушай...

— Да что нам тебя слушать! — махнул рукой Армагиргин.— Все твои сказки знают даже малые дети. Сказки прошлой жизни.

— Я тебе расскажу сказку о будущем,— возразила старая Нау.

Это насторожило Армагиргина, и он снисходительно кивнул старухе:

— Ладно. На сытый желудок можно и сказку послушать.

Старая Нау поудобнее устроилась возле жирника и заговорила глуховатым голосом:

— Каждая сказка начинается словами: вот было так. Начало этой звучит иначе: будет так... Будет так... Родится один человек удачливее и сильнее, чем ты, Армагиргин, хоть у него и будет другое имя. В море он будет добывать самых сильных и жирных зверей, догонять на суше самых быстроходных и своими сильными руками сможет душить волков и медведей. Люди будут его всячески славить и даже сочинять сказки и легенды о нем. Но мало ему покажется того, что люди видят его живого и веселого. Он захочет, чтобы он всегда присутствовал в каждой яранге. Искусные резчики вырежут его изображение на моржовой кости, начертают его изображение на белой коже и будут вешать его на высокие шести... Но этого ему будет мало. Мало будет, чтобы его изображение было в каждой яранге. Он захочет, чтобы и запах его незримо присутствовал в каждом жилище. Он заставит всех обнюхивать его, где бы он ни появлялся, и запахом его будут наполнять яранги... И этого будет ему мало. Самые лучшие и новые одежды будут на нем, но он захочет их расцветить, и самые искусные вышивальщицы будут украшать его одежду, он будет сиять как отражение солнца... Да, да, и с солнцем его будут сравнивать, но и этого ему будет мало. И захочет он, чтобы настоящие звезды украшали его одежду... И будут посланные люди уходить за звездами, которых пожелал он, и погибать в пути... И останется он одиноким, и снова будет пустынно и дико на морском побережье, как тогда, когда я пришла сюда в молодости...

Старая Нау закончила свою сказку и примолкла. Молчали и все остальные, потому что много непонятого было в словах старухи.

Широко зевнул Армагиргин и сказал:

— Однако надо и поспать... Мы хорошо поели, выслушали сказку старой Нау... Что нам еще нужно, кроме долгого и сладкого сна?

И все разошлись по своим ярангам.

4

К весне на Галечной косе стало совсем худо: люди выскребывали налип со стен мясных хранилищ, вымачивали и варили лахтачьи ремни, добывали из-под снега прошлогоднюю зелень. Многие умерли от голода, особенно среди малых детишек, которые тщетно пытались выжать хоть капельку молока из тощих, похожих на сушеные кожаные рукавицы материнских грудей.

Весеннее солнце и пришедшее с ним тепло не принесли ожидаемой подвижки льдов, и только с прилетом первых птиц кое-где появились разводья и охотники стали возвращаться с добычей.

Но уже не было изобилия прошлых лет.

Что-то случилось в природе, и никто не мог этому найти объяснения, кроме старой Нау, которая утверждала, что все дело в человеческой жадности, в отсутствии уважения друг к другу, к природе и звериному населению земли и моря.

Эти рассуждения больной старухи вызывали только усмешку у измученных и изголодавшихся людей, знавших, что нерпа никогда сама не идет к охотнику и птицы не ищут сетей, чтобы запутаться в них на радость ловцам.

Удача шла к тем, кто не щадил себя, проводил дни и ночи на льду.

С уходом ледового припая стало полегче.

Люди охотились на больших байдарах, подкарауливали моржей на их привычных путях, когда они стаями шли через пролив из южного моря в северное. Охотники настигали их здесь, гарпунили и приволакивали к берегу, где ждали женщины с острыми ножами.

Пылали костры в ярангах, и запах вареного мяса распространялся по всему селению, радуя сердца людей, рождая на досуге веселые песни, в которых прославлялась доблесть Армагиргина, человека, который бросил вызов всему существу.

Люди отъедались за зиму. Не только нерпичьим и моржовым мясом. Открыли, что и птичьи яйца вкусны, да и сами птицы тоже — их можно было сгрести большими сетями, сплетенными из оленьих жил.

В тихие вечера ловили острогами сонных рыб, плывущих по мелководью, отправлялись за голубыми цветочками, смешивали их с нерпичьим жиром и лакомились этой необыкновенно вкусной едой. Старались перепробовать все, вознаграждая себя за долгие зимние месяцы недоедания. На моржовых крышах раскладывали ребра лахтаков и нерп, и когда мясо высыхало и чернело, когда на нем появлялись белые пятнышки личинок, считалось, что оно как раз поспело. В укромных теплых местах держали нерпичьи ласты, потом снимали с них кожу, словно перчатки, и ножом резали на мелкие куски мякоть, которая обретала от долгого пребывания в теплом месте необыкновенно острый вкус, будто начинялась массой невидимых жалящих иголок.

Еда стала не просто способом восстановить истраченные силы, а наслаждением, изощренным удовольствием. Кто-то догадался начинить очищенные моржовые кишки кусками сердца, печени, легкого, нутряным жиром и сварить все это на медленном огне. Так появилось и это лакомство у жителей Галечной косы, охваченных жаждой утонченного насыщения.

Да, люди ели, и ели неплохо, может быть, даже лучше, чем в прежние, славившиеся изобилием годы. Но за нынешним насыщением чувствовалась неуверенность, какая-то жадная поспешность и стремление набить свою утробу поскорее и чем-то необычным.

Поедали все, что добывали, — так велика была жажда удовлетворить все требования желудка. Но запасов сделать не могли. Когда на-

ступали ненастные дни, сначала съедали то немногое, что оставалось, потом принимались за рыбную ловлю, а потом и вовсе подтягивали потуже пояса, терпеливо дожидаясь, пока утихнет ветер и можно будет выйти в море в погоню за проходящим моржовым стадом.

Вода у берегов Галечной косы больше не кишела зверьем, как недавно, там не торчали столбиками любопытные головки нерп, лахтаков, не резвились птицы и не купались в прибрежном прибое моржи. Все это куда-то ушло, уплыло, улетело. Конечно, и раньше бывали скудные времена, но не такие, как теперь. Словно звери каким-то образом раз узнали о ненасытности приморских жителей и поспешили в другие места. А ненасытность и впрямь была такая, что, несмотря на скудость добычи, жители Галечной косы отличались тучностью и едва умещались в кожаных байдарах. И даже говорить стали меньше, ибо рты чаще всего были заняты какой-нибудь едой.

А тем временем кончалось короткое лето, и на том месте, где раньше вылегал моржи, где жители Галечной косы запасались моржовым мясом на зиму, было пусто и уныло. Прибой полировал чистую гальку, перекачивал старые, оставшиеся от прошлых забоев сломанные моржовые бивни, слизывал покалеченные раковины и, тихо шипя, откатывался назад, в холодное пустынное море.

И только киты по-прежнему хранили верность этому берегу и стадами плавали на виду у селения, играя высокими фонтанами.

Возвращаясь в пустой байдаре, Армагиргин с нескрываемой ненавистью смотрел на них, на их гладкие огромные тела, медленно уходящие в пучину вод, и думал, какие, в сущности, это огромные туши, настоящие кладовые мяса и жира. Почему надо верить фантастически неправдоподобным рассказам старой Нау о китовом происхождении приморского народа? Почему именно киты — предки здешнего народа? Не моржи и не тюлени? В конце концов, лахтак куда более смахивает на человека, особенно если он лежит на льду и смотрит на охотника. Именно это сходство и оказывается часто роковым для него. Подкрадывающийся охотник подражает движениям лахтака, и усатому тюленю кажется, что к нему приближается его сородич... Или — почему не волк предок человека? Волк живет на суше, ест мясное, как и человек, а эти огромные туши неизвестно чем питаются, ибо, насколько это ведомо людям, киты не едят ни тюленей, ни моржей...

Нет, если поразмыслить здраво, нет никакого сходства между китом и человеком и, правду говоря, люди никогда и не верили всерьез рассказам выжившей из ума старухи...

И добыть кита не составит большого труда, если напасть сразу тремя-четырьмя байдарами.

Так думал Армагиргин, и с каждым днем эта мысль укреплялась в нем.

Потом пришло время поделиться этими мыслями со своими сородичами. Удивительно, но те признались, что давно думали так же, как Армагиргин. А что касается сказок старой Нау, мало ли сказок о других зверях, где вороны разговаривают человеческими голосами, моржи поют песни и лисы строят настоящие яранги... Сказка сказкой, а жить-то надо.

И все же что-то еще некоторое время удерживало Армагиргина. Может быть, то, что изредка попадались моржи и тюлени, людям было что есть, а может быть, старая Нау... Она была так слаба, что уже не выходила из яранги, почти не ела и разговаривала шепотом. Она все твердила о том, как родила китят, которые братья ныне живущим людям... Это был бред умирающей, и никто по-настоящему не прислушивался к словам старой женщины.

В этот раз китов у Галечной косы было необыкновенно много. Они бороздили море у самой приборной черты, обрызгивали радужными каплями тех, кто оказывался поблизости.

Армагиргин все еще надеялся, что моржи придут на старое лежище и можно будет запастись мясом и жиром на зиму. Но на берегу было пусто, и моржовые стада не просто не вылегали на старое место, но остерегались и приближаться, далеко обходя его.

Решение зрело исподволь.

Каждый раз, проплывая мимо китового стада, Армагиргин мысленно примеривался то к одному, то к другому киту, высматривая в них наиболее уязвимые места. А на берегу мастерил большие копыя и уходил с друзьями в тундру, где из мягкого дерна и глины было изготовлено чучело большого кита.

Однажды, возвращаясь из тундры, Армагиргин проходил мимо яранги, где жила старая Нау. Он услышал стоны старухи и вошел к ней. Старая Нау узнала его.

— Болеешь? — как бы сочувствуя спросил старуху Армагиргин.

— Худо мне, — жалобно простонала старая Нау. — Иной раз ничего, а бывает так, словно кто-то колет меня по всему телу...

Армагиргин вышел из яранги немного растерянный... Неужто удары его копыя отдаются в теле старой женщины? Но ведь это невозможно и неправдоподобно. Может быть, кто-то рассказал о тайных упражнениях Армагиргина и его товарищей и старая Нау таким путем пытается предостеречь его от исполнения задуманного?

Темные ночи становились все длиннее. Байдары возвращались в кромешной тьме, и люди ощупью брели к своим жилищам, потому что не было даже капли жира, чтобы зажечь каменные светильники.

Все живое уже покинуло берега Галечной косы, и оставались только киты, которые скоро должны были уйти в южные моря, где нет льда.

В день своего великого решения Армагиргин встал на рассвете и тщательно оделся, натянув священную кожаную камлейку, украшенную пучками белого оленьего волоса.

В его ярангу пришли друзья, верные товарищи по морской охоте.

Пришли и другие жители Галечной косы, которым было сказано, что Армагиргин сообщит нечто важное для всех.

— Долгие годы, — начал он, — мы слушали глупые сказки о том, что киты наши братья. Но может ли здравомыслящий человек поверить этим глупым сказкам? Не может! — сам себе решительно ответил Армагиргин, оглядывая пораженных слушателей. — Вот уж сколько лет у наших берегов плавают горы жира и мяса! Ну разве они похожи на нас? Огромные, тупорылые, безмолвные, глупые! А мы — люди! Мы похожи между собой, а они на нас совсем не похожи. И поэтому они нам не братья! Не братья они, ибо нет у нас с ними ничего общего. Они живут в воде, а мы на суше! Мы ходим на ногах, а они на жирном брюхе плавают по воде! Поэтому мы идем гарпунить кита и хотим есть его!

С этими словами охотники взяли длинные копыя и направились к приготовленным на берегу байдарам.

Китовое стадо паслось недалеко, на виду у селения. Оно было последнее, то самое, которому в предыдущие годы приносились жертвы. Киты ждали этого прощального жеста людей и подплыли ближе, как только байдары вышли в море.

Неожиданно стадо, почувствовав опасность, резко развернулось и двинулось прочь от берега.

— Коли ближнего! — закричал Армагиргин и первым кинул копые вперед, пронзив кожу молодого кита. Брызнула кровь, окрасив воду, вдогонку за копыем Армагиргина полетели другие копыя.

Но кит все еще был полон сил и быстро плыл вслед за своими товарищами, которые уходили в морскую даль, спасаясь от преследовавших их людей.

Армагиргин направил байдару наперерез и отрезал раненого кита от остального стада. В израненное животное летели копыя, оснащенные поплавками из шкур нерпы. Эти поплавки не давали нырять раненому, и кит, обессилевший от потери крови, замедлил ход.

Из многочисленных ран широким потоком лилась кровь, и вид ее пьнил людей. Каждый сидящий в байдаре старался вонзить в кита еще что-нибудь острое, жалящее.

Кит делал последние отчаянные попытки догнать свое стадо, но на пути стояли байдары с кричащими, размахивающими копиями людьми, и он, как бы смирившись со своей участью, остановился.

Тут его и доби́ли.

Привязали бездыханное тело к байдарам и поплыли к берегу.

Поднявшийся ветер позволил поднять паруса, и флотилия победителей двинулась к галечному берегу, таща за собой убитого кита.

Плыли долго. Ночь уже давно накрыла берега, и наступила такая темень, что люди едва различали друг друга. На небе не было ни одной звезды, и даже луна не появилась в эту ночь.

Гордый Армагиргин сидел на корме передней байдары, правил длинным веслом.

На берегу охотников встретили радостными криками.

Армагиргин повелел, чтобы все расходились по своим ярангам.

— Кита разделаем утром,— устало сказал он и пошел к себе.

Проходя мимо яранги, где жила старая Нау, он услышал стон. Армагиргин приподнял шкуру, закрывающую вход в жилище.

Старая Нау глянула на него горящими глазами и хрипло произнесла:

— Если ты сегодня убил своего брата только за то, что он не был похож на тебя, то завтра...

И тут голова старой Нау упала, и не стало вечной женщины, которая, по преданиям, пережила всех и смерть никак не могла справиться с ней.

...Рано утром мужчины с остро отточенными ножами спустились к берегу, чтобы приняться за разделку кита.

Впереди шел Армагиргин. Широко открытыми глазами смотрел он вперед.

Но где кит? Где эта огромная гора жира и мяса, которую они вчера приволокли?

Армагиргин сбегал к воде. У края прибоя виднелось что-то небольшое, смываемое волнами.

Да, кита не было.

Вместо него лежал человек. Он был мертв, и волны перебирали его черные волосы.

А далеко, до стыка воды и неба, простиралось огромное пустынное море, и не было на нем ни единого признака жизни, ни одного китового фонтана.

Киты ушли.

Чукотка. Бухта Провидения.



ЮРИЙ КУЗНЕЦОВ

★

ПЕРО

Орлиное перо, упавшее с небес,
Однажды мне вручил прохожий, или бес.
— Пиши! — он так сказал и подмигнул хитро.—
Да осенит тебя орлиное перо!

Отмеченный случайной высотой,
Мой дух восстал над общей суетой.

Но горный лед мне сердце тяжелит.
Душа мятется, а рука парит.

* * *

Не сжалится идущий день над нами,
Пройдет, не оставляя ничего:
Ни мысли, раздражающей его,
Ни облаков с огнями и громами.

Не говори, что к дереву и птице
В посмертное мы перейдем родство.
Не лги себе! Не будет ничего,
Ничто твое уже не повторится.

Когда-нибудь и солнце, затухая,
Мелькнет последней искрой — и навек.
А в сердце... в сердце жалоба глухая,
И человека ищет человек.

* * *

Ночь уходит. Равнина пуста
От заветной звезды до куста.

В зернах камня, в слоистой слюде
Я иду как пешком по воде.

Рассекает пустыни и выси
Серебристая трещина мысли.

А наружного дерева свод
То зеленым, то белым плывет.

Как в луче распыленного света,
В человеке роится планета.

И ему в бесконечной судьбе
Путь открыт в никуда и к себе.

.

Я гиганта видал в чистом поле, у хат,
Он горбатое солнце толкал на закат.

— Помоги! — он воскликнул.— Стань братом моим.
Дело нового дня мы сегодня свершим!

Рви осенние листья, усталые дни,
Просвистевшую пулю — еще подтолкни.

Ты в любви не минувшим, а новым богат,
Проводи уходящую женщину, брат.

И ледник, что ползет уже тысячи лет,
Подтолкни, чтобы зелень вспыхнул хребет.

СНЕГ

Зимний час. Приглушенные гулы.
Снег идет слязть людей и сквозь снег.
Облепляет ночные фигуры,
Замедляет наш яростный бег.

Друг у друга не просим участия
В этой жизни опасной, земной.
Для старинного смертного счастья
Милый друг возвратится домой.

Долго пальцы его ледяные
Будут ключ запропавший искать.
Его встретят в передней родные.
Молча снег он начнет отряхать.

Будет долго топтаться пред светом,
Будут ждать терпеливо его.
Обнажится под тающим снегом
Пустота — никого! ничего!

ОТЦУ

Что на могиле мне твоей сказать?
Что не имел ты права умирать?
Оставил нас одних на целом свете...
Взгляни на мать — она сплошной рубец.
Такая рана — видит даже ветер.
На эту боль нет старости, отец!

На вдовьем ложе, памятью скорбя,
Она детей просила у тебя.

Подобно вспышкам на далеких тучах,
Дарила миру призраков летучих —
Сестер и братьев, выросших в мозгу.
Кому об этом рассказать смогу?

Мне у могилы не просить участия.
Чего мне ждать?..

Летит за годом год.
— Отец! — кричу. — Ты не принес нам счастья! —
Мать в ужасе мне закрывает рот.

* * *

Когда кричит ночная птица,
Забытым ужасом полна,
Душа откликнуться боится:
Она желает быть одна.

Но дико слышать ей от века
Рыданье ветра, хриплый вой
И принимать за человека
Дорожный куст, объятый мглой.

* * *

Глядишь на небо в час ночной.
Скажи, о чем твой вздох глухой?
Кого любил, того забудь,
Того насквозь прошел твой путь.

Рожденный женщиной земной,
Ты не заметил ничего,
Что стоит взгляда твоего
На эти звезды в час ночной...

ЗАВЕЩАНИЕ

I

Мне помнится, в послевоенный год
Я нищего увидел у ворот —
В пустую шапку падал только снег,
А он его вытряхивал обратно
И говорил при этом непонятно.
Вот так и я, как этот человек:
Что мне давалось, тем и был богат.
Не завещаю — отдаю назад.

II

Объятья возвращаю океанам,
Любовь — морской волне или туманам,
Надежды — горизонту и слепцам,
Свою свободу — четырем стенам,
А ложь свою я возвращаю миру...
В тени от облака мне выroyте могилу.

Кровь возвращаю женщинам и нивам,
Рассеянную грусть — плакучим ивам,
Терпение — неравному в борьбе,
Свою жену я отдаю судьбе,
А свои планы возвращаю миру...
В тени от облака мне выройте могилу.

Лень отдаю искусству и равнине,
Пыль от подошв — живущим на чужбине,
Да возымеет сказанное силу
В тени от облака...

* * *

О миг!.. Это камень проснулся
И мира пустого коснулся —
И каменным стал этот мир.
Все сущее камень сломил.

Дороги назад оглянулись,
Все стороны света замкнулись,
И молния в камень ушла...

И камню открылась душа.



ИЗ ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

ЕФИМ ДОРОШ



СТРАНИЦЫ НЕНАПИСАННЫХ КНИГ

Вступление и послесловие академика Д. ЛИХАЧЕВА

Ефим Дорош был открывателем, хотя ничего в своем творчестве не изобретал и как будто не выдумывал. Он был глубоко убежден: писать надо только о том, что есть или было. Это был человек серьезного, вдумчивого отношения к жизни, он никогда не писал о том, что знал недостаточно хорошо. Глубина знаний, глубина мысли и чувства — неотъемлемые черты его писательского облика.

Предлагаемая вниманию читателей публикация из литературного наследия умершего в августе 1972 года Ефима Дороша свидетельствует и о его цельности и широте, о неустанном движении живой мысли и о его особом постоянстве.

Он был и человеком и писателем удивительно верным во всем богатстве оттенков этого слова — верным жизни, верным людям, верным себе самому.

В этом смысле исключительно интересны его «Автобиографические заметки», которые он из присущей ему скромности никогда не публиковал. Здесь он рассказывает, как шел к своему «Деревенскому дневнику», как у него, городского человека, главной темой жизни и творчества стал труд землепашца.

Вторую часть этой публикации составляют отрывки из «Записных книжек» Ефима Дороша, связанные с летними месяцами подмосковной жизни в деревне Арханово. Здесь жил он последние годы, здесь закончил свой многолетний «Деревенский дневник», здесь задумал новые вещи. Несобранные страницы архановских «Записных книжек», возможно, легли бы в основу нового дневника писателя или связаны были бы еще с каким-то иным, неизвестным нам замыслом. Но и в нынешнем виде они несут в себе все черты прозы Ефима Дороша — и содержанием своим и стилем. Они написаны с добродетельной открытостью к людям, с удивительной ясностью наблюдений над жизнью природы. Огню и ту же веточку или тропинку в лесу он умел увидеть в великом множестве сменяющих друг друга красок, оттенков — во все часы дня, во все времена года. Его глаз всегда сохранял необыкновенную свежесть в восприятии природы — как и искусства, как и всего стального в жизни.

Выбор Арханова не был случайностью в жизни Ефима Дороша, как не был случайным много лет назад выбор Ростова для изображения Райгорода.

С этим связан третий раздел публикации — «Древнее рядом с нами, или Образы России». Так сам Е. Дорош назвал будущую свою книгу, которую не успел написать.

Ефим Дорош — писатель с необыкновенным гаром исторического видения.

Живя в Ростове или в Арханове под Москвой, он видит в окружающем даже не следы истории и не следствия исторических событий, а самые эти события, некогда, а для него просто «теперь» происходившие в обживаемых им местах.

Благодаря этому своему гару Е. Я. Дорош видел окружающее в четвертом измерении истории. Пейзаж приобретал для него историческую глубину, а вся жизнь — какую-то торжественность и значительность.

Буднично живя в деревне, там, где некогда проезжал на свою последнюю охоту неутомный государь всея Руси Василий Третий Иванович, Е. Я. Дорош привык представлять себе в настоящем времени эту столь трагически окончившуюся охоту. Он и смертный путь Василия видел так, «словно,— как он пишет,— все это происходит где-то рядом со мной». Он любил представлять себе исторические события и исторические лица, ибо история была для него всегда рядом с сегодняшним днем.

Так родился замысел его, повести «Последняя охота Василия Третьего», из которой он успел написать только первую главу. Эта глава печатается вместе с отдельными заметками Ефима Яковлевича Дороша на тему русской истории и русского искусства.

1. Автобиографические заметки

В 1956 году, тяжело заболев, я недели две пролежал, что называется, в положении «смирно», и так как не мог ни читать, ни даже слушать радио, размышлял обычно на разные темы. Однажды, задавшись вопросом, откуда у меня, горожанина, особенное влечение ко всему, что зовется деревней, я стал припоминать, с каких пор вообще знаю деревню. Перебрав самые давние из деревенских впечатлений, я установил, что впервые мне случилось побывать в деревне в 1920 году, одиннадцати лет от роду. Но и тогда, помнится, дождливой майской ночью, сойдя с увязнувшей посреди улицы подводы, я не испытал ощущения, будто этот налипший на ботинки тяжелый чернозем, и надрывающиеся от лая собаки, и смутно освещенная хата, куда мы вошли и где нам постелили на глинобитном полу,— будто все это в моей жизни впервые.

Быть может, причиной тому самые первые впечатления детства.

Я родился в Елисаветграде, уездном городе Херсонской губернии, 25 декабря 1908 года, и хотя город этот уже в ту пору был большим, тысяч на шестьдесят жителей, своим благоустройством, как я прочитал недавно, выгодно выделявшийся не только среди уездных городов Новороссии, но и вообще в ряду других уездных городов России, все же первое утро, с которого я начал себя помнить, было деревенским.

Я проснулся от негромкого слитного шума, в котором — понимал ли я это тогда или позже понял, трудно сказать — различимы были дребезг и скрип множества колес, звяканье ведер, подвязанных к задкам возов, ржанье лошадей, шарканье сапог и невнятный людской говор.

Было еще темно, щели ставен едва светлелись...

Так случалось каждое утро в ту первую запомнившуюся мне осень.

Отпирались ворота, в течение года постоянно запертые, разве что дрова привезут кому-нибудь из жильцов, и во двор въезжал первый воз с уложенными в два ряда мешками пшеницы, с шагающим сбоку мужиком в тяжелых сапогах, полотняных штанах, запачканных дегтем, в коричневой свитке и бараньей шапке. За первым возом тянулся второй, третий, и скоро весь наш длинный двор, в конце которого стояли каменные амбары, в те годы сдававшиеся домовладельцем под ссыпку, бывал тесно уставлен возами.

Пахло лошадьми, сеном, колесной мазью, зерном.

А зимой к Фросе — она была очень молода и, как это было заведено в небогатых домах, служила «прислугой за все», почему и не подходит под традиционное определение «няня», — к широколицей, подбористой Фросе, запомнившейся мне в красной, тугой и короткой, собранной в талии кофточке, в башмаках с резинками у щиколоток и тесьмянными ушками, приезжали из деревни «батько», или «маты», или «дядьки» с «титками».

Все они были в оранжевых и белых нагольных шубах, расшитых по груди и краю рукава цветными нитками и узкой извилистой тесьмой, в толстых вязаных рукавицах, с кнутами, мешками и торбами, откуда извлекалось обсыпанное солью сало, и тыквенные семечки, и круглые, плетеные, с дырой посередине, круто замешанные калачи из пшеничной муки простого размола.

Зимой же приходила из пригородной деревни молочница Маша.

Ее продолговатое, чуть скуластое лицо с прямым носом и темными полукруглыми бровей было свекольным от мороза. Вокруг головы поверх плотной черной селеной шали с разводами повязана была скрученная жгутом белая косынка. Налив молока, она доставала завернутую в тряпицу теплую еще лепешку с запеченными в ней кусочками тыквы — плацынду — и угощала меня, ради этого случая с самого утра вертвшегося на кухне.

Деревенские люди разговаривали на языке, отличающемся от того, какой был принят у нас дома, у соседей и родственников, только бабушка, как и мужики с бабами, называла оконное стекло шибкой, тучу — хмарой, и когда я не хотел есть хлеб с маслом, говорила о хлебе — писный.

То ли из-за необычности этого языка, то ли потому, что я чувствовал его силу и музыкальность, как чувствуешь, еще ничего не зная об огне, исходящий от него жар, но мне он нравился. Особенно нравились песни, которые распевали за воротами Фрося и ее подружки, почему-то я запомнил — перед покровом, на закате солнца, когда небо было красное и чернели облетевшие деревья. Темнело, зажигались огни, девушки отправлялись по домам шинковать капусту или катать холодное со двора белье.

Позднее, когда мир моего детства, ограниченный двором и домом, включил в себя еще и улицу, сперва только нашу, затем — соседние, потом и реальное училище, куда я поступил не то незадолго до революции, не то вскоре после нее, присутствие деревни мною ощущалось повсюду.

В городе был базар, тянувшийся через несколько пересекавших его улиц. В кирпичных лавках здесь торговали любым необходимым в крестьянском обиходе товаром. Всякого рода горячая еда, приготовленная тут же, продавалась с деревянных, под навесом, рундуков. Хлебные лабазы стояли серые от мучной пыли. В мясных и рыбных ярках свисали с крюков разрубленные туши и бились на склизких рогожах красноперые лещи и терявшие чешую карпы. С возов, стоявших рядами, можно было, смотря по сезону, купить дрова, и солому, и живого барана, и вишню на варенье, и огурцы для засолки. Наконец, прямо на земле выставлены были гончарные и бондарные изделия, лежали связанные куры, сидели в плетенках гуси...

Четырежды в году в городе собиралась ярмарка, шумевшая балаганами и каруселями. Были здесь вальцовые мельницы — многоэтажные, с темными кирпичными фасадами и рядами окон в мелких стеклах, запорошенных мукой. Был знаменитый на юге России завод земледельческих машин и орудий Эльворти и несколько небольших заводиков. На одном из них я однажды в начале лета побывал с отцом, у которого было здесь какое-то дело.

Мне запомнилась светлая комната конторы с лежавшими на столах пучками бумажек, схваченных черными железными зажимами в виде человеческой руки, и открытые настезь окна, за которыми стояли посреди двора блестящие на солнце зеленые и красные колесницы с высоко поднятыми сквозными сиденьями — сеялки или конные грабли. Впоследствии я немало перевидал сельскохозяйственных машин, причем в поле, в любую погоду, однако до сих пор при упоминании о них мне представляется безмятежное летнее утро и праздничные краски.

Среди моих товарищей по реальному училищу был сын помещика из нашего уезда, и когда мне случалось бывать у него весной, в прихожей опустевшей городской квартиры была свалена в углу новая сбруя, на столе в кабинете лежали синеватые косы с пестрыми клеймами и заступы без черенков, а в зале на запыленном паркетном полу желтели вороха пшеницы.

Все это были по преимуществу внешние приметы деревни, воспринимавшиеся бессознательно — зрением, обонянием, слухом — и откладывавшиеся в памяти вместе со множеством других подробностей жизни, с которыми впервые знакомишься в детскую и отроческую пору великих открытий.

Мой отец и оба деда были приказчиками — работниками прилавка, как теперь говорят. Приказчиками или мелкими торговцами были наши родственники и друзья родителей. Мне запомнилось, что в разговорах иногда с тревогой, в другой раз

с надеждой они обсуждали, какой ожидается урожай. И еще я помню, как дома у нас говорили, например, в сретенье: «Солнце на лето — зима на мороз» — или же: «Скоро Евдоха — метели будут».

Я не могу сказать, что тогда уже понимал, скорее чувствовал, как весь наш город — и не только лавки, торговавшие крестьянским товаром, не только мельницы и заводы, но и широкая Большая Перспективная и тенистая от акаций Дворцовая с их конфекционными, Государственным банком, гастрономическим магазином Камбура и Пенерджи, колбасной Гейзлера, кондитерской Сусера, с прогуливающимися по вымощенным голубоватыми плитками тротуарам уланами, с Фринским клубом, военными портными, управой под каланчой, рестораном Коваленко, двумя гимназиями, реальным и коммерческим училищами, — как весь наш великолепный город зависит от мужиков, обитающих в своих степных Лелековках, Мамайках, Арнаутовках...

Мне никто не говорил о деревне и ее людях того, что в одном из ранних рассказов Бунина говорит отец маленькому гимназисту: «Когда ты вырастешь, ты поймешь, что человек должен жить поближе к природе, любить родные поля, воздух, солнце, небо... Это неправда, будто в деревне скучно. Бедности в деревне много — вот это правда, и значит, надо делать так, чтобы было поменьше этой бедности, — помогать деревенским людям, трудиться с ними и для них...» Однако у меня такое ощущение, что в детстве я слышал эти или им подобные слова чуть ли не каждый день.

Чувство общности с полями, воздухом, солнцем, небом, чувство сострадания к деревенскому человеку, у которого «моченки нет», чтобы сжать полоску, и одновременно чувство восхищения им, когда он выходит в степь с «косой вострою», похвываясь, что ему давно «гулять по траве степной... с ней хотелось», — эти добрые чувства пробуждала литература.

Я никогда не забуду, как однажды осенью отец купил мне первую мою книжку — тонкую, в картонном, оклеенном розовой бумагой переплете с небрежно тиснутым черной краской штриховым портретом узкобородого человека с большим, переходящим в лысину лбом. Должно быть, это была хрестоматия. Сам я, надо полагать, в чтении был еще нетверд, и всю зиму по вечерам отец читал мне стихи. Он читал Некрасова, Никитина, Плещеева, Сурикова, те из стихов Пушкина, Тютчева, Фета и Полонского, где говорилось о деревне, изображалась русская природа.

Отец окончил городское училище, после чего был отдан в «мальчики», и когда я размышляю над тем, кто прирастил его к чтению стихов, причем по преимуществу таких, где воспевались «эти бедные селенья, эта скудная природа», мне вспоминается наша с ним воскресная прогулка летним утром и встретившаяся нам сидящая в просторном легком пальто, в шляпе с вуалью и почему-то с муфтой, висевшей на длинном шнуре.

Мне было странно, что она, когда отец поздоровался с ней, назвала его Яшей, а потом, после того как он сказал обо мне, быстро и как-то едва касаясь, ощупала мое лицо, — я понял, что она слепая.

Это была Вера Матвеевна — учительница, как я впоследствии узнал, известная всему городу, о которой недавно, когда я стал спрашивать про нее, моя мать, понизив голос, сказала несколько таинственно и уважительно словами из своей далекой молодости: «Она была революционерка!»

Слепая учительница моего отца, сеявшая «разумное, доброе, вечное», и смутно запомнившийся врач из земской больницы, где вообще-то лечились крестьяне, но куда обращались и достаточные обыватели, когда уже не надеялись на городских врачей, и оставшееся на всю жизнь воспоминание о впервые увиденном барометре с поразившими меня словами «великая сушь», — как это ни наивно, барометр по сей день представляется мне олицетворением демократичности науки, — эти и многие другие такого же рода впечатления детства послужили тому, что с годами я способен стал понимать самоотверженность и святость русской интеллигенции.

Я склонен думать, что оттуда же, из детских лет, вынес и первоначальное чувство соразмерности, и неосознанное ощущение прекрасного, и способность испытать восторг от соприкосновения с каким-либо явлением природы или вещественным свидетельством давно отошедшей жизни, о чем упоминаю здесь ради того, чтобы лишний раз сказать, какое значение имеют обстоятельства, в каких существует человек в свои первые годы, и как немного, в сущности, нужно, чтобы они благоприятствовали ему.

Моим первым музеем изящных искусств, как я понимаю теперь, были улицы и площади Одессы, куда наша семья переселилась в мае 1920 года. Мы ехали лошадьми, так как поезда не ходили, — именно тогда случилось мне впервые побывать в деревне. В течение недели, должно быть, вокруг была плоская, с неширокими впадинами балок, местами всхолмленная степь. Я знал, что степь сравнивают с морем, и лет за пять до этого, когда отец возил меня к врачу в Одессу, в первое же утро по приезде, повернув за угол, увидел нечто необычно большое, синее, стоявшее стеной и заставившее меня вздрогнуть, — море! Однако впечатление от степи было иное, быть может, потому, что ничто не отделило меня от нее, я жил здесь, — по отношению к морю подобное было со мной двенадцать лет спустя, во время плавания из Кронштадта в Мурманск на учебном судне «Комсомолец». К тому же степь имела прошлое, о котором напоминали курганы и плосколицые каменные бабы, глаза которых, представлялось мне, все так же слепо глядят и после того, как наша подвода давно проехала мимо.

Одесса и в первый мой приезд, особенно же в течение тех четырех лет, что мы прожили в ней, была для меня не столько приморским городом, сколько, повторю, музеем зодчества и ваения, где я впервые познакомился с пленявшим своей ясностью и величием русским ампиром.

Правда, море, и запах рыбы, и пароходы, в то время редкие, и одно только название улицы — Старо-Портофранковская, будили фантазию, вызвали романтические мечты, однако все это ушло вместе с детством и отрочеством, тогда как регулярная планировка города, и полукруглая площадь, образуемая строгими вогнутыми фасадами домов, где стоит отлитая из бронзы, в римской тоге, с головой, покрытой венком, статую герцога Эммануила де Ришелье, кажется, работы Мартоса, и белеющая среди темной зелени парка колоннада дворца Воронцова, широкий, с массивными колоннами портик Думы, фронтон и легкие, с лоббинками колонны Музея, чем любовался я скорее всего бессознательно, оставили неизгладимый след.

Среда, в которой я рос, была далека от архитектуры, археологии, искусства, хотя театр любили, и если скифские каменные бабы или огромные шершавые вазы из черноморских греческих колоний, в каких хранили зерно, побуждали меня вообразить людей, живших тысячелетия назад, если я чувствовал красоту счастливо найденных соотношений между длиной и шириной улицы и высотой домов, способен был наслаждаться чередованием колонн и отвечающих им слегка вытянутых окон, то и этим я обязан литературе. Почти полвека прошло с того дня, а я все еще помню, как первый мой учитель русского языка, рыжеватый коренастый немец в офицерском кителе и крагах, поднявшись на кафедру, начал первый свой урок тючевским «Есть в осени первоначальной короткая, но дивная пора...». Я до сих пор не могу сказать, как внушил он мне понимание благозвучия и соразмерности строк — «Лишь паутины тонкий волос блеснит на праздной борозде», заставил всем существом отзываться на величавое и так у места поставленное слово «праздной», которому вторило «борозде».

Мне думается, литература, при всем том, что с ней стал соперничать кинематограф, одна лишь способна развить в человеке восприимчивость ко всем искусствам, так как произведения ее, безразлично, проза это или поэзия, воздействуют не только содержанием, но и гармоничностью, с какой они построены, живописностью и скульптурностью изображения видимого мира, наконец, музыкальностью слова, фразы... Литература пробуждает и чувство истории, позволяющее воображению вызвать из небытия скифа, мучимого страстью высечь из камня подобное себе существо, и грека-колониста, сыпавшего пшеницу в жерло глиняного сосуда.

Последнее я могу объяснить только тем, что естественность и убежденность, с какими поэт говорит: «На берегу пустынных волн стоял он, дум великих полн», словно сам при этом присутствовал, делает нас как бы свидетелями происходившего, и этим самым наша мысль упражняется в умении по некоторым подробностям представить себе картину.

В Одессе я нашел подтверждение своей детской уверенности в том, что все описанное писателем не придумано им, а было на самом деле, в чем бывают убеждены так называемые неискушенные читатели, — впрочем, подобная мысль мне встретилась потом у Лескова, заметившего однажды: «Давно сказано, что литература есть записанная жизнь и литератор есть в своем роде секретарь своего времени, он записчик, а не выдумщик».

Я хорошо помню, как по приезде в Одессу, отправившись разыскивать купринский «Гамбринус», увидел вдруг ведущую в подвал узкую дверь, случайно открытую — пивных, да и других подобных заведений, в тот год военного коммунизма в городе, разумеется, не было, — а прямо против двери, в простенке над концом лестницы, «раскрашенное изображение славного покровителя пивного дела, короля Гамбринуса», точь-в-точь по Куприну.

Я даже растерялся, хотя именно это ожидал увидеть.

С тех пор моя вера в правдивость литературы приобрела некоторую восторженность, и когда, случалось, я проходил мимо бывшего полицейского участка, находившегося неподалеку, куда, в чем я не сомневался, был посажен действительно существовавший скрипач Сашка, отказавшийся играть царский гимн, и где ему изувечили руку, меня охватывало чувство торжества и даже злорадства по отношению к недавним здешним хозяевам.

«Гамбринус» был для меня одним из тех произведений, читая которые и соотнося их с действительностью, я убеждался в неотвратимости победы добра над злом. В связи с этим мне представляется уместным сказать о нравственном значении революции для людей моего поколения и социального круга, не столь уж малочисленного. Дети так называемого среднего класса, в общем-то, не знавшие нужды, хотя родителям и нелегко доставалось кормить нас, одевать, особенно же учить, в результате революции мы впервые узнали лишения. Однако это не отвратило нас от нее, напротив, вызвало страстное сочувствие, причем не только в силу романтической событий, но прежде всего в силу того, что революция олицетворяла собою справедливость. А едва ли есть что-либо более важное для формирования детской души, чем вера в то, что правда и справедливость существуют.

Конечно, в девять, десять, особенно же в двенадцать или тринадцать лет революция, какой она являлась со стороны мальчику из мещанской семьи, покоряла, я бы сказал, внешними проявлениями своего существа — митингами, манифестациями, походным шагом войск, за которым, стараясь попасть в ногу, идешь до вокзала, а потом стынешь на ветру, слушая речи, музыку.

В те же годы и несколько позднее, когда, увидев однажды вывеску только что открывшейся городской библиотеки, я получил возможность читать какие мне хотелось книги — до этого я перебрал у соседей Лескова, Чехова и Бунина в приложениях к «Ниве», — в возрасте с одиннадцати до четырнадцати лет я прочитал «Дедушку» Некрасова, «Андрея Кожухова» Степняка-Кравчинского, «Записки революционера» Кропоткина, «Мать» Горького...

Я узнал, что одновременно с некрасовским пахарем, у которого «очи потускли и голос пропал», одновременно с тургеневским Герасимом, по прихоти вздорной барыни утопившим Муму, одновременно с великим множеством им подобных людей, населявших «край родной долготерпенья», жили еще и другие люди, которым «зрелище бедствий народных» было невыносимо.

На многие годы моей любимой книгой стал «Уленшпигель».

От старших братьев моих товарищей я слышал о Клаасе, пепел которого стучался во все честные сердца, и мне нравилось думать, что отрочество мое совпало со временем отмщения всех когда-либо пролившихся слез.

В Одессе зимой с 1921 на 1922 год я узнал страдания голода, когда с утра и до вечера в доме не было куска хлеба. Голодали многие, я слышал, будто на

кладбищах штабелями лежат замерзшие трупы. Мне запомнились бесснежные, ветреные дни, обледенелый булыжник двора, над которым с четырех сторон возвышались фасады домов с заиндевелыми стеклами окон, какая-то женщина, приходившая сюда в течение недели, казавшаяся толстой в свисавших с нее лохмотьях, должно быть молодая, с распухшим синим лицом, кричавшая с завыванием: «Я хочу е-е-есть!.. Я хочу е-е-есть!..» Однажды я целый день ожидал услышать ее вой, но она не пришла, не пришла и на следующий день, никогда больше не приходила.

У наших родственников, в свою очередь, был родственник, которому, говорили, принадлежало знаменитое в городе кафе. Я не представляю себе, как это могло быть, но он будто бы оставался хозяином помещавшейся в подвале того же здания хлебопекарни, и у него служил мой двоюродный брат, лет на пять старше меня. Ежедневно под вечер я отправлялся туда через весь город, чтобы получить, как это устроила бабушка, буханку ржаного хлеба. На мне были материнины, на высоких каблуках, ботинки, едва ли не единственные в доме, и когда я шел улицами, наклоненными в сторону моря, где асфальт обледеневал, ноги разъезжались. Однако не это угнетало меня и не выбитые каменные ступени подвала, по которым спускаться на каблуках было неудобно, но сознание, что я иду просить милостыню и что брат, когда я поздороваюсь с ним, не ответит, сделает вид, что не замечает меня, и я буду долго стоять у дверей, пока он не удивится небрежно: «Ты здесь!.. Что же ты молчишь!» Я давал себе тогда слово никогда не унижать человеческое достоинство.

Одесса памятна мне еще и тем изобилием, какое наступило после голода, и то ли в силу этого последнего обстоятельства, то ли из-за врожденной склонности к искусству живописи, но с тех пор в моем сознании навсегда запечатлелись форма и цвет всякого рода тыкв, баклажан, лука-порея, кукурузных початков, множества сортов слив, персиков, винограда, разного вида скумбрии, бычков, камбалы, мидий, креветок...

А живописи я действительно в скором времени стал учиться.

В декабре 1924 года семья наша переехала в Москву, и я поступил на Курсы прикладных искусств, помнится, годичные, окончив которые поступил на Центральные курсы АХРР, где живопись преподавал Машков.

Мне представляется удачей — впервые увидеть древний русский город зимой. Снегу доставало и в нашем степном Елисаветграде, где в иную зиму вдоль домов зияли прорытые в сугробах траншеи. Однако в Москве, за Преображенской заставой, где мы поселились, снег соотносился с деревянными домиками и стоящими над их крышами легкими смолистыми дымами; с зубчатой стеной и островерхой башней монастыря; с березами, свесившими коричневатые перепутавшиеся нити веток; с неспешно идущими из бани краснолицыми женщинами в валенках, под которыми поскрипывало и постанывало; с обитой рогожей дверью трактира, хлопавшей и вышускавшей наружу клубы остуженного пара; с приземистой колоколенкой и галками, срывавшимися с ее шатра при первом ударе колокола; с синими, в обручах, железными мерами, какими продавали антоновку и картошку, привезенные в розвальнях; с ночным костром на площади, освещавшим заиндевелые бороды приплясывавших извозчиков... И все вместе это создавало картину коренной России, знакомой по книгам Лескова, Бунина, Горького.

Владелец дома, где мы сняли квартиру, портной из волоколамских крестьян, светловолосый, слегка располневший, ходивший летом в валенках и сатиновой косоворотке и восклицавший при встречах: «Почтеньце!»; его мать, сухая, сутулившаяся, крепкая старуха, однажды ругнувшая при мне поросенка и попросившая бога простить ей «черное» слово; его румяная и ласковая жена, за глаза называвшая мужа «хозяин», «сам» (эти подробности останавливали мое внимание), — все они говорили нам ты, что на юге было бы грубостью, и речь их была тем самым московским говором, которым, как я с детства знал, восторгался Пушкин, которого я никогда прежде не слыхивал, наслаждаясь которым испытывал чувство, какое испытываешь в детстве, когда в день рождения тебе надарят подарков и ты знаешь, что их никто не отберет, они навсегда твои.

Я подружился с сыном булочника. В доме у них, как, впрочем, и в том, где мы поселились, комнаты были разгорожены не достигавшими потолка переборками. Самой тесной и темной комнатой в квартире была спальня, где перед большими образами светились красные и зеленые лампы. В холодных сенях пахло отхожим местом, а в комнатах — щами.

Примерно так было и в других здешних домах.

На масленицу ломовые извозчики и крестьяне из ближних деревень, убрав лошадей бумажными цветами и лентами, стоя во весь рост в дровнях, катали молодежь и женщин по Большой Черкизовской улице, широкой, как поле, с торчащими вдоль рыжей от навоза дороги телеграфными столбами и двухэтажными по преимуществу домами с кирпичным низом.

В течение всей зимы, по временам исчезая, ездил по нашим тихим белым улицам в легких розвальнях, запряженных обросшей лошаденкой и нагруженных кулями с древесным углем, черномазый, краснощекий малый, говорили, из Калужской губернии, кричавший: «Углей!.. Углей!..» От него пахло дымом, сухой рожей, как я считал, лесным жильем.

По весне, когда оттаяли окна, да и открывать их стали, пока было солнце, я обнаружил, что в чайной, мимо которой я проходил каждый день, к потолку подвешены одна подле другой разных размеров клетки с птицами. Под клетками, съедывая с блюдечек чай, который подавался в двух ярко расписанных, стоящих друг на дружке чайниках — большой с кипятком и маленький с заваркой, — сидели немолодые мужчины, слушали доносившиеся сверху свиристенья, щелканья, свист...

Вокруг было больше поросшей травой земли, чем даже в Елисаветграде, где все улицы были мощеные, больше деревьев, и не парковых — белых акаций, пирамидальных тополей, каштанов, — но берез и лип.

Я жил в Москве и одновременно как бы в деревне.

И не потому, что Черкизово за Преображенской заставой, хотя и находилось в черте города, по-старому именовалось селом. В Москве тех лет, исключая самый центр и пропахшие железом и каменноугольным дымом индустриальные кварталы, было много провинциального, деревенского, если иметь в виду не пашенную деревеньку, а торговое село.

Я жил среди кустарей, ремесленников, продавцов мясных, зеленных и гастрономических лавок, рабочих маленьких предприятий, которых точности ради следует называть мастеровыми. Это были люди, родившиеся по большей части в деревне и тесно с ней связанные. Они вынесли оттуда интерес к природе, трезвость суждений, приверженность к прочно сложившемуся укладу. При всем том, пройдя городскую выучку и полировку, они отличались живостью ума, предприимчивостью, острословием.

Этот характерный для старой России социальный слой, весьма распространенный и в годы моей юности, хотя и претерпевший в ту пору известные изменения, принято считать невежественным, косным. Мне думается, причина здесь в том, что консерватизм этой среды, если иметь в виду движущие силы общества, мешает увидеть поэтическую ее суть.

Помнится, Пришвин писал, что среди этого рода людей, а не среди крестьян, не имеющих досуга, чаще всего встречаются знатоки и любители природы, охотники, рыбаки — причем не ради выгоды, а в силу охоты, то есть хотенья, — которым известны «места» и приметы.

Знавал и я страстных грибников, истовых садоводов.

Встречались мне охотники до разного рода поделок.

Встречались рассказчики, сплетавшие быль с баснословием.

Не сознавая этого, я учился здесь русскому языку, приобретал вкус к старинным словам и оборотам, употреблявшимся заходим монашеским или нищенкой, узнавал народное толкование явлений природы, назначение многих обиходных предметов, по преимуществу деревянных, — веретен, моталок, пирожниц, бадеек, толчей, мутовок, — словом сказать, как я теперь понимаю, проходил некую литературную выучку.

Именно тогда, лет семнадцать, я стал помышлять о литературе.

Стихи я начал писать тринадцати лет, и так как мое воображение больше всего занимали революционные события, определявшие всю тогдашнюю жизнь, а о них писал единственный известный мне в ту пору живой поэт — Демьян Бедный, то я ему, естественно, подражал.

Однако к тому времени, когда я пришел в литературный кружок при библиотеке клуба имени Шитова, помещавшегося у Преображенской заставы, я знал уже Казина и Безыменского, Есенина, вскоре узнал и Маяковского, Пастернака. Нас, писавших стихи, в кружке было пятеро или шестеро юношей, остальные, приходившие на наши собрания, особенно девушки, по большей части искали случая развлечься, провести время.

Я пишу не воспоминания, но автобиографические заметки, почему и не задаюсь целью рассказать, как много значил для юношей и девушек с Преображенской заставы клуб имени Шитова профсоюза металлистов. Замечу только, что когда мы возвращались из клуба часу в первом ночи мимо принадлежавших энкамэнам деревянных, в стиле «модерн» особнячков с венецианскими окнами, перед которыми иной раз останавливались синие автомобили с желтым кругом на дверце и помещенной внутри круга надписью «Прокат», мимо хлыстовских, не так давно срубленных домов на высоком фундаменте, чтобы нельзя было с улицы заглянуть внутрь, — мы гордились некоторой своей принадлежностью к миру, где нет личной корысти и материальные блага ограничены жестковатым словом «партмаксимум», где людей объединяют самые передовые, справедливые идеи.

Еще в Одессе, помнится, я однажды попросил у библиотечарши книгу, название которой обещало научить самому главному — «Азбука коммунизма». Библиотечарша, седая дама, посмотрела на меня испуганно и с состраданием проговорила: «Ты же ничего не поймешь, мальчик!» С тех пор прошло сорок с лишним лет, ни одной строчки из того, о чем говорилось в книге, в памяти не осталось, запомнилось лишь состояние восторга, какой обычно испытывает мальчишка, обнаружив внутри игрушки некий механизм и убедившись в чрезвычайной простоте его устройства.

Я стал читать Плеханова, Ленина, но мало что понимал.

Однако с течением времени романтический образ революционера, соединивший в себе черты Уленшпигеля, Андрея Кожухова, Овода, был вытеснен из моего сознания образом деловитого человека, действующего в мире заманчиво звучащих, но не очень доступных моему тогдашнему разумению понятий — «экосос», «синдикат», «комнезам», — образом большевика.

Удивительно, но результаты этой его деятельности в моей памяти связываются со впервые увиденным мною в мой первый московский вечер киоском Моссельпрома у Преображенской заставы, одним из тех, какие строились по проектам художника Родченко, до сих пор стоящим у въезда на Преображенскую площадь зданием бывших казарм, разоренным в годы гражданской войны и перестроенным под жилье для рабочих, что было предметом нашей гордости, наконец, с тем же клубом Шитова...

В литературе, сколько я помню, герой этот мне тогда еще не встречался, не случалось мне видеть его и в жизни. Моему воображению смутно рисовался суровый человек в кожаной куртке, каким в первые революционные годы многие представляли себе большевистского комиссара.

Может показаться неправдоподобным, но именно так выглядел товарищ Жильчиков, заведующий клубом имени Шитова. Это был среднего роста, крепкий, лет под сорок, как мне теперь представляется, не столько суровый, сколько спокойный человек. Он действительно носил кожаную куртку и простые сапоги. У него было хорошее, мужественно очерченное лицо, прямой, чуть вздернутый нос и светлые навывкате глаза. Голову он брил. Сдвинутая на затылок фуражка, открывавшая большой лоб, придавала его лицу некую озабоченность, да так оно, вероятно, и было.

Он никогда не возвышал голоса, никого не торопил, был внимателен к людям, не произносил громких слов. В клубе его уважали, и он принимал это с

естественностью, не позволявшей даже помыслить, будто между ним и теми, кто бывал здесь, существуют какие-либо различия.

Я не хочу, разумеется, обидеть современных заведующих клубами, среди которых, можно предположить, есть немало образованных и умных людей, но товарищ Жильчиков, рабочий-металлист, окончивший, я думаю, всего только начальную школу, никак не соотносится сегодня с должностью заведующего клубом, причем в те годы он не был исключением. Я до сих пор представляю его себе партийным работником большого масштаба. Я понимаю, конечно, что это мое представление о нем сложилось на основе впечатлений юноши семнадцати—восемнадцати лет. Но ведь и то верно, что никогда так беспощадно не судят о людях, как в этом возрасте.

Был еще член правления Абрамов, ткач или мастер фабрики «Декоратив-ткань», расположенной неподалеку от заставы. Он появлялся каждый вечер, маленький, однако плотный, румяный, с рыжей бородкой клинышком, как мне запомнилось, в папаче и перешитом из шинели толстом пиджаке.

Бывало, еще на лестнице он останавливал кого-нибудь из нас или подсаживался в буфете и заводил разговор о литературе. Подобно многим любителям чтения из самоучек, он ценил в писателе серьезность, положительность, однако живо отзывался на фривольности, довольно частые в книгах тех лет. Он относился к ним добродушно, со смехом, каким на деревенской свадьбе встречают обычно непристойную шутку, хотя и не упускал случая заметить, что нам на эти пустяки тратить время незачем.

Вспоминаю сейчас Жильчикова и Абрамова, я прихожу к мысли, что жизненный опыт этих и подобных им людей — среди них мне особенно памятен комиссар эсминца Иван Ларионов, с которым я встречался на Балтике в начале тридцатых годов, — стал как бы частью моего опыта. Конечно, сказалось это не сразу, потому что наука жизни едва ли не единственная из наук, которую нельзя перенять одним лишь усилием воли.

Суть здесь не в том, чтобы брать пример, а в том, чтобы существовали люди, которые, не помышляя об этом, оставаясь естественными в любых обстоятельствах, как потом оказывается, служили примером.

В Москве я впервые ощутил живую связь настоящего с прошлым.

Переулки и улицы в окрестностях Преображенской заставы носили названия — Палочный, Девятая рота, Генеральная... Обиходность несколько не притупляла остроты, с какою воспринимались эти свидетельства петровских времен, и когда я проходил теми местами, в моем сознании звучали барабаны потешного полка, положившего начало русской гвардии.

Ранней осенью, пройдя опустелыми полями из Черкизова в Измайловский парк, тогда еще называвшийся, как в старину, зверинцем, я располагался с этюдником в том его месте, где среди иссиня-зеленых елей и оранжевых берез, неподалеку от серой воды краснели кирпичные стены полуразрушенной не то мельницы, не то сукновальни. Когда я шел сюда, мне видна была возвышавшаяся вдали пятиглавая громада древнего собора, потом я перепрыгивал через темную и прозрачную остановившуюся воду заплывающих узких каналов, должно быть оставшихся от системы проток, соединявших некогда многочисленные здешние пруды. И пока я писал этюд, меня отвлекали мысли о том, как выглядели эти места при Алексее Михайловиче, учредившем в Измайлове образцовое хозяйство, где во множестве сеяли «русский и чужестранный хлеб», употребляя при этом разного рода машины, где был «аптекарский огород», «тутов сад и тутов двор», «виноградный сад», а в зверинце — олени, кабаны, барсы, будто бы даже львы...

Любимым чтением моим стал двухтомник «Былое вокруг нас».

Я был счастлив тем, что живу в городе, улицы которого называются Моховая, Ордынка, Басманная... Названия улиц, которыми разговаривала со мной история, волновали не меньше, чем Кремль или Китай-город. Точнее сказать, это было иного рода волнение. Возле приземистых китайгородских башен, перед стенами Кремля или у Лобного места я чувствовал себя как бы зрителем событий, некогда здесь происходивших, потому что история сохранила имена лишь выдаю-

щихся их участников, тогда как с басманниками, то есть с дворцовыми пекарями, или с первыми насельниками мохового болота меня связывала наша с ними обыкновенность.

Быть может, дело здесь в том, что история, которую я полюбил в школьные годы и которая представлялась мне историей полководцев и царей, в пору моей юности пересматривалась, первостепенное место в ней отводилось народным массам, их трудовой деятельности и борьбе.

Выходили поэмы и романы о вожаках крестьянских восстаний, о безвестных узниках петропавловских казематов; снаряжались экспедиции за произведениями старинного народного искусства; армия носила островерхие матерчатые шлемы и малиновые поперечные нашивки на груди, что как бы напоминало рядовых защитников древнерусских городов — гридь.

История, я бы сказал, становилась близкой, касалась каждого...

В те же годы, между 1925-м и 1928-м, я увлекался стихами Маяковского и Пастернака, новой западной живописью, спектаклями Мейерхольда и Таирова. Сперва мне просто нравилась необычность этого искусства, и хотя я многого не понимал, однако, будучи свободным по молодости лет от какой-либо предвзятости, я с почти детской наивностью наслаждался звучностью стиха и неожиданностью сравнений, чистотой цвета и непринужденностью рисунка, остротой мизансцен и ритмичностью, с какой двигались актеры. Потом я понял, что здесь было еще и содержание, что новыми средствами изображается и передается все то же — живая жизнь, мысли и чувства художника, этой жизнью вызванные.

Когда я читал: «Вашу мысль, мечтающую на размягченном мозгу, как выжиревший лакей на засаленной кушетке» или «Снявши шапку, сто спящих фотографий ночью снял на память гром», мне представлялись реальные картины; в первом случае — пошлое и нечистое, хотя внешне и добропорядочное («из гостиной батистовая») буржуазное благополучие, во втором — сухая ночная гроза с наконец-то рухнувшим ливнем, сквозь который все еще вспыхивают молнии: «стал мигать обвал сознания...»

«Дама в саду» Клода Моне была для меня не столько пейзажем с человеческой фигурой, сколько изображением солнечного света, притом что художник просто написал подстриженную траву с лежащими на ней тенями, клумбу красных маков, цветущие деревья и женщину в белом платье под белым зонтиком. Это была живопись, то есть выраженная в цвете суть художника, а не скопированный с помощью красок ландшафт.

Точно так же «Курильщик» Сезанна, в сравнении с которым Моне и тогда уже выглядел традиционным, был не просто портретом краснолицего и красноручного мужчины в сизом костюме, достоверным, передающим округелую стать много и тяжело работающего человека, но еще и представлением художника о мире, основательно сколоченном из цветных объемов.

Впрочем, эта живопись была уже музейной.

Картины, писавшиеся в то время, русские и иностранные, имели обратную перспективу, либо она вовсе отсутствовала, изображение было плоским или подчеркнуто объемным, зачастую геометрическим. Действительность выглядела смещенной или разъятой на части или же изображалась одновременно в разные моменты ее существования, словно бы в движении. Но как бы далеко это ни отстояло от природы, если художник был честен, в основе произведения была жизнь и его представление о ней.

В театре, изгнавшем со своих подмостков и ложный пафос и мелочность быта, поставившем на сцене конструкцию, актер действовал в разных плоскостях, используя с наибольшей выгодой пластичность тела.

Это была новая образная система, уже по одному тому, я думаю, необходимая, что старая в силу своей привычности не трогала воображения. Вероятно, здесь существует известная закономерность, потому что и за сто лет до этого в России сменились эстетические взгляды; менялись они и позднее, о чем свидетельствует история русской культуры.

Но я не исследователь художественных вкусов и направлений.

Мне важно лишь сказать, что по прошествии времени, когда исчезло все случайное и чрезмерное, при всей моей с годами усиливающейся любви к Пушкину, к Левицкому, Венецианову и Федотову, к русской реалистической театральной школе, мир отечественного искусства был бы для меня неизмеримо беднее без всего того, что сделано в десятые и двадцатые годы нашего столетия. Я не берусь объяснить, в чем здесь причина, но в моем восприятии многое из поэзии, театра и живописи начала XX века сомкнулось с искусством первой половины XIX.

При этом я позволю себе напомнить, что и левый театр и левая живопись, как их называют, в своих исходных принципах зачастую близки к народному искусству или же просто испытывают на себе его влияние.

Не составляет особенного труда определить, например, что Петров-Водкин работал в духе древнерусской живописи. Но можно назвать художников того времени, совершенно не похожих на него и друг на друга, картины которых, внешне отличаясь от древней иконы и фрески, от резных деревянных изделий и крестьянских росписей, внутренне, самой организацией своей, фантастичностью своего мира, да и многими изобразительными приемами родственны им. Достаточно некоторого воображения, чтобы увидеть связь между Иоанном Предтечей, написанным на иконе с головою на плечах и отрубленной головой в руке, и двойным автопортретом Шагала, между сказочным зверем на карнизе избы, вырезанным в профиль, однако глядящим обоими глазами, и картиной какого-нибудь примитивиста.

Что же до театра, то он, как известно, искал выразительных средств в старинной мистерии, в площадных представлениях, в движениях и жестах народного танца, в митингах и манифестациях революции.

Несколько лет тому назад Жан-Поль Сартр спросил меня: как я думаю, поймут ли колхозники театр Брехта? Я затруднился что-либо сказать, так как не видел в то время ни одного брехтовского спектакля. Однако вскоре, посмотрев поставленного Ю. Любимовым «Доброго человека из Сезуана», я понял, что мог бы ответить Сартру утвердительно.

Пусть современные крестьяне понятия не имеют о вертепе или пещном действе, где могли бы, как у Брехта, представлены быть три бога, странствующих в поисках доброго человека, самый прием этот близок поэтическим воззрениям народа, до наших дней сохранившимся в сказке. Когда же галантный цирюльник, словно бы танцуя, таким образом изъясняется в нежных чувствах, на память приходят деревенские плясуны.

Едва ли я ошибусь, высказав предположение, что народное искусство, некогда воспринимавшееся по преимуществу как явление этнографическое, как только оно стало восприниматься со стороны эстетической, начало влиять сперва на поэзию и музыку, а потом и на живопись, на театр.

Разумеется, в те годы я ни о чем таком не думал.

Я просто смотрел спектакли Мейерхольда, усердно посещал бывшую морозовскую галерею, дивился живописи «Бубнового валета», не пропускал ни одной из выставок остросовременного объединения ОСТ, однако с не меньшим интересом ходил в Кустарный музей в Леонтьевском переулке.

Тогда же я стал писать для театра.

На курсах АХРР с учившимся там будущим драматургом А. Симуковым мы написали и поставили обозрение в стихах, которое случайно увидел приглашенный кем-то руководитель самодеятельного театрального коллектива профсоюза работников кооперации и госторговли. Мы получили предложение написать для этого коллектива, преобразованного в агитбригаду, стихотворный текст о кооперативной пятилетке «с пением и танцами», как было оговорено в договоре. А некоторое время спустя, оставив живопись, мы стали штатными авторами агитбригады.

Последнее случилось в зиму с 1930 на 1931 год.

Предшествующие три года, кроме занятий живописью, оставшихся в памяти чередой зимних дней, проведенных в пропахшей сиккативом и лаками студии, кроме литературного кружка, с весны и до осени собиравшегося в березовой Ар-

хиерейской роще, куда переезжал на лето клуб Шитова,— предшествующие три года озаменованы были первыми поездками в деревню и участием в том, что для краткости я назвал бы агитационной работой, приобретавшей все большее значение в жизни страны. Впрочем, летом 1928 года последнее касалось главным образом Москвы.

Местечко Кантакузовка, куда я поехал на этюды, озабочено было отсутствием дождя и обнаруженным в округе ящуром. Домики местечка, расположенные по склону горы, стояли один выше другого, так что из окон видны были гладкие, как ток, прямоугольники дворов с глинобитными хлевушками и крышами находящегося ниже двора жилья. Кое-где под окнами торчали пыльные кусты сирени. Вдоль стен и заборов, сложенных из плит известняка, темнела на выбитой земле жесткая трава. Небо почти всегда было белесое, а воды Буга, протекавшего внизу, металлически блестяли.

Утром я вставал с твердым намерением начать этюд, однако всякий раз меня что-либо отвлекало. Я узнавал вдруг, что на рассвете то ли из-за карантина, то ли чтобы не платить за переправу через понтонный мост какой-то мужик пустился со своими лошадьми в плавь и утопил их. Либо оказывалось, что на реке, пустынной с вечера, тесно торчали мачты пришедших из Николаева шаланд. Или хозяйская дочка с подругой собирались за лебедой для поросенка. И я присоединялся к толпе на берегу, толковавшей об утонувших лошадях, или шел на пристань, где разгружались шаланды, либо отправлялся с девушками за реку рвать лебеду.

Бывало, что ничего не случалось, я просто перешагивал через каменную ограду в конце двора и узкой уллицей с пересохшими колеями выходил к поднимаемому в гору одесскому тракту. Пройдя некоторое расстояние, я останавливался в открытой степи, казавшейся выпуклой, чувствуя, что стою на земном шаре обтекаемый воздушным пространством.

Иногда я шел к тому месту, где степь глубоко расселась, первозданно красная глиной. Я спускался в расселину, шел оврагом, позволявшим видеть строение земли, всем своим телом ощущал холод материка.

Всякий раз, когда я бывал в степи, я проходил мимо развалин усадьбы князя Кантакузена. Много позднее я узнал, что род Кантакузенов происходил из византийских императоров и что в XVIII веке они стали переходить на русскую службу, причем один из них, быть может владелец имения, командовал бугскими казаками. Но и тогда, наблюдая коричневатые камни, за которыми паслись в степи овцы, я представлял себе, что земля эта была частью греческого мира, хотя и не подзревал, что Буг, на берегу которого живу, Геродот называл Гипанидом.

В базарные дни я отправлялся пешком в Вознесенск, заштатный городок напротив Кантакузовки, отстоящий от нее верстах в трех. Понтонный мост, который надо было перейти, был горяч от солнца и как бы плыл. Река плескалась почти вровень с опускавшимися и поднимавшимися плоскостями настила. От реки, точнее от понтонов, которые она обтекала, пахло бочкой с дождевой водой. За мостом начинался тракт, но я сворачивал на протоптанную вдоль телеграфных столбов тропинку.

Всегда кто-нибудь шел в город, и я прислушивался к разговорам. Половину жителей местечка составляли евреи, по преимуществу занимавшиеся земледелием. Они отличались от украинцев, носивших вышитые сорочки и смазные сапоги, только городской одеждой. И те и другие были одинаково черноволосы и загорелы, молодые мужчины выдавались статностью, женщины — склонностью к полноте. И говорили они об одном и том же, с теми же интонациями: о коровах, о том, что нужен дождь...

Потолкавшись по базару, где, как мне запомнилось, торговали главным образом поросятами и цыплятами, быть может в предвидении бескормицы, я заходил в кафе, по имени хозяйки и в подражание знаменитому одесскому прозвищу «Хайкони» — хозяйку звали Хайка, а лучшее в Одессе кафе, как известно, называлось «Фанкони». Днем в кафе никого не было. Под полосатым тентом, в зеленой тени оплетавшего веранду «крученого паныча», как называют на Укра-

ине ипомею, белели мраморные столики. Я заказывал сифон сельтерской воды и стакан молдавского вина. Было слышно, как в сумеречной глубине зала, возле буфетной стойки, похрустывает лед в большой бочке, откуда доставали сифон, и от одного этого звука становилось прохладнее. Сифон был запотелый. Вино внутри граненого стакана краснело на изломе луча и оттого выглядело темнее.

Я убеждал себя, что упражняюсь в наблюдательности.

Помнится, через день перед вечером молодежь местечка прогуливалась вдоль реки, провожая пароход. Пристань была на противоположном берегу, и когда пароход разворачивался, ложась на курс, он проходил близко от нашего берега. На низко сидящей корме играл оркестр — человек в пять, не больше: барабанщик, скрипач, флейтист, трубачи.

К такого рода развлечениям я относился с иронией, извинительной в двадцать лет, однако прогуливался вместе со всеми, как мне теперь представляется, не без удовольствия. К слову сказать, я счастлив, что впоследствии избавился от иронического, а по сути высокомерного отношения ко всему подобному, называвшемуся в те годы мещанством.

Эти гулянья ради отправлявшегося под звуки музыки парохода, как и такие же вечерние прогулки к пассажирскому поезду в каком-нибудь пристанционном поселке, свидетельствовали не о бедности, но о богатстве человека, из ничтожно малого умеющего сотворить поэзию.

Народной поэзией, мне думается, следует считать не только великую крестьянскую поэзию, складывавшуюся в течение тысячелетий, но и все то, в чем выразили себя эстетические воззрения городских низов, — ярмарочную карусель, искусно причесанные манекены в витрине парикмахерской, вывеску конфекционна, декорацию уличного фотографа с лихо скачущим джигитом, у которого на месте лица зияло отверстие, куда всовывал голову клиент, бумажные цветы, наконец, канарейку, герань...

Что же до мещанства, то одно из его свойств — предпочтение практической пользы любой поэзии, и я знаю человека, срубившего березу возле своего дома, так как гнездившиеся на ней птицы не давали спать.

Послеобеденные жаркие часы я обычно просиживал в пивной голтянской «держброварни» — я не сразу привык к тому, что это звучное слово означает всего лишь «госпивзавод». Пивная стояла подле самой дороги, у въезда в Кантакуювку. То ли из-за глинобитных ее стен, то ли оттого, что она была врыта в подножие горы, здесь постоянно было прохладно. Перед пивной останавливались возвращавшиеся с базара подводы, и я с интересом слушал, как мужики, обдирая тарань и попивая пиво, пузырившееся в темных бутылках, рассуждали о своих делах, причем, как я понимаю теперь, меня привлекала не только естественность и одновременно метафоричность самой речи, но еще и материальность ее содержания, сводившегося к тому коренному кругу вещей и явлений, какой я назвал бы библейским: земля, растения и животные, стихийные силы природы.

В то лето я не написал ни одного этюда.

На следующий год в июле, всю зиму и весну проработав на электрозаводе, где, совмещая это с занятиями живописью, учащиеся курсов АХРР писали лозунги, рисовали плакаты и оформляли красные уголки, я снова уехал в деревню, на этот раз в Белоруссию, на тогдашнюю границу ее с РСФСР, с «черниговщиной», как называли здесь землю, начинавшуюся за конопляниками того мужика, в амбарчике которого я поселился.

Электрозавод запомнился мне порталными кранами в гулких цехах, станками иностранных марок, слепящим белым светом электрических ламп, висевших рядами, запахами горячего масла и железа, новыми, с металлическим отзвуком сочетаниями слов: «догнать и перегнать», «пять в четыре»; а по дороге в деревню, в Унече, где предстояла пересадка, я ночевал на постоялом дворе, в узкой, побеленной известкой каморке, и за окошком всю ночь вздыхали и хрупали овес лошади, утром же, когда я вышел на базар, здесь было тесно от возов, уставленных горлачами с малиной, сметаной и топленым молоком с прилипевшей бугристой пенкой.

Покоем и тишиной исполнен был начинавшийся день.

Покойным и тихим было все лето.

Это была первая в моей жизни «деревянная» деревня. Многие избы, не говоря уж об амбарах и сараях — «пуньках», как их здесь называли, — крыты были соломой, причем старновкой, то есть бережно обмолоченной с одного конца, не перебитой, из которой получались стойкие против дождей и ветров, щегольские, «под щетку», кровли.

Дремучие конопляники стояли по усадьбам.

Светло зеленели среди муравы прямоугольники затянутых ряской сажалок — маленьких прудов, в которых по осени мочили коноплю. Прямо к деревне подступали овсы, и ржи, и гудевшая пчелами гречиха.

Две шатровые ветряные мельницы, похожие на средневековые башни, из которых одна стояла неподалеку от дома, где я жил, в конце улицы, а другая за деревней, по временам принимались вертеть могучими, о шести лопастях, крыльями, и я до сих пор помню чувство восторга, с каким стоял у подножия сужающегося кверху деревянного восьмерика, прохладный ток воздуха касался моего лица, вокруг посириньвало, как на морском паруснике, по зеленой лужайке проносились легкие тени.

В будние дни все здесь ходили по преимуществу в лаптях, даже в праздник носили почти одно домотканое, только холщовые порты и рубахи у мужиков были чистые, свежекатанные, вышивка на рукавах и груди была как будто богаче, хотя узор оставался все тот же черный с красным, а у баб повойники и сарафаны были яркие, из ситца.

То ли оттого, что Сигеевка, как называлась деревня, была значительно меньше Кантакузовки, то ли потому, что сляяла она не на большой дороге, а среди полей и вся здешняя жизнь определялась единственно лишь круговоротом работ, задаваемых землей и животными, отчего она шла раз и навсегда налаженным ходом, я не чувствовал себя здесь наблюдателем, как минувшим летом в Кантакузовке, но естественно вошел в деревенский обиход, увлекаемый его неторопливым течением.

Достаточно мне было услышать треск, и топот, и ругань на задах, чтобы догадаться, что это старик Еремей Севастьянович, отошедший от дел отец хозяина, собрался в город на молодом, некладемом жеребце; достаточно было, выйдя с этюдником в поле, увидеть поспешающую со стороны деревни фигуру, чтобы знать, что это «нямой» — здоровенный ленивый малый, глухонемой, чуть ли не единственный оставшийся в двадцать девятом году сигеевский бедняк, взявший за правило сопровождать меня и моих товарищей, когда мы отправлялись на этюды.

Я знал, кто к кому собирается осенью засылать сватов, и у кого сын на заработках в Хабаровске, а у кого в Таганроге, и что вон тот невысокий, с клокочавой бородкой, словно бы немудрящий, хотя на самом деле «себе на уме» мужичонка на вопрос о колхозе обязательно ответит: «Покуль подождем», а хозяин мой Григорий Еремеевич, длинный узколиций чернобородый мужик лет сорока, работающий и молчаливый, потому ходит невеселый, что боится «твердого задания».

Я научился запрягать лошадь; неделю поработал с семьей хозяина на сенокосе — ворошил сено, подавал его на воз и возил, лежа на высоком, кажется, уплывающем из-под тебя стogu; однажды, зайдя в сельсовет, верстах в четырех от Сигеевки, познакомился с местным священником, худеньким старичком в колюмянковой рясе, должно быть искавшим здесь собеседников; бывал на окрестных хуторах — «инженерской даче», как будто взятой из рассказа Чехова, где жила, сдавая исполу землю, держа коров и поторговывая, шумливая неряшливая местечковая мещанка с двумя красивыми интеллигентными дочками, — и на втором хуторе, владелец которого, неторопливый умный мужик, размышляющий, почитывающий, содержал в образцовом порядке большой плодовый сад, пасеку, скотный двор, причем здесь не было подделывания ни под помещика, как у местечковой барыни, ни под крестьянина, но все являло некий промышленный, фермерский вид.

Впрочем, на этом хуторе я бывал редко, о чем теперь сожалею, потому что владелец его, можно догадаться, принадлежал к тем образцовым хозяевам, какие вели дело, сообразуясь с советами журнала «Сам себе агроном», всячески поощрялись земельными органами, награждавшими их премиями и похвальными дипломами, и мне было бы интересно иметь представление о недолго существовавшем типе советского фермера.

Больше всего я любил бывать на соседней с нашим домом мельнице Федора Фомича — рослого, с пышной седой бородой деревенского мудреца, слушать его разговоры с немногими в эти летние дни помольщиками, сводившиеся к тому же, о чем толковали мужики в Кантакузовке, только что здешняя речь отличалась от тамошней цоканьем и аканьем.

А спал я в еловом амбарчике, на старых овчинах, и когда близко к полночи приходил сюда с «летучей мышью», оставленной хозяевами в сенах, перед этим пройдя замкнутый надворными постройками прямоугольник двора, посреди которого лежали коровы, когда, повесив фонарь, оглядывал чистые желтоватые бревна стен с висевшими на колках хомутами, уздечками и вожжами, стоявшие по углам кади с рожью и овсом, долбленную липовую ступу, в которой толкли конопляное семя, и ото всего этого пахло сырмятной кожей, дегтем, маслом, зерновым хлебом, — меня охватывало чувство прочности и защищенности бытия.

И еще об одном деревенском лете должен я сказать.

Передо мной лежит недавно обнаруженная мною среди старых бумаг пожелтевшая, истертая на сгибах «довідка» — справка, выданная ее владельцу, то есть мне, «в тому, що він дійсно перебуває в радгоспі № 2 ім. Куйбишева, як практикант на сезон цього року, що свідчиться». Вверху поставлена дата — «17 червня 1930 року». А на обороте остро отточенным химическим карандашом написано распоряжение заведующему «крамницею» о выдаче продуктов по норме «службовцев», и под распоряжением цветными и химическими карандашами — тесная колонка записей, где рядом с датой проставлено наименование выданного: сахар, селедка, жиры растительные, папиросы, вобла.

Это был первый в моей жизни документ, определяющий мое гражданское состояние и одновременно обеспечивающий некой, сообразно этому продовольственной нормой. Мне выдавали еще ежедневно молоко, пайку черного хлеба, миску щей из свежей капусты, чаще всего постных, а в те дни, когда облавливали пруды, — с рыбой, порцию крутой пшенной каши; все это производил совхоз, и то же самое получали все рабочие.

Я говорю об этом так подробно потому, что с этим, то есть с однообразным питанием, к тому же не очень по вкусу украинским крестьянам, из которых по преимуществу состояли здешние рабочие, связан едва ли не первый мой гражданский поступок, часто вспоминавшийся мною впоследствии, причем не всегда я оценивал его одинаково. Сперва я считал, что поступил правильно. Потом долгое время несколько совестился запальчивости, с какой вязался в это дело, не столь уж значительное, если взять во внимание государственной важности заботы, которыми поглощен был директор совхоза. А сейчас мне приятно вспомнить то утро, когда по холодку с заведующим столовой, захватившим десятка два уместившихся в носовом платке картофелин, мы отправились пешком на станцию, чтобы ехать в Артемовск — в редакцию окружной газеты.

Однако я должен, мне думается, объяснить, что составленное из слов «радянське господарство» слово «радгосп» означает совхоз и что попал я сюда, как и мои товарищи в другие совхозы, по договоренности председателя нашего студкома, впоследствии известного графика В. Бибикова, с Всеукраинским профсоюзом работников сельского хозяйства и леса, каковой, взяв на себя наше содержание, обязывал нас вести в совхозе культурно-массовую работу. Это давало возможность писать этюды, и одновременно мы как бы проходили некую школу жизни.

Совхоз имени Куйбишева, как я могу это представить себе сейчас, спустя тридцать семь лет, располагался в огромном понижении — должно быть, поэтому ближайшая к нему железнодорожная станция называлась Яма, — и среди

жаркой, пыльной донецкой степи, местами как бы приподнятой выпирающими из-под земли каменистыми кряжами, он выглядел оазисом, неожиданно открывшимся на близком от него расстоянии.

Среди ровно спланированных полей, занятых клубникой, морковью, помидорами, огурцами, капустой, пионами и розами, казалось, самым шумом своим на перепадах распространяя прохладу, текла в оросительных канавах вода. Над иными дорогами нависали ветви белых акаций и кленов, ограждавших эти поля или же плодовые сады и питомники. И не только от воды и тени, но еще и от постоянной рыхлой земли, от великого множества листвы, цветов и ботвы как будто тоже было прохладней.

В центре всего этого, по сторонам пруда, от которого тянулись в степь бледные между склонами балки прямоугольники еще нескольких прудов, стояли, образуя площадь и короткие улицы, административные, жилые и хозяйственные здания той новой для России провинциальной архитектуры, какая складывалась по преимуществу в южных степных экономиях, в поселках при сахарных заводах, на железной дороге...

Кирпичные двухквартирные домики служащих с верандами, увитыми диким виноградом, или же длинные, обмазанные глиной и побеленные дома, в каких жили постоянные рабочие, я и до этого видывал, а вот коровники и конюшни с сеновалами или спальнями сезонных рабочих под высокой крышей, куда вели наружные лестницы, были мне внове. Внове были конторы с большим штатом людей, учитывавших не индустриальный, а сельскохозяйственный труд и не промышленные изделия, а зерно, овощи, молоко... Внове были многокорпусные плуги, жнейки, трактор, помнится, «Катерпиллер», молотилка, работающая от локомотива, большие сады, плантации клубники, не огороды, а засаженные огурцами, томатами и морковью поля, особенно же рабочие, делающие, казалось бы, крестьянскую, однако все же чем-то отличную от нее работу.

Внове, наконец, было то, что не сторонним наблюдателем жил я здесь, не горожанином, вольным писать этюды или с утра отправиться на прогулку, как это я делал в предыдущие поездки в деревню, но имел некие обязанности, связанные с жизнью рабочих и служащих совхоза: выпускал стенгазету, привел в порядок библиотеку и выдавал книги, писал декорации для драмкружка, проводил в спальнях беседы, агитировал подписываться на заем, а когда подошло время жатвы и пшеницу, чтобы она не осыпалась от жары, решено было убирать ночью, я вместе со всеми, кто проживал в совхозе, выходил на эти ночные субботники.

И лишь однажды я почувствовал себя здесь как бы в стороне, когда собралось закрытое партийно-комсомольское собрание, а я не имел права присутствовать, так как был беспартийным. Последнее озадачило всех: как же это — московский парень, а беспартийный! В партию я вступил в 1945 году, будучи сотрудником дивизионной красноармейской газеты.

По возвращении из совхоза в Москву, причем чуть ли не на месяц после начала занятий, я не столько занимался живописью, сколько писал с А. Симуковым упомянутое кооперативное обозрение, названное нами «Красное и черное». Это были цвета досок, висевших едва ли не во всех учреждениях и на предприятиях страны и сообщавших об отношении человека к труду и общественным обязанностям, но это был одновременно и некий взгляд на жизнь, как бы надвое разделявший общество.

Я говорю, разумеется, только о себе, о том, как думал в те годы.

Много позднее, размышляя над тем, какие причины побудили меня оставить живопись, я пришел к мысли, что в то переломное время, когда все представлялось простым и ясным — красное и черное! — меня увлекла открывшаяся вдруг возможность участвовать во всем, что происходило вокруг, вместо мастерской с ежедневными утренними занятиями живописью и вечерними — рисунком — бывать на заводах, в колхозах.

Летом 1931 года я выехал вместе с агитбригадой в Подмосковский угольный бассейн — на прорыв, как тогда говорили. Мы давали свои представления в

красных уголках, иногда под открытым небом перед готовой спуститься под землю сменой, причем в написанную и сретированную еще в Москве программу вставлялись номера, построенные на так называемом местном материале, с подлинными фактами и фамилиями.

Однажды мы отработали ночную смену под землей на подсобных работах, и это, как мы считали, должно было придать еще большую убедительность нашим обличениям прогульщиц, лодырей, летунов и рвачей.

Вспоминая сейчас тогдашнюю программу агитбригады, которую мы показывали и в Москве, как-то даже слушателям Коммунистического университета трудящихся Востока, вспоминая другие самостоятельные агитбригады того времени, у которых, как и в наших программах, патетика перемежалась сатирой, жест передавал и действие и предмет, каким действовали, что же до текста, то даже выписка из приказа становилась сценичной, — я думаю, что многое из найденного режиссерами этих площадных народных зрелищ процвело в современном театральном искусстве.

В конце зимы 1932 года вместе с агитбригадой я выехал в один из окраинных северо-западных районов тогдашней обширной Московской области. От станции до районного центра мы ехали лошаадьми верст сорок — хвойными лесами, с горы на гору, случалось, вываливаясь из саней на крутом раскате, грелись чаем в попутных деревеньках, и все это, как и последующие поездки по району, до сих пор вспоминается обилием снега, запахом хвои, смолистого дыма, необмятой, с мороза соломы на ночлегах иной раз в избе, а то и на затоптанном полу сельсовета.

Когда сошел снег, на небольших полях в еловой чаще открылись во множестве огромные моренные валуны; деревеньки с высокими избами стояли на зеленых пригорках, уставленных теми же лобастыми валунами; темнели еще не вскрывшиеся, говорили — глубокие, ледниковые озера.

Лет двадцать пять спустя я так вспоминал эту поездку:

«Под нашими санями проваливался лед на озерах. Разувшись, мы переправлялись через сплавные реки по уходившим из-под наших ног скользким, холодным бревнам. Мы ехали верхами на неоседланных лошадях между исполинскими елями, и в лицо нам шел от земли крепкий запах мокрой прошлогодней хвон, моха, каких-то сырых, сочных растений.

И каждый день мы выступали перед хмурыми, молчаливыми мужиками — у каждого из них сади, на пояснице, заткнут был за ремень узкий топор на длинном топорнице. На наших выступлениях были и женщины, глядевшие добрее мужчин. Полно было детей, которые сидели впереди всех на полу. Происходило это в школе, на сдвинутых партах с настланными сверху досками. Или в чьей-нибудь риге, прямо на земле, — зрители в таких случаях смотрели представление стоя. Мы читали стихотворные речи, исполняли частушки, пели торжественные песни и показывали кукольные спектакли. Мы успели привыкнуть к тому, что никто не аплодировал. Первый раз мы просто растерялись, но нам объяснили, что в здешних местах никогда не видели какого-либо театрального зрелища и не знают, что в знак похвалы полагается хлопать ладонью об ладонь.

После нашего выступления многие из хозяев шли к амбарам, отмыкали замки, при свете фонаря отвешивали семенное зерно для первого в здешних местах коллективного сева. У меня до сих пор хранится самодельный плакатик, написанный по графарету на оборотной стороне обоев: «Засыпано семян — ржи... ячменя... овса...». Такие плакатики, проставив количество пудов, мы приклеивали к дверям изб и к воротам».

Только в середине мая вернулся я в Москву, а в августе по командировке отдела искусств Наркомпроса РСФСР уехал с А. Симуховым в Кронштадт, где более полутора лет мы проработали литературными работниками краснофлотской художественной самодеятельности, участвовали во многих походах кораблей Балтийского флота, а однажды на учебном судне «Комсомолец», обогнув Скандинавию, дошли до Мурманска.

Об этом походе я написал первый мой очерк, напечатанный в 1934 году в журнале «Красноармеец-краснофлотец». Я до сих пор помню первую его фразу: «Мыло не мылилось — так начался океан». Мне и сейчас представляется, что первая фраза определяет интонацию вещи.

Я написал еще и несколько рассказов на флотские сюжеты, печатавшихся по преимуществу в том же журнале и отдельно никогда не издававшихся, и если я упоминаю о них здесь, то только лишь потому, что с их появлением связано важное в моей литературной судьбе событие.

Я стал так называемым военным писателем и по этой причине включен был в бригаду, сформированную Оборонной комиссией Союза писателей по просьбе Управления военных конных заводов для написания истории этих заводов. Это было в 1935 году. В течение всего лета, собирая материал, мы разъезжали по Сальской степи и предгорьям Северного Кавказа, где находились эти простиравшиеся на много верст хозяйства, которые занимались не только племенным коневодством, но и пшеницу сеяли, держали тысячные отары овец и гурты крупного рогатого скота.

А в 1936 году поздней осенью я командирован был в станицу Буденновскую, бывшую Платовскую, где прожил всю зиму, собирая материал для коллективного сборника о здешнем колхозе. Я встречался с матерью, сестрой и зятем С. М. Буденного, с его соратниками по созданному им здесь, на родине, в 1918 году конному партизанскому отряду.

Оба сборника, как это случается с такого рода предприятиями, не получились. Однако впечатления от этих двух поездок соединились вдруг с воспоминаниями детства, связанными со степью и с людьми, такими же, как те, которых я встречал в Сальской степи. Старые конники и мать Буденного говорили на том самом смешанном южнорусском наречии, на каком говорила моя бабушка и бывавшие у нас дома мужики.

Вот почему обстоятельства жизни платовских крестьян и романтические события гражданской войны, о которых мне рассказывали работники конных заводов и колхозники станицы Буденновской, в отличие от впечатлений кронштадтской поры, вызывавших лишь желание щегольнуть экзотической подробностью, стали как бы частью моей жизни, и я писал о них с тем волнением, с каким пишут о том, что происходило с тобой.

Я вспоминаю здесь об этом не ради того, чтобы напомнить о своих довоенных рассказах и очерках, хотя рассказы о Буденном, о его родных и одностанничниках-соратниках, печатавшиеся с 1938 года в журнале «Красная новь» и составившие вышедший в 1941 году сборник «Военное поле», при всей их наивности, если и не все, то некоторые, быть может, и сегодня найдут читателя. Я вспоминаю здесь об этих моих рассказах потому, что это был первый случай, когда моя собственная жизнь в чем-то совпала с жизнью людей, о которых я писал, а чем больше таких совпадений и чем они значительнее, тем реальнее изображение.

Для меня важно еще и то, что эти мои рассказы были не столько о войнах, сколько о крестьянах, и с конца тридцатых годов, когда был напечатан первый из них, я пишу по преимуществу о деревне, точнее сказать о том, что прежде называлось провинцией, а теперь районом.

С 1935 по 1952 год, исключая военные годы, не только летом, но и зимой, и весной, и осенью я часто выезжал в районные центры и колхозы, иногда на несколько дней, если меня посылал какой-нибудь еженедельник. чаще же всего недели на три, на месяц, а то и на больший срок, как это было сразу после войны, когда по командировке Союза писателей я прожил конец осени и часть зимы в одном из некогда знаменитых, в ту пору разоренном войной и засухой степном украинском колхозе.

В те годы мне казалось, что то, о чем я должен писать, находится где-то далеко, что и места и события, какие там происходят, должны быть если и не исключительные, то уж, во всяком случае, мало похожие на то, среди чего я постоянно живу и что происходит вокруг меня. В сущности, предмет литературы представлялся мне несколько экзотическим.

Быть может, это происходило еще и оттого, что мои отношения с жизнью, о которой я собирался писать, были отношениями человека, специально выезжавшего в командировку за необыкновенным материалом.

И еще мне тогда представлялось, что сперва необходимо как бы сконструировать каркас будущего рассказа или очерка, а потом заполнить его материалом, точным, взятым из действительности, но все же отбираемым для заранее приготовленной конструкции. То есть подробности жизни подкрепляли мысль, тогда как она должна бы из них вытекать.

То ли поэтому, то ли по иной причине, но к началу пятидесятых годов я стал ощущать, что между написанным мною и действительностью есть некое несовпадение, вернее сказать, что они соотносятся между собой как сделанное и естественное. При всем том, что литература, подобно всякому искусству, есть сделанность, все же истинная реалистическая проза, ничуть не копируя действительность, что вообще-то и невозможно, свободна и не заданна, как сама жизнь.

Весной 1952 года по командировке «Литературной газеты», где с 1948 года я заведовал отделом сельского хозяйства, а в ту пору работал специальным корреспондентом, я выехал на посевную в Саратовскую область. Случилось так, что в Саратове, ожидая, пока мне рекомендуют интересный для описания колхоз, я познакомился с доцентом местного Института механизации сельского хозяйства, собравшимся в Пугачевский район, где в одном из колхозов испытывалось некое сконструированное им приспособление, и решил ехать с ним. В колхозе этом я прожил около двух месяцев, причем вышло так, что никто, кроме председателя, не знал, что я корреспондент газеты, все считали и меня изобретателем.

Весна была поздняя, затяжная, сев откладывался, редакция меня не торопила, да и выехать из села нельзя было из-за весеннего бездорожья, и я, не опасаясь чего-либо пропустить, как это бывало в подчиненных определенному заданию командировках, располагая достаточным временем, чтобы наблюдать восход солнца, вскрытие реки или сидеть в кузнице и слушать разговоры толпившихся там весь день мужиков,—я жил в том же размеренном и неторопливом ритме, в каком жило ожидавшее начала полевых работ население этого степного села.

Никто, повторяю, не знал, что я литератор, поэтому у меня и в мыслях не было заподозрить кого-либо даже в произвольном намерении представиться, что называется, казовой стороной, да и ничем не примечательна была жизнь людей этого зауряднейшего, каких тысячи, колхоза, чтобы стать содержанием газетного очерка или рассказа.

Но вот эта-то обыкновенность окружающего и то, что каждый день мой здесь был так же обыкновенен, состоял из наблюдений природы и разговоров обо всем на свете с ничем не выдававшимися из ряда людьми,— вот в этом-то и заключалась, как я все отчетливее ощущал, привлекательность моего здешнего существования. Однажды я решил, что так и стану жить впредь — выберу себе некий район в центре нечерноземной России, из тех, о которых обычно ни в московских газетах не пишут, ни в повестях и романах, и буду туда наезжать время от времени.

Я вспоминал Вермеера Дельфтского, все известные мне картины которого написаны, как я представлял себе, в одной и той же комнате; я думал о барбизонцах, переселившихся из Парижа в деревню, чтобы ближе наблюдать природу; на мысль приходили мне и «Письма с моей мельницы» Альфонса Доде, объединенные местом, где поселился их автор.

Но когда в середине июня редакция предложила мне поехать в Ростов-Ярославский, откуда обратились в газету с просьбой написать о проблемах осушения заболоченной поймы озера Неро, когда поздним, прохладным после дождя вечером я шел с вокзала длинной безлюдной улицей, вдоль которой чернели тополя, и впереди над сумраком земли возникли в зеленоватом небе главы церквей, а потом и весь кремль с его стенами и башнями открылся вдруг за аркадой гостиного двора, я твердо знал, что это не тот маленький город, который нужен мне.

Побывать в Ростове Великом я мечтал чуть ли не с семнадцатилетнего возраста, когда впервые увидел фотографии ростовского кремля, помещенные в известной книге Б. Эдинга «Ростов Великий. Углич». Я был счастлив тем, что нахожусь в этом городе, но тысячелетняя его история, считал я, заслонит от меня современную повседневность.

Однако я приехал в Ростов еще и зимой, затем следующей весной и летом, а в 1954 году на все лето поселился в пригородном селе Пужбол.

Тем летом мне и пришла в голову счастливая мысль записывать каждый вечер или на следующее утро все события минувшего дня, все то, что удержалось в памяти значительное и, быть может, малозначащее: погоду, разговоры, исторические сведения, портретные наброски, людские судьбы, собственные мысли... Я это делал вплоть до поздней осени 1964 года, приезжая в Ростов зимой и летом, весной и осенью когда на неделю, когда на месяц, когда на два-три месяца, первые три года останавливаясь в том же Пужболе, а потом в самом городе.

В большинстве своем эти подлинные записи, обработанные мною, составили «Деревенский дневник», приближающийся сейчас к окончанию.

Остается сказать, что именно тысячелетняя история Ростова помогла мне в этой моей работе, потому что настоящее не существует отдельно от прошлого, только в Ростове, где за тысячу лет сложилась высокая культура земледелия, я увидел в колхознике наследника многих поколений крестьян, буквально выстрадавших свои знания и умение.

В Ростове же я понял и то, что чувство истории вмещает в себя нечто большее, нежели просто любовь к старине, что оно является категорией нравственной, так как позволяет человеку ощущать себя наследником прошлого и признавать свою ответственность перед будущим.

Наконец, здешняя древняя архитектура и живопись как бы проявили все то, что накапливалось мною в течение предшествующих лет, особенно в юношеские годы, и точно так же, как во всем, что я написал и предполагаю написать, современность переплетается с историей, так и искусство переплетается с крестьянским трудом и природой, но об этом, хочу надеяться, мне удастся еще сказать в будущих книгах.

1967—1969 гг.

2. Арханово

Из записных книжек

1965. Лето.

Житейский случай — необходимость снять дачу — привел меня в эту деревеньку...

Числа 10 июля мы отправились с Татьяной Алексеевной и Николаем Васильевичем¹ в Арханово — искать дачу. Местоположение — между шоссе и железной дорогой. Рядом с Радонежем, известным чуть ли не с XIII века, — центр Боровско-Серпуховского удела; здесь в XIV веке поселился ростовский боярин Кирилл, отец Сергия...

До этого был дождь — вообще дожди были и холода, из-за чего многие сидели в Москве, а потом стало жарко, и все кинулись на дачи.

Пошли под вечер. Через железную дорогу, пересекли узкую полоску елового леса, вытянувшуюся вдоль пути по обеим сторонам оврага, пересекли самое начало этого овражка в лесу — узкую ложбиночку, всегда сырую, — и вышли на знакомое поле, через которое шли не раз, когда Кузьмины жили в Арханове. Середина его несколько вогнута — это тоже начало овражка, — а на краю на фоне

¹ Художники Татьяна Алексеевна Маврина и Николай Васильевич Кузьмин, близкие друзья Е. Я. Дороша, жили и живут недалеко от Арханова. Многие прогулки они совершали вместе. Т. А. Маврина — художник и оформитель посмертного издания «Деревенского дневника», вышедшего в издательстве «Советский писатель». В своих записях Е. Дорош называет их Т. А. и Н. В.

елового леса вытянулась сама деревенька. Поле засеяно сейчас клевером, уже отцветающим (помню, картофель рос здесь). Клевер пахнет тяжело, душно.

Идем по светлеющей тропинке.

Зашли в дом, где жили Н. В. и Т. А., новый, рубленый. Хозяйка — бухгалтер совхоза, коренастая, несколько смуглая, лет под сорок или сорок с небольшим. Муж пастухом работает. Сидят, чай пьют — самовар, вазочка с сахаром на одной ножке, так и в Пужболе, в любой деревне.

Оказывается, сдали уже.

Еще прошли в дом — и там сдали. Меня поразило, что там чуть ли не три терраски одна за другой вдоль дома и примыкающего к нему двора, который тоже, должно быть, обитаем. Хозяйка работает в психиатрической больнице в Хотькове, сейчас она на работе, хозяин — пенсионер, довольно крепкий мужик. Говорит, что сдали. Его спросили Кузьмины, держат ли они корову, он ответил, что нет, зачем возиться, мучиться с кормом, навоз чистить — освободилась баба.

Во всей деревне — здесь хозяйств сорок — ни одной коровы, хотя три года назад многие еще держали.

Сняли дачу, вернее комнату, у А. В. и М. М.

Ей пятьдесят пять должно скоро исполниться. Всю жизнь работала в колхозе, теперь в совхозе на разных работах, то есть на самых тяжелых, зарабатывает пенсию.

Поля: видел здесь и кукурузу и сахарную свеклу. Теперь — нормально: рожь, пшеница озимая, клевера, овес, картофель. Но клеверную отаву стравили коровам — сколько они перепортили, — а можно было косить и подкармливать: ночи длинные... Поля зверски засорены осотом. Рожь скосили так, что жнивье сантиметров в тридцать пять. Дивный овес стоял незрелый до конца сентября, скосить его на силос — поздно, жесткий, на зерно — незрел, посеяли поздно...

Облик деревни — дачные домики каждый наособицу, а была общность, пускай дома разные, но общий стиль был, продиктованный производственными нуждами, климатом, мастерством здешних плотников...

Тяготы и заботы, налагаемые землей, сообщают смысл жизни...

1966. Лето.

Из старой записи: «Нечерноземная — это следующее: из 202 миллионов квадратных километров 75% — нечерноземная полоса, т. е. 150 миллионов. Наиболее густо населенная. Область орошения: 15—20%, безусловно требующих воды».

О Мавриной: она поверяет себя изделиями народных мастеров, она сродни старым русским мастерам, как бы лепившим свои храмы, не знавшим сухости.

Жаркий полдень. Глинистый пруд полон воды, берега заросли цветущими травами, головастики снуют, лягушки кричат. М. М. пришел с работы обедать — он в отпуску и работает в совхозе вместо А. В. Говорит, рожь косили. Я спросил: на подкормку? Хотя мог не спрашивать, знаю, что косят об эту пору рожь на подкормку. Он ответил, что да. Я сказал: откуда эта мода пошла на подкормку зеленую рожь косить? — она цветет сейчас. Неужели это выгодно? Он сказал: какое выгодно. Мы хлеб с мякиной едим, а коров рожью кормим. Хлеб с мякиной он не ест, ест батоны белые, однако злость его понятна. И я разделяю его негодование. Думаю, что травы сеяные выгоднее. А корнеплоды — турнепс, например, которого не видать на полях нашего животноводческого совхоза. Рожь скосят, а потом земля гулять будет? Она ведь не отавится, как травы.

Новоселье у Г. И. Квартира в новом районе — Давыдове, неподалеку от Кунцева, на месте этой самой деревеньки. Трехкомнатная, хорошо отделанная квартира — чешские фанерованные двери, чешский паркет. Сноха Г. И. Валя — миловидная женщина, показывает множество фотографий, которые снимал ее муж,

шофер. Она костромская крестьянка. Четырех лет потеряла отца, умершего двадцати трех лет от язвы желудка. Он оставил двоих детей и третьего, родившегося через несколько месяцев после его смерти. Произошло это году в тридцать шестом, кажется. Мать вышла снова за человека, жена которого выгнала его за пристрастие к вину. Потом он уехал в Москву. К нему же и переехала Валя. Ей было лет шестнадцать, она уже работала в колхозе, в школе почти не училась, жили голодно, плохо. Отчим принял ее, она о нем очень тепло отзывается, говорит, что всем ему обязана. Снимали они где-то угол. Она работала на стройке, потому ее и прописали. И братишку перетащила к себе. А потом и мать с сестренкой переехали. Жили они в бараке, впятером в одной комнате. Валя ткачихой стала работать и девятнадцати лет вышла замуж. Муж, сын Г. И., Лева, попался хороший, непьющий. Он на «скорой помощи» работает и подрабатывает еще. И у нее хороший заработок. У них двое детей. Они бывали в Ленинграде, дважды в Анапу ездили. Все бы хорошо — комнаты не было, жили на шестнадцати метрах вшестером. И вот получили квартиру. Покупают мебель, люстры, обставляются.

Они счастливы. Я радовался за них и думал: а что было бы, если бы она в деревне осталась?

Под вечер, после знойного дня и разразившейся часу в четвертом грозы, пошли с Н. В. гулять в сторону Глебова. Было часов семь, восьмой в начале. Цветущие лужки, пестрые от цветов, слегка золотились. Напротив Глебова, в ложбине, мужик с бабой косили. Косили и у нас в Арханове всюду, обкашивали канавы, дороги, перед грозой посреди деревни баба сгребала в копну раскиданное для просушки сено. За ложком поднимался вверх, к лесу, луг. Пруд блестел среди старых темных раkit. Мы шли дальше тропинкой, ведущей к оврагу, заросшему лесом, на дне его родник, из которого пил Гоголь. Правее нас снова открылся цветущий лужок. Голый до пояса молодой мужик косил, потный торс его оранжево блестел, лаком отливал.

Была гроза, дождь лил, а когда разгулялось, часу в седьмом вечера гуляли с Н. В. вдоль железнодорожного полотна и возле переезда, что ближе к Калистову, в глубине лесной полосы увидел полянку, сплошь заросшую иван-да-марьей... Была она еще мокрая после дождя, и среди сырой травы тесно стояли островерхие лилово-желтые удивительные цветы, они как бы светились лиловым светом... Н. В. не то вздохнул, не то ахнул... Постояли молча. А когда я шел назад в начале девятого, тропинка наша там, где она выходит из ложбинки и идет среди посевов гороха с овсом, освещенная садящимся солнцем, все еще сырая, была красной, а горох светло зеленел. Тропинка глинистая.

Жаворонок все время поет здесь.

Зной. Природа как бы на глазах работает. Все прет из земли, цветет — от клевера, таволги, всевозможных зонтичных, луговых васильков, поповника и до крупинки желто-зеленой или сиреневой на каком-нибудь злаке. Птицы поют. Лягушки квакают. Пчелы снуют. Великая машина.

И душные, тяжкие, острые запахи. Всюду начался покос. Клевер с тимофеевкой начали валить — аккуратные ряды, разделенные зеленой щеточкой, чуть привядшие, серебристо-зеленые, с пожухшими шишечками и вялыми цилиндриками.

Утром, около восьми часов, солнце и зной. Засохшая красноватая глина тропинок, вьющихся среди как бы разваливающихся, в желто-зеленых шариках кустиков ромашки. Улица терпко пахнет ромашкой. А на клеверном поле, которое косят и косят тракторной косилкой, остро пахнет соком трава.

Макушка, вершина лета. День стал убавляться. Сухо, жарко с утра. Горячий ветер. К залахам цветущих трав прибавился запах сена — душный, повсюду разный, то резкий, то сладковатый. Птицы поют.

Часам к четырем-пяти собралась гроза. Погромыхивало вокруг, в высоком

небе, освещенном солнцем, видно было, как где-то рядом льет дождь. Он и у нас побрызгал. Гроза то приближалась, то удалялась. В самом начале шестого пошел к Н. В. Деревня, хоть и нет в ней уже почти ничего крестьянского, работает, думает о зиме. Пришли люди с работы, кто из Москвы приехал, кто из Загорска, сдны дрова пилят и убирают, другие торфяные брикеты привезли, третьи обкапывают канаву, зады косят, четвертые картошку онапывают...

Знойный день. Скошенные клевер с тимофеевкой машиной же собрали в валки, затем начали прессовать в тюки, но машина сломалась, должно быть, приехал «ГАЗ», до вечера сидели над машиной мужики, колдовали...

Временами быстрый дождь срывается с дальним громом; затем снова солнце, душно, жарко, земля на солнце курится дымкой...

Шел к оврагу через лесок, под деревом сидят мужик и две девки, курят, выпивают — должно быть, дорожники, проверяющие рельсы...

После дождя запах сена еще тяжелее. Валки клевера с тимофеевкой пересекают дорогу, люди идут со станции и на станцию, топчут сено. А ведь это все равно что по хлебу идти.

Накануне месяц был в дымке. А с утра пасмурно, дождь. Холодно. Мелкий дождик льет и льет. Грязь. Валки сена на дороге растаскиваются грязными подошвами, к которым сено прилипает, втаптываются в глинистую грязь.

Дождь лил весь день.

В десятом часу ночи было уже тихо, дождя не было, небо прояснилось, месяц краснел, стлался туман над лугами и полями, сизовато белел.

Часу в пятном пошел гулять в поле. Сухие, чуть розовеющие глинистые дороги. Запах подсыхающих хлебов. В чуть желтеющей уже озимой пшенице — крупноколосой, безостой — во множестве белеют ромашки, кое-где кучками синеют васильки. Тихо. Сухо шелестят касающиеся друг друга колосья — это новый звук лета.

Ходят вокруг грозы, тучи заходят, по временам дожди льют.

Утром дымка, обильная роса. Пахнет чем-то поспевающим тяжеловато, сытно, покойно... Тревожные запахи весны, острые, будоражащие, сменились этим чуть прелым, в жаркое время сухим, а в дождь, после него или просто в пасмурный час — сыроватым запахом.

Рано утром А. В. пошла обирать смородину, которая растет вдоль забора, и, прежде чем начать, стала выдирать растущую здесь крапиву, бросая ее через забор. Я проходил мимо, шел к пруду за водой, и она сказала из-за кустов — как бы мне вас не обстрелять. Я ответил, что ничего, она меня не задела, и тут же поинтересовался, как это она голыми руками выдирает крапиву — высокую, заматеревшую, от одного вида которой зуд по коже, но она ответила, что у нее руки привычные, она не чувствует крапивы.

Возле пруда, у пожарного сарая стоял народ, шумели о чем-то, а двое каких-то парней в одних трусах, мокрые, прилаживали почему-то буфер, который всегда висел у «пожарки» вместо колокола, а теперь был кем-то снят; они делали это молча, а их ругал какой-то мужчина.

Выяснилось, что оба они выпили, шли мимо — они из Репихова, — и осенила их счастливая мысль сорвать буфер и бросить в пруд, что они и сделали. Но об этом тут же узнали, из домов стал выходить народ, их принялись ругать, и они, раздевшись, безропотно полезли в воду. Конечно, в городе они этого не сделали бы, еще драться полезли бы, а в деревне, дома, им совестно, и они постарались исправить то, что сделали.

Появились новые запахи: запах ромашки, которой полно в пшенице, запах пижмы, запах густой горячей земли и подсыхающих хлебов.

Жарко.

Лето в разгаре.

Вся деревня с утра и до вечера в ежедневных хлопотах, главным образом связанных с будущей зимой, неизвестных горожанам. Кроме огорода, косят и сушат сено. Пилят и колют дрова. Торф сгружают. Перекладывают печи — перед многими домами желтеют груды песка, кирпич из разобранной печи лежит в штабелях, чернея закоптившимся или обгоревшим бочком.

Сколько энергии тратится на поддержание жизни!

Стал поспевать горох, посеянный с овсом.

В двенадцатом часу ночи шли с поезда, за деревьями впереди мелькнул огонек, показалось — курит кто-то, однако тут же стало ясно, что это пожар или огромный костер, и следом за этим догадка: стог горит. И верно, посреди лесного лужка жарко горел большой стог сена. Мы видели его вчера, когда шли на станцию. Стало страшно, словно увидели убитого человека, а вокруг никого. Ночь. Темный лес. Полукруглый лужок на опушке, освещенный большим и жарким пламенем горящего стога. В деревне было шумно, людно, но это не взрослые были — молодежь, все равно еще не ложившаяся. Говорят, в лесу полно милиции. Пожарные приехали из Хотькова.

Горох стал поспевать, и в нем все время люди, больше всего детей, но много и взрослых — дачников и деревенских, пожилых женщин. Издали подойдишь к серо-зеленому полю и видишь темнеющие среди зелени фигуры. Спокойно, никого не боясь, не смущаясь рвут горох. Ребятишки, заворотив подола рубаш, набивают его горохом, суют в карманы, девчонки в платки, в косынки кладут, женщины — в сумки. Есть среди женщин немало дачниц, те рвут несколько застенчиво и небрежно, иные снисходительно, но рвут. Есть и гарни, приехавшие на велосипедах и мотоциклах, рогатые рули которых торчат из овса.

Молодой человек с колясочкой, а с ним две молодые женщины. Причем одна, жена должно быть, когда шли они сюда, укоряла: ну, разве он найдет, ведь ничего же нет. А он бодро отвечал: сейчас, сейчас... И привел их к полю гороха с овсом, причем с видом победителя, и они, оставив колясочку рядом, принялись есть горох, не столько съедят, конечно, сколько вытопчут.

Когда все уходят, поле — как побитое градом. Овес стоит, а горох, потоптанный, лежит среди него. До этого высокое, густое, ровного сизо-зеленого цвета, теперь оно, поле, выглядит желтовато-серым, смятым, как бы пятнистым...

Потом в горох с овсом выгнали стадо, я слышал, как оно шло утром недалеко от нас, из-за угла сворачивая в прогон, ведущий в поле, щелкали бичи, мычали коровы, но я не знал, конечно, что в горох гонят, не подозревал даже. А в седьмом часу, когда шел к Кузьминым, увидел поле после пастбы вытоптанное, с торчащими все же довольно часто темными растениями овса.

Стадо в горох с овсом больше не гонят, так и стоит поле потравленное, страшное, но не съеденное до конца, — хоть бы уж все скормили коровам... Должно быть, пастуху невыгодно пасти здесь. А соседнее поле скосили, на силос должно быть.

В пшенице позади деревни, подступающей прямо к дороге, идущей по дам, я увидел две широкие, на небольшом расстоянии тропинки. Они были вытоптаны в пшенице, и это было не только дико — кто же это так безжалостно топтал почти поспешную пшеницу? — но и странно, нелепо, потому что тропинки никуда не вели, кончались вскоре, да и почему две тропинки рядом, идеально прямые, обе чуть закругляющиеся в одну сторону? Я прошел несколько и увидел такие же две тропинки дальше. И тут меня осенило: это грузовая машина, привозившая кому-то торфяные брикеты, или дрова, или стройматериалы, выгрузившись, разворачивалась, въехав задом в пшеницу, смяв ее, пока туда ехала, и прикатав еще раз, когда выезжала. Вероятно, одна и та же машина. Ну, шофер — ладно, но как же это допустил хозяин, крестьянин этой деревни!

Ильин день — теплый, серенький, по временам с дождем, с отдаленным, раза два, раскатом грома. Вчера была гроза.

Лето удивительное — жаркое, с дождями, с грозами, все прет из земли, все поспевает, господне лето, как сказал кто-то. Жара, грозы и... инфаркты.

Безоблачный жаркий день. С утра и до вечера рокочет трактор — под озимь пашут.

В начале седьмого, когда вышел из дому, увидел среди зеленых клеверных полей разостлавшуюся косыми углами по склонам и опустившуюся в центре в ложбину свеже-коричневую пашню.

В сухом воздухе пахнет миндалем.

Когда около девяти часов возвращался домой, над клеверной отавой и над пашней повис сизоватый туман стелющейся полосой.

Утром вышли из одного дома шесть девушек лет по семнадцать—восемнадцать, школьницы недавние, только что кончившие, или работницы с фабрики, вчерашние, собственно, школьницы, причесанные по-модному, скромно, но хорошо одетые, зашли, видимо, за подругой и теперь куда-то отправились. Так только в провинции ходят — под руку, в шеренгу.

Одна девушка рассказывала, как какой-то парень при ней закурил, рассказывала с возмущением. «Ты что делаешь, — спрашиваю я его, — как ты смеешь при девушке курить, не спросив разрешения?» А он сперва: «А что я делаю?» Потом: «Маргарита, можно, я закурю?» А я ему: «Я тут не одна». Он тогда спрашивает: «Надежда, можно, я закурю?» А она: «Кури, кури, Валерка». Вторая девушка подхватила: «Она всегда так, она рада ему разрешить».

Первая девушка, видимо, первая в о б щ е.

* * *

1966. Осень.

Холодное солнечное утро. В половине седьмого утра окна мокрые. Солнце сияет. День ясный, солнечный, синее с белыми облаками небо. Временами дует северный ветер, он дует порывами почти весь день, постепенно затихая к вечеру. Когда тихо — тепло. Бревенчатая комната, ситец, фотографии (Ростов), циновки... За окном георгины и золотые шары. Деревня, провинция. Вечно живая русская провинция, о которой Лукомский писал, что она умирает. Пруд отцвел, вода в нем чистая, прозрачная. В начале лета она была желтоватая, глинистая, кише-ла головастиками, затем — зеленая, а теперь — прозрачная.

Около восьми вечера шли на станцию. Свежо. Народившийся месяц. Черная стена елового леса почти по всему горизонту, коричневато-лиловая (охристо-лиловая) пашня, засеянная рожью. Сиреневый клевер (отава зацвела).

Вспомнилось фетовское: «Какая холодная осень! Надень свою шаль и капот. Смотри: из-за дремлющих сосен как будто пожар восстает». Обрато шел в десятом часу. Чернел лес, и сиял месяц — пожар.

Над коричневой пашней перепархивают статные полосатые черно-серые трясогузки, опустится которая-нибудь на пашню, быстро пробежит, пройдет немного, снова вспорхнет.

Половина восьмого. Вечер. Солнце садится. Рыже-оранжевая пашня с красными травинками озими. Полный месяц.

Ночью был мороз, а с утра тепло, сперва низкие серые облака, затем они разошлись, солнце выглянуло, небо синее в белых облаках.

Разъезжаются дачники.

День солнечный, тихий, прохладный.

Гуляли с Н. В. и Т. А. Н. В. сказал, что в литературе, едва только догадается об авторском построении, о сочинительстве, так сразу же теряет интерес, что больше всего интересует его правда, достоверность...

Ботва картофельная почернела, вся деревня начала копать картофель.

Стадо снова пасут на клевере, отава которого очень хороша. Коровы топчут клевер.

Вечером выходят жители окрестные собирать коровьи лепехи с ведром, а один с ванночкой на тачке.

Росистое солнечное утро. Окна запотели. В самом начале восьмого, когда я открыл занавеску, в глаза ударило белое и пестрое — это школьницы-первоклассницы шли с букетами серединой улицы, здешние и из Антипина. Шли и мальчишки в синих беретах и серых курточках, чистые, важные. С некоторыми — родители. Вся улица была в школьниках.

С утра прохладно, но солнечно, потом, к обеду примерно, подул вдруг резкий холодный ветер, обрывающий листья, небо заволочло, однако ветер утих, солнце проглянуло, стало тепло, небо засинело, покрылось перистыми и кудрявыми облачками.

Клеверное поле все в черных шишечках. Мороз побил цветы, еще несколько дней назад ярко-сиреневые. Коровы пасутся в клевере, но сегодня поздно, часам к семи они пришли по пути домой, а до этого пастух пас здесь одиночных коз.

Когда шел домой и над тропинкой, вытянувшись в длину, толклись толкунчики, вспомнилось, как Николай Васильевич сказал, что они с Татьяной Алексеевной открыли, отчего к вечеру толкунчики над дорогой толкутся: от земли сыростью тянет, прохладой, а убитая дорога за день нагревается солнцем и отдает тепло.

Ночь была месячная, росистая, чернели дома, блестел пруд.

Утром обратил внимание на то, как свежо розовеет в красных крапинках раковая шейка, цветы которой, длинные, крупчатые, хвостиками свисают среди мокрых зеленых листьев.

Черноголовая и белошекая, с желтой дымчатой грудкой и спинкой, с чернобелыми крыльями и хвостом птичка прыгает перед окном — синица.

Теплый и сухой солнечный день, всюду копают картошку. Уехали в Москву.

День холодный, но солнечный. Зеленое, и желтое, и оранжевое, и синее.

Студеный воздух.

Смахивает на покров.

Солнце.

Небо серое, дымчатое, местами синее. Зеленеют озими, а за ними черно-зеленый с желтым и оранжевым лес, где каждое дерево стало объемным, он весь рядами, планами, причем следующий выше предыдущего, и среди леса синеет высокий, чуть изогнувшийся дым костра.

Все сейчас чуть влажное, чистое, словно хорошо промытое.

День холодный, дождик висит, осенью пахнет. Когда шли на станцию, молодая баба копала картошку на усадьбе возле крайнего дома, что выходит на озимое поле. Все другие выкопали, они копают. В черных, побитых морозцем кустах стоит картофельный участок. Деревенские говорят, что они так всегда, который год, последними убирают.

Большие, сытые, почти круглые сороки жмутся к домам, перепархивают с дерева на дерево.

Сыро, сумрачно, однако тепло. В сером воздухе перед вечером свежо зеленеют озими, сизая дымка между деревьями леса — темного, с бурыми, желтыми

и оранжевыми пятнами, разделившегося на отдельные деревья, чего не было летом, когда он весь был зеленый.

Ночью был дождь и утром, а день вдруг солнечный, теплый, даже жаркий. Первый день бабьего лета.

Говорили с Николаем Васильевичем о народном искусстве: функциональность его, делание необходимых в быту предметов или игрушек, а не украшений на полочку, не сувениров — все это определялось укладом крестьянским, самое существование промыслов тоже определялось условиями сельскохозяйственного производства: промыслы были там, где земли бедные, где сырье рядом, где длинная зима требовала каких-то занятий. Всякие попытки регламентировать промыслы, предпринимавшиеся еще земством — рисунки давали, — убивали искусство, его душу, артели становились производителями безделушек. Хотя сам мастер всегда был переимчив. живо отзывался на все виденное, чему пример и ярославские живописцы (и костромские и пр.) XVII века, творчески использовавшие библию Пискатора, и мастерицы-кружевницы, и живописцы по дереву — донца, прялки, — перенимавшие новое.

Перед вечером, когда солнце садится, тропинки среди озимей сиреневые.

Иван-чай давно отцвел, высокий, он весь в колечках, образовавшихся оттого, что созревшие стручки лопнули, выронили семена, а кожица завилась, причем книзу, со всех сторон торчат из ствола, а несколько верхних стручков, еще зеленых, полных семян, стоят пучком кверху. Растение напоминает кованый железный светец, вернее светецы напоминают это растение, причем верхние стручки — это гнездо для лучины.

День пасмурный, по временам солнце, дождик сеется, а к вечеру сухо, но пасмурно, холодно. Зеленеют озими, лес стоит черно-желтый, обильно сыплется желтый лист. Татьяна Алексеевна говорит: позем-то весь желтый. Прудовая вода. Ходили к Глебову. Свежо. Холодно даже. Осень. Печально.

Деревенский осенний вечер. К вечеру поднялся ветер, сильный, резкий... Дождь полил.

Утром холодно, ветер и солнце. Небо синее в белых облаках. Озимое поле отчетливо зеленеет за деревней, чуть горбясь. За ним остроконечный черно-желтый лес. Все сухо, ясно, четко.

А. В. дерет свеклу, репу, редьку. Обрезает ботву — для поросенка.

Потом она сгребает праблями в кучу сухую уже картофельную ботву. Весь день работает, как и все в деревне.

Думал о том, как тесно связана классическая наша проза с деревней, со всем укладом ее, с природой. И не только содержание прозы, но самый склад, и лад ее, и ясность.

Гуляли с Н. В. и Т. А. — ходили в сторону Абрамцева, к Воре у Репихова.

Пахнет сухим листом, землей. Осенняя ясность и сухость. Ветер стих. Вечером, когда шел к Арханову, солнце садилось, синий дым на огородах — ботву жгут.

Кинематограф и фотография взяли на себя значительную, собственно почти всю, долю информации, оставив живописи все эмоциональное (и у них это тоже есть), можно сказать, освободив живопись.

Русская архитектура монументальна, но нельзя, сочетая с новой, превращать ее в статуэтку (пример — церковь на улице Воровского и новые здания)...

Крестьянское искусство: мягкость, непосредственность, живость... К слову сказать, природа не знает сухих, геометрических линий, в природе все мягко, округло, живо. Последнее в том смысле, что линии как бы прерываются, возни-

кают снова, не повторяют одна другую. Крестьянское искусство много взяло отсюда, особенно резьба, живопись...

Писателю необходима смелость (вообще художнику), смелость высказывать то, что думает, не боясь показаться смешным, наивным, отсталым — словом, не боясь быть отличным от общепринятого... Это куда шире смелости в том смысле, что не бояться критики, недоброжелательства и т. д., — смелость иметь собственное мнение. И еще образ жизни, он, собственно, формирует взгляды.

Приехали часа в два дня. Лес в инее. Снег в полях, из-под которого темнеет смятая озимь. Глинистые замерзшие ухабы коричневато темнеют в снегу. Замерзший пруд, и ребята на коньках, многие с хоккейными клюшками.

Чернеет кустарник — особенно в оврагах, между которыми лежат заснеженные поля с торчащими из-под снега смятыми темно-зелеными травинками озимей на окоченевших гребнях пашен.

Дым из труб.

Черная ночь была морозная, с великим множеством звезд разной величины...

Утром красное солнце. В черном хвойном лесу вдоль Вори, как бы между двумя стенами его, синеватый легкий туман.

У соседей свежуют на снегу во дворе желтовато-белую, словно прокуренную, козмату, в пятнах крови, голько что зарезанную козу.

Ехали в Александров и дорогой с Турковым рассуждали о современной архитектуре.

Я высказал мнение, что, во-первых, современная архитектура — конструктивистская — ближе к древней, античной и древнерусской, нежели все стилизации, так как конструкция, рациональное размещение объемов в пространстве, и сейчас и тогда определяла лицо архитектуры; во-вторых, что высотные здания, скажем американские небоскребы начала века, имели материалы, но эстетика была еще старая, XIX века, отсюда их эклектизм; а наш конструктивизм имел новую эстетику, но не имел надлежащих материалов и строительной промышленности вообще, чтобы воплотить эту эстетику.

* * *

1967. Весна. Лето. Осень.

С утра солнце. Небо ярко-синее с наползающей черной тучей. Повалил снег — крупными мохнатыми хлопьями. Солнце и снег. Потом солнце скрылось. Снег стал падать круглыми горошинами. По временам выглядывало солнце, потом тучи закрывали его, дул резкий ветер, густо падали похожие на град снежинки. В конце улицы, казалось, клубится дым.

Вышли погулять.

Зеленая строчками озимь.

Склон, идущий к Воре, кажется южный, весь в лиловеньких цветочках. Они лиловеют в отчасти бурой, отчасти зеленой, заваленной созревшими листьями траве — пробиваются сквозь листья.

Весь берег Вори зарос черемухой, покрытой остроконечными лопнувшими почками, в каждой из которых между двумя листочками сидит тугой, зеленый пока цветочный бутон. Эти остроконечные зеленые точки пестрят на фоне переплетающихся серо-черных ветвей.

Вода желтоватая, местами быстрая.

Туристы переволакивают байдарки через завал в том месте Вори, где торчат остатки плотины — это место называют здесь «сукновалка», — где омут и тихий обводный, местами залпывший канал.

Солнечно, однако прохладно и ветрено. После обеда пошли к Радонежу через Антипино. Шли колхозным садом, занятым обширным склоном. Многие

яблони какие-то обглоданные. Сад довольно молодой, редкий, производящий впечатление неухоженного, неплодоносящего... Земля между рядами яблонь вспахана, темнеет коричневатыми полосами, сами же деревья торчат из сероватой спутанной прошлогодней травы. В одном месте, справа, участок, засаженный смородиной, кусты которой в сплошь зеленоватых искорках раскрывающихся почек, а между кустами серая солома — должно быть, на зиму укрывали.

Через Ворю прошли мостиком.

Здесь широко видно вокруг. На склонах увалов, спускающихся в долину Вори, оттуда, где Антипино, темнел народ — гулять шли или в гости.

Поднялись по крутой горе, на которую повернула и идущая откуда-то справа электропередача. Ярко зеленеют ели. Вошли в лес. Идем осинником по преимуществу, среди которого много елок, сосенки встречаются, — до этого справа сразу же за Ворей топорщились на склоне ряды саженых сосенок и остроконачено торчали еще не распустившиеся, едва опушенные лиственницы. В лесу птицы перепархивают и гомонят — скворцы, щеглы, какие-то зеленогрудые... Мало ваlejника, мусора в сероватом лишайнике. Сверкает колея, полная воды. Постепенно воды все больше — и на дороге и по сторонам... Желтовато-зеленая осока — ширококабельная какая-то, торчит из воды, из чернеющей сквозь воду грязи. Зеленеет остроконачный, елчатый сфагнум — он и заболачивает этот лес на горе. То, что это делает сфагнум, концентрирующий (или конденсирующий) атмосферную влагу (кажется, так), это я знал. Появление сфагнума не только свидетельство образования болота, но и причина заболачивания, однако отчего этот сфагнум появляется, даже так высоко?

Подшли к Радонежу с другой стороны, с какой никогда не подходили, — с запада. Церковь белеется за валами городища как бы за высоким холмом.

Когда возвращались, щегол, перепархивая, бежал впереди, вспорхнул, не боясь нас, на дерево — лениво вспорхнул, независимо.

Всюду в озимых полях полуразрушенные скирды старой соломы, трухлявой, конечно, служащей прибежищем несметным мышам. В иных местах скирды совсем жидкие, разбитые, в черных язвах — здесь жгли, но не сожгли еще. Иные горят — дым стелется. А ведь это подстилки. Жителям здешним — не могу сказать о них «крестьяне» — солома едва ли нужна, коров уже никто не держит, да и не получили бы они эту солому. Но я не могу поверить, что животноводческому здешнему совхозу, производящему молоко, она тоже не нужна. Ведь чем больше подстилки, тем больше навозу. Я думаю, что навоз ежедневно выгребают, он промерзает, вымывается водой и — ничего не стоит. Кроме того, возить солому, расстилать ее коровам — это расход, за это платить надо. Проще сечь. А ведь бедные здешние суглинки слабо удобряются и дают плохие урожаи.

Когда входили в наш ельник, здесь гуляли несколько местных жителей, празднично одетых. Мужик лет тридцати пяти, белолицый, рыжий, сытый, вместе с мальчонкой жег ствол огромной ели. Они зажгли запекающуюся на коре смолу, она, весело потрескивая, пылала, выжигая в стволе глубокую язву. Посмотрел он на нас несколько смущенно. Делается это для того, чтобы ель упала, тогда ее уволокут на какую-либо поделку. Такую же точно исполинскую, с выжженным в ней дуплом, треснувшую в этом месте и упавшую ель мы видели и в лесу за Ворей, недалеко от Радонежа.

Сперва сережки, чуть распутившаяся черемуха (как раскрытые клювы — листья, а из них глядят гроздья нераскрывшихся бутонов), и редкие цветочки в траве, и солнце большое и красное садилось в лиловое облако, а перед ним высокие черные ели...

Потом — на другой день — так жарко, что запах горячей хвои перекрыл все запахи весенние, и даже в деревне пахло душно горячей смолой.

Дня два назад у А. В. стали вылупляться цыплята. Вчера и сегодня, вытацив на улицу решетчатый ящик, куда она сажает наседку с ними, она стоит утром, забыв все заботы ожидающего ее дня, и любит ими — черными, ры-

женькими, желтыми с белым, — отличает повадку каждого, говорит, что трое самых слабых еще под наседку спрятались, а вот этот какой шустрый, а самого последнего, совсем слабенького, она отсадила, кормит отдельно, пускай окрепнет, тогда она его подсадит, и как хороши черненькие, они особенные какие-то...

Вот это и есть поэзия крестьянского труда. И это же источник нравственной силы, душевной если не чистоты, то очищения.

Часов около двенадцати ночи где-то левее пруда, за усадьбой старухи, избенка которой скособочилась, обветшала и своими маленькими окнами и крыльцом с навесом, тоже покосившимся, бывалошным, напоминает старую, живущую землей деревню, — где-то за этой чуть запущенной усадьбой, не похожей на дачные, как у остальных, а пахнущей провинциальным глуховатым огородом, заливается и щелкает соловей.

Утром, когда брал воду из пруда, А. В. сказала: надо, чтобы Борис опустил мостки... Воды в пруду мало. Пахло незацветающей водой. Поговорили о том, что дождей мало, ночи холодные, дни сухие, ветреные. Огурцы почти не растут, картошка плохо идет. Хоть и не живут здесь землей, а все же говорят об этом с тревогой отчасти оттого, что картошка своя, отчасти же в крови это — ощущать свою зависимость от солнца, дождей, ветров...

Ветренный солнечный день. Вокруг деревеньки нашей, подступая к усадьбам, волнами ходит серо-зеленая рожь, и от этого мир на душе и щемящая печаль, ощущение тысячелетней России, хотя в деревне уже почти не осталось землешапцев, работают в городе, только три-четыре бабы состоят в совхозе.

Ветер все время приносит какие-то запахи — цветущей ржи, елового леса, темнеющего вокруг ржаных полей.

В восьмом часу отправился на прогулку. Пошел пыльной мягкой дорогой — Пушта бежала впереди, и из-под лап ее взвивалась пыль, — слева, уходя вниз, колыхалась рожь, и я видел ее сверху, ее лежащиеся один на другой колосья, и справа, но только выше, стеной стояла рожь, я видел стену ее стеблей, щетинившуюся поверху. Заросший овраг уходил вправо, а справа тоже зеленели за рожью деревья — над угадывавшейся внизу Вореи. Потом дорога раздвоилась, ушла вправо и прямо, вниз, к реке, я пошел вправо, но не по дороге, а оврагом, в этом месте широким, выкошенным. Пахло сеном. Дошел я до конца лужка на дне оврага, уперся в заросли, где было много крапивы и малины, и, чтобы не продирались крапивой, полез в гору по заросшему черемухой, и березками, и осинкой, и могучими елями склону, но вышел не на наше ржаное поле, так как шел я оврагом, уходящим влево, а не правым его отрогом, — вышел на только что вспаханное под озимь поле, где еще недавно была пшеница, скошенная на силос... Пересекать его мне не хотелось, чтобы попасть на наше ржаное поле, подступающее к деревне, я шел вперед и вперед, забирая все влево, дальше от сухой, пылящей пашни, пока не попал на дивный лужок, округлый несколько, со всех сторон замкнутый лесом, росшим по склону оврага. Лужок был не тронут, бронзовел от мятлики, пестрел цветами, опушенными цветением цилиндриками тимофеевки. Я обошел его краем, пчелы, и осы, и шмели, и бабочки хлопотали над травой, поблескивающей, искрящейся и от росы и от повернутых к солнцу мельчайших плоскостей колосков, лепестков, листочков. Пахло свежо луговым цветом, тонко. И опять я полез в овраг, продирался через крапиву с малиной, ногами ощутил холодную сырую землю на его дне. Пушта, кинувшись вдруг вперед — до этого она трусливо шла за мной, — буквально на брюхе поползла по дну ручейка, в котором было больше жидкой грязи, чем воды. Я взял несколько левее, перепрыгнул ручеек в его верховье, полез по крутому склону сквозь трещащие заросли черемухи, лецины, осинки к светящейся за деревьями земной поверхности и вышел на широкое, окаймленное лесом овсяное поле, уже выколосившееся. Обойдя овсы по краю, вошел в выкошенный ложок, над которым одиноко стоял крепенький раскидистый дубок, шел некоторое время не то овсами, не то ячменем — лист темный, широ-

кий, — причем все по краю, все обходом, вошел в просторный, солнечный, шумящий птицами, пахнущий и сеном, и цветами, и хвоей, уже выкошенный лес, котрым, выйдя на затравенелую колеистую дорогу, и вернулся в деревню.

Раннее утро. Прохладно. На берегу пруда, куда года два назад выпустили мальков, уже сидят рыболовы с удочками, рядом любопытствующие. Иные выйдят из домов, справляются, как клюет. Я не пойму, кто из них деревенский, кто дачник-пенсиянер. По виду все одинаковы. Это уже не крестьяне настолько, что даже на усадьбе, где все время хлопочут женщины, им копать неохота, и от косьбы они освобождены, коров ни у кого нет, а для козы много ли надо. Среди них милиционер, штукатур-пропойца, нигде не работающий... Других не знаю. Остальные, из деревенских, работают на железной дороге, в Москве, в соседней деревне на ткацкой фабрике, у иных выходной, другие в ночной смене или, вернее, в вечерней.

Все это ни город, ни деревня...

Пока был туман, белый, дымчатый, в восемь и в девять утра, и только рожь желтела за деревней, рядом с домами, отчасти на корню, отчасти обмолоченная, круглыми кучами соломы, и за желтой рожью темнели в тумане черные елки, что растут в овраге, а дальше все было затянато серебристой дымкой, — пока было так, ласточки во множестве сидели на проводах, протянутых и вдоль деревни от столба к столбу и от столбов к домам, сидели, опустив длинные свои раздвоенные и остроконечные хвосты, и все разом наперебой щебетали, только иные из них низко летали над прудом... Но в десятом часу выглянуло солнце, туман засветился, стал слегка редеть, и ласточки разом кинулись прочь, рассеялись, щебет их слышался повсюду, рассеянно...

М. М. приехал с ночной смены, узнав, что дома руют картошку, смотался в город — подработать: он землю не любит, отбилса совсем, пьет, но смирный. Жену называет «дура» — зачем много работает в совхозе. Она зарабатывает пенсию, последние месяцы. Уйти раньше времени с работы совестно, говорит — нельзя же. Из всей семьи она одна крестьянка.

Ночь была ясная, звездная, месячная — в десятом часу полный месяц сиял над деревней, освещая улицу, — блестел пруд, в домах горели еще огни — ложатся поздно. Было не холодно.

А сегодня в седьмом утра туман, седая роса. Покатое, идущее книзу поле за нашим домом, вечером еще коричневое, зеленеет иголочками озими. Пастух (козий) неумело хлопнул бичом, пошел, похрамывая, улицей, погнал блеющих, выглядевших ободранными коз. Одна бабенка опоздала, корила его, что он не хлопает, они препирались, малый доказывал, что хлопал, говорил: «Что же, я хуже хлопаю?» Имелся в виду, должно быть, какой-то другой пастух... Вчера из оврагов между Репиховом и Архановом и в других местах (овраги незаросшие) тянулись, белея на зелени, козы. Стада шли в гору, как на Кавказе.

Восьмой час в самом начале.

Туман. Высокие черные елки за нашим домом стоят в тумане как бы отдельно каждая, в ряд, а за ними темнеет лес — теперь я знаю, что он невелик, что он даже и не лес, а заросший по преимуществу ольхой и осинной овраг или, еще точнее, коренной берег Вори, она течет где-то невдалеке.

Тепло относительно. Роса необильная. Вчера была теплая ночь, точнее — вечер; когда шли со станции в девятом часу, небо было затянато, но темно не было. Впереди шли юноши и девушка с туристским мешком, ведерком, транзистором; фонариком освещали себе дорогу.

Вообще из поездов, приходящих после семи, вываливались пачками туристы — редко парочками, чаще всего компаниями, причем какой-то «старшой»,

находившийся в каждой компании, громко скликал своих в одно место, постоянно оказывалось, что кого-то не дозовутся. У всех мешки, рюкзаки, скатанные в рулоны нейлоновые или еще там какие-то упругие подстилки, гитары, транзисторы...

В Репихове в магазине сельпо, напротив фабрики, полно народу, многие сидят на крыльце (крыльцо высокое), бежит смена в ворота фабрички, две женщины — одна лет сорока с небольшим, другая, стриженная, в тяжелом красном плаще, лет под сорок, обе устало разговаривают; речь идет о работе, кем легче, вернее, труднее работать на фабрике. Женщина помоложе, работающая, как выясняется из разговора, ткачихой, недоумевающе говорит: «И чего это нашу промышленность называют легкой, какая она легкая?»

Ходили в Радонеж через Кароськово. Серое утро. Темные остроконечные ели, и ольха, и осина — в конце поля, заброшенного, заросшего сорняками. А входись в этот лесок — и за ним деревенька. Тихая. Улица заросла травой. В сером воздухе голубеет выкрашенная масляной краской по бревнам изба. Перед ней зеленый лужок и серые развалившиеся дворы в конце, на краю его. Пахнет ботвой картофеля, навозом — здесь еще коров держат, — дымком: что-то жгут на задах одного из дворов, и дымок синее в сером воздухе. Прошли деревню. Желтое поле овса, кисти его в крупных зернах, видных издали, он высок. Сбоку поля на луговине пасется черная телочка (она и позавчера была здесь же, когда шли с Кузьмиными). На краю поля опять лес (все-таки не вырубил все вокруг себя сплошь мужики, деревеньки и нивы как бы в лесу). Входим в этот лес, идем оврагом, выходим снова в поле — скошенное, — на краю которого, вдаваясь в него мысом, лесистый холм, поднимаемся на него, а с двух его сторон (он словно врежется в бездну) глубочайшие овраги, поросшие исполинскими елями, тонкими, острыми, и осинкой, и березой, и рябиной... Оснований деревьев не видать, они во тьме оврага, и между стволами их, где все заросло и перепуталось, как бы тьма держится дымчатая и что-то шумит — речка где-то вблизи, Пажа; впрочем, скорее всего деревья шумят вершинами, они все высокие, вытянутые, покачиваются. А на вершине холма пни старые, высокая грубая перепутавшаяся трава, сосны высоченные, редко поставленные, и под ногами пружинит: не косят здесь и травы, отмирая, ложатся год за годом. Спустившись, вышли в поле, впереди в туманной дымке — церковь Радонежа, а там, правее церкви, над угадываемой Пажей, высится и сейчас еще неприступная гора с валами вверху, слившимися с ней. Гора и валы заросли деревьями, из-за которых едва виднеются кресты деревенского кладбища. Мимо крепости полями идут вдаль деревянные просмоленные черные столбы электропередачи. Правее желтеет дорога и мост через Пажу, по которому проехала машина. На горизонте, совсем в тумане, Воздвиженская церковь.

Стожки стоят на лугу перед Пажей, перед Радонежем.

Пажа в одном месте чуть ли не сплошь закрыта широкими листьями кувшинок. Ракиты растут по обеим ее сторонам, свешиваясь над нею. Река стоит, только правее слышно журчание: стоячая эта вода тоненькой струйкой просачивается и изливается в омут — чистый.

Ночью был дождь. В шесть часов сорок пять минут тихо, тепло, сыро, небо серенькое, но не сплошь, где белесый просвет, где редкая черная дымчатая тучка... На деревьях, на каждой травинке висят капли. Пахнет ботвой картофеля, уже два дня как начавшей чернеть.

Все окрестные наши холмы, округло спускавшиеся к заросшим лесом оврагам, к извилистой Воре, хотя и не видны, но ощущаемы по раkitам и ольхе на складках земли, — все распаханное наши холмы среди повсюду чернеющего высокими елями леса, вчера и позавчера еще коричневые, сейчас игольчато зеленеют озимью.

Дважды в году бывает так покойно — в середине лета, когда стоят по лугам стога, и осенью, когда озимь вошла.

Ночь холодная. Заморозок был. Утро прохладное, земля как бы чуть зазябла, озими еще выше подняли свои иголочки, наш холм и поле у его подошвы, в долине Вори, исчерчены строчками посевов. Легкий туман вдали, где лес чернеется вдоль Вори. Фабричка дымит посреди оврага, широкого, с плоским дном, сбоку которого, омывая фабричку, течет Воря. Мачты высоковольтки там, и какая-то решетчатая высокая мачта — локатор, что ли? — и крыши серые домиков, и желтые стены двухэтажного жилого дома возле фабрички — все индустриальное, но миниатюрное, домашнее какое-то, здешнее, коренное...

Небо чуть голубеет, кудрявятся не то лиловатые, не то сероватые облачка. Солнце проглядывает. Сыро. Прохладно. Свежо. Очень легко дышится...

Иду вдоль реки чуть поодаль, а возвращаюсь прямо над нею тропкой, вытоптанной в траве по кромке крутого ее берега, а навстречу, потрескивая ветками, идет бело-черное стадо, коровы огромны, мелькают среди тоненьких стволов березки, ольхи, осины... Коровы останавливаются, смотрят недоуменно, но хлопают бичи, слышатся крики пастухов, и коровы идут дальше, унося теплый свой запах, особенно ощутимый среди осеннего утреннего холодка...

Шесть утра. Холодно, ясно. За Ворей над высокой зубчатой стеной елового леса, касаясь ее нижним краем, стоит большое малиновое солнце. А напротив, значительно выше, белеется в небе пошедшая на ущерб луна. Тихая Воря в тени высокого берега вся в распластавшихся водорослях. В одном месте, где реки за ракетами не видно, на фоне тонких высоких елок, растущих на противоположном крутом берегу, дымится поднимающийся от реки туман. Все мокрее трава, с башмаков скатывается вода.

С обеда погода начала «ломаться», к началу третьего все небо посерело, только на западе что-то светилось, но именно оттуда набежал ливень, быстрый, светлый, перешедший в меленький дождик. Скоро он кончился, однако стало сыро, пасмурно.

Наши хозяйева кончили копать картошку.

Утро холодное, солнечное, росистое — звонкое утро. День солнечный, тихий, прохладный. Резко пахнет картофельной ботвой, пальм листом.

Стадо пасется в клеверной отаве — она удивительна, цветет клевер, тимофеевка цветет.

В половине седьмого бледное холодное солнце проглядывает в просветах между облаками. Облака странные — где солнце, они сплошными мазками, серо-лиловатые, а в остальной части неба клубочки розовато-серые и белые с лиловинкой, а между ними бледная голубизна.

Сыро от росы, хотя ее не очень много. Ветрено.

А день все же солнечный, все теплее и теплее.

А. В. пришла с работы часов в двенадцать, оказывается, она поработала часа полтора и ей и еще одной пожилой женщине управляющий сказал, чтобы шли домой — народу много, — приложили бы во вторую смену: с четырех до двенадцати. Я спросил, что делать будут. Она ответила, что сортировать картошку. Я спросил, нет ли кого помоложе для ночной смены. Она ответила, что у них молодых никого нет.

В отделение входят Антипино, Арханово, Репихово, Кароськово, Городок и, кажется, еще деревня. Всюду я бывал, земли эти чуть ли не все исходил — земли порядочно, и неплохая она, особенно если удобрять, и деревни не маленькие.

А. В. говорит: платили бы хорошо, работали бы. Антипино, рассказывает она, когда было колхозом, до укрупнения, не нуждалось в рабочей силе, молодежь оттуда не уходила, давали чуть ли не двадцать килограммов картошки на трудень.

О Глеbove она рассказывает, что было там до коллективизации дворов пять. Вчера мы там были, видели — земли совсем мало. А теперь это сравнительно

большая деревня, дома хорошие, большие, некоторые с мансардами, дачного типа — один как бы двойной, на улицу трехкоконный, деревянный, а к нему вплотную, где двор был, окнами на зады, кирпичный домик, коттедж под высокой крышей, где мезонин. Анна Васильевна говорит, что спереди мать живет, а в новом — сын. Они раньше дачникам дом сдавали. И верно, все там сдают, причем за хорошую цену — место дивное, — а сами живут в крохотных домишках, во дворах, где окна сделаны чуть ли не в бывших баньках. Своеобразный рост деревни... А сосед, живущий в финском домике рядом с нами, сперва у старухи двор купил, работал некоторое время в совхозе, потом поставил финский домик, огородился, вышел на пенсию, живет здесь с женой, хотя в Москве квартира; там дети, они сюда приезжают теперь на дачу, здесь и картошку сажают.

Пошли на Репихово — «смотреть» дорогу на Хотьково, прошли Репихово низом, берегом Вори, а наверху, на крутом коренном берегу, в ряд вытянулись яркие домики: голубые они, и желтые, и красные, и все масляной краской. Никогда так ярко не раскрашивали на Руси дома крестьянские и мещанские.

Идем долиной Вори.

В одном месте луговой ее берег буквально загажен каким-то гнилым болотцем.

Идем по тропинке озимым ржаным полем, через поле, к Воре, течет по склону бойкий ручеек, разрывая пашню, через несколько лет будет здесь, несомненно, изрядная щель, а там и овраг. Это завод какой-то хотьковский спускает из отстойника воду. Вода на вид чиста, быть может, Вору она и не портит, хотя от этой некогда рыбной речки ничего и не осталось в смысле рыбности ее, а уж пашню она губит, между тем здесь и так хватает оврагов, земли пахотной мало.

Перейдя путь железнодорожный, идем вдоль полотна, по узкому мосту со ступеньками, пересекли снова Вору, углубляемся в абрамцевский лес — сыро чуть, и прохладно, и местами солнечно. Художник на мосту пишет речку. Молодая женщина, и пожилая, и девочка греются на солнце. Туристы играют в мяч.

Исполинские, буквально мачтовые ели, березы, ольха, раскидистый орешник, овражки, овраги, лужайки, солнце и тень. Сырость и тепло.

День до конца был солнечный. Выстоял.

Теплая звездная ночь, вернее вечер.

Утром пасмурно, небо сиреневато-серое, туманное, и в нем довольно высоко над чернеющим лесом — красный круг солнца. Оно поднималось выше и уходило в эту сиреневатую серость, пока совсем не исчезло. Все посерело. Не холодно, однако и не очень тепло. Тихо стало, все замерло. И вдруг хлынул шумный мелкий дождь.

Шел клеверным полем, среди которого, пестрея черным и белым, паслись коровы, и слышал разговор двух молодых здешних мужиков, возвращавшихся с работы, — они шли с электрички.

Говорили, что зря травят коровам клевер, сколько они вытопчут да много недоедят, — сейчас ночи длинные, надо бы косить клевер да скармливать его. А клевер хорош, осенний-то лучше летнего. У него была вся мягкая сверху до низу. И еще говорили, что вон где-то — не то читали, не то слышали — скот на ночь в летнее время не загоняют в скотные дворы, на полянах подкармливают и т. д., а здесь нет, здесь председатель (так они управляющего отделением совхоза еще по старой памяти называют) получает жалованье, что ему...

До обеда пасмурно, тучи иссиня-серые, какие-то снеговые, и ветер. Холодно. А с обеда солнце проглянуло, скрылось, снова выглянуло — и стало солнечно. На солнце тепло, а воздух холодный и ветер.

Так было часов до пяти либо до половины пятого. А потом ветер вдруг стих, стало тепло.

Ходил на почту в дачный поселок. Тишина. Дачи по преимуществу большие,

хорошие, хотя есть и простенькие, победнее. Многие дачи с причудами дачными — то беседка башенкой, то окно чудное... Почти все закрыты или полузакрыты. Ставни. Или занавешенные окна. Пустынно, пахнет палым листом и увядающими, вернее перезрелыми, цветами. Асфальт. Кое-где машины. Здесь и поссовет, и почта, и магазин... Пожарный сарай здесь большой, кирпичный, а в Арханове у нас будка, можно сказать. Тут и дороги, и водопровод, и связь... И рядом деревня, где дороги непроезжие, ребятишки ходят за несколько километров — дватри — в школу пешком зимой и осенью полями, оврагами, лесом... И почты здесь нет — она в Хотькове, оттуда топают почтальон сельский, и туда идут, если есть нужда... И магазин один на Антипино, Арханово, Репихово, Кароськово да и Городок, наверное...

За нашей усадьбой, между усадьбами и полем, наезжена дорога — один из проулков выходит из деревни, идет с горы в Репихово. А рядом — озимое поле. Видно, как шофер, и не один, срезая угол, проехал прямо по озими... И не раз проезжали здесь, так, пожалуй, до зимы изрядный кусок засеянного рожью поля погубят... Поражает меня и то, что все полевые дороги густо засеяны. Тракторист, когда сеял, должно быть, не выключал сеющего аппарата, переезжая через дорогу, всю засеял ее, и озимь взошла. В колеях ее почти всю вытоптали машины, хотя слабые росточки, борясь за жизнь, все еще зеленеют, а между колеями рожь растет, но только чахлая, конечно, обреченная на гибель, так здесь ее тоже топчут — люди, лошади, взявшие в сторону машины. Дело здесь, конечно, не в материальном интересе, хотя чего-то стбит то зерно, выброшенное зря, особенно если учесть масштабы страны. Дело в отношении к хлебу, к живому ростку, к природе, связь с которой нарушена у этих людей — крестьян, ведь хлеб они едят покупной. Старый крестьянин никогда бы себе этого не позволил.

И еще заметил — между Архановом и Антипином большое поле, где рожь росла или пшеница; убирали, должно быть, комбайном, жнивье там повсюду сантиметров в тридцать пять, а то и сорок... Я сперва не понял, когда издали смотрел, думал — что же это растет такое лохматое, клочкастое и серое? Оказывается, жнивье... Сколько же здесь соломы погублено, которая так нужна для подстилки.

Вспомнил и клеверное поле, стравливаемое скоту, — сколько там недоеденного, вытопанного, и вид у него какой-то некрасивый, кочковатый. Между тем, я убежден, хорошо сделанная работа, особенно крестьянская — ее результат, следы ее, — всегда красива: как красиво выглядит жнивье, если сжали как следует и сорняков не было, или выкошенный луг, даже картофельное поле, с которого убрана после копки картофельная ботва, — рыхлое, как бы даже пушистое, освободившееся от плода...

А ведь эта земля обрабатывается тысячу лет, она была кормилицей, однако теперь вся деревня кормится другим: когда после обеда, часа в четыре, в начале пятого, я иду гулять, вижу, как по тропинке от станции идет, возвращаясь с работы, множество людей.

Можно сказать, в деревне Арханово, существующей лет семьсот — восемьсот, судя по татарскому ее названию, не осталось крестьян.

И дома здесь в большинстве не крестьянские — это дачи с несколькими террасками, все разные, есть и кирпичные, есть оштукатуренные, у кого венецианские окна, у кого обыкновенные, у кого крыша в два ската, у кого в три, у одних под высокой двускатной крышей, крутой или со сломанным скатом, летнее жилье — мансарда. Нет общности крестьянской, нет стиля. А крестьянский стиль был продиктован хозяйственной необходимостью, материалом, традицией. И хотя избы были разные, большие и малые, богатые и бедные, но была общность. Я понял наконец, что меня так раздражало при общем взгляде со стороны на деревню, почему глаз не успокаивался, хотя против каждого домика ничего не возразишь — есть премилые, голубенькие или зеленые с белой разделкой: наличники, рамы и т. д. Однако общего лица нет, нет единства, все как чужие друг другу и этой земле, природе. Случайность застройки.

Я долго не мог понять, что меня занимает в озими, которую наблюдаю изо дня в день, чем эта свежая зелень отличается от весенней, от всходов яровых. — да тем, понял я, что она почти не растет, очень медленно растет, тогда как весной это происходит стремительно.

В мокрой осенней траве — она зеленая еще, но все же осенняя — в эти теплые дни появились отавные цветочки, небольшие, однако по-особенному заметные сейчас: колокольчики весенние, какие-то сиреневые капельки, желтые цветочки...

Когда в восьмом часу утра стоял на берегу Вори, дождик начал сеяться, очень мелкий... Он шуршал в листве ольхи и ивы, под которыми я стоял, а время от времени с отчетливо слышимым шумом шлепалась об землю капля, должно быть скопившаяся на листочке... Запруженная поваленными стволами и сучьями, чтобы перейти можно было, шумела, перепадая, вода... Пенилась. Текла быстро в тихую заводь. Стволы переброшены на крошечный островок, на котором ивы растут; здесь как бы два рукава, соединяющиеся за островком, величина которого с метр в поперечнике.

Электричка шумела изредка — далеко все же, и не сирена, а шум мчащегося поезда.

Воря упоминается в летописи в связи с пленением Василия Темного.

Весь день лил дождь, почти не переставая.

Дивный вечер. Легкие белые облачка, быстро бегущие, однако. С северо-запада надвигалось лиловое облако, в него и село солнце. В семь часов быстро темнело. Тепло было.

Сегодня утром в стене леса за Ворей, за «нашим» озимым полем отчетливее выделились черные ели, между которыми уже различимы стали чуть побуревшие, а то слегка пожелтевшие лиственничные — березы, вероятно, осины... Собственно, началось это дня два назад, но было едва заметно, а сегодня определилось.

В четверть седьмого утра было серо, холодно, дул резкий северо-восточный ветер. Однако уже к семи ветер вдруг перестал, стало теплее, небо опустилось несколько ниже, едва-едва серость его покраснелась, потеплело, дождик повис, но не лил, срывалась лишь мельчайшая водяная пыль, два или три раза слабо проглядывало солнце.

Потом стало все снова серым.

Едва заметно движутся смазанные, почти не выделяющиеся на общем сером фоне — разве что чуть темнее они — тучи. Слабый ветерок.

Не холодно.

Продолжал думать о домах Арханова. Разумеется, я не за то, чтобы оставалась старая крестьянская изба — кстати, в облике прежней деревни немалое значение имел и «стиль» плотников, работавших в округе, — да и дико это было бы, жизнь вспять не возвращается, и несправедливо по отношению к жителям деревни. Даже если это не Арханово или подобные деревни, где сельским хозяйством никто уже не занимается, даже в других деревнях надо жить в условиях, близких к городским, то есть со всеми теми удобствами, какие может предоставить общество, исходя из уровня его экономического и технического развития. Когда стал выделяться город, когда население стало расслаиваться, делиться на деревенское и городское, стала возникать одна из многих несправедливостей, существующих на земле, — жители городов получали постепенно лучшие, более удобные условия существования: сперва это было только для защиты от врага. Горожане и жители деревень жили примерно в одинаковых домах, и пища была примерно одна, но городские стены спасали их от нашествия врага, защищали, тогда как крестьянин и его добро отдавались на разгром... Потом появились другие преимущества, связанные с развитием торговли, ремесел, и чем быстрее развивалась цивилизация, тем их было больше, и пропасть, отделяющая город от деревни, углублялась.

Справедливость требует, чтобы различие между городским и деревенским образом жизни в том, где оно может быть ликвидировано, было ликвидировано.

да и не желают терпеть неудобства деревенского существования сами жители деревни — и у нас и, слышал я, в Европе, в США...

Все это так. И дом деревенского жителя должен быть иным, не похожим на деревенскую избу, однако, думается, общность должна сохраниться, должно быть то, что в городе зовется ансамблем, причем желательно все же, чтобы архитектор, работая над этим, исходил из местных, национальных особенностей, исходил и из особенностей деревенских, не рисовал бы коттеджей, расставленных так, что ни с местностью не вяжется, ни с производством, а смахивает на дачный поселок...

До обеда сегодня то дождь, то солнце.

Стена леса стала объемистее, так как каждое дерево начало приобретать свой цвет, — не то что летом, когда все они зеленые, только ели чуть темнее, — есть чуть побуревшие деревья, и посеревшие, и пожелтевшие, и все это в разной степени, и не сплошь все дерево, а частями.

Часов с трех, с половины четвертого тихо и солнечно, гуляли с Н. В. и Т. А., ходили в Барбизон и к елке, под которой жить можно, а потом к Воре, сперва правее того места, где переправа, откуда сверху, с краю озимого поля, прекрасный вид на каньон, внизу которого синевато поблескивает извилистая Воря. На этом берегу зеленеет светло лужок, а на том, теснясь в гору, лезут и лезут вверх и ивы, и ели, и ольха, и березы, и осины... Все это уже разных цветов — от почти черного с коричневыми гроздьями шишек у елки до коричневатого-красного, бурого, серебристого, желтоватого, и как бы синий дым вьется между деревьями. Потом спускались к воде. Тихо было. Только вода шумела. Дымы стояли в небе на горизонте, да и у нас кое-где. Глинистая дорога краснелась и от самой глины и от лилового закатного света, лившегося сквозь тучу, за которой солнце садилось. А тропка среди клевера белелась, опускалась, поднималась к перелеску, вытянувшемуся вдоль полотна.

В семь утра туман, видно всего в двух-трех шагах. Сперва прохладно, однако примерно к половине восьмого потеплело. Озимь вся седая от росы, она поникла, росточки, округлившись, опустились книзу то ли оттого, что выросли и уже им трудно торчать, нежная их структура неспособна к этому, то ли потому — и это, пожалуй, так, — что отяжелели от росы. И трава серая. Позади меня остаются на траве две зеленые полосы — возвращаюсь я по своим следам.

Туман. Дышать легко.

С деревьев шумная капель.

Часу в десятом туман еще был, хотя реже, в нем проглянуло небольшое белое солнце, довольно высокое уже.

А к обеду солнце, и синее небо, и облака...

И в третьем часу пополудни еще было солнце, небо синее было, белые с темными подпалинами облака стояли в нем недвижимо рядами, и только потому, что солнце по временам словно гасло, зайдя за темное облако, одно из тех, больших, смахивающих на дождевые тучи, что стояли над нашей деревней, — только в это время можно было догадаться, что облака все же движутся.

Вчера об эту же пору над елками, что стоят стеной в конце деревенской улочки, кружили стаи каких-то птиц — не то вороны, не то грачи... Стаи большие, в их движении чувствовалась какая-то не то тревога, не то просто чрезвычайно напряженная деятельность. Часу в шестом, должно быть, мы вышли с другой стороны к полю, что за этими елками, за лесочком точнее сказать, и увидели, что птицы там кружат большими стаями, садятся все сразу на поле — скошенное, — на жнивье, затем поднимаются и снова кружат, отдельно сороки и отдельно вороны... Что у них было, какое событие?

Сегодня не видать ни одной.

В семь утра взошло уже солнце, его не видно, оно просвечивает слегка в просветы между облаками. Все небо в некрупных белых, с розоватыми и лилова-

тыми подпалинами облаках. Небо синее между ними, но не очень, просветы малы. Это все над деревней. А напротив нее, на северо-востоке, что ли, за Ворей, где стена леса,— туманная дыма, она и лес затянула и небо, и сквозь нее серебрится небо, его облака. И все это освещено, во всем этом нечто космическое, как и сказал бы, если бы космос не был завоеван.

Роса серая.

Дорога, засеянная рожью, это, в сущности, крестьянская старая полоса, если взять тот ее отрезок, который проходит этим первым полем. А сколько таких «полос», если взять здешний совхоз голько, а сколько, если пошире взять...

Отправились в Репихово через Ворю, перешли на ту сторону. Очень много туристов.

Когда обратно шли, прошли задами, оказалось, что рядом с тропкой, которая тянется здесь, кто-то прямо по ржи наездил уже две колени...

Солнце.

Последний день в Арханове.

3. Древнее рядом с нами, или Образы России

* * *

...Хочу лишь сказать, что, дописывая сейчас эпилог «Деревенского дневника», я весь в этой книге о прошлом, начало которой положено «Размышлениями в Загорске», которую я предполагал назвать «Древнее рядом с нами», а сейчас переименовал в «Образы России», сознательно идя на созвучие с «Образами Италии» Муратова. Это будет книга о тысячелетней истории той сегодняшней земли, по которой я езжу, хожу, о связи настоящего с прошлым, — книга очень личная, правильнее сказать, книга о себе и, я надеюсь, о каждом из тех, кто будет ее читать, кто подумает при этом: это ведь и со мной так было, и я так думаю...

(Из письма Е. В. Изгородину. 18 сентября 1969 г.)

ПЛАН КНИГИ

Из черновиков

1. Размышления в Загорске.
2. Звенигород.
3. Федоровское евангелие.
4. Возраст России.
5. Дмитрий Прилуцкий.
6. Кирилл Белозерский.
7. Божественный Дионисий.
8. У Пафнутия Боровского.
9. Последняя охота Василия III.
10. Владимирский затвор (17 век).
11. Старое и новое.
12. Московские дома.

СОЛНЦЕ НАД ОЗЕРОМ НЕРО

Мне хочется рассказать о том несколько странном и волнующем чувстве, которое я испытал утром 27 октября 1962 года на берегу озера Неро. Я шел к озеру, до которого от дома, где я живу, когда бываю в Ростове, минут пять ходьбы. Еще только светало, земля и дома были темные и как бы отсыревшие, а небо над чуть блестящими крышами уже розовело. На недавно пристроенной террасе небольшого домика, мимо которого я шел, да и каждый день прохожу,

на ступенчатом голубом фронтоне ее, я увидел, как и вчера и позавчера видел, вырезанный из дерева и покрытый белыми кружочками с расходящимися во все стороны палочками—украшение в здешних местах распространенное. Это было солнце.

И тут я вспомнил, как два дня назад на научной сессии, посвященной юбилею Ростова, впервые упомянутого в летописи под 862 годом, кандидат исторических наук Дмитрий Александрович Крайнов рассказывал о культе солнца у фатьяновцев, древнейших обитателей края, живших здесь во втором тысячелетии до нашей эры. Изображения солнца, распространенные у фатьяновцев, вошли в орнаменты племен, обитавших на этой земле позднее, их можно встретить и на старинной деревянной посуде, и в разных украшениях деревенских изб. Таким образом, владелец дома, мимо которого я шел, продолжил традицию, насчитывающую тысячелетия.

Я вышел к озеру. Оно колыхалось и металлически поблескивало под все розовевшим небом. Берег был пустынен и космат от порыжевшей травы, в которой темнели тропинки с застоявшимися кое-где лужами. Желтые изломанные и спутанные тростники островками торчали из воды невдалеке от берега, и озеро между ними было синее. Синей была вода и в узком заливишке, который остался от некогда впадавшей в озеро речонки Уницы.

Как я понял Дмитрия Александровича Крайнова, производившего здесь раскопки минувшим летом, у впадения Уницы в озеро им найдены были следы пребывания фатьяновцев. Мне запомнилось еще, как вдохновенно рассказывал он о культуре этих племен, называя ее культурой боевых топоров, и с какой картинностью говорил о погребениях чем-то примечательных мужей, лежавших с топором в руках, обух которого покоился на лбу.

Потом, уже после доклада, он рассказал мне о поисках некоего камня, на котором, по словам нашедших его и куда-то задевавших деревенских ребят, изображены были три человека с топорами и восходящее солнце.

Так, вспоминая все это, я прогуливался по берегу.

Меж тем над озером стало медленно подниматься большое малиновое солнце. И я вдруг явственно вообразил, как со стороны Уницы к озеру идут высокие узколикие люди с тяжелыми, сработанными из камня топорами на длинных рукоятках. Они останавливаются у самой воды, где над жесткой травой дрожит и разлетается в клочья серая пена, и каждый из них поднимает топор — обушком ко лбу, острием к встающему круглому солнцу.

Ростов-Ярославский, осень 1962 г.

БОЖЕСТВЕННЫЙ ДИОНИСИЙ

Однажды в конце августа, золотым и синим днем, когда леса и выкошенные луга свежо, по-северному зеленели и золото в природе было от жнивья и стоявших на нем ометов соломы, от посевших овсов, от льна, который только еще начинали брать, от яркого, но уже осеннего солнца, а синими были небо, и озера, и протоки между озерами, я побывал в знаменитом своими фресками Ферапонтовом монастыре.

Ферапонт и Кирилл — разница в характерах. Ферапонт, сперва, быть может, не ужившись с Кириллом, человеком, вероятно, суровым, требовательным к себе и к другим, особенно в трудах, а затем не вынеся тягот монастырской жизни далеко на Севере, очень быстро переехал в придворный монастырь.

Ферапонтов монастырь, вообще-то Рождества Богородицы, захиревший, впоследствии ставший женским, заштатным, кажется, и упраздненный, славой своей, особенно сейчас, ставшей массовой, обязан художнику Дионисию.

История Ферапонтова монастыря связана со многими замечательными событиями и выдающимися людьми. Достаточно сказать, что один из первых его настоятелей, Мартиниан, деятельно помогал Василию Темному в его борьбе с Дмитрием Шемякой, что здесь в течение десяти лет томился в ссылке опальный патриарх Никон. Однако не эти и подобные им исторические личности, ни даже прекрасная архитектура монастыря, в том числе и древний Рождество-Богородицкий

собор, построенный без малого пятьсот лет назад ростовскими мастерами, составляют его славу, а украшающие этот дивный храм фрески божественного Дионисия.

В самом звучании его имени мне слышится дань восхищения, какую отдавали ему признательные современники, потому что, не будучи монахом, он должен бы именоваться Денисом, как принято среди обыкновенных людей, а не торжественно, в точности по святым — Дионисий.

Время и место рождения Дионисия неизвестны, достоверно лишь, что между 1467 и 1477 годами он расписывал храм Рождества Богородицы в Пафнутаевом монастыре неподалеку от Боровска, причем тогда уже был мастером «пресловуцим», то есть прославленным, а умер после 1502 года, как предполагают, в преклонном возрасте, завершив вместе со своими сыновьями Феодосием и Владимиром, в ту пору зрелыми художниками, самую значительную из своих работ — росписи в Ферапонтове.

Быть может, потому, что имя это носил греческий бог виноделия, я представляю себе Дионисия человеком жизнелюбивым, преданным земным, плотским радостям, и это, кстати сказать, подтверждается забавным случаем в духе Боккаччо, когда Дионисий, нарушив строгий запрет, принес в монастырь, где он работал, жаренную с яйцами баранью ногу, за что будто бы поражен был внезапной чесоткой. Живопись его, однако, прямо противоположна какой-либо грубой телесности, чувственности, исполнена изящества, утонченности и одухотворенности.

Фрески богородичной церкви в Ферапонтове принадлежат к числу немногих дошедших до нас подписных работ Дионисия, и обаяние подлинности, разумеется, усиливает интерес к ним. Привлекают они еще и тем, что, за некоторыми исключениями, по содержанию своему представляют собою трогательную песнь о любви и страданиях женщины-матери.

Тему эту предваряют изображения, помещенные у входа в собор, над западным его порталом, в которых рассказывается о нежных супругах Иоакиме и Анне, о том, как у Анны родилась дочь Мария, как ее купают, баюкают в колыбели, как любит ее отец и гордится мать.

В самом храме, едва я вошел, меня охватили со всех сторон как бы струящиеся с его сводов потоки золотистых и голубых тонов, какие я видел только что вокруг, сочетающиеся с бледно-зелеными, светло-фиолетовыми, розовыми, сербристо-серыми, сиреневыми, вишневыми, причем они были мягче, нежели в натуре, светлее, прозрачнее, казались зыбкими и, чего не бывает в природе, соединенные художником, словно бы звучали — я впервые понял, что живопись может быть музыкальна.

Медленно разгорался свет. Должно быть, солнце приближалось к югу, когда фрески бывают лучше всего освещены. Я вспомнил, как дождался этого часа в прошлом году, но небо тогда затянуло тучами.

Но вот уже праздничная живопись Дионисия сияет во всю свою силу, отчетливее становится изображение, и я люблюсь исполинскими воинами на столпах храма, большелобой головой Николая в дьяконнике, удлинненными фигурами святителей, скачущими по уступчатым горкам волхвами, поклоняющимися младенцу пастырями — всеми этими изящно и неторопливо рассказанными художником историями, среди которых главенствуют те, где изображена Мария — девушка, юная мать, мать осиротевшая.

Уезжал я с твердым намерением еще побывать в Ферапонтове.

1967.

БОРИСОГЛЕБ

Тихим летним полднем я подъезжал к Борисоглебу.

Впереди, как бы клубясь, темнели старые ивы, и белое от солнца асфальтированное шоссе уходило под их соединившиеся ветви, как в тоннель. Потом по обеим сторонам дороги встал сосновый лес, после которого в низине зазеленело болотце, а там опять пошли сосны, и вдруг за соснами, среди теснящихся вокруг домиков стали видны стены и башни многобашенного средневекового города.

Это и был Борисоглеб, точнее сказать — Борисоглебские слободы и давно

уже упраздненный древний монастырь Бориса и Глеба. Я бывал здесь и позднее в течение тех десяти лет, что прошли после этой первой поездки. Помню, как выглядели желтоватые крепостные стены и мощные башни зимой, когда вокруг лежал нетронутый снег и над белыми крышами стояли белые думы. Я любовался монастырем сквозь едва распустившиеся весенние деревья и с высоты одной из его башен наблюдал разлив здешней петливой речки Устье, излучины которой, и старицы, и протоки голубели среди зеленой долины. В золотую пору осени, когда от солнца и синего неба древние стены, и башни, и навратные храмы выглядели совсем желтыми, я гулял по переходам на стенах, широко охвативших монастырские постройки и сад с его старыми, жарко горевшими кленами, и едва ли где-либо в другом месте было столько покоя, была такая тишина... Однако самым сильным было первое впечатление, когда мне представилось, что я долго ехал разбойничьим бором и наехал вдруг на неприступную крепость.

Да ведь это и была крепость по преимуществу.

По преданию, место для монастыря было выбрано Сергием Радонежским, с именем которого обычно связывали устройство и других подобных монастырей, почти в одно время, в четырнадцатом веке, встававших крепостями на военных и торговых путях к Москве. Будто бы при ростовском князе Константине Васильевиче, когда здесь находился Сергей, происходивший, как известно, из Ростова, в город пришли некие пустынноики Федор и Павел и молили князя, чтобы им в сей пустыни монастырь строить, и молили преподобного Сергия, дабы посмотрел место. «Сергий сътвори по прошению их», говорится в древней повести, предсказав, что «сие место вельми воградится и в предидущие времена будет превъзносимо под большими лаврами».

Предсказание, увы, не подтвердилось. Деревянные монастырские слободы так и не стали городом за все шестьсот лет, что они существуют, и когда, проехав километров восемнадцать от Ростова, входишь в эти зеленые улицы, встречаешь здесь шествующий к пруду утиный выводок или мчащегося на мопеде замасленного тракториста.

Впрочем, под лаврами Борисоглеб превознесен.

Я имею в виду не столько даже некоторые эпизоды отечественной истории, хотя под этими стенами в 1609 году стояли войска Сапеги, а несколько позднее, поспешая к Москве, здесь прошли с ополчением Минин и Пожарский... Я имею в виду отечественное искусство.

В течение полутора столетий со своего основания монастырь оставался деревянным. Только в начале двадцатых годов шестнадцатого столетия здесь построен был каменный собор, а следом за ним церковь с трапезной и настоятельские покои. В упомянутой уже мною древней повести рассказывается, как настоятель монастыря, предприняв каменное строительство, «начал zelo изменогати и скорбети о извести, понеж проходом далече и ставитца дорого». Настоятель просил великого князя Василия Ивановича, чтобы позволено было монастырю свободно искать известь в княжеских отчинах и боярских селах, однако сколько ни искали, нигде не нашли. И вот однажды вечером, когда настоятель стоял на вечерней молитве, он забылся «и вздремашу», простодушно признается неизвестный автор, и явились ему два храбрых воина — Борис и Глеб и сказали, чтобы он не скорбел об извести. Спустя некоторое время к настоятелю пришел монастырский крестьянин и принес некие камни, найденные им в поле. Настоятель послал их «в хлебню в печь» — «известь бе аки снег». Тогда он призвал каменного здателя Григория Борисова, делающего здесь теплую церковь, и рассказал ему все с «запрещением глаголати» до самой своей смерти.

В баснословии этом достоверно имя мастера. Известный исследователь древнерусского зодчества Н. Н. Воронин сообщает о нем в «Материалах к словарю мастеров-строителей XVI—XVII вв.» — «ростовец, мастер, церковный каменный здатель». Здесь же он высказывает предположение, что смерть Григория Борисова отмечена 11-й Новгородской летописью, где он назван трапезным мастером. Возможно, назвали его так потому, что он был одним из первых, кто принялся строить здания подобного типа, чем и запечатлелся в памяти современников.

Григорий Борисов построил в Борисоглебе не только собор, трапезную с церковью и настоятельские покои, но и весь крепостной ансамбль, спланировав его удивительно смело и гармонично. Некоторые пристройки и переделки, произведенные в последней четверти семнадцатого века митрополитом Ионой Сысоевичем, знаменитым строителем ростовского кремля, нисколько не нарушили первоначальный замысел. Архитектура монастыря подверглась грубому искажению в начале прошлого столетия — «в период пагубной деятельности архиепископа Авраамия, одержимого манией перестроек древних памятников», как говорится об этом в путеводителе по архитектурным памятникам здешнего края. Я привожу это имя потому, что потомки, по убеждению моему, должны знать и тех, чье невежество и самоуверенность лишили их радости наслаждаться искусством предков. Впрочем, произведение истинного художника, как живое дерево, и обезображенное продолжает цвести.

Даже в современном своем виде — с надстроенным барабаном и как бы приплюснутой маковицей, с растесанными окнами, с приделом и папертью в ампирином вкусе — собор Бориса и Глеба дает представление о несколько грубоватом, архаичном творении Григория Борисова. Удивительно, я бы сказал, музыкальны аркады с внутренней стороны крепостных стен, точнее — бесконечная череда арок, уходящих вдаль. С наружной стороны эти стены, если встать у их основания, кажется, подпирают небеса. Гладкие их плоскости, прочерченные варовыми щелями и бойницами, идут от одной четырехугольной башни к другой, а в углах замыкаются круглыми, иногда чуть оговоренными башнями, не повторяющимися одна другую. Циклопическая эта архитектура только в двух местах прерывается богато декорированными галереями надвратных церквей и пышно убранными арками самих ворот, и здесь узнаешь иное время, иные вкусы — семнадцатый век, артистизм Ионы Сысоевича.

Прелестны изразцы — цветные и муравленые, до сего дня украшающие звонницу и парадное крыльцо трапезной, которые также были построены при Ионе Сысоевиче. На одних изразцах изображены воины в разных формах, на другие — старинные крепости и жаркие схватки на их стенах. Великолепен пышный портал одной из надвратных церквей, весь из тропических плодов, тоже ионинских времен...

Если же выйти за пределы монастыря и пройти немного вверх по угличской дороге, то все подробности, как печальные, так и прекрасные, исчезнут, время как бы повернет вспять, и на длинной невысокой возвышенности весь откроется древний русский чудо-городок.

ДРЕВНЯЯ РУСЬ

XVII век

Когда подхожу к «Новому миру» со стороны той части улицы Горького, где ВТО, и вижу возвышающуюся среди современных вперемежку со старыми домами правее бульвара колокольню Высокопетровского монастыря, восьмигранную, розовую с белым, с пролетами под кровлей, над которой стоит барабан с репчатой маковицей (синей? золотой?) думаю о русском семнадцатом веке — после опричнины и военных неудач Грозного, после жалкого Федора и того, что выпало Годуну, после трагедии Смутного времени, нищеты первого Романова... Откуда этот новый расцвет искусства, его яркость, своеобразие? От «третьего сословия», теснейшим образом связанного с народной жизнью, вышедшего из самой гущи народа с его язычеством, столь блистательно показавшего себя в тяжелые годы в польско-литовской интервенции, организовавшего не только отпор иноземным захватчикам, но и создавшего даже нечто вроде купеческого правительства в Ярославле, — не случайно торговые и ремесленные Нижний и Ярославль, могучие приволжские города, словно бы впитавшие в себя все соки торгующей, пашущей землю, промышленяющей всякое художество России, как Волга вбирает воду великого множества рек, — не случайно они так показали

себя при защите отечества, а ярославские Демидовы ссужали деньги нищему малолетку, новому царю всея Руси... А как разбогател Алексей Михайлович, какое пошло строительство, а Иона в Ростове, а связи с Западом!.. Еще один русский Ренессанс... В архитектуре, в стенописи ярославско-костромской школы классическое, можно сказать, искусство, уходившее корнями в Византию, смешалось с искусством народным, получило от него здоровую мужицкую кровь.

Наивными представляются мне рассуждения о том, что архитектура Новгорода, например, или Владимира выше последующей и т. д. Искусство не сравнивают. Искусство всегда искусство, если это только искусство истинное, а не выдаваемое за него, и каждый век, каждый мастер, каждая страна хороши по своему...

ПОСЛЕДНЯЯ ОХОТА ВАСИЛИЯ III

«Не вемь бо, когда придетъ часъ смертныи».

Иларион, митрополит киевский.

Порядочно времени тому назад, листая не помню уж какой том полного собрания русских летописей, я наткнулся на рассказ о последней охоте великого князя Московского Василия III. Не то чтобы я до этого никогда не слышал о том, как, выехав из Москвы здоровым, Василий спустя каких-нибудь два месяца вернулся домой умирать. О смерти едва ли не первого русского самодержца говорится в любом курсе истории, в иных коротко, в других пространно. Однако рассказ, прочитанный мною, отличался от всех прочих, в том числе и летописных, во-первых, полнотой изложения, позволившей чуть ли не календарно, с обозначением географических пунктов вообразить маршрут последнего богомолья и последней охоты великого князя Московского, во-вторых, как мне запомнилось, деловитостью и картинностью свидетельского показания. Была еще та прелесть в рассказе, что вся описанная в нем поездка совершалась в местах, куда в наше время москвичи выезжают на дачу, ездят по грибы или с экскурсией, тогда как четырехста с лишним лет назад они составляли значительную часть государства, и это не только вызывало желание проехать теми же местами, но и было легко осуществимо.

Не имея привычки записывать источники, я вскоре забыл, в какой именно летописи прочитал описание смертного пути Василия, мне только запомнилось, какими местами он проезжал и то, что было это осенью. С тех пор между осенним Сергием и введением, какие отмечают церковь 8 октября и 4 декабря, я любил размышлять о том, как по северному и северо-западному Подмосковию, занятому осенними, а затем и предзимними хлопотами, разъезжал умирающий самодержец, причем постепенно у меня выработалось обыкновение представлять себе все это в настоящем времени, словно все это происходит где-то рядом со мной.

А потом я стал ездить по маршруту последней охоты Василия III, из каждого пункта возвращаясь домой — в деревню под Радонежем, где жил летом и осенью, в Москву, когда начинала становиться зима.

В 1965 году вышло новое издание Патриаршей, или Никоновской, летописи, где я и нашел если не тот самый пленивший меня некогда рассказ, то очень близкий к нему по тексту.

И хотя я понимал, что иные из сегодняшних населенных пунктов при почти полной тождественности их названий с некоторыми летописными таковыми не являются, а между теми, какие, пускай неузнаваемо изменившись, сохранились до наших дней, не осталось и следа от соединивших их столетия назад дорог, так что попадать туда нужно было совсем иными путями, хотя в иной год, например, покров был сухой и солнечный, тогда как в другой лепил мокрый снег, — впечатления от ежегодного повторявшихся поездок, накладываясь одно на другое, давали некую обобщенную картину того, как это все могло выглядеть в период времени между тем днем, когда пышный великокняжеский поезд тронулся из Москвы по Троицкой дороге, и другим, спустя два месяца, когда потаенно по наспех наве-

денному через становившуюся реку и проваливающемуся мосту умирающего самодержца везли из села Воробьева в Москву.

Этот воображаемый поезд, ездивший с начала и почти до конца каждой осени среди подмосковных лесов и полей, подобно магниту, собирающему ото всюду железные предметы, извлекал из всех закоулков памяти все сколько-нибудь связанное с Василием III и современной ему эпохой.

Так сложился очерк путешествия во времени и в пространстве.

Мы вышли с женой из дому, где только что истоплена была печь, и после избытого тепла особенно ощутима была свежесть первого ночного заморозка, поглотившего сырые запахи осенних полей, лугов и леса. Легкий иней, окаймивший каждую былку в огороде и каждый еще не опавший листок, поблескивал в свете высоко стоявшего месяца. Ягоды рябины в углу палисадника краснели в узорчатой листве над горбатой тропинкой, по обеим сторонам когорой, высветленные месячным светом, круглились жердины двух высоких изгородей. Иней лежал и на плотно убитой за лето тропинке, и на торчавшем из-под жердей ржавом конском щавеле. Мы прошли к калитке, печатая черные следы на тонком покрове инея.

За калиткой гладко блестел в высоких берегах пруд.

Два порядка домов, оранжево светя окнами, тянулись вдоль короткой улицы, в конце которой за неглубоким оврагом чернели в звездном небе толстоствольные ели, развесившие во все стороны бахромчатые ветви. Позади домов тускло светлелось заиндевевшее жнивье.

С краю полей высились сплошной, казалось, лес, уходивший в гору, хотя это был всего лишь чапыжник в овраге, слившийся с перелесками.

Посреди пустой улицы одиноко стоял белый козел.

Это было мое Арханово, куда однажды привели нас поиски дачи.

Арханово принадлежало к приходу села Городок, на месте которого до начала XVII века был древний Радонеж. В этих местах на Воре и Паже сиживал с удочкой отрок Варфоломей, здесь, постригшись и став Сергием, он основал знаменитую Троицкую обитель, и если взять во внимание события, какие связаны с этими местами, если вообразить всех выдающихся людей, какие жили или бывали здесь в течение последних шести с лишним столетий, то едва ли будет преувеличением считать, что русская Клио, муза истории, давно обосновалась под Радонежем.

Нигде среди живой природы я не чувствовал так историю, как среди берез над заросшими черемухой, ольхой и рябиной оврагами, вдоль обрывистых берегов Вори и Пажи, вокруг выпукло круглившихся полей и лужков.

Идешь плотной тропинкой среди мусорного ольшаника, боковым зрением угадывая слева шелестящую речку, поднимаешься на кручу, остановишься между рыжих, в серых потеках смолы еловых стволов, из-под развесистых темных ветвей которых открывается вдруг в провале внизу под тобой теснящаяся к берегу речка и простершаяся от нее далеко вперед зеленая долина, дымящаяся в искоса падающих веером лучах солнца.

В этом пейзаже такая же древность, как в Покрове на Нерли.

И, не будучи мистиком, я склонен думать, что в подобных уголках под покровительством Клио обитают души некогда населявших эти места поколений, да простится мне это отдающее идеализмом предположение.

Иначе чем объяснить, что здесь я ощущаю себя как бы одновременно живущим в наши дни и в любой из предшествующих эпох, лишь бы я только знал что-либо о ней, причем во всех связях этой земли с миром.

Приблудный белый козел, освещенный луной, глядел пришельцем с гор древней Эллады, хотя уже лет тридцать в русской деревне, как это было прежде только в еврейских местечках, стали водить коз. В нашем Арханове сейчас другой дойной скотины не держат, и все же когда в первую мою здешнюю осень, гуляючи вдоль Вори, я услышал катящийся вниз сокрушительный треск, сопровождаемый дробным топотанием множества копыт, увидел сыпанувших с кручи, мелькающих среди березок, елочек и осинок белых и черных коз, я вооб-

разил не деревенское стадо. даже не русских чертей или леших, а их эллинских прародителей.

Я рассказываю об этом ради того, чтобы передать то ощущение свободы, какое позволяет с легкостью и естественностью преодолевать время, гулять по ночной деревенской улице в начале октября и как бы присутствовать в такой же октябрьский вечер пятьсот лет назад в Москве.

Мне вообразилось, как в эти вот часы позднего осеннего вечера сегодня или в 1534 году, что, в сущности, все равно, поскольку я этого не мог видеть и все происходило в моем воображении, обитатели московского Кремля пребывали в хлопотах и сборах, так как следующим утром «князь великий Василий Иванович всея Руси» собирался ехать «с Москвы и з великою княгинею Еленою и з детьми своими к Живоначальной Троице и к преподобному чудотворцу Сергию».

Мы вышли с женой из деревни и пошли полевой дорогой, спускавшейся вниз, огибая крутой склон поля, слева от дороги, внизу обрыва плоско лежало другое поле, с темневшими по его краю кустами над оврагом, а дорога шла ниже и ниже, к третьему полю, видимому нам сверху, и там, за лежавшим еще ниже лугом, над остывающей речкой белел туман.

Где-то за речкой, за темневшими сплошным бором перелесками был Радо-неж, через который в старину пролегала дорога к Троице, впоследствии отнесенная несколько вправо, где и сейчас она будто бы проходит.

В такую ночь естественно было размышлять о человеке, которому предстояло этой дорогой проехать, и о времени, какому он принадлежал.

Мне давно уже кажется, что есть периоды в истории, которые можно бы сравнить с посевом, тогда как следующие за ними — с жатвой, причем в пору созревания хлебов почву обсеменяют плевелы, если семена не были чистыми, и на смену, казалось бы, тучным годам постепенно приходят тощие, когда среди разросшихся сорняков одиноко торчат пустые колосья.

Я понимаю, что подобные представления об историческом процессе могут быть сочтены наивными, и не настаиваю на них, мне хочется лишь сказать, что, размышляя о Василии III, время которого видится мне некой вершиной, я не мог не думать о времени его отца, которое, на мой взгляд, было восхождением на эту вершину, и о времени его сумасбродного и грозного сына, к концу которого все покатило с горы.

И еще меня занимает, отчего это так случается, что далеко отстоящие одно от другого события, между собою не связанные, какой-то своей стороной, словно это было предопределено, вдруг поворачиваются одно к другому, и по прошествии времени следствием их становится новое событие, решительным образом меняющее судьбы причастных к нему людей.

29 мая 1453 года турецкие войска после долгой осады ворвались в Константинополь. Император Константин XI, предпочитая смерть позорному плену, мужественно рубился с врагами на улицах города и погиб в неравном бою. Константинополь пал, вместе с ним перестала существовать некогда великая Византийская империя. Спустя семь лет после гибели императора один из его братьев, морейский деспот Фома Палеолог, до того времени продолжавший сопротивляться туркам, отчаявшись, бежал с семьей из Греции.

У Фомы было два сына и дочь Зоя, получившая известность под именем Софьи. Семья его обосновалась в Риме, где в Зое принял участие бывший никейский митрополит Виссарий, проживавший здесь со времен Флорентийского собора, на котором была подписана уния Восточной церкви с Западной, так и оставшаяся без последствий. Виссарий, ставший кардиналом римской церкви, считался самым ученым и выдающимся по уму и нравственным качествам из кардиналов той эпохи. Он был почитателем и знатоком Платона, собирателем книг. Судьба едва ли могла распорядиться лучше, выбрав его наставником и руководителем греческой княжны.

В тот же примерно период времени, когда пал Константинополь (второй Рим, как горделиво именовали столицу империи византийцы), когда Зоя Палеолог, которой шел тогда шестнадцатый год, прибыла с братьями в Рим, некогда

уступивший Константинополю первенствующее значение в мире,— в эти полтора десятка лет женился и овдовел сын малоизвестного на западе Европы московского князя, княжившего по ханскому ярлыку, испытавшего позор татарского пленения и ослепленного соперниками, из-за чего он стал называться Темным, Иван III Васильевич, с которого, по словам историографа, «история наша приемлет достоинства истинно государственной, описывая уже не бессмысленные драки княжеские, но деяния царства, приобретающего независимость и величие».

Виссарион, искавший выдать замуж племянницу последнего византийского императора за какого-либо владетельного князя, с помощью которого он надеялся освободить греков от турецкого ига, едва лишь известие о вдовстве Ивана III достигло Италии, возгорается надеждой просватать за него Зою и спустя приличествующий случаю срок отправляет в Москву посла с письмом, в котором сообщает великому князю Московскому, что в Риме живет православная христианка, дочь господя морейского Фомы Палеолога, что она уже отказала из отвращения к латинству двум западным государям, королю французскому и герцогу миланскому, но что великому князю нечего опасаться этого; если он пожелает жениться на княжне, то ее поторопятся прислать в Москву.

Некоторые подробности сватовства и обручения Ивана III и Зои Палеолог, на мой взгляд, интересны не только сами по себе, но еще и как дошедшие до нас черты международной жизни того времени, когда едва ли не впервые после татарского нашествия Россия явила себя Европе. Я вспоминал о них с тем же волнением, с каким, например, в лапидариуме Пловдива рассматривал фракийские барельефы, пожалуй, с еще большим, поскольку все это соотносилось с отечественной историей,— по сути, это та же археология, но только впечатляющая куда сильнее, нежели черепки и камни, потому что позволяет вообразить живых людей.

Вспоминая прочитанный где-то рассказ о том, как в Кремле обсуждали выгоды Виссарионова предложения, затем размышляли, кого бы послать в Рим, чтобы проверить сообщенные в письме факты, посмотреть и опросить невесту, я не мог не думать о том, что происходило это спустя двести двадцать пять лет после того, как к одному из русских князей, чуть ли не последнему суверенному владетелю, прибыл ханский посол с грамотой, в которой стояли только два слова: «Дай Галич» — и князь вынужден был признать себя вассалом Золотой Орды, а десятилетие, прошедшее со дня отправки посольства в Рим, можно считать последним из двадцати четырех десятилетий татаро-монгольского ига, причем летописи связывают это поворотное в истории страны событие с именем Софьи, по внушениям которой великий князь окончательно порвал с Ордой.

Однако этому еще предстояло случиться.

Послом в Рим поехал итальянский дворянин из Винченцы, уже несколько лет проживавший в Москве, где он был монетчиком у великого князя, Джованни Баттиста делла Вольпе, более известный под именем Иван Фрязин, можно догадаться, искатель приключений, ловкий, увертливый и беззастенчивый человек, нашедший способ расположить к себе Ивана III.

Не столько даже профессия посла, весьма далекая от дипломатии, которая в итальянских государствах существовала уже лет двести, если не больше, и располагала тщательно разработанным церемониалом, регламентацией, шифрами, сколько личность его, позволяющая вообразить скорее слугу двух господ, нежели полномочного представителя суверенного государства, заставляет думать, что посольская служба в Москве, если иметь в виду взаимоотношения с европейскими дворами, от которых за сотни лет татарского ига русские отвыкли, являла собою нечто домодельное.

Фрязин вернулся в Москву с согласием Софьи и с ее портретом, что было, представляется мне, для русских редкостью, потому что о портрете я где-то прочитал: «Царевну на иконе написав принес» — то есть особого слова для изображений светских лиц в тогдашнем обиходе не было.

Из описания второго посольства Фрязина, ездившего уже за Софьей, мне запомнилось, во-первых, что, «приехав в земли папезские», он узнал, что нового папу, избранного на место скончавшегося Павла II, деятельно помогавшего бра-

ку Софьи с Иваном, зовут не Каликст, как ошибочно полагали в Кремле, а Сикст IV, после чего, «разсудя с посланными с ним, имя Каликста вычистя, вписали Сикста», — это свидетельствует об отсутствии регулярных связей Москвы с Западом, во-вторых, великосветская и придворная жизнь, с какой соприкоснулись послы, произведения искусства, последующими поколениями почитаемые выдающимися, а в ту пору только создававшиеся для римских базилик и капелл, так или иначе соотносящихся с церемониями сватовства и обручения, — все это являло разительную несхожесть с Москвой и ее двором, с татарскими обычаями и этикетом, две сотни лет определявшими внешние сношения Руси.

Торжественное обручение Софьи Палеолог с уполномоченным великого князя Московского происходило в базилике святого Петра. Самое изысканное общество окружало Софью. Там была изгнанница — королева Боснии, дочь последнего короля Стефана, нашедшая убежище в Риме. С ней были ее спутницы Павла, Елена, Мария и Праксина, и эти боснячки были, вероятно, единственными славянками, присутствовавшими при обручении будущей московской государыни. Были, можно предположить, и все греки, бежавшие из разгромленного турками Константинополя и поселившиеся в Риме.

При обручении присутствовала Кларисса Медичи-Орсини, а с нею — знатные патрицианки Рима и Флоренции. Незадолго до этого она побывала у Софьи в сопровождении флорентийского стихотворца Пульчи, описавшего Софью отвратительным, толстым чудовищем. Существует предположение, что этим он одновременно выказал галантность по отношению к своей госпоже и выразил неудовольствие Софье за отсутствие угощения.

Сама Кларисса и многие современники, прочитал я у одного автора, описывают Софью красивой, даже очаровательной, но она, вероятно, была более полной и менее грациозной, чем вообще были итальянки высшего общества времен Возрождения. Если это так, то месть стихотворца пережила и его самого и его жертву, так как этому свидетельству поверили.

Прощальная аудиенция у папы состоялась в саду Ватикана (существует предположение, что все предыдущие давались папой в апартаментах, украшенных фресками Пьеро делла Франчески, уступившими место фрескам Рафаэля), а неделю спустя Софья, за которой папа дал богатое приданое, вместе с сопровождавшими ее русскими послами покинула Рим.

Когда я обо всем этом читал, я не мог не думать о судьбе двоюродной сестры Софьи, дочери другого морейского деспота — Дмитрия Палеолога. Дмитрий, враждовавший со своим братом Фомой, не только сдался туркам без борьбы, но отдал свою единственную дочь султану в гарем, за что получил незначительный удел близ Константинополя и отүрчился.

След этой ветви Палеологов затерялся в азиатском мире.

Не так уж много фактов о пребывании русского посольства в Риме было в моем распоряжении, однако и этого немногого хватило мне на весь тот осенний деревенский вечер. Мы сидели в одной из двух комнат нашего дома, дверь из которой была открыта в другую комнату. Вокруг были рубленые стены цвета гречичного меда или ржаного хлеба. Чисто вымытые полы из широких и толстых рассевшихся досок подчеркивали перспективу, что создавало ощущение простора. В противоположной стене над высоким порогом, в глубине широкого косяка темнела тяжелая, словно из одного бревна тесанная дверь с коваными петлями и скобой. Казалось, все замкнутое стенами пространство устремилось в этот прямоугольник, за которым можно было вообразить любое время, соотносящееся с архаикой этого материала и обусловленных им архитектурных форм.

Из деревянной по преимуществу Руси я смотрел на камни Европы.

Различие, разумеется, было не в строительном материале, а в условиях жизни, с какими встретились послы Ивана III. Было время, когда их родина ни в чем не уступала государствам Западной и Северной Европы, а в ином и превосходила их. Киевские князья выдавали своих дочерей и сестер за европейских монархов и сами брали за себя иностранных принцесс крови. Династические браки.

представляется мне, свидетельствуют не только о международных связях, но и с престиже и достоинстве страны. Это ведь не все равно — выдать свою дочь за французского короля или отдать ее в гарем турецкого султана. Один лишь перечень средневековых брачных союзов дает представление о величии и могуществе древнерусского государства, о его месте в Европе.

Ярослав Владимирович выдал свою сестру Марию Доброгневу за Казимира Пяста, сестра которого Гертруда вышла замуж за Изяслава Ярославича. Сам Ярослав женат был на дочери шведского короля Олафа — Ингигерде, дочь его Анастасия была за венгерским королем Андреем, другая дочь, Елизавета, за прославленным Гаральдом Гардрааде, который до вступления на норвежский престол служил во главе варяжской дружины византийскому императору, воевал с африканскими пиратами, побывал в Иерусалиме. Наконец, знаменитая Анна Ярославна выдана была отцом за французского короля Генриха I. После смерти Генриха она удалилась в Сенлис, где в свое время в благодарность за первенца ею была построена церковь во имя святого Винсента. Из Сенлиса ее похитил Рауль де Перон, граф Валуа, женившийся на ней; брак этот был признан незаконным, однако Анна жила с графом Валуа до самой его смерти.

Святослав, второй сын Ярослава, женат был на сестре епископа трирского Бурхарда. Евпраксия, дочь третьего его сына, Всеволода, была замужем за маркграфом Бранденбургским и, овдовев, обвенчалась с императором Священной Римской империи Генрихом IV. Между нею и мужем происходили грубые и непристойные сцены, она бежала от него и публично покаялась в своих грехах и разврате, к которому ее понуждал муж, сделавший так, что она «даже не знает, от кого она беременна».

Одно Ярославово гнездо было связано со всеми дворами Европы.

Мне нравится думать, что в те времена древняя Русь и вся остальная Европа являли собою единый мир, одинаково простодушный, одинаково рыцарственный, с одинаковыми представлениями о чести и достоинстве личности, с мало чем отличающимися церквями, точнее сказать, с достаточной терпимостью к этим различиям, если же сравнивать материальную сторону жизни высших кругов общества, то в то время, когда иные западные короли ходили в звериных шкурах, а придворные дамы неделями не мылись, соседи утонченных византийцев, можно предположить, жили богато и пышно: Евпраксия, например, ехала к жениху в Саксонию, пишет историк, «с большой помпой: с верблюдами, нагруженными роскошными одеждами, драгоценными камнями и вообще несметными богатствами».

По прошествии двухсот пятидесяти лет, переборов татарщину, однако многое потеряв при этом, главнее же всего — время, Россия снова явилась на границах Европы, удивив ее своим могуществом. Это было не первое знакомство, как могло представиться многим, а восстановление прерванных связей. И все же они друг друга не узнали. Не только потому, что забыли о своем родстве, но еще и оттого, что разительно переменились. Однако при всей непохожести, было все же общее происхождение, но одним мешала подозрительность, другим — недостаток интереса, причем к тому и к другому примешивались еще высокомерие и гордыня.

Русские послы видели при обручении Клариссу Медичи-Орсини, быть может, они встречали и ее мужа — знаменитого деятеля Возрождения, поэта и покровителя искусств Лоренцо Великолепного, однако для них они были нечестивые и злокозненные латиняне. А когда Софья с сопровождавшими ее людьми, после того как «носило их море» одиннадцать дней, ступила на русскую землю и в Москве стало известно, что впереди поезда едет папский легат с крестом, то есть католическим крестом, то митрополит Филипп заявил: «Не мощно сему быти яко граду сему внити, но ниже приблизитесь», затем добавил, что как только легат выедет в одни ворота, то он, отец великого князя, выедет в другие.

Вместе с тем и Лоренцо Медичи, при всей своей просвещенности, едва ли знал что-либо или хотя бы интересовался узнать о культуре страны, откуда прибыли послы, и если ему даже случалось думать об этой стране, то он скорее всего представлял ее себе варварской, между тем всего за сорок лет до приезда в Рим московского посольства скончался великий Андрей Рублев, живопись ко-

того не внешне, а по сути своей близка живописи его итальянского современника, тоже монаха, Фра-Анджелико, что значит «ангелоподобный», как могли бы прозвать и Рублева, а у великого князя Московского Ивана III, высватавшего Зою Палеолог, придворным живописцем был божественный Дионисий.

Московская Русь близко соприкоснулась с итальянским Возрождением, но только в плане бытовом, житейском; сумев привлечь к затевавшемуся в Москве каменному строительству, да и к другим практическим делам всякого рода мастеров и «архитекторов», она остерегалась какого-либо духовного общения, так как опасалась латинской ереси.

Что же до римского двора, то там, как и в близких к нему кругах греческой эмиграции, надеялись с помощью Софьи восстановить флорентийскую унию не столько ради торжества воссоединенной христианской церкви, как мне представляется, сколько из-за военной мощи русских, которую и те и другие надеялись употребить против турок, одни — чтобы освободить Грецию, другие — ради защиты торговых морских путей.

Однако Иван III уклонился от какого-либо союза.

Папский легат обратился было к делу о соединении церковей, но скоро он испугался, простодушно рассказывает летописец, объясняя это тем, что митрополит выставил против кардинала на спор книжника Никиту Поповича; иное, спросивши у Никиты, сам митрополит говорил легату, о другом заставлял спорить Никиту; кардинал не нашелся что отвечать и кончил спор, будто бы сказавши: «Нет книг со мною».

Можно считать, что Москва переняла только технику Запада.

В деревне я всегда держу любимые книги по истории и искусству, самый вид их, представляется мне, хорошо соотносится со старосветским покоем деревянных стен, а содержание, если не столь же вечное, как природа, то равновеликое, вызывает во мне мысли и чувства, близкие к тем, какие вызывают видные из моего окна ржаное поле и покатый лужок позади него, за которым темнеют старые ели. И вот я открыл в тот осенний вечер том Забелина и прочитал следующее: «Каменный дворец, построенный на месте деревянного итальянскими архитекторами в конце XV века, несколько не уклонился от заветного типа. Вместо деревянных были построены те же, только более обширные, к л е т и, гридни, горницы, названные палатами. Клеги, изба здесь послужили неизменным типом, который не допустил связать в одно целое, в один общий цельный план особые комнаты нового дворца, каковы, например, новые приемные парадные и жилые покои. По-прежнему они были размещены, придерживаясь, без сомнения, старого основания хором, отдельно, как размещались во дворах избы и клети, смотря по местному удобству и по неизменным требованиям и условиям тогдашнего быта, которые уже заранее указывали места для той или другой постройки. Старое оставалось даже и в названиях: так, нижние этажи каменных зданий по-прежнему именовались п о д к л е т а м и, хотя были всегда со сводами и только по своей местности соответствовали подклетам деревянных хором. Крыльца и при каменных палатах сохранили свое древнее значение — хоромного крыла, и ставились с совершенным подобием крыльцам деревянным, каково, например, было крыльцо и при Грановитой палате, названное Красным. Но что особенно напоминало древний характер хоромных строений—это п е р е х о д ы, или открытые сени, которые и в каменном дворце, по стделиности разных палат и зданий, составляли такую же необходимость, как и в хоромах деревянных».

Но вот что переменялось не только внешне, а по самой сути своей, так это государев двор и дворец в Москве, которые со времени женитьбы Ивана III на Софье Палеолог стали постепенно преобразовываться, заимствуя многое от угаснувшей Византии. Брак этот завязал еще и тесные отношения между Москвой и европейскими государствами; начались частые приезды иноземных послов, прием которых при новых политических обстоятельствах требовал большей церемониальности, большего великолепия. Великий князь Московский сделался самодержцем всей Руси, вместе с Софьей к нему перешел двуглавый византийский орел. Величие и блеск багрянородных властителей как бы достались ему по наследству.

Об Иване существует свидетельство, что он был трусоват, хотя возможно, что его следует считать лишь осторожным политиком. Так или иначе, но он был сыном Василия Темного, которого татары, взяв в плен, нещадно били, и этим обстоятельством не столько политического, сколько психологического свойства, быть может, следует объяснить бегство Ивана от войска с Угры, к которой подошли татары. Впрочем, этот «высокий, худощавый, красивый мужчина», жестокий к негодным ему боярам и беспощадный к подданным вообще, за что он, как впоследствии его тезка-внук, получил прозвище Грозный, представляется мне, подвержен был попеременно приступам отчаянной решимости и столь же отчаянного страха, который побуждал его бежать от опасности, хорониться, надеясь: авось пронесет! Внука его так и прозвали — «хороняка», а его, когда он прибежал с Угры, ростовский владыка Вассиан назвал бегуном, прибавив: «Вся кровь христианская падет на тебя за то, что, выдавши христианство, бежишь прочь, бою с татарами не поставивши и не бившись с ними; зачем боишься смерти? Не бесмертный ты человек, смертный; а без року смерти нет ни человеку, ни птице, ни зверю...» За всем тем именно с Иваном связано окончательное освобождение Руси от татарского ига.

Многие историки писали об этом, однако мне всего больше нравится почти летописный рассказ Татищева о том, как хан Ахмат Большой Орды, «хотя и великому князю и всей Рускей земли мир отвергнути», умыслил сперва раздражить его своими послами с басмою, по древнему обычаю.

«Ты, княже великий, — писал он, — улусник мой, сел на великое княжение по отце твоём, а к нам не идеши, и послы с дары не слал... По то послал ныне, да со всею данию за прошлые годы з земли твояе сам к нам привезеши... Асче не исполниши повеление мое, то веси, яко пришед, пленю всю землю твою и тебе самого, взяв, рабом учиню».

Князь же великий, рассказывает далее Татищев, «поведа сие матери своей иноке Марфе и дяде своему, також всем князьям и бояром», и многие советовали ему: «Лучше ти, княже, умироти дары нечестиваго, неже кровь христианскую проляяти». И только великая княгиня Софья, «восплакася горько», заявила, что отец ее предпочел отечества лишиться, нежели стать данником, да и она ради веры отказала иным богатым и могущественным князьям и королям и вышла за него, Ивана, а он вот теперь хочет сделать ее и детей ее данниками татарскими. «Почто хочещи раб твоих слушати, а не стояти за честь свою и веру святую?»

На другой же день пришел посол с басмою ханской. Князь великий, «призвав пред себя онаго просто, без встречи, и прияв басму, таже прочитав грамоту ханскую, плюнув на ню, изодра и басму и зло вверже на землю... Он же повеле... и дом прежней ордынской разломати».

Когда я читал об этом, мне вдруг пришло на мысль обыкновенное житейское объяснение до дерзости смелого поступка Ивана, никак не согласующегося с его последующим поведением на Угре: хан все же был в Орде, а Софья Фоминишна, жена, что называется, под боком, в Кремле.

Вероятно, мне и за это следует просить снисхождения у историков.

В том же самом 1479 году, незадолго до события, о котором шла речь, «месяца марта в 25 день в 8-м часу нощи противу дни Собора архангела Гавриила родились великому князю Ивану Васильевичу сын у царицы Софии и наречен бысть Василей».

И вот это-то Василий Иванович, по восшествии его на отцовский престол считавшийся третьим великим князем Московским с таким именем, внучатый племянник последнего византийского императора, как мне представлялось, завтра должен был проехать здешними местами.

Утром окна в доме были мокрые, в живых, движущихся каплях.

Над деревней стояли дымы. Все было в инее.

Большие, сытые, почти круглые сороки перепархивали с дерева на дерево. Черноголовые и белошекие сныцы с желтой дымчатой грудкой и спинкой, с черно-белыми крыльями и хвостом прыгали с жердинки на жердинку по изгороди.

Когда, выйдя из дому, я захлопнул за собою дверь, синицы прыснули во все стороны, а сороки скрипуче заверещали.

День был воскресный, почти все еще спали, и только топившиеся печи, да пробирающийся из лесу мужик со срубленной осинкой на плече, да еще переломившаяся пополам баба на разбитом огороде, широко расставив опухшие ноги в валенках, выбирающая из земли оставшиеся после копки картофелины,— только это возвещало начало осеннего дня.

Во всех палисадниках как по команде георгины побило морозом. Одиноко чернел сожженный морозом единственный на всю деревню не убранный картофельный участок; я замечал, что так бывает каждую осень, какая бы ни стояла погода,— хозяевам здешним всегда недосуг. Небо над деревней синее, в белых облаках.

Я вышел в проулок, куда сворачивает глубоко наезженная, в окаменевших колеях дорога, идущая из соседней деревни за оврагом, и за те годы, что по ней ездят, все ниже и ниже опускающаяся от первоначального уровня, какой выдают стоящие высоко по обеим ее сторонам дома, хозяева которых вываливают на нее всякий дряг и мусор, не то чтобы надеясь сделать ее проезжей, скорее по древней российской привычке...

1970 г.

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О «ПОСЛЕДНЕЙ ОХОТЕ ВАСИЛИЯ III»

Ефим Яковлевич не закончил своей повести. Рассказу о смертном пути Василия III помешала его собственная смерть... И не мне продолжать его рассказ. Ведь пришлось бы писать не только о том, что происходило, но и о том, что мог бы в этом происходящем увидеть острый глаз писателя-художника. Поэтому тем читателям, которые захотели бы подробнее ознакомиться с событиями «последней охоты Василия III», я советую просто прочесть о ней в Софийской второй летописи под 1534 годом в шестом томе полного собрания русских летописей. Здесь древнейшая и лучшая версия рассказа об этой охоте. А для читателей, которым не захочется читать о ней по-древнерусски, я советую обратиться к прекрасному пересказу в «Истории России» С. М. Соловьева — в томе пятом, в части второй, главе третьей.

Однако исторические экскурсии Е. Я. Дороша были не просто картинами прошлого — это были и размышления о прошлом, размышления, конечно, писателя, а не историка, а потому преисполненные того особого удивления перед происходившим, которое знаменует собой начало всякого художественного творчества.

Рассказ летописи о последней охоте Василия III привлек к себе внимание Ефима Яковлевича не только своей замечательной наглядностью, яркими и очень «человеческими» подробностями, но и трагическим подтекстом происходившего. В своей неоконченной повести Ефим Яковлевич не только описывает, но и размышляет.

По оставленному им началу его повести можно думать, что главной темой ее была не только смерть Василия III, но и трагическая судьба всего рода московских государей Рюриковичей. Не случайно столько внимания уделил он браку Ивана III с Софьей Палеолог, браку, от которого родился и преемник Ивана III — Василий III: «Божью милостию государь всея Руси и великий князь Владимирский, Московский, Новгородский, Псковский, Смоленский, Тверский, Югорский, Пермский, Вятский, Болгарский и иных, государь и великий князь Новгорода Низовской земли, и Черниговский, и Рязанский, и Волоцкий, и Ржевский, и Бельский, и Ростовский, и Ярославский, и Белозерский, и Удорский, и Обдорский, и Коңдинский, и иных». Василий, столь пышно себя именовавший, родился от брака своего отца с наследницей византийского престола Зоей-Софией Палеолог. На него переходили не только права отца, но и державные притязания его матери-гречанки. Забота о наследнике престола была поэтому и для Василия III делом не только личным, но и государственным.

Первый брак Василия III был трагичен для обоих супругов — он был бездетен. Род московских государей, только что поднявшийся на новую степень своего «европейского» существования, грозил прерваться, а государство после смерти Василия оказаться без единственного законного наследника.

Летописец, сочувствовавший Василию III, описывает (а вернее, приписывает ему) такие тяжелые его думы. Однажды Василий ехал за городом и увидел на дереве гнездо. Он заплакал и сказал (привожу его слова в переводе С. М. Соловьева): «Горе мне! На кого я похож? И на птиц небесных не похож, потому что и они плодовиты; и на зверей земных не похож, потому что и они плодовиты; и на воды не похож, потому что и воды плодовиты: волны их утешают, рыбы веселят». Взглянув на землю, Василий продолжал: «Господи! Не похож я и на землю, потому что и земля приносит плоды свои во всякое время, и благословляют они тебя, Господи!» С плачем говорил он затем боярам своим в думе: «Кому по мне царствовать на Русской земле и во всех городах моих и пределах? Братьям отдать? Но они и своих-то уделов устроить не умеют».

Несчастливая жена Василия III бесплодная Соломония обращалась к знахарям и знахаркам, умывалась наговорной водой, «охватывала» смоченными в этой воде руками сорочку и порты мужа. Некая черница наговаривала не то масло, не то пресный мед и давала ей натираться этим снадобьем. Ничто не помогало.

Развод с бесплодной княгиней стал обсуждаться в литературе, возникла полемика, в которой приняли участие самые видные публицисты того времени — Максим Грек, Вассиан Патрикеев, митрополит Даниил.

В 1525 году Соломония Сабурова была насильно пострижена в московском Рождественском монастыре под именем Софии. При пострижении она срывала с себя черные ризы, плакала и билась. Приставленный присутствовать при пострижении любимец и ближний боярин Василий III Иван Юрьевич Шигоня-Погожин хлестнул Соломонию плетью. Впоследствии этот Иван Шигоня вместе с Михаилом Юрьевичем Захарьиным и Михаилом Глинским были при Василии III в последние дни его жизни.

Из московского Рождественского монастыря Соломония-София была вскоре переведена в суздальский Покровский монастырь. И здесь разыгрался второй акт драмы. Соломония-София якобы вскоре родила сына. Это был слух, вероятнее всего распущенный самой Соломонией, чтобы оправдаться в глазах Василия и вернуть его расположение. Когда было наряжено следствие, ребенка перед приездом полномочных следователей объявили умершим.

В 1934 году из подклета Покровского собора в суздальском Покровском монастыре удаляли мощи Соломонии Софии, признанной в 1650 году святой; рядом была найдена небольшая могила, а в ней кукла в шелковой рубашечке, в шитом жемчугом свивальнике: след драмы, детали которой еще не совсем ясны.

Новый брак с проведеншей свою юность в Литве красавицей Еленой Глинской справлялся с необыкновенной пышностью. В летописи под 1526 годом сохранилось описание этой свадьбы. Поражает тщательное соблюдение всех свадебных народных обычаев, предназначенных помогать плодородию. Жениха и невесту осыпали хмелем и опахивали соболями. После венчания снова осыпали хмелем, постель стелили на тридцатьи ржаных снопах, у изголовья ставили кадки с пшеницей, а в них зажигали свечи, клали каравай хлеба. Утром в постели кормили кашей. Но детей первое время не было снова.

Только в 1530 году 25 августа Елена родила Василию первенца Ивана — будущего царя Ивана Грозного. По случаю рождения Ивана в летопись была включена пышная и пространная речь: «Благодарение и похвала о благодостном рождении по неплодстве сына, молитвою от Бога дарованна самодержавному царю великому князю Василию боговенчанного царя и великого князя Ивана». И по крещении летописец снова вставляет в свой труд новое «благодарение».

В благодарность за рождение первенца Василий III строит церкви. По-видимому, знаменитая церковь Вознесения в селе Коломенском была построена в ознаменование рождения Ивана. Эта церковь — возносящийся к небу могучий белокаменный кристалл — потрясающее по силе выражение торжества, радости, гордости дарованным счастьем. Она вздымается на высоком берегу Москвы-реки, издали свидетельствуя всему миру о счастье и радости ее создателя. Летописец писал о ней: «...бе же церковь та вельми чюдна высокою и красотою и светлостию, такова не бывала прежде того в Руси». Сооружение храма было отпраздновано трехдневным пиром.

Только после рождения сына осторожный Василий III дал разрешение на женитьбу своего младшего брата Андрея Старицкого: престолонаследие было обеспечено.

В каждом из его писем, написанных им жене после рождения Ивана, он просит жену подробно писать ему о здоровье своего первенца. Эти просьбы настойчивы до назойливости, многословны и придирчивы. «Да и о Иване сыне ко мне отпиши, как его бог милует... Да писала еси ко мне наперед сего, против пятницы Иван сын покрячел (то есть поправился.— Д. Л.); а ныне писала еси ко мне, что у сына у Ивана явилось на шее под затылком место высоко да крепко: а наперед сего о том еси ко мне не писала. А ныне пишешь, что утре, в неделю (в воскресенье.— Д. Л.), на первом часу, то место на шее стало у него повыше да и чернее, а гною нет, и то место у него поболает. И ты ко мне наперед того чего дея о том не писала? а написала еси, что Иван сын покрячел. И ты б ко мне ныне отписала, как Ивана сына бог милует, и что у него таково на шее явилось, и которым обычаем явилось, и сколь давно и каково ныне? И со княгинями бы еси и з боярынями поговорила, что таково у Ивана сына явилось и живет ли (то есть и бывает ли.— Д. Л.) таково у детей малых? и будет ли жив (и если бывает.— Д. Л.), ино с чего такового живет, с роду ли, или с иного чего? о всем бы еси о том з боярынями поговорила и их выпросила, да ко мне о том отписала подлинно, чтоб то яз ведал. Да и впредь как чают, ни мака ли (какая-то детская болезнь.— Д. Л.) то будет? и что про то их примысл, чтобы ко мне и то ведомо было; и как нынче тебя бог милует и сына Ивана как бог милует, и о всем том ко мне отпиши».

В следующем письме он опять подробно спрашивает о здоровье сына Ивана, дотошно повторяя все, что уже сообщила ему Елена, и заставляя ее еще более подробно описать болезнь сына.

В летописи сохранились подробные описания смертей русских князей. В Ипатьевской летописи картинно описана смерть Владимира Васильевича Волинского, в Тверской — смерть Михаила Александровича, в Симеоновской — Дмитрия Красного. Рассказ о смерти Василия III в Софийской второй летописи — один из замечательнейших образцов этой скорбной прозы.

Русские князья умели создавать из своего отхода к отцам и дедам своего рода торжественную мистерию.

По поводу смерти Бориса в опере Мусоргского «Борис Годунов» кто-то из музыкальных критиков заметил, что невозможно умирать стоя. Но именно стоя встречал свою смерть Михаил Александрович Тверской в 1399 году. Перед смертью он пожелал постричься. Его провожали всем городом. Это совпало с прибытием даров от константинопольского патриарха — иконою Страшного суда, мощами святых и миром. Навстречу послан вышел духовенство и народ. Встал с постели и князь Михаил. Проводив икону в храм, Михаил вышел к народу, встал на высокую ступень, кланялся и прощался с толпой. Потом он удалился в монастырь, где через неделю умер.

С не меньшим самообладанием умирал и Василий III. Но умирал он с заботой о престолонаследнике, которому было в это время только три года. Он стремился, чтобы народ, бояре и даже сама княгиня не узнали о его смертельной болезни раньше того, как будет сделано все, чтобы закрепить права малолетнего Ивана на престол.

В противоположность своему отцу Ивану III Василий III был неумолим в своих переездах. Охота и дальние поездки на богомолье были его любимым отдыхом. Он захворал, когда тешился охотой возле своего Волока Ламского. В селе Озерецком появилась у него на левой ноге «мала болячка». И понял великий князь, что приближается его «пременение от маловременного сего жития» в вечную жизнь и блаженный покой. Из Озерецкого Василий больной едет в Нахабное; из села Нахабного с трудом, «одержим болезнью», — в Покровское, в Фуниково и здесь празднует день Богородицы. Из Фуникова снова в село Покровское. В третий день с трудом отправляется в Волок «в болезни велицей». Врачи не могут ему помочь. Больным он пирует у своего любимца Ивана Юрьевича Шигони — того самого, что хлестнул плетью Соломонию при ее постриге. На следующий день князь «с великою нужею» дошел до мыльни и с великим трудом снова сидел за столом в «постельных хоромах». На следующий день выдалась хорошая погода, и Василий послал за ловчими, чтобы тешился охотой, и «не унявся» поехал в свое село Колпь, но по дороге было мало охотничьей потехи. В Колпи Василий

снова с великим трудом сидел за столом, но все ж послал за своим братом Андреем Ивановичем и вместе с ним отправился в поле с собаками. Но поездить смог только две версты и возвратился в Колпь. Снова пир, за которым Василий сидел уже совсем изнемогая. После этого пира у Василия уже не было стола, он ел только в постели. Князя лечили и свои лекари и иноземные — Феофил и Николай Люев. Прикладывали к болячке муку пшеничную с медом и лук печеный.

В Колпи Василий провел две недели и «восхотел» в Волок, но сестя на коня уже не смог, и его несли на руках в носилках. Здесь, в Волоке, начались его дела по составлению завещания. Велись они в строжайшей тайне. Были привезены к князю Старые духовные грамоты скрытно от людей, от княгини и от братии. И снова поездка в Иосифов монастырь. В монастырь он захотел войти пешком — его ввели под руки. И только оттуда его повезли в Москву. Ехали с частыми остановками. В Москву Василий намерился въехать тайно; в Москве было много иноземцев и послов, перед которыми он не хотел предстать умирающим. Он захотел проехать через его любимое село Воробьево, где на Москве-реке спешно стали сооружать мост. Мост подломился под возком — «каптаном» князя. Каптан удалось спасти, только обрубив гужи у выездных ходить с санями лошадей. Возок остался на мосту. Несмотря на то, что великий князь вынужден был вернуться и въезжать в Москву при всем народе, он не наложил на виновных опалы. Он сознавал, что умирает, и не хотел быть жестоким перед смертью. В Москве умирающий князь выполнял все церковные церемонии, стоя принял причастие, принял схиму.

Он сохранял полное самообладание и тщательно отдавал последние распоряжения, касавшиеся государства и его самого. Главной заботой и тут был трехлетний Иван, будущий Грозный, которому он всеми силами стремился надежно обеспечить престол. Он хотел устроить до его совершеннолетия надежное управление государством и по возможности отстранить от управления страной Елену Глинскую.

Отходя к отцам и дедам, Василий III как бы разыграл свою смерть в двух действиях: светском и церковном. Охота была прощанием с любимыми им местами Подмосковья. Она была связана со сложными церемониями и отличалась праздничностью. Полтораэта лет спустя великий любитель соколиной охоты царь Алексей Михайлович сам определял охотничьи церемонии и заботился об их красоте. Созданный при его участии «Урядник соколичьего пути», то есть обряд соколиной охоты, — восторженный гимн ее красоте.

Когда-то для Владимира Мономаха охота была государственным делом. Своими охотничьими подвигами он гордился не меньше, чем своими походами. Для Василия III охота была глубоко личной его привязанностью. Это была лирика древнерусской жизни. Въехав в Москву и занявшись своим завещанием и последними распоряжениями, он сочетал их с выполнением церковного долга.

Но вернемся к трехлетнему наследнику престола — главной и мучительной заботе Василия III. Столь дорогой ценой и с такими страданиями вышестованный наследник русского престола перенес после смерти Василия III все ужасы борьбы за власть его окружавших. Распоряжения Василия III не уберегли царевича. Малолетство Ивана было трагически осложнено борьбой за власть его матери и ее сторонников, а затем бояр между собой. Такими страданиями вышестованный наследник русского престола открыл своим царствованием те «тощие годы» русской истории, о которых упоминает в начале своего повествования Е. Я. Дорош: «Все покатилося с горы». После Ивана Грозного прервалась и та прямая линия потомков Владимира и Ивана Калиты, о сохранении которой так заботился Василий III.



ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ

А. НОВИКОВ,
*Главный маршал авиации,
дважды Герой Советского Союза*

★

«НОРМАНДИЯ» В НЕБЕ РОССИИ

ФРАНЦУЗСКИЕ ДОБРОВОЛЬЦЫ В СССР

Более тридцати лет прошло с тех пор, как французская авиаэскадрилья 28 ноября 1942 года, в самый разгар Великой Отечественной войны, прибыла в СССР. Летчиков-добровольцев называли тогда «посланцами французского мужества». Именно мужества! Все они знали, зачем отправились в Советский Союз, знали, что прибыли к нам не для прогулок, а для того, чтобы вместе с Красной Армией нещадно бить общего врага — германский фашизм. Свободная Франция не могла смириться с немецким агрессором, и французские патриоты продолжали борьбу с ним всюду, где можно было биться с врагом. Не случайно поэтому летчики «Сражающейся Франции» оказались в этот решающий момент схватки с фашизмом в СССР.

Авиаэскадрилье перед отправкой в Советский Союз присвоили имя французской провинции Нормандии, которая больше других пострадала от немецких бомбардировок и оккупации фашистскими войсками. Эскадрилья приняла и герб Нормандии — темно-красный щит с двумя львами. Командир только что сформированной эскадрильи майор Жан Луи Тюлян сказал тогда: «Пусть это название всегда будет напоминать нам о слезах наших матерей, о муках и страданиях наших жен и детей. Пусть оно наполнит наши сердца ненавистью к проклятому врагу и постоянно зовет нас к беспощадной борьбе».

Чтобы попасть в Советскую Россию, французским добровольцам пришлось проделать далекий и нелегкий путь: 12 ноября 1942 года они покинули авиационную базу Раяк в Ливане и отправились в дорогу через Ирак и Иран.

Отправляя в Россию добровольцев из Франции, представитель Национального комитета Р. Гарро сказал тогда: «Может быть, это капля воды в океане, но сердца всей французской нации с нашими солдатами, которые будут сражаться вместе со своими русскими братьями». Вот именно поэтому они и стали посланцами мужества своей нации и именно поэтому (после окончательного разгрома гитлеровской Германии) летним днем 1945 года их на аэродроме Бурже вся Франция встречала как своих национальных героев.

В ходе минувшей войны на территории СССР при активной и бескорыстной поддержке Советского правительства и всего нашего народа были созданы различные иностранные национальные военные формирования — польские, чехословацкие, румынские, югославские. И французская авиационная эскадрилья, преобразованная затем в авиаполк, не являлась в этом смысле исключением.

Формирование добровольческой авиационной эскадрильи «Свободной Франции» происходило на тех же организационных принципах, какие были приняты Советским Союзом в отношении других иностранных соединений и частей, пожелавших выступить плечом к плечу с нашими воинами против общего врага. ;

Иностранные военные формирования, ведя боевые действия, находились в оперативном подчинении советского командования. Что касается непосредственного управления войсками и внутреннего распорядка в иностранных формированиях, то эти вопросы оставались прерогативой их командиров.

Советское правительство оказывало иностранным воинским частям всемерную помощь, создавая им все необходимые условия, обеспечивая вооружением, боеприпасами и всеми видами довольствия. Оно же организовывало передачу богатого боевого опыта, накопленного Советской Армией, обучение иностранных добровольцев и подготовку их к ведению боевых действий на советско-германском фронте.

Незадолго до того, как находившееся в Лондоне руководство французского Национального комитета предложило послать в СССР для совместной борьбы против общего врага группу летчиков-добровольцев, я прибыл с Ленинградского фронта в Москву, где получил новое назначение — командующий советскими ВВС и одновременно заместитель наркома обороны СССР по авиации. Поэтому в моей памяти отчетливо сохранились некоторые подробности, связанные с решением этого вопроса.

Думаю, в данном случае уместно напомнить, что переговоры между Национальным комитетом «Свободной Франции» и советским послом при союзных правительствах в Лондоне А. Е. Богомоловым о переброске одной пехотной дивизии в СССР начались еще в конце 1941 года. Они продолжались затем по дипломатическим каналам, но проходили очень медленно.

В начале февраля 1942 года британский министр иностранных дел А. Иден сообщил послу СССР в Великобритании И. М. Майскому, что английское правительство не считает возможным согласиться на переброску такой дивизии в Советский Союз.

И все же переговоры на этом не закончились. Генерал де Голль, видя, что английское командование держит войска «Свободной Франции» не у дел, обратился в марте 1942 года к нам с предложением послать на советско-германский фронт, как только представится возможность, французскую мотомеханизированную дивизию и значительное число хороших летчиков-истребителей. В марте же в Москву приехал бригадный генерал Эрнест Пети. Он был назначен французским Национальным комитетом главой французской военной миссии, прибывшей в СССР для приема воинских частей «Свободной Франции», которые предполагалось направить на советско-германский фронт. Резиденция генерала Пети находилась на Кропоткинской набережной. Здесь он ожидал дальнейших инструкций из Лондона.

Генерал Эрнест Пети получил высшее военное образование и был весьма эрудированным человеком. Во время войны 1914—1918 годов он сражался в рядах французской армии. Под Верденом Пети был ранен и попал в плен к немцам, откуда в 1918 году бежал. После поражения Франции в 1940 году он примкнул к движению Сопротивления и был направлен в Советский Союз. Французский патриот Пети ненавидел немецких агрессоров, которые дважды за время его службы в армии шли войной на Францию, покушаясь на ее свободу и независимость. К Советскому Союзу он относился очень доброжелательно и считал, что, находясь здесь, он сможет оказывать реальную пользу Франции.

Я встречался с Эрнестом Пети много раз, и он всегда производил на меня самое хорошее впечатление. С таким человеком, как генерал Э. Пети, работать было очень приятно. Но вернемся к прерванному рассказу.

В апреле 1942 года руководство Национального комитета «Свободной Франции» сообщило о своем желании послать на советско-германский фронт 30 летчиков и 30 человек обслуживающего персонала. И, как информировал де Голля генерал Пети, представитель советского Генерального штаба в недвусмысленных и сердечных выражениях заявил, что «Советское правительство, командование и народ горячо желают, чтобы войска «Свободной Франции» сражались вместе с Советской Армией, дабы скрепить дружбу братством по оружию».

Народ и правительство СССР по достоинству оценили благородное стремление французских патриотов, которых воодушевляла героическая борьба Советской Армии против гитлеровской Германии. Горячее желание сынов Франции внести долю своего ратного труда в общее дело борьбы с фашизмом, подчеркивающее традиционную дружбу двух великих народов, встретило в СССР тем более живой отклик, что подобное предложение сделано было в трудный для самой Франции час.

Поверженная германским агрессором, Франция переживала тогда тяжелое время. Но французский народ не смирился со своим подневольным положением и все активнее выступал за свободу Франции. Сопrotивление патриотов с самого начала возглавила Французская коммунистическая партия. Ее Центральный Комитет опубликовал в «Юманите» манифест, подписанный Морисом Торезом и Жаком Дюкло, в котором призывал соотечественников всеми силами противодействовать оккупантам и предателям, находящимся у них на службе.

Героическая борьба Советского Союза против гитлеровской Германии активизировала деятельность французских патриотов. Силы движения Сопrotивления вне метрополии консолидировались под руководством французского Национального комитета, находившегося в Лондоне. Рост антифашистских настроений все сильнее ощущался и в армии. Французы были полны желания вступить в открытую борьбу с ненавистным врагом. А союзники Франции — Англия и США не торопились развертывать активные боевые действия против фашистской Германии. Внимание французских патриотов все больше привлекала Советская страна, народы которой героически сражались с агрессором. Вот почему когда французским летчикам стало известно о достигнутом между правительствами СССР и «Свободной Франции» соглашении сформировать авиационную эскадрилью на территории Советского Союза, они с большой радостью устремились туда, где гитлеровские войска потерпели ряд жестоких поражений и где решалась и судьба Франции, — в Советскую Россию.

В это время под Сталинградом проводилась операция по окружению 6-й немецкой армии Паулюса. На меня была возложена вся ответственность за боевые действия нашей авиации. Я поручил своему заместителю генерал-лейтенанту авиации Ф. Я. Фалалееву оформить соглашение об участии французской авиаэскадрильи в составе советских ВВС в борьбе против немецких захватчиков. Кстати, 6-я немецкая армия — та самая армия, которая в 1940 году вторглась во Францию.

Мной были даны Ф. Я. Фалалееву указания — разместить добровольцев на аэродроме около Иванова при 6-й запасной авиабригаде полковника И. И. Шумова (знаюмого мне по службе в Ленинградском округе), обеспечить их всем необходимым и выделить лучших инструкторов для руководства их подготовкой.

25 ноября 1942 года соглашение об участии французской эскадрильи в составе советских ВВС на советско-германском фронте подписали от имени советского командования генерал-лейтенант Ф. Я. Фалалеев и от имени Национального комитета «Сражающейся Франции» генерал Э. Пети.

СОВЕТСКО-ФРАНЦУЗСКИЕ ОТНОШЕНИЯ В ГОДЫ ВОИНЫ

Чтобы понятнее было, как складывались отношения между Францией и СССР во время второй мировой войны и какую роль сыграл в этом генерал Шарль де Голль, необходимо хотя бы вкратце коснуться самой проблемы.

Политика французской реакции привела к тому, что в войне с Германией в мае — июне 1940 года Франция потерпела поражение и на некоторое время утратила свое значение в Европе. В сентябре 1941 года установился контакт между Советским Союзом и движением свободных французов («Свободная Франция»), которое возникло в Лондоне под руководством генерала Шарля де Голля.

Генерал де Голль давно считал, что Советский Союз неизбежно будет втянут во вторую мировую войну. И когда, находясь в Дамаске, узнал, что гитлеровская Германия вероломно напала на СССР, то сразу же заявил, что, «поскольку

русские ведут войну против немцев, мы безоговорочно вместе с ними». Он знал, что интересы СССР и Франции нигде непосредственно не вступали в противоречие, и поэтому энергично форсировал установление контактов с Советским Союзом, добиваясь скорейшего признания Москвой организации «Свободная Франция».

Это движение, разумеется, не представляло всех антифашистских сил Франции. Но в период войны «Свободная Франция» была единственной легальной организацией французов, борющейся вместе с союзниками против гитлеровской Германии и находившейся на не оккупированной фашистами территории. Поэтому Советское правительство положительно встретило предложение генерала де Голля установить прямой контакт и обменяться неофициальными представителями с обеих сторон.

26 сентября 1941 года через посла СССР в Лондоне И. М. Майского Шарль де Голль узнал, что Советский Союз признал его «как руководителя всех свободных французов, где бы они ни находились». Тогда же Советское правительство выразило твердую решимость после достижения совместной победы над гитлеровской Германией «обеспечить полное восстановление независимости и величия Франции».

Принято считать, что движение «Свободная Франция» родилось 18 июня 1940 года. В этот день генерал де Голль обратился с воззванием к французским военным служащим на британской территории по лондонскому радио. Организационно это совершилось позже, 24 сентября 1941 года, при возникновении Национального комитета «Свободной Франции».

Когда же назрела необходимость преобразовать французский Национальный комитет во временное правительство во главе с Шарлем де Голлем, определенные силы на Западе заняли в этом вопросе отрицательную позицию. Так, государственный секретарь Соединенных Штатов Кордэлл Хэлл заявил, что якобы «де Голлю американцы и англичане не доверяют. Переход власти к де Голлю означал бы с военной точки зрения большую угрозу коммуникационным линиям в Северной Африке, растянувшимся на 1400 миль. Американцы не хотят иметь в своем тылу чужих генералов...».

Некоторые представители американских правящих кругов на роль руководителя сражающихся французов выдвигали адмирала Дарлана, считая его кандидатуру более подходящей. После убийства Дарлана в декабре 1942 года их ставленником оказался крайний реакционер генерал Жиро. Но все попытки заменить генерала де Голля оказались безуспешными.

После разгрома гитлеровских полчищ под Сталинградом движение Сопrotивления во Франции активизировалось и с ним нельзя уже было не считаться. Национальный комитет, руководимый де Голлем, стал решительнее опираться на эти патриотические силы.

Дальнейшие наши успехи на советско-германском фронте, широкий размах национально-освободительного движения в оккупированных нацистами европейских странах в начале 1944 года заставили западных союзников ускорить открытие второго фронта в Европе...

Союзные армии высадились в Северной Франции 6 июня 1944 года. Однако французские войска в этой операции почти не использовались, хотя их участие в освобождении родных земель от фашизма казалось вполне естественным. Вопреки пожеланиям генерала де Голля командование союзников направило лучшие французские части в Италию. И это произошло не без давления определенных кругов Запада, боявшихся усиления освободительной борьбы в оккупированных странах, особенно во Франции, где велико влияние левых, демократических партий, в первую очередь коммунистов. То, что эти прогрессивные силы поддерживали де Голля, настораживало ряд влиятельных политиков. Они намеренно затягивали также вопрос о признании де Голля главой временного правительства Французской республики. Такое официальное признание Шарля де Голля правительствами Англии, США и СССР произошло 23 октября 1944 года, да и то благодаря настойчивости Советского Союза.

* * *

Итак, начиная с 26 сентября 1941 года отношения между СССР и «Свободной Францией» восстановились и укреплялись на протяжении всей войны 1941—1945 годов. Свидетельством прочности этих контактов явился договор советского и французского народов о союзе и взаимной помощи, заключенный 10 декабря 1944 года, когда в Москву прибыла французская делегация во главе с Шарлем де Голлем. Это был первый договор, заключенный на равных правах временным правительством Французской республики с другой великой державой — Советским Союзом.

Заклучив договор с Советским Союзом, глава временного правительства Шарль де Голль выразил свое удовлетворение переговорами в Москве. Вся Франция приветствовала подписание этого документа. Газеты различных направлений одобрили пакт о союзе и взаимопомощи. Московский договор значительно укрепил и авторитет самого де Голля как главы временного правительства Французской республики на международной арене.

Наступивший впоследствии период «холодной войны», когда заокеанская военщина, залугивая правительства ряда стран Западной Европы призраком «советской агрессии», сколачивает блок НАТО под эгидой США, направленный против социалистических государств, характеризуется ослаблением франко-советских контактов. Франция все теснее связывает себя со странами НАТО. Генерал де Голль в это время отходит от политической жизни, живя в своем имении Коломбэ.

1952 год. Французский министр иностранных дел Жорж Бидо от имени Франции подписывает договор о создании Европейского оборонительного сообщества (ЕОС). После ратификации этого договора Национальным собранием французы потеряли бы право на собственную армию: она вошла бы в единую Европейскую армию под командованием американских генералов. Понимая, что это угрожает суверенитету Франции, Шарль де Голль резко выступает против ЕОС, против Европейской армии. В результате в 1954 году французское Национальное собрание не ратифицировало договор, подписанный Жоржем Бидо...

Заняв после президентских выборов 1958 года пост президента Франции, генерал де Голль в первую очередь вынужден решить сложную «алжирскую проблему», взяв курс на самоопределение Алжира. Этот курс одобряется Национальным собранием, а противники его терпят крах.

Укреплению международного авторитета Франции, ее суверенности способствует и решение о выходе страны из НАТО.

И наконец, Шарль де Голль стремится установить более тесные контакты с Советским Союзом. В своих «Мемуарах надежд» он по этому поводу писал: «Общее положение изменилось по сравнению с тем, каким оно было во время создания НАТО. Для всех стала очевидной невероятность версии о возможности похода с советской стороны для завоевания Запада... Для французов Советская Россия — великая страна, наш союзник в двух мировых войнах. Своей храбростью и своими бесчисленными жертвами она обеспечила окончательную победу, и без ее участия сегодня немислимо обеспечение мира...»

По приглашению Президиума Верховного Совета СССР Шарль де Голль побывал в 1966 году в Советском Союзе с официальным визитом. В результате московских переговоров де Голля с советскими руководителями была подписана советско-французская декларация, открывавшая новый этап в отношениях между нашими странами, в их совместных усилиях по разрядке международной напряженности.

...Когда Шарль де Голль скоропостижно скончался 9 ноября 1970 года, не дожив тринадцати дней до своего восьмидесятилетия, Франция погрузилась в траур. Французская коммунистическая партия в своем заявлении по поводу смерти де Голля подчеркивала, что «его кончина не может оставить безразличным ни одного француза».

А вот как оценили заслуги Шарля де Голля руководители Советского государства Л. И. Брежнев, Н. В. Подгорный, А. Н. Косыгин в телеграмме на имя

президента Франции Жоржа Помпиду: «Имя генерала де Голля, одного из руководителей антигитлеровской коалиции, неразрывно связано для всех советских людей с совместной борьбой Советского Союза и Франции в суровые годы второй мировой войны, с победой над фашистской тиранией. Выдающийся государственный деятель, пользовавшийся высоким международным авторитетом, генерал де Голль многое сделал для возрождения величия Франции на путях независимой внешнеполитической ориентации. В Советском Союзе помнят и высоко ценят большой вклад, который внес генерал де Голль в дело развития отношений дружбы и сотрудничества между СССР и Францией».

Мудрые, справедливые слова! В них подытожено главное, что было сделано генералом де Голлем по укреплению дружественных контактов наших стран в годы войны и в мирное время.

И, вероятно, отнюдь не случайно, восстанавливая в памяти далекие события военных лет, когда в СССР прибыла первая горстка французских летчиков-добровольцев, я снова и снова вспоминаю Шарля де Голля, нашу встречу с ним во время его визита в Москву в 1944 году.

Спрашивается, какое отношение имел де Голль к авиаполку «Нормандия — Неман»? Как знать: если бы не настойчивость де Голля, возглавлявшего движение «Свободная Франция», возможно, не было бы и авиаполка «Нормандия—Неман». Ведь именно он, несмотря на отказ Черчилля перебросить летчиков-французов в Советский Союз, добился того, что они прибыли в нашу страну в то грозное время, чтобы бить гитлеровцев.

ФРАНЦУЗСКИЕ ДОБРОВОЛЬЦЫ В ИВАНОВЕ

Первая группа французских добровольцев (15 летчиков и 58 авиационных механиков) под командованием майора Жака Луи Тюляна прибыла в город Иваново 29 ноября 1942 года. Посланцы далекой Франции были выходцами из разных социальных прослоек, но ненависть к агрессорам объединяла их, они стремились к одной и той же цели.

«Нормандия» являлась третьим национальным формированием ВВС «Свободной Франции» и официально называлась «истребительная группа № 3».

Надо отметить, что в упомянутое время во французских ВВС группой назывались авиационные полки, которые состояли из двух эскадрилий. Но из-за малочисленности «Нормандии» ее у нас стали называть эскадрилей.

В числе первых 15 летчиков были: Жан Луи Тюлян (командир эскадрильи «Нормандия»), Жозе Пуликэн, Альбер Литтольф, Реймон Дервиль, Роллан де ля Пуап, Жозеф Риссо, Андре Познанский, Альбер Прециози, Альбер Дюран, Марсель Лефевр, Ив Бизьен, Дидье Бегэн, Марсель Альбер, Ноэль Кастелэн и Ив Майэ.

Наиболее опытными летчиками оказались Тюлян, Литтольф, Прециози, Лефевр, Дюран, Альбер и де ля Пуап.

— Мы покинули свою поруганную родину, — заявил Марсель Лефевр, — чтобы возвратиться туда только победителями. Иного пути у нас нет.

Несколько слов о руководстве эскадрилей «Нормандия».

Майор Жан Луи Тюлян, как я уже сказал, был назначен командиром эскадрильи еще во Франции, так же как его заместитель Альбер Литтольф. Ж. Тюляну, когда он прибыл в СССР, было тридцать пять лет. Он закончил офицерское военное училище в Сен-Сире и летную школу в Версале. Его отец — летчик, воевавший в первую мировую войну. Два брата отца тоже авиаторы. Таким образом, Тюлян стал потомственным летчиком, проявляя интерес к авиации с самых ранних лет. Дисциплинированный, скромный, с отличной строевой выправкой, этот офицер испытывал к нашей стране самые добрые чувства. Тюлян как-то удивительно легко сходилась с людьми, и нашим командирам всегда удавалось находить с ним общий язык.

Его заместителю капитану Альберу Литтольфу едва исполнилось тридцать

два года. Отличный боевой летчик, Литтольф уже имел солидный боевой опыт, успев до приезда в Россию сбить десять боевых машин врага. Это был требовательный, справедливый офицер, которого любили летчики и авиамеханики «Нормандии».

У Литтольфа имелся особый счет к агрессору: его родину Эльзас гитлеровцы вновь аннексировали, сделали своей областью. Поэтому Литтольф отказался служить в министерстве авиации в Виши, резиденции правительства Петена, и предпочел бежать в Англию, а потом отправиться в Россию, где представлялась возможность сражаться с гитлеровскими захватчиками, уничтожать их.

Сбитые немецкие самолеты были и на боевом счету у лейтенантов Альбера, Дюрана, Лефевра и де ля Пуапа. Остальные летчики обладали хорошей подготовкой, боевым опытом, но сбивать вражеские машины им еще не приходилось.

Здесь я хочу подчеркнуть одно обстоятельство, которое в глазах советских людей делало акт доброй воли французских патриотов особенно значительным. Французские друзья высказали свое твердое желание встать рядом с советскими воинами, дравшимися с ненавистным врагом, не тогда, когда наша армия находилась, скажем, в Восточной Пруссии, а в то время, когда гитлеровские полчища дошли до Волги и Кавказа. Сражающаяся Франция встала рядом с нами в 1942 году — еще до Курска, до Днепра, до Немана и до Балкан. Ее посланцы прибыли на советскую землю, чтобы биться вместе с нами против захватчиков в дни, когда полыхало еще зарево гигантской битвы под Сталинградом. Именно в канун Курской битвы, весной 1943 года, и началась славная боевая деятельность французской авиаэскадрильи «Нормандия».

Что значила группа французских, даже самых умелых и отчаянных летчиков, в гигантских битвах, где миллионы советских солдат столкнулись с миллионными фашистскими полчищами? Дело тут, конечно, не в арифметике — дело в дружбе, в том душевном движении, которое для народа дороже всех речей и деклараций, дело в общей крови, пролитой на русской земле во имя победы. И в СССР никогда не забудут, что летчики «Нормандии» пришли к нам на помощь до Сталинграда. В свою очередь, и Франция никогда не забудет, что мы оценили и признали ее в те дни, когда многие на свете говорили, будто «с Францией все кончено»...

В Иванове группу французских добровольцев разместили в военном городке, где летчикам предстояло восстановить утраченные летные навыки и переучиваться на советских боевых машинах. Для связи с ними я назначил постоянного представителя из штаба советских ВВС полковника С. Т. Левандовича, которого обязал систематически заниматься делами авиаэскадрильи «Нормандия» и докладывать мне о нуждах и просьбах французских, где бы я ни находился — в Москве или на фронтах. С этого момента я был постоянно в курсе всех событий и боевой деятельности французских добросовестным и обстоятельным докладам полковника Левандовича.

Первое время французским летчикам было трудно привыкнуть к условиям суровой русской зимы. Многие из них сомневались, выдержат ли они в столь непривычной для себя обстановке. Сомневался и я: не так-то легко французским летчикам освоиться со снежным покровом, при котором у себя на родине им действовать не приходилось. После некоторых неудачных посадок с помощью трактора стаскивали с посадочной полосы самолеты с погнутыми винтами.

С легкой одеждой французы быстро расстались, всех их одели в теплые унты, меховые брюки и куртки, валяные сапоги, шапки-ушанки, в которых русская зима казалась им не такой уж страшной. Да и вообще сомнения быстро рассеялись от той теплоты, с какой встретили их на советской земле.

Один из летчиков «Нормандии», майор Пьер Пуйяд, в последующем командир полка французских добровольцев, вскоре после приезда в СССР вспоминал (и это публиковалось в нашей фронтовой печати), что «французские летчики встретили со стороны бойцов и офицеров Советской Армии и народа самый

теплый прием. Между французскими пилотами и их товарищами по оружию — советскими летчиками установились отношения взаимной симпатии и тесной дружбы. Здесь, вдали от нашей родины... мы совсем не ощущали одиночества».

А вот свидетельство командира эскадрильи майора Тюляна по прибытии в Иваново: «Мы знали, какие трудности переживала Советская Россия, и были удивлены и растроганы такой теплой встречей, такой заботой о нас. Мы с первых дней почувствовали, что ступили на землю своих лучших друзей».

И действительно, французские летчики и авиамеханики были довольны всем: и учебным процессом и устройством быта. Лишь русская зима иногда доставляла им неприятности. Сначала французы не верили, что обмороженные нос или щеки можно «отогреть» снегом, но убедившись в этом, сами стали с успехом применять его при появлении белых пятен на лице.

Штаб советских ВВС постарался создать французским добровольцам, прибывшим в Иваново, наиболее благоприятные условия для их будущих боевых действий на фронте. Они получили возможность выбрать любой тип самолета-истребителя. Замечу кстати, что летчики «Нормандии», в высокой профессиональной подготовке которых не было сомнения, единодушно остановили свой выбор на самолете «ЯК-1» конструкции Александра Сергеевича Яковлева, категорически отказавшись от всех предложенных им типов иностранных истребителей.

«ЯК-1» очень понравился им своими высокими летно-тактическими данными, качеством оборудования и простотой управления. В отличие от принятых на вооружение немецких истребителей этот самолет имел меньший вес и потому лучшие маневренные свойства. А в последующих модификациях его были значительно улучшены винтомоторная группа и посадочные характеристики, увеличена мощность огня.

4 декабря 1942 года я подписал приказ о включении эскадрильи «Нормандия» в состав советских Военно-Воздушных Сил. Благодаря самоотверженной работе советских летчиков-инструкторов и технического состава, напряженным усилиям и старательности французских летчиков их боевая подготовка проходила успешно. Но так как начатые еще в декабре 1942 года учебно-тренировочные полеты завершались, настало время представить эскадрилью «Нормандия» к инспекторской проверке и отправке на фронт.

Инспектирование проводили глава французской военной миссии генерал Э. Пети и назначенный мной представитель советских ВВС полковник С. Т. Левандович, которые вместе с командующим ВВС Московского округа генералом Н. А. Сбытовым в марте 1943 года прибыли на аэродром в Иваново.

Личный состав эскадрильи «Нормандия» встречал их с большим волнением. Прежде генерал Пети и полковник Левандович ознакомились с бытовыми условиями французских летчиков и авиамехаников. Признав эти условия хорошими, оба представителя стали верить боевую готовность эскадрильи.

Во время проверки летчики показали свое высокое мастерство: выполняли фигуры высшего пилотажа, стрельбу по воздушным целям, демонстрировали полеты в плотном строю, а на бреющем провели показательный воздушный бой. Особенно сильное впечатление произвел показ высшего пилотажа, выполненный на малой высоте майором Тюляном и капитаном Литтольфом. Они действительно сумели выжать из истребителя «ЯК-1» все его высокие маневренные качества. Как видно, три с половиной месяца напряженной учебы не пропали даром, и поверяющие дали высокую оценку летчикам, признав эскадрилью хорошо подготовленной к боевым действиям.

Позднее генерал Пети сказал мне, что советские истребители «ЯК-1» очень понравились летчикам «Нормандии» и они собираются хорошо драться на этих боевых машинах.

Итак, инспекционная проверка закончена, боевые машины облетаны, вооружение, радиотехническое оборудование и все механизмы каждого самолета проверены и командир эскадрильи майор Ж. Тюлян доложил генералу Э. Пети и командиру авиабригады полковнику И. И. Шумову о готовности летчиков и са-

молетов к отправке на фронт. О чем в свою очередь полковник Шумов подал мне рапорт.

Передо мной встал вопрос: на какой фронт, в какую из воздушных армий направить эскадрилью «Нормандия»? Мне не хотелось на первых порах послать ее на главное стратегическое направление, а дать возможность французским летчикам постепенно ознакомиться с фронтовой жизнью, изучить обстановку и приемы воздушного противника. Потом можно перебазировать эскадрилью в более активный район, где вражеская авиация мешает нашим войскам продвигаться вперед.

Полковник Леванович доложил мне, что французам перед отправкой на фронт хотелось бы взглянуть на Москву, которой никто из них ни разу не видел. По моим расчетам, поездка в столицу должна была занять не больше недели, и я дал согласие на это.

Я так и не решил еще, куда отправлять «Нормандию», но посоветовавшись с заместителями, пришел к выводу, что лучше всего послать ее на один из наиболее важных участков — Западный фронт.

Там уже началась весенняя распутица (конец марта) и в военных действиях наступила оперативная пауза. Если «Нормандию» сейчас перебросить в 1-ю воздушную армию, у французов будет время осмотреться, освоиться.

На этом варианте и порешили. Я доложил Верховному Главнокомандующему наш вариант и, получив его «добро», приказал полковнику Шумову готовить эскадрилью к перелету на Западный фронт.

В этот же день я сообщил командующему 1-й воздушной армией С. А. Худякову решение Верховного и дал указание втягивать французских летчиков в боевую работу постепенно, чтобы они имели возможность освоиться с фронтовой обстановкой.

Французы, узнав об отправке на Западный фронт, повеселели и горячо принялись за подготовку своих боевых машин к перелету.

Но сам перелет произошел уже без меня, так как 19 марта я направился на Центральный фронт, под Курск, где Гитлер сосредоточивал войска для наступления. Но и там я не упустил «Нормандию» из поля зрения.

ФРОНТОВАЯ ЖИЗНЬ «НОРМАНДИИ»

22 марта 1943 года эскадрилья «Нормандия» перелетела на Западный фронт и приземлилась на военном аэродроме Полотняный Завод, в двадцати пяти километрах севернее Калуги. Перелет прошел благополучно, без каких-либо происшествий.

Командующий 1-й воздушной армией генерал-лейтенант авиации С. А. Худяков был уже на аэродроме и следил за посадкой эскадрильи. Все летчики хорошо посадили машины.

Познакомившись с французскими добровольцами, Худяков распорядился временно включить эскадрилью в состав 204-й бомбардировочной авиадивизии, которой командовал полковник С. П. Андреев, зачислив ее на все виды довольствия и вооружения.

Вначале «Нормандию» расположили на аэродроме 261-го бомбардировочного авиаполка 204-й бомбардировочной дивизии. На этом аэродроме, достаточно удаленном от линии фронта, легче было ознакомить французоз с районом полетов, воздушной обстановкой, тактикой действий авиации противника, особенно с приемами в воздушных боях. Затем им стали поручать прикрытие аэродрома базирования и зоны сосредоточения наземных советских войск, сопровождение бомбардировщиков, наносивших удары по переднему краю противника, перехват вражеских самолетов-разведчиков и т. д.

Советские друзья — офицеры, сержанты и солдаты 261-го бомбардировочного полка, которым командовал майор В. И. Дымченко, позаботились о том, как по-

лучше разместить французских летчиков. И хотя условия были фронтовые, несравнимые с городским комфортом — несколько жилых домиков и землянка под командный пункт, — все остались довольны. «Устроились мы здесь хорошо, — писал в своем рапорте генералу Пети майор Тюлян, — нам выделили самые лучшие помещения, питание как по качеству, так и по количеству вполне удовлетворительное».

Вначале французы изучали в воздухе окрестности аэродрома с наиболее характерными ориентирами. Потом задания стали потруднее: маршрутные полеты к линии фронта, прикрытие аэродромов базирования и районов сосредоточения наших войск. Таким образом, летчики «Нормандии» постепенно осваивались с условиями фронтовой жизни. Боевые же действия воздушного противника из-за весенней распутицы были слабыми. Кроме того, в ту пору шли жаркие воздушные сражения в низовьях реки Кубани и на Таманском полуострове, где противник сосредоточил значительные авиационные силы. Враг стянул туда отборные, наиболее боеспособные авиачасти, в том числе истребительные эскадры «Удет» и «Мельдерс», общим числом около 1000 самолетов. С нашей стороны на Северо-Кавказском фронте действовало до 900 боевых машин. Я в то время был на Кубани и координировал работу авиации.

На участке фронта в сорок—пятьдесят километров ежедневно проходили десятки ожесточенных схваток. Несмотря на упорство, немецкие летчики потерпели жестокое поражение. С 17 апреля по 7 июня наша авиация на Кубани произвела около 35 тысяч боевых самолето-вылетов, а враг в ходе операции потерял вместе с авиационным пополнением 1100 машин, из которых 800 были сбиты в воздушных боях. Мы завоевали прочное оперативное господство в воздухе.

На Кубани широко применялись вертикальный маневр, эшелонирование по высоте боевых порядков, управление групповым воздушным боем с наземных радиостанций, система оповещения и наведения истребителей на воздушного противника, своевременное наращивание сил в бою. Истребители часто практиковали «свободную охоту», блокирование вражеских аэродромов. Перехват бомбардировщиков врага проводился сильными маневренными группами истребителей на дальних подступах к линии фронта. Все это и обеспечило нашу победу на Кубани при равенстве воздушных сил обеих сторон.

Улетая с Северо-Кавказского фронта, я подумал в дороге об эскадрилье «Нормандия»: как-то французы усвоили методы группового воздушного боя? Я знал, что у летчиков французской истребительной авиации узаконен принцип самостоятельности во время боя. Летчик не получал оповещения и наведения на цель с наземных радиостанций, он должен был самостоятельно проанализировать воздушную обстановку и решить, откуда выгоднее нанести удар.

На следующий день в Москве я по телефону связался с командующим 1-й воздушной армией и дал ему следующие указания: «Проверить наблюдением, как ведут себя французы в групповом воздушном бою, не сохранилась ли у них привычка в азарте боя переходить к индивидуальному действию «сам за себя». Это задание лучше всего поручить генералу Захарову, знающему всех французских летчиков».

Итак, хорошая подготовка при переучивании, отличная техника пилотирования на истребителе «ЯК-1», высокая точность стрельбы по воздушным и наземным целям довольно скоро позволили привлечь летчиков «Нормандии» к полноценной боевой работе — к сопровождению бомбардировщиков, «свободной охоте», ударам по аэродромам противника. Совместное пребывание эскадрильи с 261-м бомбардировочным авиаполком явилось как бы подготовкой к фронтовым действиям. После этого в середине апреля она была передана в оперативное подчинение командира 303-й истребительной авиадивизии генерала Г. Н. Захарова, чтобы начать активную боевую работу. «Нормандия» перебазировалась к линии фронта, на аэродром Васильевское (в районе города Козельска), где располагался 20-й истребительный авиаполк майора И. А. Кукина.

Так командование советских ВВС искренне стремилось помочь французским летчикам постепенно окрепнуть, почувствовать свою силу и в более спокойных

условиях подготовиться к напряженным боям, которые предстояли на знаменитой Курской дуге.

Хочу еще указать на основную тенденцию, которая, как мне кажется, отчетливо определилась в ходе боевой деятельности французских летчиков-добровольцев на советско-германском фронте летом и осенью 1943 года. Французские летчики под непосредственным влиянием своих советских коллег от ярко выраженных индивидуальных действий в первых схватках с врагом перешли к тактике группового воздушного боя. Наука побеждать давалась им нелегкой ценой.

Счет своим победам в воздушных боях на советско-германском фронте летчики «Нормандии» открыли 5 апреля 1943 года. В этот день две девятки бомбардировщиков «ПЕ-2», ведомые полковником Андреевым и майором Дымченко, под прикрытием эскадрильи «Нормандия» шли курсом на запад для удара по артиллерийским батареям противника. Это был первый совместный боевой вылет французских летчиков, от которого многое зависело — придут ли бомбардировщики без потерь или нет? При подходе к цели 4 вражеских истребителя «ФВ-190» пытались атаковать наши бомбардировщики, но французы воспрепятствовали этому. Завязался воздушный бой, в котором Прециози и Дюран сбили два вражеских истребителя «ФВ-190». Вся наша группа вернулась на аэродром без потерь. Первые две победы окрылили французов, вселили уверенность в своих силах.

Через неделю, 13 апреля, прикрывая наши войска, французы провели второй бой, в районе города Спас-Деменска. 6 истребителей «ЯК-1» под командованием майора Ж. Тюляна смело атаковали вражеские «ФВ-190», уничтожив 3 фашистских самолета.

Французские летчики сразу же зарекомендовали себя смелыми воздушными бойцами, и это способствовало росту авторитета и уважения к ним со стороны друзей — советских летчиков. Однако в наших совместных действиях выявились особенно четко не только сильные, но и слабые стороны летчиков «Нормандии». Всего за апрель и май 1943 года они провели 10 воздушных боев, в которых сбили 8 самолетов противника, кроме того, уничтожили 8 вражеских бомбардировщиков при налетах на аэродромы. Но и сама эскадрилья потеряла за это время 4 летчика и 4 самолета; не вернулись с боевого задания лейтенанты Реймон Дервиль, Андре Познанский, Ив Бизьен и Ив Майэ. Потери в воздухе насторожили французов, и в последующих встречах с противником они стали действовать более осмотрительно. Летчики призадумались: во всем ли правильны их действия в воздушном бою? Так, например, 15-мая капитан Литтольф в паре с лейтенантом Кастелэном вылетели на «свободную охоту». Вскоре летчики встретили два мессершмитта («МЕ-110», двухмоторный самолет). Кастелэн, забыв в азарте боя об обязанностях ведомого и увлекшись погоней за «МЕ-110», сбил его, но оторвался от Литтольфа. Литтольф похвалил своего ведомого за эту победу, но за самовольное оставление ведущего посадил лейтенанта Кастелэна под домашний арест. На первых порах во фронтовой жизни французских летчиков нередко бывали случаи, подобные с Кастелэном, и они порой несли неоправданные потери.

Наиболее тяжелые потери в эскадрилье были в июле 1943 года. Но прежде несколько слов о битве на Курском выступе, в которой принимали участие французские летчики уже в составе 303-й истребительной авиадивизии. Я в то время как представитель Ставки по авиации находился на Брянском фронте и координировал боевые действия 15-й и 1-й воздушных армий.

Рассчитывая на то, что в 1943 году США и Англия не предпримут широких наступательных действий против Германии, Гитлер дал указание о подготовке летнего наступления на советско-германском фронте и стал сосредоточивать крупные силы немецких войск в районе Курской дуги. В своем оперативном приказе от 15 апреля 1943 года Гитлер писал: «Я решил, как только позволят условия погоды, провести наступление «Цитадель» — первое наступление в этом году. Этому наступлению придается решающее значение. Оно должно завершиться

быстрым и решающим успехом. Наступление должно дать в наши руки инициативу на весну и лето текущего года.

В связи с этим все подготовительные мероприятия необходимо провести с величайшей тщательностью и энергией. На направлении главных ударов должны быть использованы лучшие соединения, наилучшее оружие, лучшие командиры и большее количество боеприпасов. Каждый командир, каждый рядовой солдат обязан проникнуться сознанием решающего значения этого наступления. Победа под Курском должна явиться факелом для всего мира».

Битва на Курской дуге действительно явилась одним из поворотных моментов войны. Только поворот этот оказался совсем не таким, о каком мечтал Гитлер. Но чтобы добиться такого перелома и вырвать «факел победы» из рук противника, сосредоточившего на этом участке фронта достаточно сил для успешного наступления, нашим войскам пришлось нелегко. Любой ценой предстояло выстоять, удержать позиции, на которые враг собирался обрушить всю броневую мощь своих танковых армий, а затем нанести ответный удар. Эту задачу и предстояло выполнить Советской Армии, а с нею вместе и всему нашему народу.

Поражения на советско-германском фронте, в результате которых немецко-фашистские войска, по данным германского генерального штаба, с июня 1941 по июнь 1943 года потеряли убитыми, ранеными, пропавшими без вести свыше 4 миллионов 126 тысяч человек, основательно потрясли весь фашистский блок. В странах-сателлитах росло недовольство. Фашистская Италия находилась на грани выхода из войны. Престиж Германии в глазах ее союзников был основательно подорван.

Однако, несмотря на неблагоприятную военно-политическую обстановку, Гитлер и его сподвижники считали, что война далеко не проиграна и тяжелое положение можно поправить. Реванш решили взять в районах Курска и Орла. Это решение Гитлера дорого обошлось фашистской Германии: новые тысячи человеческих жертв и колоссальные потери в боевой технике.

Наступательная операция гитлеровцев, как уже говорилось, носила условное наименование «Цитадель». По этому плану фашистским войскам предстояло окружить и уничтожить группировку советских войск в районе Курского выступа, снова захватив стратегическую инициативу в свои руки. Кстати, планируя эту операцию, гитлеровское командование делало ставку на новое вооружение: массовое применение тяжелых танков «тигр» и «пантера», а также самоходных артиллерийских установок «фердинанд», которые имели прочную броневую защиту и сверхмощное вооружение.

Так, например, тяжелый танк «Т-VI» («тигр») представлял собой бронированную машину весом в 60 тонн. Вооружение танка — одна 88-миллиметровая пушка и два пулемета. Лобовая броня достигала 100 миллиметров, а бортовая — 80 миллиметров.

В районах предстоящего наступления гитлеровцев стягивались лучшие, отборные дивизии. Их было 50, в том числе 16 танковых и моторизованных, сосредоточенных севернее и южнее Курска. Эта группировка насчитывала 900 тысяч человек, до 10 тысяч артиллерийских и минометов, 2700 танков и самоходных артиллерийских установок, 4-й и 6-й воздушные флоты общей численностью 2050 боевых самолетов; из них: 1200 бомбардировщиков, 600 истребителей, 150 разведчиков и 100 штурмовиков. Для непосредственной поддержки своей пехоты противник в качестве штурмовика намеревался использовать двухмоторный «Хеншель-129». Здесь гитлеровцы располагали сотней таких машин. Среди истребителей были и новейшие для того времени, например истребитель «Фокке-Вульф-190А». По расчетам фашистов, этому самолету предстояло господствовать в воздухе.

Свои удары гитлеровцы направили против Центрального и Воронежского фронтов, где было сосредоточено свыше миллиона 300 тысяч солдат и офицеров, до 20 тысяч артиллерийских и минометов, до 3600 танков и самоходных артиллерийских установок. 16-я и 2-я воздушные армии, действовавшие на этих фронтах,

располагали 2370 боевыми самолетами. Кроме того, к участию в операции можно было привлечь 1-ю, 15-ю, 5-ю и 17-ю воздушные армии соответственно Западного, Брянского, Степного, Юго-Западного фронтов и основные силы авиации дальнего действия.

Качественное состояние нашего самолетного парка к лету 1943 года значительно улучшилось. В распоряжение отдельных фронтов стало поступать все большее количество пикирующих бомбардировщиков «ПЕ-2». Ими заменялись устаревшие самолеты, которые действовали теперь только в ночное время. Особенно большие изменения произошли в парке истребителей. С 1943 года господствующее положение занимали модернизированные самолеты «ЛА-5фн», «ЯК-9», «ЯК-7б», которые нисколько не уступали новейшим немецким истребителям, а «ЛА-5» превосходил их по скорости и скороподъемности. Наши новые истребители «ЛА-5фн», «ЯК-7б» и «ЯК-9» давали возможность вести эффективные воздушные бои с новейшими немецкими самолетами типа «МЕ-109» и «ФВ-190А». Эта более совершенная техника позволяла применять вертикальный маневр и (благодаря радиосвязи) действовать в расчлененных боевых порядках на увеличенных дистанциях и интервалах.

К лету 1943 года все самолеты-истребители фронтовой авиации были вооружены крупнокалиберными пулеметами (12,7 мм) системы М. Е. Березина, которые пришли на смену пулеметам ШКАС. На самолетах «ЯК-9» с весны 1943 года устанавливалась 37-миллиметровая пушка конструкции А. Э. Нудельмана и А. С. Суранова («НС-37»). Немцы не располагали такой мощной авиационной пушкой. Резко менялась и наша тактика группового воздушного боя.

Исключительно эффективной в борьбе с вражескими танками оказалась изобретенная в начале 1943 года инженером И. А. Ларионовым кумулятивная противотанковая авиабомба (сокращенно ПТАБ), предназначенная для нашей штурмовой авиации. На борту каждого штурмовика умещалось до 250 таких бомб. Они обладали сильным разрушающим действием, малым весом и малыми габаритами. Противотанковые бомбы оказались дешевыми в изготовлении, и наша промышленность быстро наладила их производство; к началу Курской битвы они доставлялись на передовую транспортными самолетами.

Таким образом, оба фронта (Центральный и Воронежский) превосходили противника как в людях, так и в боевой технике. Ставке Верховного Главнокомандования заблаговременно стали известны планы немцев, и она приняла решение создать крупную группировку наземных войск и авиации. Ставка предполагала вначале обескровить наступающие вражеские войска в оборонительном сражении, а когда враг выдохнется, сразу перейти в решительное контрнаступление. Как показал ход боевых действий, это решение было правильным.

Готовились к предстоящим напряженным боям на Курской дуге и летчики эскадрильи «Нормандия». В июне 1943 года к ним прибыло очередное пополнение из восьми летчиков: лейтенанты Жан де Тедеско, Андре Буб, Лео Барбье, Жеральд Леон, младшие лейтенанты Андре Вальку, Фирмин Вермейль и Жак Матис. Возглавлял группу майор Пьер Пуйяд.

Командир эскадрильи «Нормандия» майор Жан Луи Тюлян ввел их в курс боевой обстановки. Тюлян и его заместитель Литольф рассказали прибывшим летчикам о первых боях с противником, о тактике вражеской авиации, о том, что немцы под Курском и Орлом сосредоточивают крупную группировку наземных войск и значительные воздушные силы. Вероятнее всего, гитлеровцы намереваются начать решительное наступление на позиции советских войск на Курской дуге. Эскадрилья «Нормандия» в недалеком будущем предстанет серьезные воздушные бои, и надо быть к ним готовыми.

— Вам же надлежит,— продолжал майор Тюлян,— как можно быстрее освоить истребитель «ЯК-1», чтобы стать полноценными летчиками и принять активное участие в предстоящем сражении.

Вновь прибывшие французские летчики стали усиленно тренироваться в полетах на «ЯК-1», чтобы к началу наступления войск Западного фронта овла-

деть истребителем в совершенстве. В первой декаде июля эскадрилья «Нормандия» полностью была готова к выполнению боевых заданий.

В период подготовки к сражениям на Курской дуге воздушные силы не прерывали боевых действий, стремясь помешать сосредоточению войск противника, максимально ослабить его авиационную группировку.

Начиная с 9 марта 1943 года авиация дальнего действия ночью систематически наносила бомбардировочные удары, дезорганизуя работу вражеских коммуникаций и срывая подготовку противника к летнему наступлению в районе Курского выступа. Все это, вместе взятое (бомбежки и обстрел самолетов, активные действия наших партизан), привело к тому, что железнодорожные магистрали в глубоком вражеском тылу работали с большими перебоями и сосредоточение немецких войск на этом участке фронта затягивалось.

В операциях по уничтожению фашистских самолетов на аэродромах с 6 по 8 мая принимали участие воздушные армии Западного, Брянского, Центрального, Воронежского, Юго-Западного и Южного фронтов (в том числе и эскадрилья «Нормандия»). Для нее это был первый рейд в неприятельский тыл, и французы не без волнения отправлялись на боевое задание, так как радиостанция правительства Петена оповестили, что французских летчиков на советско-германском фронте надо рассматривать как партизан. А с партизанами, как известно, эсэсовцы расправлялись с особой жестокостью. Сеценский и брянский аэродромы, которые предстояло штурмовать «Нормандии», прикрывались сильной зенитной артиллерией, и летчики, естественно, волновались: вынужденная посадка на территории, занятой фашистами, грозила им неминуемой смертью.

Вместе с группой истребителей 18-го гвардейского авиаполка французы 6 и 7 мая блокировали и штурмовали сеценский и брянский аэродромы, действуя смело и уверенно. По данным советских партизан, в Сеце было разбито 8 и повреждено 16 вражеских машин, уничтожено 17 зенитных точек, 4 прожигателя, 2 барака, убито и ранено около 200 гитлеровцев. На брянском аэродроме французам удалось взорвать склад авиационных бомб и сбить 2 самолета.

* * *

Вскоре началась знаменитая битва в районе Курска. Рано утром 5 июля 1943 года немецко-фашистские войска перешли в наступление одновременно на орловско-курском и белгородском направлениях.

Для наших войск оно не было неожиданным. 2 июля Ставка Верховного предупредила командующих Центральным и Воронежским фронтами о возможности перехода противника в наступление в ближайшие дни. Поэтому наши войска и авиация находились в полной боевой готовности. А с рассветом 5 июля по распоряжению Маршала Советского Союза Г. К. Жукова была проведена мощная артиллерийская контрподготовка по скоплениям противника, сосредоточившегося для атаки наших войск. Это вызвало замешательство в стане врага, ибо наш артиллерийский обстрел нанес врагу большие потери. Но все же немцы в 5 часов 30 минут начали наступление. Генерал-фельдмаршал фон Клюге не решился просить у Гитлера отсрочки намеченной операции.

Вражеские танки и пехота, поддержанные авиацией, перешли в атаку. В первый день авиация противника проявляла большую активность, направив основные усилия на подавление наших боевых порядков, расположенных в обороне. В воздухе обе стороны дрались с яростным ожесточением. Однако наши летчики нанесли противнику значительные потери. Так, например, только летчики 8-й гвардейской истребительной авиадивизии Воронежского фронта за первый день вражеского наступления уничтожили 76 фашистских боевых машин, а всего за 5 июля 15-я, 16-я и 17-я воздушные армии сбили в воздухе и уничтожили на аэродромах 320 вражеских самолетов.

На следующий день, 6 июля, гитлеровская авиация резко сократила свою активность. Если накануне на Центральном и Воронежском фронтах было отме-

чено 4526 самолето-вылетов, то 6 июля только 2100. Окончательный перелом в борьбе за господство в воздухе наступил 7 июля. С этого дня советские истребители (в особенности «ЛА-5фи»), полностью захватив инициативу, стали надежно прикрывать наши войска, участвующие в битве на Курском и Орловском выступах. Истребители перехватывали и уничтожали бомбардировщики противника на подступах к нашим оборонительным рубежам. Активность вражеской авиации с каждым днем падала.

Сосредоточив основные силы на белгородско-курском направлении, гитлеровцы пытались танковыми таранами сломить советскую оборону. Особенно ожесточенные атаки предпринимали дивизии СС «Мертвая голова», «Великая Германия», «Адольф Гитлер», «Рейх». Однако войска Воронежского и Центрального фронтов, поддерживаемые авиацией, успешно отбивали эти удары, уничтожая фашистские «тигры», «пантеры» и «фердинанды». Особенно хорошо работали штурмовики на «ИЛ-2». Против наступающих танков «ИЛы» впервые применили кумулятивные бомбы (ПТАБ), оказавшиеся достаточно эффективным средством: при попадании такая бомба рвалась, прожигая броню, и, как правило, выводила машину из строя.

Понеся огромные потери в танках, пехоте и авиации, гитлеровцы с 10 июля перешли на орловско-курском направлении к обороне, в то время как на белгородско-курском бои продолжались еще несколько дней. Однако и здесь с 16 июля немцы стали отводить свои части. Начали преследовать противника и войска Воронежского фронта. С 18 июля к ним присоединился Степной фронт, находившийся в резерве Ставки. К исходу 23 июля удалось восстановить положение, существовавшее на этом участке до начала немецкого наступления.

Таким образом, гитлеровская операция «Цитадель» провалилась. Отборные фашистские дивизии в короткий срок были обескровлены, потеряли способность вести наступательные действия. Попытка Гитлера взять реванш за прежние поражения, вырвав из рук советского командования стратегическую инициативу, потерпела крах.

Я намеренно остановился на Курской битве, чтобы показать, в каком серьезном сражении довелось сразу же участвовать эскадрилье «Нормандия». Славный боевой путь прошли французские летчики. За Курской последовал целый ряд других операций: Смоленская, наступательные операции по освобождению Белоруссии, Прибалтики, Восточно-Прусская операция, штурм Кенигсберга. Во всех этих боях наши товарищи по оружию принимали самое активное участие. Но об этом я расскажу дальше.

* * *

Летчики «Нормандии» узнали о начале вражеского наступления на Курском выступе только к вечеру 5 июля и были приведены в повышенную боевую готовность вместе с авиачастями 303-й истребительной дивизии. В активных действиях эта авиадивизия не участвовала, но ежедневно могла получить боевое задание.

О ходе оборонительного сражения на Курской дуге я регулярно информировал командующих 1-й и 15-й воздушными армиями Западного и Брянского фронтов, которым в ближайшие дни предстояло перейти в контрнаступление.

С огромным интересом французские летчики следили за битвой под Курском, восхищаясь боевыми действиями советских Воздушных Сил. Они искренне радовались, узнав, что летчик А. В. Ворожейкин на «ЯК-7б» сбил в одном воздушном бою 3 вражеских самолета, что старший лейтенант Н. Д. Гулаев с 5 по 11 июля уничтожил 13 самолетов врага, а старший лейтенант И. Н. Шпак — 8. Узнали французы и то, что в 1-м гвардейском истребительном авиакорпусе Брянского фронта командует эскадрилей гвардии старший лейтенант Алексей Маресьев, у которого после тяжелого ранения ампутированы ступни обеих ног.

Летчикам «Нормандии» история Маресьева казалась удивительной, и они задавали друг другу один и тот же вопрос: «Как он ведет истребитель, если у него

нет ступней на обеих ногах?» Меня волновал тот же вопрос. Хотелось подробнее узнать: как летает Маресьев? какие трудности возникают у него в боевом полете?.. Хотя в порядке исключения я допустил Маресьева к полетам на истребителях, мне не приходилось видеть его при боевых вылетах.

Как раз в это время в 15-ю воздушную армию прибыл военный корреспондент Борис Полевой, который очень заинтересовался боевой жизнью летчика Маресьева. На следующий день вместе с Б. Полевым и командиром авиакорпуса Е. М. Белецким мы поехали на аэродром километрах в десяти южнее города Новосилия, где стоял 63-й гвардейский истребительный авиаполк, в котором служил Маресьев. Мы прибыли туда в тот момент, когда эскадрилья Маресьева вернулась с задания, а сам Алексей Петрович сбил одну машину врага. Опытный боец, Маресьев не раз сбивал в воздушных схватках вражеские самолеты и раньше, еще на Северо-Западном фронте. Но на этот раз он впервые сбил машину противника, вернувшись на истребитель после операции — на протезах. Летчик переживал незабываемые минуты! Мне оставалось только поздравить его и подтвердить, что мое решение допустить его к выполнению боевых заданий остается в силе.

Маресьев был страшно доволен, но сильно волновался, рассказывая нам о недавней стычке с врагом. Видимо, большое нервное напряжение и усталость давали о себе знать, и мы с генералом Белецким, убедившись, что его боевые дела идут хорошо, отправились на другой аэродром.

А Борис Полевой остался в эскадрилье Маресьева, чтобы на досуге, не спеша побеседовать с летчиком о его жизни, о том, как он воюет. Так состоялась первая встреча автора с героем будущей книги «Повесть о настоящем человеке»...

По сводкам Совинформбюро летчикам «Нормандии» стало известно о подвиге гвардии старшего лейтенанта А. К. Горовца, сбившего в одном бою 9 бомбардировщиков «Ю-87». Французы восхищались его смелостью, называя Горовца не иначе как «le héros» — герой.

Подвиг старшего лейтенанта Александра Горовца поистине бессмертен! Ни одному пилоту в мире не удавалось еще в одном бою одержать 9 побед! Горовец совершил то, что теоретически считалось неосуществимым.

Французские добровольцы восхищались и многими другими боевыми действиями советских летчиков за время оборонительного сражения на Курской дуге. Они радовались каждому ратному успеху наших войск и с нетерпением ожидали перехода в наступление Западного и Брянского фронтов, чтобы принять самое активное участие в битве под Курском и Орлом. Ждать им пришлось недолго.

* * *

Как уже упоминалось выше, на орловско-курском направлении (Центральный фронт) все атаки фашистов успешно отбивались и противник перешел к обороне, в то время как на Воронежском фронте, на белгородско-курском направлении, он еще пытался наступать.

Используя затруднительное положение гитлеровцев, Западный и Брянский фронты по приказу Ставки утром 12 июля перешли в наступление. Им предстояло разгромить скопление войск противника на Орловском выступе, в первую очередь покончив с его болховской группировкой.

К началу наступательной операции 1-ю и 15-ю воздушные армии по моему распоряжению значительно усилили авиационными авиакорпусами из резерва Ставки. Кроме того, 11-ю гвардейскую общевойсковую армию генерала И. Х. Ваграмяна на Западном фронте поддерживали в этом наступлении 204-я бомбардировочная на «ПЕ-2», 224-я штурмовая на «ИЛ-2», 303-я истребительная, 213-я ночная легкомобильная авиационные дивизии и эскадрилья «Нормандия» 1-й воздушной армии.

15-й воздушной армии были приданы 1-й гвардейский истребительный и 3-й штурмовой авиакорпуса. Благодаря этому советская авиация получила численное превосходство над авиацией гитлеровцев.

План орловской операции, получившей условное наименование «Кутузов», заключался в том, что войска Западного, Брянского и Центрального фронтов наносили основные удары по сходящимся направлениям с севера, востока и юга в район города Орла. Они должны были расчленить вражескую группировку, а затем уничтожить ее. По общему плану Ставки, контрнаступление решено было начать с ликвидации Орловского плацдарма и разгрома оборонявшихся там 2-й танковой и 9-й немецких армий.

В день наступления Брянского и Западного фронтов утро было пасмурное. Как сейчас помню, всю ночь моросил мелкий дождь, а под утро образовался туман. Артиллеристы и авиаторы заволновались. «Стреляй и бомби впустую, целей все равно не видно», — говорили они. Но вот взошло солнце и туман начал рассеиваться. Подали команду начать артиллерийскую подготовку. И мощная советская артиллерия заговорила! Несколько позднее появилась наша авиация. Большие группы бомбардировщиков и штурмовиков под прикрытием истребителей обрушили груз авиабомб на позиции противника. Вслед за этим Брянский и Западный фронты перешли в наступление.

В 5 часов 40 минут начался штурм занимаемого гитлеровцами Орловского плацдарма. Пехота и танки одновременно достигли первой траншеи врага и, следуя за огненным валом, двинулись в глубь вражеской обороны. К 10 часам утра главная оборонительная полоса противника была прорвана. К вечеру первого дня наступления войска Брянского фронта прорвали оборону гитлеровцев на глубину десять — двенадцать километров, а войска 11-й гвардейской армии Западного фронта успешно преодолели оборону врага на севере Орловского выступа и в первый же день углубились на двадцать пять километров.

К исходу 17 июля 11-я гвардейская армия продвинулась на юг до семидесяти километров, основные ее силы находились в пятнадцати километрах от населенного пункта Хотынец, восточнее города Карачева, осуществив глубокий обход левого крыла орловской группировки противника.

Жестокие бои развернулись в непосредственной близости от железной дороги Орел — Брянск, единственной железнодорожной магистрали, которую гитлеровское командование могло использовать в случае отступления своих войск. Противник поэтому с особым упорством оборонял занимаемые позиции, введя в бой танковую дивизию и другие резервные части и соединения. Ожесточенные контратаки врага на этом участке фронта, поддержанные мощными ударами с воздуха, следовали одна за другой. Над полем боя все чаще появлялись большие группы немецких истребителей и бомбардировщиков. Все это намного замедлило продвижение войск 11-й гвардейской армии.

Командующий Западным фронтом генерал армии В. Д. Соколовский, стремясь сломить возросшее сопротивление противника, ввел в сражение прибывшие из резерва Ставки Верховного Главнокомандования 11-ю общевойсковую армию генерала И. И. Федюнинского, а затем 4-ю танковую армию генерала В. М. Баданова. Темп наступления наших войск сразу значительно повысился.

Успешно продвигались к городу Орлу и войска Брянского фронта, усиленные 3-й гвардейской танковой армией генерала П. С. Рыбалко.

Войскам Западного и Брянского фронтов активно помогали продвигаться на запад 1-я и 15-я воздушные армии, бомбардировщики «ПЕ-2» и штурмовики, которые обрушивали свои удары на вражеские опорные пункты, вели беспощадную борьбу с танками и скоплением пехоты противника. Советские истребители с утра и до вечера большими группами непрерывно патрулировали в воздухе, надежно прикрывая наши войска.

Для нашей авиации Западного и Брянского фронтов, в том числе и для эскадрильи «Нормандия», наступила жаркая пора.

В первый же день наступления, 12 июля, 303-я истребительная авиадивизия совместно с эскадрилей «Нормандия» провела 12 воздушных боев, сбив до десятка вражеских бомбардировщиков и истребителей. Французские летчики потерь не имели.

13 июля в первой половине дня летчики «Нормандии» сопровождали штурмовики 224-й авиадивизии, которым предстояло нанести удар по боевым порядкам обороны противника. Штурмовики успешно выполнили боевую задачу, не потеряв ни одного самолета «ИЛ-2». Истребители противника стремились атаковать, но французские летчики пресекали все их попытки огнем своих «Яков».

Во второй половине дня 13 июля 8 экипажей из «Нормандии» во главе с капитаном Альбером Литтольфом вылетели для прикрытия переправы наших войск в районе деревни Дурново на юге Калужской области. Едва французские экипажи появились над переправой, как им сообщили по радио о подходе с запада большой группы вражеских самолетов «МЕ-110». По команде ведущего Литтольфа французские истребители устремились навстречу врагу и смело вступили с ним в бой, несмотря на численное его превосходство. В результате воздушного боя капитан Литтольф, лейтенанты Дюран и Кастелэн сбили по одному «МЕ-110», остальные вражеские машины в спешке сбросили бомбы и ушли на свои базы, не причинив нашим войскам никакого ущерба.

На исходе второго дня наступления противник значительно усилил свою авиацию, сняв ее с других участков фронта. Об этом говорили все более ожесточившиеся воздушные схватки. Я счел необходимым предупредить командующих 1-й и 15-й воздушными армиями генералов М. М. Громова и Н. Ф. Науменко, что завтра, 14 июля, следует ожидать тяжелых и непрерывных воздушных боев, так как противник, чувствуя растущую угрозу захвата железнодорожной магистрали Орел — Брянск, всеми силами стремится удержать ее, не считаясь с потерями.

В телефонном разговоре с генералом Громовым я, между прочим, напомнил ему, что завтра у «Нормандии» большой национальный праздник: 14 июля 1789 года восставший французский народ захватил Бастилию. Удобно ли поэтому посылать в бой «Нормандию» в этот день?

Генерал Громов ответил мне, что французские летчики сами рвутся в бой. Не допустить их завтра к участию в боевых действиях значит вызвать у многих из них недовольство. Командир 303-й истребительной дивизии генерал Захаров, по словам Громова, передал ему, что французы намерены обязательно отметить свой праздник победами. Мне оставалось только согласиться с мнением Громова, разрешив привлекать «Нормандию», как обычно, к боевым действиям.

На третий день наступления Западного и Брянского фронтов болховская группировка врага оказалась под угрозой окружения. Поэтому 14 июля противник ввел в бой несколько свежих пехотных и танковых дивизий, сняв их с других направлений.

Боясь рассеяния своей группировки на несколько изолированных друг от друга соединений, немецкое командование бросило все свои силы и авиацию против ударных частей Западного и Брянского фронтов, чтобы задержать их дальнейшее продвижение на запад.

На Западном и Брянском фронтах развернулись сильные воздушные бои, продолжавшиеся до наступления темноты. Неприятельские бомбардировщики и истребители появлялись над боевыми порядками наших ударных частей большими группами, чем сильно задерживали их продвижение вперед. На некоторых участках противник пытался переходить к контратакам, но наша авиация и танки срывали все попытки врага с большими для него потерями...

Поздно вечером 14 июля мне позвонил генерал Громов, доложив общую воздушную обстановку на фронте за прошедший день. В конце доклада Громов сказал, что французы, выполняя данное ими обещание, в напряженных воздушных боях сбили три вражеских боевых машины. Фашистские самолеты сбиты майором Пьером Пуйядом, лейтенантом Марселем Альбером и лейтенантом Нозлем Кастелэном. К сожалению, у французов не вернулся с боевого задания летчик лейтенант Жан де Тедеско. Что с ним случилось, никто не знал. Сожалея о гибели летчика, я в разговоре с генералом Громовым высказал предположение,

что, поскольку Тедеско прибыл в эскадрилью только в июне этого года, он наверняка еще не привык к ведению группового боя и, понадеявшись на собственную силу и мастерство, вел бой в одиночку и погиб. Я обязал Громова всерьез заняться тем, чтобы все французские летчики в совершенстве овладели тактикой группового боя, которая должна войти у них в привычку.

Генерал Громов ответил мне, что задание ему понятно и что в ближайшее время оно будет выполнено. В заключение я просил его от моего имени поздравить эскадрилью «Нормандия» с национальным праздником французского народа и объявил благодарность Пьеру Пуйяду, Марселю Альберу и Ноэлю Каstellану за сбитые вражеские самолеты.

* * *

Французская эскадрилья все время находилась в поле моего зрения. Но меня беспокоило одно обстоятельство: летчики до сих пор никак не могут отвыкнуть от тактики индивидуального воздушного боя. Тем из них, которые прибыли к нам с пополнением в июне 1943 года, еще простительны такие ошибки, но старым летчикам, находившимся в Советском Союзе с ноября 1942 года, ведение одиночного воздушного боя, без взаимной поддержки ведомого больше чем непростительно: велик риск быть сбитым.

Я знал, что в апреле, после того как в первом воздушном бою погибли летчики Реймон Дервиль, Андре Познанский и Ив Бизьен, эскадрилью перебазировали в район Козельска, оперативно подчинив командиру 303-й истребительной авиадивизии генерал-майору авиации Г. Н. Захарову. Это был знающий командир, летчик-истребитель по профессии, с большим боевым опытом. Он воевал в Испании и в Китае, за что получил ряд боевых наград и звание Героя Советского Союза. Пребывание эскадрильи «Нормандия» в составе 303-й авиадивизии позволяло французам перенять богатый опыт, накопленный советскими истребителями, а генерал Захаров сделал все возможное для обучения французских летчиков групповому воздушному бою.

Французских летчиков обрадовал перевод в 303-ю авиадивизию. Они понимали, что им есть чему поучиться у своих советских коллег, имеющих большой опыт в воздушных боях с фашистами. Сначала эскадрилья «Нормандия» стояла на аэродроме Васильевское и взаимодействовала с 20-м истребительным авиаполком, о чем я уже говорил. Но в начале июня французскую эскадрилью перебазировали на полевой аэродром Хатенки в районе Козельска, где в то время находился 18-й гвардейский истребительный авиаполк на «ЯК-1». Это был наиболее подготовленный авиаполк в дивизии, и я хорошо его знал по боевым действиям под Новгородом, когда командовал ВВС Северо-Западного фронта в 1941 году.

В тот день, когда эскадрилья «Нормандия» прибыла на аэродром у деревни Хатенки, 18-й гвардейский истребительный полк произвел уже свыше 7 тысяч боевых вылетов, провел 506 воздушных боев, летчики этого полка сбили и уничтожили на вражеских аэродромах 144 самолета противника.

На вооружении 18-го гвардейского полка в то время находились истребители «ЯК-1», а командовал им гвардии подполковник А. Е. Голубов. Я знал Голубова как первоклассного летчика-истребителя, выполнявшего самые сложные боевые задания. Спокойный и справедливый, Анатолий Емельянович как-то сразу располагал к себе своей добротой и искренностью. В авиаполку он пользовался большим уважением. Да я и сам очень уважал подполковника Голубова и считал его перспективным и отличным командиром. Французские летчики с первых же дней полюбили его за открытую душу, справедливость и скромность.

Опытный боевой командир, А. Е. Голубов отлично летал на истребителях. И я порадовался, что «Нормандию» для взаимодействия поместили вместе с полком Голубова. Дело в том, что его полк, как и французская эскадрилья, был вооружен однотипными самолетами «ЯК-1». Мне думалось, что Анатолий Емель-

янович обязательно «натаскает» французов в групповом воздушном бою. Но срок для этого оказался слишком мал: до наступления Западного фронта оставались считанные дни.

Напряженные воздушные бои, разыгравшиеся во время наступления советских войск, к сожалению, показали, что французские летчики не отказались от своих старых привычек и некоторые из них по-прежнему вели воздушный бой индивидуально. В азарте схватки они не замечали, что покинули боевой строй.

* * *

Советские летчики в те горячие дни наступления Западного и Брянского фронтов действовали с полной отдачей своих сил. Например, летчики славного 18-го гвардейского истребительного полка совершали по 5—6 боевых вылетов ежедневно. Оценив создавшуюся в воздухе обстановку, командир полка А. Е. Голубов решил изменить тактику боевых действий: от налетов мелкими группами авиаполк перешел к действиям в составе двух-трех эскадрилий. Это не замедлило сказаться на успехах наших истребителей по отражению налетов бомбардировочной авиации противника. Летчики понимали важность ликвидации Орловского плацдарма. Они старались максимально облегчить наземным частям быстрейшее продвижение на запад.

Войска Западного и Брянского фронтов с 15 июля продолжали наносить удары по городу Болхову и обошли его с запада на восток. 18 июля немцы нанесли контрудар по нашим частям, охватывавшим Болхов с востока и юго-востока. Завязались тяжелые бои, в которых советские войска, активно поддержанные авиацией и танками, не только отбили вражеское контрнаступление, но и сами нанесли противнику ряд мощных ударов.

22 июля советские воины, измотав и обескровив гитлеровскую группировку, защищавшую город, ворвались в Болхов, а 28 июля части 61-й армии Брянского фронта при содействии 11-й гвардейской армии Западного фронта очистили его полностью от вражеских войск. Так была ликвидирована болховская группировка фашистов. В ходе этого наступления войска Западного и Брянского фронтов разгромили 14 дивизий противника, из них 2 моторизованные и 6 танковых.

Оборона 2-й танковой и 9-й немецких армий была взломана на глубину до восьмидесяти — восьмидесяти пяти километров. Железная и шоссейная дороги оказались под ударами советских войск. Для прикрытия этих дорог немецко-фашистскому командованию пришлось перебрасывать новые крупные силы с белгородско-курского и южного направлений, где в это время развертывались широкие наступательные действия Воронежского, Степного и Юго-Западного фронтов, ближайшей целью которых было освобождение Харькова.

На этот раз весь свой гнев Гитлер обратил против командующего 2-й танковой армией генерала Р. Шмидта, который был снят со своего поста. Вместо него Гитлер назначил по совместительству командующего 9-й армией генерала Моделя, слывшего знатоком обороны. Но и Моделю не удалось удержать эти оборонительные рубежи.

24 июля московское радио объявило о новой победе советских войск на Курской дуге. Весь мир услышал слова приказа Верховного Главнокомандующего о безнадежном провале нового фашистского наступления на советско-германском фронте.

* * *

С первых дней наступления Западного фронта активно участвовали в воздушных сражениях и наши французские боевые друзья. Они старались ни в чем не отставать от своих советских коллег.

В жестоких боях при наступлении на болховскую группировку врага героически погибли первый командир эскадрильи «Нормандия» майор Жан Тюлян, его заместитель капитан Альбер Литтольф, а также летчики капитан Альбер Преци-

ози, лейтенанты Жан де Тедеско, Ноэль Каstellэн и младшие лейтенанты Андриен Бернавон и Фирмин Вермейль.

В эскадрилье тяжело переживали гибель майора Тюляна и его боевых друзей. Но к чести французских добровольцев надо сказать, что понесенные утраты не сломили их духа, не поколебали твердой веры в окончательную победу над немецко-фашистскими захватчиками, топтавшими землю Франции. Горечь утрат побуждала их усиливать удары по врагу. И они с готовностью прислушивались к советам и пожеланиям советских летчиков.

Я узнал о гибели майора Тюляна и капитана Литтольфа только вечером 18 июля, находясь на Брянском фронте. В донесении сообщалось, что оба погибли в воздушном бою: Литтольф 16, а Тюлян 17 июля. При каких обстоятельствах их сбили вражеские самолеты, ничего не говорилось. Я подосадовал на такое невразумительное донесение, решив 20 июля слетать к командующему 1-й воздушной армией М. М. Громову и выяснить подробности гибели Тюляна и Литтольфа. Мне к тому же надо было повидаться с командующим 11-й гвардейской армией генералом И. Х. Баграмяном, чтобы договориться с ним о дальнейшем взаимодействии авиации с его войсками.

Мне от души было жаль Тюляна и Литтольфа. Ведь я лично знал их, это были отличные, многообещающие летчики, безгранично любившие свою родину, преданные друзья нашей страны. Но что поделаешь — война без жертв не бывает.

Прибыв на командный пункт генерала Громова, я в первую очередь высказал ему свое недовольство полученным донесением и приказал доложить мне подробности гибели Ж. Тюляна и А. Литтольфа.

— Надеюсь, у вас было достаточно времени разобраться в этом?

— Да, товарищ маршал, достаточно. Мы установили подробности гибели Тюляна. Разрешите докладывать?

— Докладывайте.

Из доклада М. М. Громова я понял, что основную работу по разбору дела, связанного с гибелью майора Тюляна, провел со всей тщательностью командир 303-й истребительной авиадивизии генерал Г. Н. Захаров.

Узнав о гибели майора Тюляна и других летчиков «Нормандии», Захаров с группой офицеров-истребителей из полка А. Е. Голубова специально отправились к французам и долго беседовали с ними, расспрашивали об обстоятельствах воздушного боя, в котором погиб их командир, тщательно анализировали характер и тактику действий врага, высказывали свои соображения, делились собственным опытом.

По рассказам французских летчиков, участвовавших в этом бою, выходило, что в последний момент самолет Тюляна зашел в хвост четверке истребителей противника и хотел их атаковать. Но он остался один, так как его ведомый был отвлечен боем с парой истребителей «Фокке-Вульф-190». Самолет Тюляна оказался в самой гуще вражеских истребителей. Что произошло дальше, никто из летчиков не видел. Ясно одно: при встрече с вражескими истребителями боевой порядок эскадрильи Тюляна нарушился. Ведомые сами атаковали врага, отрываясь от ведущих, теряя с ними зрительную связь. Итак, оставшись в одиночестве, без ведомого, Тюлян погиб. А могло быть иначе...

Словом, подытоживая разбор боевого вылета французских истребителей, генерал Захаров пришел к выводу, что летчики «Нормандии» в своей практике продолжают недооценивать тактику группового воздушного боя. Сохранение боевого порядка в ходе сражения, взаимодействие, огневая поддержка — обо всем этом французские коллеги часто забывают, неся неоправданные потери.

С выводами генерала Захарова трудно было не согласиться.

— Правильный итог подвел генерал Захаров, — заметил я. — Есть чему поучиться французским летчикам в этой дивизии. Не правда ли?

— Да, хорошая дивизия, товарищ маршал, — ответил генерал Громов.

— Так почему же не обучили «Нормандию» групповому воздушному бою? Прошло три с половиной месяца, как эскадрилья передана в состав Триста третьей дивизии, а воз и ныне там. Сколько же можно терпеть? Я видел на Брянском фронте, как воюет гвардейский истребительный авиакорпус генерала Белецкого. Белецкий в боевой вылет обычно посылает крепко слетанную группу в десять — двенадцать машин, и ни один летчик не нарушит без нужды боевого порядка. Генерал Белецкий внимательно следит за воздушной обстановкой со своего наблюдательного пункта и, если надо, своевременно направляет подкрепление участвующим в бою. Мне много раз приходилось наблюдать воздушный бой такой группы, она смело и уверенно атаковывала самолеты врага и, как правило, возвращалась с победой. Если вы не справитесь с обучением французов групповому воздушному бою к следующему моему приезду, — сказал я на прощание, — то эскадрилью «Нормандия» я у вас заберу и передам генералу Белецкому.

— Не обижайте нас, товарищ маршал. Французы к нам привыкли, и мы к ним тоже, — сказал генерал Громов. — А что касается вашего задания, то, я уверен, мы выполним его к сроку.

На этом наш разговор закончился, и я уехал к генералу Баграмяну.

Майор Пьер Пуйяд, оставшийся за командира эскадрильи, был вызван в Москву к генералу Пети, чтобы доложить об обстановке в «Нормандии». Гибель в трех воздушных боях семи летчиков-французов вызвала понятное беспокойство. Майор Пуйяд и представитель французской военной миссии майор Мирле были в тот же день, 22 июля, приняты представителем советских ВВС генералом Левандовичем. На вопрос генерала Левандовича, чем объяснить гибель майора Жана Тюляна, Пьер Пуйяд ответил, что тому за последнее время чертовски не везло. К тому же некоторые летчики были несколько самоуверенны и слишком пылки.

— Ходит другая версия, — заметил Левандович, — что летчики эскадрильи «Нормандия» пренебрегают тактикой группового воздушного боя, да и не желают почему-то ее освоить. Так ли это?

— К сожалению, так, — признал майор Пуйяд. — Наши летчики хорошо обучены индивидуальной тактике. Но я приму все меры для отработки группового воздушного боя. В этом нам есть у кого поучиться — у советских летчиков-истребителей в авиадивизии генерала Захарова. Конечно, очень жаль боевых товарищей, — продолжал Пьер Пуйяд, — но потери на войне неизбежны. Моральное состояние летчиков высокое, тем более что прибыло пополнение, которое скоро войдет в строй.

Генерал Левандович доложил мне по телефону на Брянский фронт о беседе, состоявшейся у него с Пуйядом и Мирле. Мне понравилось, что Пьер Пуйяд решил всерьез отрабатывать тактику группового воздушного боя в своей эскадрилье.

После тяжелых и напряженных боевых вылетов за время наступления Западного фронта на Орловский плацдарм «Нормандии» предоставили небольшой отдых, тем более что новое пополнение следовало как можно быстрее вводить в строй.

Нельзя сказать, чтобы перестройка в тактике действий французских летчиков проходила совсем гладко. Случаи, когда ведомые в группе, увлекаясь атаками воздушного боя, отрывались от своих ведущих, теряя с ними зрительную связь и нарушали взаимодействие, наблюдались и позже. Но майор Пуйяд строго следил за тем, чтобы все летчики точно выдерживали свои места в строю, не допуская нарушения боевого порядка.

Интересно сложилась судьба самого Пьера Пуйяда, приведшая его в Советский Союз, в ряды эскадрильи «Нормандия». Поражение Франции и ее оккупация немецко-фашистскими войсками застали капитана Пуйяда в колониальных войсках во Вьетнаме, где он командовал авиационной эскадрильей. Союзница фашистской Германии Япония в то время воевала в Индокитае, и французским

военнослужащим, в том числе и капитану Пуйяду, грозил японский плен. Но летчик Пуйяд не хотел оказаться в плену у японцев, он решил бежать, используя самолет. Нелегально перелетев в гоминдановский Китай, он встретился с представителем французского посольства, который и помог Пуйяду перебраться в Лондон. В Лондоне ему предложили штабную должность, но Пьер Пуйяд от нее отказался и направился в эскадрилью «Нормандия» продолжать борьбу с ненавистным врагом, попиравшим Францию. Так в июне 1943 года Пьер Пуйяд попал в Советский Союз.

В настоящее время Пьер Пуйяд живет во Франции. Он генерал, член парламента, несколько раз приезжал в Советский Союз. В мае 1965 года, в дни двадцатилетия победы над фашистской Германией, он возглавлял делегацию, прибывшую к нам из Франции. Я виделся с Пуйядом на банкете в честь приезда ветеранов полка «Нормандия—Неман», где мы тепло и радостно приветствовали французских гостей. Полились воспоминания о минувших днях войны, о боевой жизни полка «Нормандия—Неман», зазвучали мелодии любимых фронтовых песен «Синий платочек», «Катюша», «Темная ночь», «В землянке». Три года трудной совместной борьбы с врагом русских и французов под единым знаменем что-нибудь да значат!..

Но вернемся к рассказу об эскадрилье «Нормандия». В конце июня 1943 года в бытность мою в Москве посетившие меня генералы В. И. Орехов и С. Т. Левандович из аппарата советских ВВС затронули вопрос о награждении французских летчиков советскими орденами. Они просили наградить пятерых летчиков, сбивших по несколько самолетов противника. Мне было дано право награждать советских офицеров и воинов боевыми орденами наравне с командующими фронтами. Однако я не знал, как поступить с иностранцами, сражавшимися вместе с нашей армией, и ответил, что посоветуюсь.

1 июля вечером И. В. Сталин вызвал меня в Кремль с наградными листами на французов и с проектом Указа об их награждении. В это время обычно у него в кабинете присутствовали все члены Государственного Комитета Обороны СССР.

— Какой же может быть разговор, раз французы воюют хорошо! Надо обязательно их наградить, — сказал Сталин.

Это предложение поддержали члены ГКО.

2 июля 1943 года Указ Президиума Верховного Совета СССР был подписан Председателем Президиума Михаилом Ивановичем Калининным. В Указе говорилось, что за образцовое выполнение боевых заданий советского командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и мужество награждаются: орденом Отечественной войны I степени — Жан Луи Тюльян, Альбер Литтольф и орденом Отечественной войны II степени — Альбер Дюран, Марсель Лефевр и Луи Дюпра.

Я сам хотел вручить эти награды французским летчикам. Но И. В. Сталин направил меня на Брянский фронт, который готовился к наступлению на Орловский выступ, занятый противником. Вылетая 7 июля на фронт, я приказал генералу Левандовичу как представителю ВВС присутствовать при церемонии вручения первых наград эскадрилье «Нормандия». Генерал Левандович доложил мне потом, что вручение наград произошло 3 августа, в день, когда прибыло очередное пополнение французских летчиков.

На эту церемонию в эскадрилью «Нормандия» прибыли заместитель командующего 1-й воздушной армией по политической части генерал-майор авиации И. Г. Литвиненко, командир 303-й истребительной авиадивизии генерал-майор авиации Г. Н. Захаров, представитель французской военной миссии в Москве майор Мирле и генерал-майор авиации С. Т. Левандович. Ордена генерал Литвиненко вручил трем летчикам — Марселю Лефевру, Альберу Дюрану и Луи Дюпра; ордена погибших — бывшего командира эскадрильи Жана Тюльяна и его заместителя Альбера Литтольфа — он передал майору Пьеру Пуйяду для пересылки их родственникам во Францию.

ПЕРВЫЙ САЛЮТ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

Наступление Западного, Брянского и Центрального фронтов продолжало развиваться успешно и поставило орловскую группировку противника перед катастрофой. С севера и востока на нее жали войска Западного и Брянского фронтов, угрожая перерезать дороги, которые связывали немецкие войска, занимающие Орловский плацдарм, с их тылом. 11-я гвардейская армия Западного фронта продвигалась в карачевском направлении, а войска 3-й гвардейской танковой и 63-й армий Брянского фронта вышли на ближайшие подступы к городу Орлу. С юга же в направлении Орла успешно продвигались войска Центрального фронта.

Гитлеровцы (9-я немецкая армия) укрепились здесь на заранее подготовленном оборонительном рубеже по рекам Оке и Оптухе и пытались остановить наступление советских войск, но безуспешно. Двое суток, 23 и 24 июля, войска Брянского фронта готовились к прорыву этой вражеской обороны; усиленно велась воздушная и наземная разведка, артиллерия и минометы продолжали бесперебойный обстрел вражеских укреплений, выявляя уязвимые места в обороне противника.

В 8 часов утра 25 июля после артиллерийской и авиационной подготовки войска 3-й гвардейской танковой и 63-й армий Брянского фронта возобновили наступление. Немецко-фашистские части несколько раз предпринимали яростные, но безуспешные контратаки, которые только увеличили потери врага. В результате этих боев фашистам пришлось спешно выводить свои войска из орловского мешка. Отвод вражеских частей и боевой техники начался в ночь на 1 августа, наши войска неотступно преследовали противника. Танки, моторизованная пехота вторгались в расположение врага, выходили на пути его отступления, нанося ему огромные потери.

В ночь на 4 августа войска Брянского фронта с юга и востока начали штурм Орла. Упорные бои с войсками прикрытия шли за каждую улицу, за каждый дом.

Уличные бои продолжались весь день. К вечеру 4 августа наши войска овладели восточной частью Орла, вышли к Оке и начали форсирование реки. В ночь на 5 августа бои шли в западной части города. Утром 5 августа Орел был полностью очищен от оккупантов.

Около двух лет хозяйничали здесь гитлеровцы, грабя и разрушая его. Сообщая о падении Орла, геббельсовское радио цинически похвалялось, «что город полностью разрушен. В Орле большевики не найдут ни одной фабрики, ни одного завода. Жилые дома стоят без крыш...». Население Орла уменьшилось на две трети, тысячи его жителей были угнаны в немецкое рабство, замучены и расстреляны.

К вечеру того же дня войска Воронежского и Степного фронтов овладели Белгородом. В ознаменование исторической победы — взятия двух старинных городов, Орла и Белгорода, — в столице нашей Родины Москве впервые за время Великой Отечественной войны был присвоен победный салют в честь доблестных войск Западного, Брянского, Центрального, Воронежского и Степного фронтов.

А советские воины тем временем с новыми силами громили вражеские дивизии. Активное участие в этом принимали 303-я истребительная авиадивизия и входившая в ее состав эскадрилья «Нормандия», которая взаимодействовала с 11-й гвардейской армией Западного фронта. С 30 июля эта армия была передана в состав Брянского фронта. Наступая на Карачев, она совместно с другими войсками фронта утром 15 августа освободила его от гитлеровцев. Войска Центрального фронта (13-я, 65-я и 70-я армии) освободили города Кромы и Дмитровск-Орловский.

Войска Западного, Брянского и Центрального фронтов вышли на подступы к Брянску, на заранее подготовленный рубеж обороны противника. Здесь они временно приостановили наступление для перегруппировки и нанесения фашистам нового удара.

За время контрнаступления (с 12 июля по 18 августа) советские войска продвинулись до ста пятидесяти километров на запад. В операцию по очистке от гитлеровцев Орловского выступа, в которой немалая роль отводилась авиации, внесла свою лепту и эскадрилья «Нормандия».

В сражении под Курском гитлеровцы понесли сильнейшее поражение, от которого уже не могли оправиться до конца войны. Советские войска в битве на Курской дуге начали разгромить до 30 вражеских дивизий, из них 7 танковых, а наша авиация, завоевав стратегическое господство в воздухе, уничтожила при этом более 3700 самолетов врага. Кстати, несколько слов о господстве в воздухе, которое мы прочно удерживали до конца войны.

* * *

Как известно, войскам и авиации фашистской Германии вследствие внезапного нападения на Советский Союз удалось в начале войны захватить инициативу и стратегическое господство в воздухе. Это поставило наши сухопутные части, военно-морской флот и авиацию в очень тяжелое положение. Надо было во что бы то ни стало вырвать у противника стратегическую инициативу. Без этого невозможны были успешные наступательные операции советских войск, нормальная работа транспорта и промышленности. Недаром, договариваясь с президентом США Франклином Рузвельтом о поставках американского вооружения, И. В. Сталин в письме от 7 октября 1942 года подчеркивал: «...мы крайне нуждаемся в увеличении поставок самолетов-истребителей современного типа (например, «Аэрокобра»)». Что касается положения на фронте, то Вы, конечно, знаете, что за последние месяцы наше положение на юге, особенно в районе Сталинграда, ухудшилось из-за недостатка у нас самолетов, главным образом истребителей. У немцев оказался большой резерв самолетов. Немцы имеют на юге минимум двойное превосходство в воздухе, что лишает нас возможности прикрыть свои войска. Практика войны показала, что самые храбрые войска становятся беспомощными, если они не защищены от ударов с воздуха».

И еще одно характерное высказывание И. В. Сталина относительно превосходства в воздухе авиации. Осенью 1942 года готовилось большое контрнаступление в районе Сталинграда. На меня возлагалась координация действий всей советской авиации, привлекаемой к выполнению этой задачи. На командном пункте Юго-Западного фронта в городе Серафимович находился Маршал Советского Союза Г. К. Жуков, проверяя готовность Юго-Западного, Донского и Сталинградского фронтов к наступлению.

Я доложил маршалу Жукову, что авиация еще не готова к участию в операции: мы располагали лишь трехдневным запасом горючего, некоторые авиачасти на передовую не прибыли из-за нелетной погоды, не полностью подвезены были и боеприпасы. Я просил маршала Жукова отложить операцию на семь—десять дней, чтобы подготовить авиацию к боевым действиям. Г. К. Жуков поставил в известность об этом Верховного Главнокомандующего. 12 ноября последовал ответ И. В. Сталина: «Если авиаподготовка операции неудовлетворительна у Иванова и Федорова¹, то операция кончится провалом. Опыт войны с немцами показывает, что операцию против немцев можно выиграть лишь в том случае, если имеем превосходство в воздухе...» И далее следовало предложение Верховного: «...лучше отложить операцию на некоторое время и накопить побольше авиации».

Познакомив меня с телеграммой Верховного, маршал Жуков сказал об отсрочке нашего наступления на неделю.

— Я надеюсь, — заметил он, — что авиация к тому времени будет готова к боевым действиям и мы получим в воздухе некоторое превосходство над немцами.

Недельного срока оказалось вполне достаточно. 19 ноября началось наше

¹ Условные фамилии Еременко и Ватутина.

контрнаступление, которое привело к окружению войск Паулюса в районе Сталинграда.

Советские авиаторы в ожесточенной борьбе с немецкими ВВС успешно справились с поставленной задачей, завоевав под Сталинградом оперативное господство в воздухе.

И вот посылая меня на Брянский фронт 7 июля 1943 года, И. В. Сталин уже с уверенностью сказал, что теперь наши ВВС обладают достаточной мощностью для господства в воздухе. Насколько возросла сила нашей авиации, я хорошо знал и был уверен: в битве под Курском она победит.

Общая же численность немецкой авиации в ходе войны неуклонно сокращалась. Начиная с 1944 года промышленность Германии уже не успевала восполнять потери в самолетах. И это несмотря на то, что с 1940 года на третий рейх работала авиапромышленность всех оккупированных нацистами стран — 57 самолетостроительных и 17 моторостроительных заводов. Всего же германский воздушный флот располагал 20 700 машинами, из которых 10 980 находилось в строевых частях.

Повсеместный переход гитлеровцев к обороне на советско-германском фронте со второй половины 1943 года тотчас же сказался на качественном составе вражеской авиации. Число истребителей стало расти, а бомбардировщиков сокращаться. По сравнению с началом войны доля истребителей поднялась с 31,2 до 50 процентов, а бомбардировщиков уменьшилась с 57,8 до 35 процентов. На 1 июня 1944 года во всех немецких воздушных флотах, действовавших на восточном и западном фронтах, истребителей было 3030, бомбардировщиков — 2160, разведчиков и других типов самолетов — 910.

В советских ВВС это соотношение тоже менялось. Если в июне 1941 года истребители составляли 56,2 процента, а бомбардировщики — 38,8 процента общего числа боевых машин, то к 1944 году дело обстоит иначе. Для массовых наступательных операций потребовались бомбардировщики и штурмовики, особенно авиация тактического назначения. В результате возросло количество штурмовых машин, доля которых составила около 30, а с дневными бомбардировщиками 55 процентов. Ударная мощь наших ВВС (учитывая штурмовики и дневные бомбардировщики) сделалась очень значительной.

Мы располагали многими данными об основных летно-тактических качествах опытных немецких машин. Судя по характеристикам, они мало что добавляли к уже имевшимся на вооружении у гитлеровцев самолетам. Во всяком случае, опытные экземпляры никак нельзя было причислить к «новому слову в науке и технике». Кроме того, от подобного образца до серийного выпуска — дистанция огромного размера. Даже начало их массового производства — еще не полная гарантия, что новинка прочно утвердится. Так произошло с немецкими истребителями «ХЕ-100» и «МЕ-209». Первый исчез с горизонта, едва появившись на фронте, второй не ушел дальше заводского ангара.

Серьезного внимания заслуживали только реактивные самолеты. Немецкие авиазаводы форсированно осваивали выпуск нескольких опытных машин с реактивными двигателями. Правда, лишь истребители «МЕ-262» и «ХЕ-280» были близки к серийному запуску. Однако, по единодушному мнению наших специалистов, даже эти в полном смысле слова новинки авиационной техники существенной опасности не представляли. «МЕ-262» и «ХЕ-280» оказались очень сложными в управлении, слишком тяжелыми и по продолжительности полета намного уступали винтомоторным истребителям. На самом исходе войны наши летчики при боевых встречах с «МЕ-262» убедились, что, кроме скорости, этот самолет по сравнению с обычными истребителями никакими преимуществами не обладает.

Итак, что же могли противопоставить немцы нашим ВВС в ближайшем будущем? Все те же «юнкерсы», «хейнкели», «мессершмитты» и «фокке-вульфы», только в модифицированных вариантах. Но модификация старой авиатехники, какой бы совершенной она ни была, не решала и не могла решить главной задачи — создания новых целенаправленных самолетов. Улучшая одни качества в старых машинах, немцы невольно ухудшали другие.

Так, например, Вилли Мессершмитт, не найдя, что противопоставить нашим новым «яковлевым» и «лавочкиным», имевшим неоспоримые преимущества перед всеми модификациями «МЕ-109» и «ФВ-190», стал увеличивать бронезащиту, огневую мощь и скорость своей машины. Но так как это делалось за счет увеличения веса, то отличный в летно-тактическом отношении «МЕ-109» из легкого фронтового истребителя в конце концов превратился в тяжелый. Обретя несколько большую скорость, более мощное бортовое вооружение и лучшую бронезащиту, он потерял прежнюю маневренность и не получил никаких преимуществ перед советскими истребителями.

Германская авиапромышленность, несмотря на резкий скачок в производстве самолетов, была не в состоянии, как уже отмечалось, возместить воздушные потери вермахта и увеличить боевой состав немецких воздушных флотов, действовавших на нашем фронте. Авиапромышленность третьего рейха не выдержала испытания войной. В этом также сказался авантюризм гитлеровских заправил, построивших свою военно-экономическую политику на зыбком фундаменте молниеносных боевых действий против Советского Союза.

Мы же сделали для себя определенные выводы из горьких уроков первых месяцев войны, сумев коренным образом и в короткий срок перестроить свои ВВС и авиапромышленность; заново отработали в авиации оперативное искусство; ввели совершенно новую организационную структуру, сформировав воздушные армии и авиакорпуса резерва Ставки Верховного Главнокомандования; создали боевую авиационную технику, отвечающую всем требованиям войны.

Отсюда и результаты: в воздухе летом 1943 года в упорной борьбе мы завоевали стратегическое господство и не уступали его до конца войны.

(Окончание следует)



ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

А. ОВЧАРЕНКО

★

ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

Проблема человека и ее художественное решение

В статье «Вспоминая шестидесятые, глядяваясь в семидесятые» («Дружба народов», 1974, № 2) Гурам Асатиани, анализируя развитие грузинской прозы, говорит о ее обновлении, связанном не только с тем, что художественное воссоздание непрерывно усложняющейся действительности требует новых форм, но, как справедливо подчеркивает критик, главным образом с тем, что обновляются вечные ценности, обновляется понимание человека. Так, в молодой грузинской прозе наблюдается все более острый интерес к человеческой личности, особенно к личности «рядовой»: «„Рядовой“ человек стал уже не „одним из...“, — отмечает критик, — а как бы «первым среди всех», он стал почти что „представителем рода человеческого“».

Интересны, на наш взгляд, наблюдения Гурама Асатиани над такой чертой молодой прозы 60-х годов: боясь, чтобы в повествовании не проскользнул ложный пафос, она порой отказывалась от всякого пафоса, говорила нарочито полупшепотом, впадала в «искусственную естественность»; углубляясь в «микросмир» героя, забывала о широте его социальных связей; стремясь быть более гуманной, впадала в некоторое «размягчение»; проявляя удивительную отзывчивость и понимание героя, обнаруживала не всегда оправданную терпимость к человеческим слабостям.

«Но сегодня не менее ясно, — заключает критик, — что «новая» проза, в сущности, оставила нерешенным вопрос о настоящем герое литературы, о том самом современном герое, на плечах которого держится сегодняшняя действительность». Переходя к новому десятилетию, Гурам Асатиани закономерно обобщает: «В семидесятые годы

в грузинской литературе возникает совсем иной тон. Доброта и гуманность — это, конечно, прекрасно, но надобно чувствовать и другое: что без борьбы, без шутки и конфликта, без трезвого знания закономерностей действительности «добро» остается общим местом, равно как и «гуманность»...»

Не учитывая подобных наблюдений, мы не поймем чего-то и во всей литературе 70-х годов, например ту необычайную внутреннюю полемичность, что насквозь пронизывает современную прозу. Достижения прозы 60-х годов: ее добросердечие, ее лиризм, ее завоевания в постижении душевного «микромира», ее увлечение «обыденной» жизнью, ее доверительная манера повествования, ее отношение к «рядовому» человеку как к «первому среди всех» — все это на вооружении у прозы 70-х.

Вместе с тем сегодняшняя проза часто прямо-таки взрывается против мелкотемья, камерности, нечеткости в понимании добра и зла — против всего, что сужает горизонты. Проникая в глубины жизни, она пытается докопаться до главного, до закономерностей действительности; раскрывая психологические глубины «микромира» обыкновенных людей, она стремится передать его в сложнейшей обусловленности всей совокупностью связей человека; сохраняя непоколебимую веру в силу людского разума, в творческую возможность человека, она не забывает о том, что в мире есть не только «друзья», «товарищи», «братья», но и «оппоненты», «противники», «враги», и поэтому проявляет силу любви, доброты, отзывчивости не к «человеку вообще», а именно к товарищу, другу, брату. Гнев ее, ненависть, ирония, сарказм тоже строго целенаправлены. В этом современная проза

продолжает линию, намеченную в советской литературе такими произведениями прошлых десятилетий, как вторая книга «Поднятой целины» и роман «Русский лес».

Проза наших дней настойчиво решает самый главный вопрос — вопрос о герое. Решает тоже в остром внутреннем споре о человеке. Писатели стремятся показать многоплановость, сложность и противоречивость нашей жизни; современный человек интересует их во всех возможных его ипостасях; писательские требования к герою непрерывно повышаются, воплощаясь, в частности, в так называемом нравственном максимализме и бескомпромиссности. Тот же Г. Асатиани в статье «Дыхание эпоса», («Дружба народов», 1975, № 1), анализируя новейшие произведения грузинской прозы, и среди них роман О. Чиладзе «Шел человек по дороге», делает такое обобщение: «Читая роман О. Чиладзе, ощущаешь, что тебя побуждают идти, не останавливаясь, до конца тем путем, который должен привести к истине, и не успокаиваться преждевременно, и не думать, будто кто-то другой пройдет этот путь вместо тебя».

И в этом нравственном максимализме, в возросшей требовательности к герою, в неприятии всяческих полурешений грузинская проза семидесятых годов не одинока, она чувствует «всесоюзный контекст». Очень далеки от Колхиды белорусские леса, в которых действуют партизаны Василя Быкова, но ведь и там: или — или, последний выбор, предельное напряжение всех сил личности на грани гибели! И в романе литовского писателя Йонаса Авижюса «Потерянный кров», опять-таки бесконечно далеко от романа О. Чиладзе по фактуре и по конкретно-исторической основе, то же ощущение бескомпромиссной жесткости: история не прощает человеку половинчатости, полурешения, неучастия в борьбе! Вспомните эстонцев — «Одну ночь» Пауля Куусберга, «Глухие бубенцы» Эмэ Бэзкман, — совсем не похожая на нашу проза, но и там знак семидесятых годов — стремление отделить в человеке крепкое от «пыльного», настоящее, подлинное от внешнего и мнимого. жестоко отделять, бескомпромиссно. А повесть азербайджанца Максуда Ибрагимбекова «И не было лучше брата» с ее судом над героями? Нет, это не утешительная проза! И то, что происходит у нас, в Грузии, наверное, не случайно.

Произведения последних лет тяготеют

к «универсальности»: часто перед нами причудливый слав элементов философии, политики, психологии. Эта проза затрагивает множество самых разных проблем. Она несет в себе неожиданные мысли, связанные с вопросами, казалось бы, давно решенными. Не редкость в ней философские парадоксы, парадоксальные ситуации, парадоксальные развязки, притчи, аллегории, романтические символы, обусловленные стремлением героев «преодолеть самих себя». Писатели часто прибегают к лирическим отступлениям, к философским размышлениям «от автора»; еще охотнее они предоставляют возможность своим героям поделиться с нами сокровенным, отчего усиливается в прозе удельный вес внутренних монологов и полилогов. Немалое место в прозе занимают элементы публицистики и документализма.

Интересно, что отмеченная универсальность делает повествование более напряженным. Это объясняется, помимо всего уже сказанного, тем, что советские писатели как бы заново «апробируют» нравственные завоевания людей труда в прошлом, те духовные ценности, что были заложены социалистической революцией и новыми социальными условиями, сосредоточивая особое внимание на тех гражданских началах, что, обогащая личность, приближают ее к нашему коммунистическому идеалу. Писатели художественно запечатлевают процесс обогащения и углубления личности, связанный с развитием в нашей стране тех национальных отношений, на основе которых сформировалась новая историческая общность — советский народ. Обогащение и углубление наблюдается равно и в интеллектуальной, и в волевой, и в психологической сферах.

Раскрывая героинку труда, писатели сегодня не боятся оттенять ту сторону, в связи с которой Горький говорил: «В изображении трудовых процессов лирика у всех звучит фальшиво, — это потому, что труд никогда не лиричен, а в существе своем он — эпика, он — борьба, преодоление различных сопротивлений инерции. В труде, если хотите, есть даже элементы трагизма — как и во всякой борьбе».

Конкретно-историческое изображение нашей жизни и нашего человека, соединенное со стремлением проникнуть в их «тайное тайных», приводит к тому, что писатели поднимаются к общечеловеческим проблемам. А усиление философского начала в

современной прозе и поэзии обнажает социальную подоплеку и политическую остроту современной литературы, «возникает оригинальное явление... «злободневного» освоения вечных тем»¹.

Все это и позволяет нашим писателям глубже ощутить потенциальные возможности человека. А этим, в свою очередь, в небольшой степени обусловлено то обстоятельство, что в произведениях последних лет усиливается мотив ответственности советского человека за все происходящее на земле. Именно ответственность становится всеопределяющим началом в изображении нашего человека как Человека Человечества. Ведь он открывает дверь в мир действительного счастья. Каков он, этот человек столь великой миссии? Какие сегодня препятствия на его пути? И что необходимо предпринять, чтобы он достойно исполнил роль, данную ему историей?

Каждый писатель по-своему отвечает на эти вопросы. Ставятся и решаются они на различном материале, с разной степенью глубины и художественной силы. Но именно возвращение к ним придало внутренней крепость советской прозе, помогая каждому писателю по-настоящему проявить своеобразие художественного дарования, творческой манеры.

1

Новый человек рожден историческим ходом жизни. И будущее принадлежит только ему. Так, вероятно, мог бы сформулировать ученый-социолог свои размышления о романе «Одна ночь» Пауля Куусберга («Дружба народов», 1974, № 1). Как литературовед я выражаю свои впечатления иначе: проявляя замечательную художественную изобретательность, эстонский писатель сумел вложить богатое содержание в рамки сравнительно несложного сюжета. Роман знакомит нас, по крайней мере, с восемью интереснейшими персонажами: Маркусом Кангаспуу, Яннусом Таалбергом, Юлиусом Сяргом, Хельмутот Валгепеа, Адамом Пяртелем, Альбертом Койтом, Марией Тихник и Дагмарой Пальм. Говорю «по крайней мере» потому, что, кроме этих восьми эстонцев, в романе есть и другие герои, например отлично нарисованная русская старуха Глафира Феоктистовна, которая в эту снежную ночь правит лошадей.

¹ Владимир Гусев. В предчувствии нового. М. «Советский писатель». 1974, стр. 178.

За всю дорогу она не произнесла вслух ни одного слова, не бросила ни одной реплики восьми эстонцам, выбирающимся из полуокруженной фашистами местности. Но благодаря очень точно написанной (в форме внутренних наблюдений Глафиры Феоктистовны) восемнадцатой главе (кажется, самой краткой во всем романе) мы обзвеем сразу почти всю ее жизнь, получаем представление и о ее больших человеческих достоинствах и о маленьких грехах, узнаем ее неповторимо ласковую душу. Глава дана как поток мысли героини. Поток, очень корректно комментируемый автором. Отчего он становится внутренне более драматичным, не теряя своей непосредственности.

Другой излюбленный художественный прием П. Куусберга в романе «Одна ночь» — внутренний монолог. Размышления Дагмары о себе и о своем муже, вдруг померещившемся ей в снежной замети, автор искусно, через посредство несобственно-прямой речи переводит во внутренний монолог, в ту его разновидность, которую можно назвать потоком мысли, утонченным в результате того, что героиня хочет, чтобы ее мысль передалась мужу — Бернарду Юхансону. «Дагмаре вспомнились рассказы о передаче мыслей на расстоянии, об этом писали и ученые-психологи, а не какие-нибудь там спиритические чудодеи». Рассказав о том, как уставшая Дагмара наконец-то устроилась на санях, писатель, не оговаривая, что дальше следует внутренний монолог героини, дает его «стенотамму»: «Прости, Бенно, что я уехала из Таллина. Я не видела тебя уже двадцать дней» и т. д. — идет почти двухстраничный «разговор» Дагмары с Бернардом. Следующая же глава представляет собой исповедь перед Дагмарой Юлиуса Сярга. Начавшись как обстоятельный монолог, насыщенный интересными мыслями, он в конце главы превращается в диалог Сярга с Дагмарой.

В соединении с движущимися, меняющимися точками наблюдения за происходящим (в кино это называется методом съемок *caméra-sujet*) мы видим все, что происходит в эту ночь, поочередно глазами то одного, то другого персонажа, осмысляем происшедшее, происходящее и то, что произойдет в будущем с каждым героем в отдельности и со всеми вместе. Эти и другие художественные приемы позволяют П. Куусбергу избегать ненужных экспози-

дий и других «вводящих» и «выводящих» построек и пристроек.

Писатель достигает того самого лаконизма, о котором ныне мы так страстно мечтаем. Весь роман уложился в двенадцать авторских листов. Это не потому, что в нем описана всего одна ночь, да и не одна ночь из жизни каждого героя описана в романе! Читатель всего одну ночь находится с героями (отсюда и название романа), видит же он весь путь каждого из них. Свободные переходы из одного временного плана в другой, обращение к прошлому героев, заглядывание в будущее придают повествованию такую временную объемность, что роман можно бы назвать «Одна ночь и вся жизнь». Пока в течение долгой снежной ночи мы попеременно идем за ползущими впереди дровнями то с одним, то с другим, то с третьим, то сразу почти со всеми эстонцами, нам становится известно, как они вырвались из фашистского окружения и прибыли в Ленинград, как потом выходили через Шлиссельбург из блокады и северной частью страны добирались до Урала.

Восхищает легкость, с какой осуществляются в романе временные сдвиги и переходы. Разговор Сярга с Дагмарой автор заканчивает так: «В ту ночь Юлиус Сярг не знал, что его слова сбудутся и что он действительно через несколько лет вернется в Таллин». А далее повествуется о его будущем. Рассказывая, как неуклонно, но упорно Яннус идет вперед, только вперед, автор плавно переключает нас в другой временной план, замечая, что через год Яннус снова окажется в пути. Едва он наладит в Свердловске работу эстонских профсоюзом, его направят на политрабату в эстонское финское соединение. Так же растопырив окки и расставляя непослушные большие ноги, он пойдет в свой последний поход. То был трудный участок фронта. «Яннус не толз, не бежал и не прыгал, он шел так, будто переходил площадь. Его и других отчитали за то, что они не могут преодолеть эту проклятую полосу земли. Коммунисты должны показать пример.

Рослая фигура его и белый полушубок, который задымлен порядком возле тлевших костров, были отличной мишенью, и метров за сто до места Яннус упал. Он лежал на снегу, раскинув руки и ноги так же, как ходил. Убит, видимо, был сразу, хотя смерти своей не предвидел, знал только, что атаку нужно довести до конца, идти вперед, даже если у тебя такие странные руки и

ноги, которые двигаются как им только заблагорассудится». Я намеренно акцентировала внимание на нетрадиционных приемах в романе П. Куусберга потому, что не считаю справедливым утверждение А. Туркова: «Как художник П. Куусберг традиционен, и, читая его после, скажем, повестей Кросса, это ощущаешь особенно отчетливо» («Дружба народов», 1974, № 11). На самом деле П. Куусберг пишет с абсолютным доверием к возможностям реализма, умело обогащая его новейшими приемами художественного углубления в жизнь. Главная же цель автора — показать, каковы наши люди на самом деле. Майе Калда совершенно права, в связи с последними произведениями писателя утверждая: «Посмотреть себе в лицо так прямо, так честно, как только возможно, не оправдывать и не приукрашивать себя и мотивы своего поведения перед самим собой. Не подавлять неприятное чувство, возникшее из-за собственных недостойных поступков, дать ему вырасти пусть даже в страдание, до конца продумать мысли, рожденные этим страданием, ибо только так можно выйти из конфликта с самим собой, найти твердую почву для того, чтобы преодолеть себя, обрести чувство ответственности, жить».

И писатель достигает своей цели: мы почти физически ощущаем, почему этих людей при всех их очевидных недостатках, которые они и сами не скрывают, хотя и стыдятся, нельзя победить. Как справедливо сказал Калле Кург при обсуждении эстонской прозы за «круглым столом» в журнале «Дружба народов», герои романа «не только в одну, но во многие ночи самоанализа выясняют свою роль в защите новых социально-этических ценностей», и они «не предадут эти ценности, оставаясь всю жизнь чистыми в своих убеждениях» («Дружба народов», 1974, № 11).

В романе есть лейтмотив-уподобление. Герои, встающие перед нами, ощущают себя ветвями одного дерева — неотъемлемой частью народа своего, вставшего на новый путь.

В осознании этой слитности с народом — сила старой революционерки Марии Тихник, боцмана Адама Пяртея, Валгепа, Маркуса, Сярга... И Сярга, того самого милиционера, которого «бдительный» Альберт Койт считает «приспособленцем». Он же, Сярг, с полным правом называет себя сторонником большевиков, утверждая, что именно такие, как он, обеспечили победу

Советской Армии в Эстонии: «...задумаетесь: а могли бы сто пятьдесят человек повернуть историю в обратную сторону? Ведь в подпольной эстонской компартии больше членов и не было. Я не говорю о тех, кто жил в России, это значит в Советском Союзе. Нет, сто пятьдесят или двести подпольщиков не смогли бы свершить всего, какое бы там благоприятное международное положение ни было. Сто или двести коммунистов-подпольщиков были в состоянии сделать это, когда их поддерживали сотни и тысячи сторонников, простых людей. Я отношу себя к сторонникам. Единомышленник — может, слишком сильно звучит, какой из меня политик или философ? Да и сторонник, пожалуй, многовато, я принадлежу к тем, в душе которых партия пробудила желание по-новому перекроить мир».

Сознательно беру не самого передового из нарисованных П. Куусбергом людей новой формации. Кроме Марии Тихник, герои романа только формируются как революционеры. Тем показательнее свойственная им внутренняя крепость и решительность. Каждый из них имеет свое представление о главном в характере революционера. Для Маркуса оно в том, чтобы в любых условиях говорить только правду; для Яннуса — чтобы всегда и везде находить пути объединения людей, родственных по устремлениям, не теряя к ним доверия; для Адама — чтобы энергично действовать; для Марии Тихник — чтобы ни в каких ситуациях не терять надежды («Одно Мария знала — нельзя терять надежды. Потерять надежду куда страшнее боли в суставах. В тысячу раз хуже. Пропадет надежда — не станет и человека»). К концу романа мы ощущаем, что из этих качеств складывается некая целостность — идеал человека деятельного, умного, отзывчивого и вместе с тем твердого в своих убеждениях. Писатель рисует героев без прикрас. Но это только увеличивает наше доверие к ним. «Мы хотим быть коммунистами большими, чем есть на самом деле. В действительности мы еще маленькие коммунисты. Коммунисты-младенцы. Но мы же растем!» — говорит один из них.

Роман не оставляет сомнения, что лучшие из этих героев вырастут. Несмотря на то, что мы знакомимся с героями романа, когда они вынуждены обстоятельствами заняться самоанализом, почти все они оставляют у нас впечатление людей действия. В данном случае их действие

проявляется в постижении моральных, социальных, эстетических ценностей, и они отдаются этому со всей страстностью.

Роман «Одна ночь» подкупает верой в человека, доверительностью, естественностью интонации, правдивостью изображаемого. По утверждению автора, в основу произведения положен дневник одного из реальных прототипов. В прологе приводятся отрывки из этого дневника, а также переписка писателя с якобы реальным лицом, являющимся прототипом Маркуса Кангаспуу. Даже если это и чисто художественный прием, то тем самым не снимается главное: роман документален в своей основе. Документальность у Пауля Куусберга как бы пронизывает произведение насквозь, тем самым повышая силу воздействия всего повествования на читателя. Для художественного воображения автора эта документальность не вериги, а прочная опора. «В эту снежную ночь ничего не произошло», — заканчивает роман П. Куусберг. Этими же словами открывается эпилог: «В ту снежную ноябрьскую ночь действительно ничего особенного не случилось. Все, что произошло, произошло потом». И это еще одна из интересных находок писателя. В ночь, описанную в романе, для героев не было ни боев, ни смертей. В ту ночь они не совершили ни одного подвига. В ту ночь они просто шли, погруженные в свое прошлое, в свои думы или в разговоры друг с другом, по заснеженной северной дороге, пролегающей через лес, шли, заново переживая драматические события первых месяцев войны, думая о будущем, о своем отношении к жизни, к людям, к каждому из тех, с кем сегодня выбираются из западни. Подслушав их думы о жизни и о самом себе, их «внутренние исповеди», их споры о том, каким должен быть коммунист, руководитель, рядовой советский человек, прикоснувшись к их душам, мы закрываем книгу с твердой верой в будущее этих людей.

Можно было бы говорить и о других достоинствах романа «Одна ночь», в частности о необычайно тонких и поэтичных описаниях русской зимы, о внутреннем лиризме произведения, о замечательных психологических поворотах, таких, например, как восемнадцатая глава, сразу проявляющая подлинный облик Глафиры Феоктистовны. Размышляя над тем, с чего это молодая эстонка, сидящая за ее спиной, «безмолвно, бесслезно» плачет, она схватывается:

«А вдруг дите у нее под сердцем? Хотя нет, видно было бы. Сколько этой боли, которую создание человеческое сносить обязано! Особо женщины. Облегчи им душу, царица небесная.

Глафира Феоктистовна обняла Дагмару за плечи и прижала к себе. Из глаз Дагмары хлынули слезы, она всхлипывала, как малый ребенок. Повлажнели в глубоких морщинах глаза и у Глафиры Феоктистовны, хотя многое на веку своем она повидала».

Отметим и глубину раздумий автора и героев. Тот же милиционер Юлиус Сярг, например, рассуждает об истоках силы коммунистов, о том, как должно строиться новая жизнь: «У нас в милиции много говорили о бюрократизме, о том, как Ленин ненавидел бюрократизм и спекуляцию. И мы тоже кляли бюрократизм, но только так, иногда, чтобы не обидеть бюрократов. В рабочем государстве чиновничьего умонастроения и в помине быть не должно». И еще он полагает: «В рабочем государстве каждый должен думать и говорить только то, что он считает верным».

Верить, что Маркус, Хельмут, Адам Пяртель, Юлиус Сярг не согнутся даже под такой страшной тяжестью, как война. А ведь она порой сгибала, опустошала, разрушала изнутри людей, казалось бы, воспитанных в тех же условиях, что и большинство честно выполнявших свой долг. Я имею в виду то, о чем рассказывается в повести «Живи и помни» Валентина Распутина («Наш современник», 1974, №№ 10, 11). Наряду с его же повестью «Последний срок» она явилась, на мой взгляд, большим достижением нашей литературы последних лет в области психологической прозы.

2

Сомневаюсь в том, что кто-либо из моих коллег — критиков и литературоведов сумеет запечатлеть на бумаге весь поток противоречивых, порой взаимоисключающих мыслей и чувств, порождаемый чтением повести «Живи и помни». Начать с того, что одним из центральных героев ее является дезертир Андрей Гуськов.

Как к дезертиру отношение автора к нему недвусмысленно. Да и сам Гуськов не оправдывает себя, не строит иллюзий относительно своего будущего, считает, что не заслуживает ничего, кроме расстрела, несмотря на то, что неплохо воевал с начала войны и вплоть до лета 1944 года.

«За три года Гуськову довелось испытать все: и танковые атаки, и ночные лыжные рейды, и изнуряюще долгую, упрямую охоту за «языком». Гуськов не привык, да и не мог привыкнуть к войне, он завидовал тем, кто в бой шел так же спокойно и просто, как на работу, но и он, сколько сумел, приспособился к ней — ничего другого ему не оставалось. Поперед других он не лез, но и за чужие спины тоже не прятался. Солдаты ценили его за силушку: коренастый, жилистый, крепкий, он взваливал огуленного «языка» себе на горбушку и тащил, не запинаясь, в свои окопы».

Однако чем отчетливее проглядывал конец войны, тем сильнее Гуськовым овладевало желание уцелеть, выжить, а с ним, с этим желанием, усиливался страх — страх смерти. Поэтому тяжелое ранение летом 1944 года он воспринял даже с радостью: отвоевался. Но случилось по-иному — из госпиталя его выписали не домой, а сразу на фронт. «Всего себя, до последней капли и до последней мысли, он приготовил для встречи с родными — с отцом, матерью, Настёной, — этим и жьл, этим выздоравливал и дышал, только это одно и знал. Нельзя на полном скаку заворачивать назад — сломаешься. Нельзя перепрыгнуть через самого себя. Как же обратно, снова под пули, под смерть, когда рядом, в своей уже стороне, в Сибири?! Разве это правильно, справедливо? Ему бы только один-единственный денек побывать дома, унять душу — тогда он опять готов на что угодно».

Он решил заскочить к родным, повидаться с женой и, опоздав на два-три дня, вернуться на свою батарею. «Как-нибудь выкручусь». Но уже в дороге понял, что и в пять суток не обернется. Вспомнил расстрел дезертира в 1942 году. И — все пошло под уклон. Только через месяц Андрей оказался в родной Атамановке. Тайно встретившись с женой в бане, грубо спросил: «Ты хоть понимаешь, как, с чем я сюда заявился? Понимаешь или нет?»

— Понимаю.

— Ну и что?

— Не знаю.— Настена бессильно покачала головой.— Не знаю, Андрей, не спрашивай.

— Не спрашивай...— Дыхание у него опять поднялось и запыгало.— Вот что я тебе сразу скажу, Настена. Ни одна собака не должна знать, что я здесь. Скажешь кому — убью. Убью — мне терять нечего. Так и запомни. Откуда хошь достану. У меня

теперь рука на этот предмет твердая, не сорвется.

— Господи! О чем ты говоришь?»

На первый взгляд и этот разговор и дальнейшее поведение героев могут показаться неправдоподобными. Узнав, что ее муж, которого ждала с победой и, не разгибая спины, беззаветно трудилась в колхозе, оказалась дезертиром, Настена не закричала: «Что же ты наделал?» Не заплакала. Не спросила с испугом: «Как жить будем?» Не высказала ни одного упрека. Верно ли это?

Конечно, она не самый передовой человек, кажется, даже в комсомоле не состояла, несвободна от многих предрассудков. Но, ни на минуту не усомнившись в правоте нашей борьбы с фашистами, она три года делает все что может, чтобы приблизить победу. Ее любят колхозники. Так верно ли она ведет себя по отношению к дезертиру, хотя он ей и муж? Ведь вот же свекор ее, отец Андрея, заподозрив, что Настена знает о местонахождении мужа, сказал не колеблясь: «Дай один только и в последний раз увидаться. Хочу я спросить его, на что он такое надеется. А? Не говорил он тебе? Че ж он мою седи́ну позорит? Откуль он взялся? У нас в родове всякие бывали, но он первый... первый...— Сморщившись, словно припоминая и не припоминая, Михеич слабо покачал головой.— А че с тобой сотворил... Ты-то маленькая, че ли, не могла сказать ему? От стервец дак стервец. Доигрался... Сведи нас, Настена,— почти с угрозой потребовал он.— Христом-богом молю: сведи. Надо заворотить его, покуль он совсем не испоганился. Ты сама видишь: дале некуда играть. Хватит. Пожалей меня, Настена, подмогни. И тебе потом легче станет. А?»

Это говорит Михеич, отец Андрея. А ведь ему не легче, чем Настене. И он был единственной опорой Настены в ее трудной жизни с Андреем до войны. И все-таки она не открылась даже Михеичу. Мы бы сделали грубую ошибку, если бы все это объяснили ее страхом перед Андреем. Она не из боязливых. Поведение ее целиком определяется особенностями ее натуры, ее отношением к миру, к людям, к самой себе. Писатель же, в свою очередь, стремится избежать любых упрощений, берет самый сложный, самый трудный жизненный вариант волнующей его темы, ставя свою героиню почти в безвыходную ситуацию. Но это понимаешь в полной мере, только дочитав повесть до конца.

В процессе развертывания сюжета дается немало очень тонких, частных психологических объяснений поведения героини, начиная вот с этого, относящегося к первой встрече с дезертировавшим Андреем:

«Настена с трудом помнила себя. Все, что она сейчас говорила, все, что видела и слышала, происходило в каком-то глубоком и глухом оцепенении, когда обмирают и немеют все чувства и когда человек существует словно бы не своей, словно бы подключенной со стороны, аварийной жизнью. В таких случаях страх, боль, удивление наступают позже, а пока человек не придет в себя, в нем несет охранную службу трезвый, прочный и почти бесчувственный механизм. Настена отвечала и слабой, отстранившейся своей памятью сама же не понимала, как может она обходиться этими случайными и пресными, ничего не выражающими словами,— после трех с половиной лет разлуки, когда любой день грозил быть последним, и после того, что, оборвав этот срок, свалилось на них теперь?! Она не понимала, почему сидит без движения, когда надо бы, наверно, что-то делать — хоть обнять и приветить мужа, встречу с которым голубила чуть не каждую ночь. Надо бы... Но она продолжала сидеть как во сне...»

Мы бы, повторяю, сделали грубую ошибку, если бы увидели в этом главное. Добраться до главного оказывается очень не просто и самим героям и нам, читателям. Тем более что клубок неясного, нерешенного, запутанного, о котором говорится в повести, не просто «громоздится перед нами», а растет и запутывается все больше. Уже в самом начале произведения мы узнаем, что занесенная с верховий Ангары в Атамановку голодом 1933 года Настена, в сущности, не была счастлива с Андреем, если не считать первых месяцев их совместной жизни. Заподозрив, что жена может оставить его без наследников, Андрей быстро переменялся к ней, стал занозистым, грубым, ни с того ни с сего мог обругать, а еще позже научился «хвататься за кулаки». И вдруг этот человек, оказавшись после госпиталя вместо фронта в собственной бане, заявляет: «Я к тебе и шел». Кажется, и автор склонен в это поверить. А мы не можем. Не можем хотя бы потому, что встреча Андрея и Настены заканчивается почти кошмаром. Человек, только что произнесший такие обзывающие слова, валит Настену на пол, как насильник.

Но во вторую встречу с женой Андрей

уже совсем другой — не грубит, не страшает, а в третью оказывается настолько нежным, добрым, ласковым, что Настена даже забывает на время о безвыходности их положения. А он со всей искренностью признается:

«Невозмогу стало. Дышать нечем было — до того захотелось увидеть вас. Оттуда, с фронта, конечно, не побежал бы. Тут показало вроде рядом. А где ж рядом? Ехал, ехал... до части скорей доехать. Я ж не с целью побежал. Потом вижу: куда ж воротиться? На смерть. Лучше здесь помереть. Что теперь говорить! Свиныя грязи найдет.

— Война кончится — может, простят, — неуверенно сказала Настена.

— Нет, за это не прощают. За это, если бы можно было расстреливать, а после сызнова поднимать, расстреливали бы по три раза. Чтоб другим неповадно было. Моя судьба известная, и нечего теперь о ней хлопотать. Я шел и думал: приду, погляжу на Настену, попрошу прощения, что сломал ей жизнь, что гнул без нужды да изгилялся, когда можно было жить. И правда — чего не жилось? Молодые, здоровые, всем, как нарочно, друг под друга подогнанные. Живи да радуйся. Нет, надо было каприз показывать, власть держать. Вот дурость-то... Думаю, приду, покажусь Настене на глаза, покаюсь, чтоб извергом в памяти не остаться, погляжу, со сторонки на отца, на мать и головой в сугроб. Зверушки постараются: приберут, почистят. А уж чтоб вот так с тобой быть — и не надеялся, не смел. Это-то за что мне привалило? За одно за это, если б жить не вспыхнул, я должен тебя на руках носить.

— Ну что ты, что ты, — начала Настена, но он перебил ее:

— Погоди. Начал, так докончу, потом, может, не придется. Мне теперь про себя оставлять ни к чему, не пригодится. Что есть, то и выкладываю. Вот. Пришел, думал, ненадолго, думал, до прощения да до прощания, а сейчас уж охота до лета дотянуть, посмотреть напоследок, какое лето. Охота и все — хоть убей. А тут ты сегодня обогрела — впору скулить от радости. — Он поперхнулся, сглатывая комок в горле, и помолчал. — Мне от тебя много не надо, Настена. Ты и так сколько сделала. Потерпи еще эти месяцы, потаись, а там, придет пора, я сгину. Но потерпи. Немало ты от меня вынесла, вынеси еще и это».

Таких поворотов в повести будет немало. Но именно в этой сцене, полной неподдель-

ного страдания, обнаруживается впервые несовместимость Андрея и Настены. Сын колхозного конюха, человека безукоризненной честности, до самозабвения влюбленного в свое дело, Андрей не был заражен какими-либо страшными пороками, не страдал ни жаждой накопительства, ни честолюбием, не пьянствовал, не дебоширил, считался хорошим работником, знал землю и умел с ней обращаться. И не случись войны, может быть, прожил бы свою жизнь, оставшись в памяти людской незапятнанным. И никто бы даже не сказал о том, что себя он все-таки любил чуть больше, чем других. И вот на крутом повороте ему захотелось позволить себе чуть больше, чем позволялось другим. В результате он не просто разломал собственную жизнь, а сделал несчастными всех близких, ускорил смерть отца и матери, толкнул на самоубийство жену, пресекая тем самым весь свой род. И все это просматривается уже в сцене, о которой идет речь, в самой светлой сцене из всех. В то время как Настена мучительно ищет выхода, чтобы позор мужа не пал на головы его родителей, на жителей всей Атамановки, Андрей безжалостно оставляет им «мертвый огонек», цинично замечая: «Надежа, надежа... — Он вскочил и заходил по зимовейке. — Нет у них (родителей. — А. О.) никакой надежи. Все. Нет. Я только что об этом толковал. Моим старикам ждать уж немного осталось. Там встретимся, поговорим. Может, там войны нет. А здесь хоть у слабого, хоть у сильного — одна надежа: сам ты, больше никто».

Так вон оно в чем дело: можешь быть неплохим работником, сносным солдатом, но если в тебе жив микроб индивидуализма, опасайся его. Сложись для Андрея обстоятельства иначе, он, этот микроб, может, так никогда бы и не пробудился. Но повернулось по-другому — и человека охватила процесс распада. Показывая, как выгорает в Андрее все человеческое, писатель и тут далек от каких-либо упрощений.

Андрей Гуськов не записной злодей, хотя в безвыходной ситуации он сам стремится выпятить в себе все отрицательное. В его рассуждениях о войне немало такого, что свидетельствует о наблюдательности и недюжинном уме. Тем тяжелее видеть, как индивидуализм, проявившийся сначала в желании выжить во что бы то ни стало, затем захлестывает его целиком. Вот Настена сообщает ему: «Забеременела, кажется, я, Андрей». Безумно обрадованный, он та-

раторит: «Вот оно, вот... Я знаю... теперь я знаю, Настена: не зря я сюда шел, не зря. Вот она, судьба...» Казалось бы, Настена должна быть благодарна ему за такие слова. Она же слушает его со все возрастающей обидой и тревогой. Ведь он говорит только о себе. Настена замечает, что ей жить среди людей, поэтому надо решить: что делать? Он отвечает: «От судьбы, Настена, никуда не уйдешь». И, назвав себя «зверюгой лесной», показывает, как он научился по-волчьи выть. «Не дожидаясь согласия, он поднялся, тяжелым шагом подошел к двери, распахнул ее и, выгнувшись вперед, не сразу, начав со всхлипа, словно доскребаясь до нужного голоса, и достав, наострив его, пустил тонкий и длинный, режущий по живому, жалобный и убийственный стон. От ужаса Настена вскочила на колени, схватившись руками за грудь. Андрей вдруг оборвал этот нечеловеческий голос, прикрыл дверь и, откашлявшись, воротился обратно.

— Похоже? — спросил он и сам же себе ответил: — Похоже. Знай, когда услышишь, что это я».

Этой символической сценой как бы намечена та грань, за которой кончается надежда, что можно как-то благополучно развязать узел, завязанный Андреем Гуськовым. За нею следом идут отлично написанные, психологически безупречные, с глубоким подтекстом сцены, такие, как, например, предвещающая страшную развязку сцена, в которой описан один и тот же сон, одновременно увиденный третьегоднешним летом Настеной и Андреем, или превосходное, освещенное солнечной радостью воспоминание Настены о том, как однажды, до войны, она была по-настоящему счастлива с Андреем («А помнишь, как я приезжала к тебе в район, когда ты учился на курсах?»). В художественном отношении им не уступают те главы, где Андрей идет на последнее свидание с Атамановкой и отцом, а затем едва не поджигает мельницу, а также глава, повествующая об убийстве Андреем телянка. При чтении этих глав мы ощущаем, как неудержимо мелеет и без того неглубокое человеческое начало в Андрее, сходит на нет, так что он становится врагом не только людей, но и всего живого. Хорошо это подмечено, когда Андрей, сложив разделанного телянка в мешок, оглядывается в последний раз на корову: «Пригнув голову, она смотрела на него с прежней пристальной неподвижностью, и в ее глазах он

увидел угрозу — какую-то постороннюю, не коровью, ту, что могла свершиться. Гуськов заторопился уйти».

Собственно, здесь и конец Андрею Гуськову, хотя еще и придет к нему Настена. Еще будет он вспоминать, как когда-то косили они на ильин день за речкой. Не случайно его рассказ побуждает Настену спросить: «А это мы сидим сейчас, Андрей? Или те, другие, которые косили?»

Чувствуя, что Андрей готов погубить и родителей, и ее, и ожидаемого ребенка, Настена делает то, что надо бы сделать много раньше: она просит его пойти вместе с нею к народу и повиниться. «Может, не будем так, выйдем? Я бы с тобой куда угодно — куда тебя, туда и я. Так я больше не могу. И ты не можешь, ты посмотри на себя, какой ты стал, что ты с собой сделал? Кто тебе сказал, что расстреляют? Война кончилась...» Но уже поздно. В Андрее уже не осталось ничего от человека.

Говоря об Андрее Гуськове, думаешь все время о Настене. Мы почти непроизвольно сравниваем, сопоставляем их. Не только через прямые высказывания Андрея и Настены, но и самим напряжением, ритмом, внутренним нарастанием или угасанием их энергии автор добивается того, что от сцены к сцене фигура Андрея мельчает в нашем представлении, а Настена становится все ярче, все ближе и дороже нам. Сначала хочется броситься Настене наперерез, остановить, предостеречь, дать спасительный совет... Ничего-то этого нам не сделать. И до конца мы будем мучиться с нею, страдать за нее. Удивляться ее характеру. Ее большому сердцу. Оплакивать ее трагическую судьбу: что же ты, Настена, наделала?

Мы неотступно думаем: почему она поступила так? И могла ли поступить иначе?

Нас многое удивляет, озадачивает в ее представлении о женской доле, в ее отношении к мужу. Но мы не можем не признать, что за этими представлениями скрывается настоящая чистота, честность и, если хотите, беспримерная преданность, граничащая, с одной стороны, с самозабвением, с другой — почти с преступлением. Конечно же, никакой угрозой Настену нельзя было заставить сделать то, что она затем сделала для Андрея. Что здесь двигало ею? И специфическое, из глубины веков идущее представление об отношении мужа и жены, выразившееся с такой силой в вопросах, обращенных Настеной к Андрею: «Погляди на меня, Андрей... Погляди. Нет,

ты погляди, не отворачивайся. Погляди и скажи: похожа я на ту, про кого ты говоришь? Бог с тобой, Андрей, что ты выдумал? Ну, скажи: похожа?» И известные только ей и ему подробности личной жизни, например тайная ее благодарность Андрею за то, что до войны все-таки не бросил ее, когда узнал, что она «полая». И воспоминания о светлых радостях после свадьбы, радостях тем более дорогих, что их было очень немного. Когда я читал в одиннадцатой главе захватывающее воспоминание Настены о том, как перед войной она приехала к Андрею в район, где он учился на курсах, и как они в течение двух суток были по-настоящему счастливы, я мучился пронзившей меня мыслью: как мало человеку нужно счастья, если это действительно настоящее счастье, чтобы он заплатил за него даже жизнью. В самом деле, как мало, в общем-то, радости видела в своей жизни Настена, а какой благодарностью платит за нее. Что благодарностью — жизнью своей!

Думая о том, что может решить судьбу человека, с чем нельзя не считаться, разбираясь в причинах, определивших поведение Настены, стоившее ей жизни, необходимо еще помнить: Настене чужды эгоизм и душевная замкнутость. И в горести и в радостях она не мыслит себя вне людей, среди которых выросла, с которыми живет и без которых существовать не может. Потеряв в детстве родителей, она выросла у чужих людей и навсегда поверила: среди людей не пропадешь. Когда же она обнаружила, что больше не сможет «ни говорить, ни плакать, ни петь вместе со всеми», что ей приходится врать людям, изворачиваться, что даже и победе, во имя которой вместе со всеми самоотверженно трудилась четыре года, не может радоваться как все, наконец, что вместо счастья ее ждет страшное одиночество, что «останется одна, совсем одна, в какой-то беспросветной пустоте», — Настена решила, что действительно оказалась в положении безвыходном.

Вообще-то выход существовал. И почти подсознательно Настена верила в это до последней минуты, ибо верила в людей. Ее вера в людей неизменно распространялась и на Андрея, даже такого, запутавшегося. Правда, сам он делал все, чтобы эта ее вера неудержимо таяла. Встретившись с ним вскоре после Дня Победы, Настена вдруг заметила, каким он стал неряшли-

вым, как испуганно прислушивается к каждому шороху. Наблюдая, как он впился зубами в краюху хлеба, она удивлялась и поражалась «уже и не ему, и не голоду его, а тому, что этот оборванный, запущенный мужик, выколупывающий сейчас из бороды хлебные крошки, и есть тот, из-за кого она не спала ночей и к кому так стремилась. Как же чувства человеческие капризны и смутливы! До чего они требовательны и изменчивы! К нему ли, к этому ли человеку она плыла, о нем ли страдала, он ли получил над ней страшную и непонятную власть? Не верится. И тоскливо, безысходно жалось сердце...»

Чувства, порождающие у Настены горечь и обиду, многое определили в ее отношениях с Андреем. Можно сокрушаться над тем, что она наделала немало ошибок в конце своей жизни, но вряд ли кто решится утверждать, что и ошибаясь она выступает перед нами во все более ярком человеческом свечении.

Она ошибалась. Но за ошибку свою она расплачивается самой большой ценой. Ценой жизни своей и своего ребенка. Надо бы осудить ее за это. Но рука отказывается писать слова осуждения...

Душа Настены разрывалась. Еще до того, как она бросается в ангарскую пучину, в те минуты, когда не таясь, не прячась она идет к Ангаре, сталкивает лодку, быстро гребет, чтобы скорее остаться одной, мучительное чувство стыда руководит ею.

«Стыдно... Почему так истощено стыдно и перед людьми, и перед собой? Где набрала она вины для такого стыда? Что теперь с ним делать?..»

До чего легко, способно жить в счастливые дни и до чего горько, окаянно в дни несчастные. Почему не дано человеку запастись впрок одно, чтобы смягчать затем тяжесть другого? Почему между тем и другим всегда пропасть? Где ты был, человек, какими игрушками играл, когда назначали тебе судьбу? Зачем ты с ней согласился? Зачем, не задумавшись, отсекал себе крылья, как раз когда они больше всего нужны, когда надо не ползком, а летом убегать от беды?..»

Она гребла, смутившись непривычными и непосильными праздными мыслями, удивляясь, что душа титится отвечать им. На душе отчего-то было тоже празднично и грустно, как от протяжной старинной песни, когда слушаешь и теряешься, чьи это голоса — тех, кто живет сейчас, или

кто жил сто, двести лет назад. Смолкает один хор, вступает второй... И подтягивает третий...

Нет, сладко жить; страшно жить; стыдно жить».

Кольцо замкнулось. Стыд рвет сердце несчастной женщины. Еще полоснет по сердцу жуткая фраза благообразного мещанина, искусно принаровившегося к нашей жизни и потому всегда находящегося начеку. Но это уже для других, для тех, кому предстоит защищать жизнь от пошлости, рядящейся под добродетель. А Настена уже вне пределов досягаемости. В грехе своем, в вине своей, в несчастье своем она вне этих измерений. Она сама предъявила себе самый крупный счет и заплатила по нему сполна. Она могла жить только так, чтобы ни среди людей, ни наедине с самой собой ничего «не бояться, не стыдиться, не ждать со страхом завтрашнего дня», чтобы открыто смотреть людям в глаза. Этого не могут понять такие люди, как счетовод Иннокентий Иванович. Но это понял Максим Вологжин, человек, с честью воевавший на фронте, человек, мужественно взваливший на свои плечи труд по восстановлению мирного порядка жизни.

«— Настена, не смей! Насте-е-она! — услышала еще она отчаянный крик Максима Вологжина, последнее, что довелось ей услышать, и осторожно перевалилась в во-ду».

Максим больше, чем кто-либо, имеет право карать и миловать. И он встанет на защиту Настены. Его голос — это голос самой нашей жизни, ее большого, человеческого, неисчерпаемого в своей доброте сердца. Если хотите, это голос подлинной судьбы, о которой так часто говорила Настена. Он, этот голос, не спас Настену. Но он простил ей ее трагическую ошибку. И он, этот голос, как сильнейший проявитель, показал полное душевное омертвление, опустошение Андрея Гуськова. Услышав шум на реке и поймав в нем имя Настены, Андрей не кинулся на помощь, а как зверь устремился в тайгу, чтобы спрятаться в заранее примеченной пещере, где «его не отыщет ни одна собака».

А Настена... Ее труп на четвертый день прибило к берегу. Кто-то вознамерился похоронить погибшую на кладбище утопленников. Но «бабы не дали. И предали Настену земле среди своих, только чуть с краешку, у покосившейся изгороди. После

похорон собрались бабы у Надьки на немудреные поминки и всплакнули: жалко было Настену».

3

Свое самобытное решение находит гуманистическая проблема в повести «Волчья стая» Василя Быкова («Новый мир», 1974, № 7). Партизан-боец Левчук, спасший ценой невероятных испытаний грудного младенца, пронесший его сквозь свинцовый вихрь, тридцать лет спустя идет на встречу с ним, задавая самому себе вопрос: а получился из спасенного младенца настоящий человек или нет? И если получился, то каков он, этот человек?

Начинает разматываться лента прошлого, невероятные события проходят перед нами с удивительной свежестью и обилием мелких подробностей, что всегда отличает произведения Василя Быкова. Порой кажется: не будь этих подробностей, мы вряд ли поверили бы автору. Левчук как бы сам рассказывает нам о том, что произошло тридцать лет назад. Но это и рассказ автора в сложном совмещении, придающем непосредственность повествованию. Время от времени писатель перебивает последовательный рассказ, возвращая Левчука из прошлого в нынешний день, заставляя вновь и вновь гадать: оправдает ли Виктор своим обликом, своей жизнью, своей деятельностью тот великий «вклад» в его жизнь и матери — радистки Клавды Шорохиной, и ездового санчиста Калистрата Грибоеда, и бойца-партизана Левчука? Раскручивается лента памяти Левчука, запечатлевшая не только страшный путь четырех людей через болото, но и душераздирающий рассказ до времени постаревшего Грибоеда о том, как немцы однажды уже расстреливали его, как они погубили всю его семью. Проходит перед нами и эпизод родов Клавды, во время которых Грибоед, вдруг превратившись в повитуху, оживает душой, а он, Левчук, «впервые, впервые за много лет почувствовал себя не бойцом-партизаном, не разведчиком или пулеметчиком, а прежде всего человеком, и это было для него ново и чрезвычайно приятно». И все неотвязнее и для нас становится главный вопрос, мучающий Левчука.

Уже и упомянутого достаточно было бы для того, чтобы воспринимать рождение младенца как символ неумирающей человечности, как надежду на будущее. Викто-

ру придется своей жизнью оправдывать эту надежду. Во всяком случае, здесь Левчук прерывает воспоминания и снова задается вопросом: кто он? Но отвечает, естественно, не прямо, а как бы переформулируя вопрос: каким Виктора обязывает быть то, что сделали для него люди в первые два дня его жизни?

«Но кем бы он ни был по специальности или положению, прежде всего должен быть человеком. Левчук не вкладывал в это понятие какого-нибудь сложного или философского смысла, это у него формулировалось просто: быть добрым, умным и удачливым, но не за счет других. Он уже наглядился в жизни на разных ловкачей, строивших свое благополучие за счет ближних и умевших быть умными с выгодой для себя. С наибольшей для себя пользой. Таких Левчук ненавидел, как можно было ненавидеть на войне тех, кто пытался выжить ценой гибели ближних. Сам он никогда нигде не схитрил, никого не обманул с корыстью для себя, это ему было противно, и он ненавидел все малые или большие хитрости в людях».

Именно потому, что три человека «выложились полностью» для него, Виктора, он не имеет права, вернее, не должен быть хуже, чем желает видеть его Левчук. В него они вложили свою веру в жизнь, свою волю к победе, свою человечность, не сгоревшую в самых адских военных пожарах.

На вопрос, каким человеком вырос Виктор, в повести нет прямого ответа. Но есть намек на то, что Виктор Платонов, в котором Левчук хочет видеть оправдание своей жизни, своей борьбы и высшую награду свою, не обманет надежд. Поднявшись со скамейки, Левчук видит на балконе молодую женщину в светлом халатике. Она поливает из стеклянной банки цветы. Левчук вдруг вспоминает, что недавно в дом прошла пара, мужчина был невысок ростом, худощав, «с худыми локтями, торчавшими из коротких рукавов тенниски».

«Сдерживая в себе какую-то неприятно расслабляющую волну, он медленно, с остановками, поднялся по лестнице на третий этаж. Знакомая дверь по-прежнему была плотно закрыта, но теперь он услышал присутствие за ней людей и нажал кнопку звонка. Он ждал, что кто-то ему откроет, но вместо того услышал низкий добродушный голос, донесшийся из глубины квартиры:

— Да, да! Заходите, там не закрыто.

И он, забыв снять кепку, повернул ручку двери».

Если судить по отдельным деталям, Виктор Платонов — честный, открытый человек, именно такой, каким его хочет видеть Левчук...

4

Почти одновременно с повестью Василия Быкова «Волчья стая» к тридцатилетию нашей победы над фашизмом был закончен Михаилом Алексеевым роман «Ивушка неплакучая». На первый взгляд произведение это далеко от острых споров о человеке, ведущихся в современной литературе, — все помыслы автора, кажется, лишь о том, чтобы полнее рассказать о довоенной и послевоенной жизни своих героев. Но это только на первый взгляд. В действительности Михаил Алексеев создает роман, помня наши многолетние дискуссии о человеке, будучи при этом твердо уверенным, что проблемы духовного становления личности в конечном счете решаются самой жизнью, на каждом историческом этапе, в конкретных условиях человеческого бытия решаются всякий раз по-своему. Со страниц его романа встают трактористы, объездчики, лесники, бригадиры, председатели колхозов, секретари райкомов — люди со сложными судьбами, неповторимыми характерами, люди острой мысли, изо дня в день делающие порученное им дело. Обыкновенное дело их в совокупности оказывается величайшим историческим делом, хотя творцы его, в общем-то, люди рядовые. Но именно потому, что они выполняют работу исторического значения, они с гордостью готовы повторить слова бригадира женской тракторной бригады Фени Угрюмовой: «А на земле, голубок, не грех быть и рядовым всю жизнь».

Это и определяет чувство органического коллективизма, присущее строителям нового мира, чувство, которое окрепло еще до войны (как мы видели в первой книге романа) и которое усилилось после войны (как это утверждает вторая книга, недавно увидевшая свет в журнале «Молодая гвардия»). Герои Михаила Алексеева стоят перед сотнями загадок жизни. Они разгадывают их упорно и все-таки... все-таки в широко распахнутых глазах любимой героини писателя «и удивление, и горькое недоумение, и, как это часто у нее бывает, напряженное, мучительное желание понять

этот сложный мир, и растерянность перед грозными его тайнами». Этими словами заканчивается роман «Ивушка неплакучая».

Жизнь, и в послевоенные годы отнюдь не лишенная острейших конфликтов, до предела осложненная только что закончившейся войной, не упростилась нисколько. Война «понавязала» множество «тугих узлов и петель» и в жизни всего общества и в индивидуальных человеческих судьбах, что на развязывание их ушло и все еще уходит немало сил.

Гвардии капитан Сергей Ветлугин, прибыв осенью 1947 года в родное село, исполнен самых радужных надежд. Со счастливой улыбкой он входит в один, другой, третий двор. Его радостно встречают родственники, старики, женщины, слушают рассказы о войне, вспоминают, как жили сами все эти годы. То и дело слышится: «А помнишь?» Но уже и в самые первые дни герой начинает испытывать некое удивление: «Слишком много странного, никак не вязавшегося с ожидаемым», встречается всюду, где он появляется. Вот он стоит у перевоза. До родных мест рукой подать. Но у «гондольеров», бывших фронтовиков, рабочий день окончился. Хорошо написал Михаил Алексеев о том, как лодочники «пируют», как наконец один из них соглашается перевезти за баснословную сумму, перевозит, получает ее, а затем, догнав капитана, возвращает ее со словами: «Я с фронтовиков деньги не беру...» Следует встреча с родными, на днях «огоревавшими» старую коровенку, их рассказы и загадочные слова о бесконечно дорогом человеке: «...не до тебя тетке Авдотье». Автор приводит нас в Завидово, где мы встречаемся с главными героями романа, людьми, полюбившимися нам, но неожиданно изменившимися больше, чем нам бы хотелось. Доброжелательная к людям «тетенька Анна» вдруг говорит: «Теперь держись. Сладок будешь — расклюют, горек будешь — расклюют». И действительно, еще недавно всеми уважаемую в селе трактористку Феню Угрюмову теперь почти все село травит за то, что она жалеет найти свое счастье с Авдеем Бельм, хлебнувшим в годы войны столько горячего, что его хватило бы на целую роту. Мария Соловьева прижила с бригадиром Тишкой Непряхиным ребенка и теперь со страхом ждет возвращения мужа. Она со страхом, а люди с нескрываемым злорадством: «...вернется, накрутит ей хвоста, а жога, и голову

свернет, как гусенку». Одноглазый Пишка охотится на Павла Угрюмова, считая, что это он навел на его след людей в годы войны, когда он прятался от фронта... И еще и еще сцены одна драматичнее другой. Перед нами разворачивается картина воистину путанной-перепутанной и, в общем, очень суровой жизни в первые годы после войны.

Стоит Сергей Ветлугин перед родным селом и не узнает его. Не узнает еще и потому, что когда-то высокие избы «по-старушечьи усохли», почти по самые окна ушли в землю, коньки крыш на них прохудились, обомшела солома кровель сползла вниз, ставни на окнах сорваны, стекла кое-как склеены дольками газетной бумаги. Это — родное село? Да, оно и — еще тысячи сел, деревень, городов по всей стране... Ничего, утешает Сергей Ветлугин, кончилась война, возвращаются мужики — и все теперь пойдет легко, радостно. Так думал он, пока своими глазами не увидел, как все сложно, пока от людей не услышал...

От колхозницы Авдотьи Степановны: «Вот ты про новые дома калякал... Может, Сереженька, другое заговоришь, когда поживешь с нами неделю-другую. Кто же, милый, будет нам подводить те венцы, менять крыши, вставлять стекла да выстругивать наличники и ставни? Много ли мужиков возвратила нам война? Какой-то там десяток, а исправных и того мене. У одного, поглядишь, руки нету, у другого ноги, у кого — правой, у кого — левой... Слезы горячие, а не работники!..»

От секретаря райкома Федора Знобина: «Победили, значит?.. Да, победили! Но, товарищ Ветлугин, девятого мая — это победа для всей страны. Теперь от нас зависит, чтобы она стала победой для каждого советского человека. Только в этом случае мы можем сказать: да, мы победили, победили стратегически и политически во второй мировой войне! Пока что мы одержали лишь военную победу. Понял?»

Старый матрос дядя Коля, всю войну руководивший колхозом, говорит: «Ты вот увидел голые стропилы, буренок наших колхозных по пузо в назьме — и чуть ли не караул закричал. Пропали, дескать. Нет, Серега, не пропали покамест. Будут и крыши над фермами, и кормов для скотины вдоволь, и шерстка на животине залоснится, и трудодень наш прибавит в весе — все будет. Другое, сказать по-честному, меня, старика, заботит и иной раз лишает насов-

сем сна... Все, говорю, будет,— повторил он с прежней значительностью и убежденностью.— А вот скажи, Серега, что нам делать с Машухой Соловьевой и вернувшимся вчера ее Федором? Второй день идет война пока что в их доме, а назавтра может перекинуться и во второй дом, скажем к Тишке, а оттуда — в третий, четвертый и пойдет полыхать, как при большом пожаре, потому как, Серега, все мы тут во время войны были одной судьбой повиты, одной веревкой связаны — потяжи за один конец, всех как раз и зацепишь? Как тут быть?.. Вот где, думается мне, главная послевоенная закладка — в людских судьбах, путанных-перепутанных проклятой этой войной. Вот тут бы не сломиться. А остальное — пустяк. На теле любая рана зарастет, была бы здоровой душа, не задело бы ее теми осколками. А она, душа-то, Сергуха, как раз у многих ушиблена, и даже очень сильно. Тут простой повязки не наложишь, и лекарь для таких ран нужен особый...»

К чести писателя, в конкретном изображении «сражений», шедших в первые годы после войны под крышами наших домов, у него почти «не чувствуется стол», то есть картины взяты из самой жизни, а не выдуманы за писательским столом. В таких картинах и сценах много горького, в речах персонажей столько «соленых слов», что порой протестует душа. Помнится, на одном из обсуждений романа талантливый прозаик Борис Бедный даже возмущался: «У Михаила Алексева некоторые сцены отдают натурализмом. У него же будущий депутат прячется с любимым человеком по кустам, а злоязыкие старухи, ползая попластунски, не оставляют и там влюбленных». Мне кажется, тут неправильно поставлены акценты. Возмущаться надо не писателем, а существованием «злоязыких»... Самое же главное, что романист убедительно показал, как шло в послевоенный период выпрямление, воскрешение людских судеб.

Послевоенные трудности не раз оказывались в центре литературы. Сколько рассказывалось, например, о трудодне-палочке — с болью душевной, иногда с яростью. «Люди завоевали право на то, чтобы передохнуть, право на любовь, человеческую жизнь, а на них обрушиваются новые испытания!» — стонали некоторые народолюбцы. А сам народ, все еще недоедая и недосыпая, отложив заслуженный отдых до луч-

ших дней, уже пилил, строгал, обновлял венцы в осевших домах, менял крыши, подымал к свету и радости дом, село, район, город, область, страну.

И так уж случилось, что, по справедливому объяснению Авдотьи Степановны, если не главную, то значительнейшую долю и этой работы делали теперь уже вместе с вернувшимися с войны отцами, сыновьями, братьями те самые женщины, отроки и старики, что четыре года кормили, поили, одевали, вооружали армию-победительницу. Несладкая, трудная пора, тем более что, как уже сказано, приходилось одновременно развязывать тысячи психологических, этических, социальных узлов, завязанных войной.

9 мая 1945 года... Вряд ли кто забудет, каким взрывом радости и вместе с тем какими слезами было встречено сообщение об окончании войны. Люди, стучась в окна и двери к соседям, кричали: «Вставайте! Кончилась, кончилась война!» — и заливались слезами. Плакали от радости, что победили. И потому, что наконец-то не будет похоронок. Безутешно плакали матери, потерявшие детей. Навзрыд плакали жены, оставшиеся без мужей. Тихо, по-детски всхлипывали старики, чьи кормильцы навсегда остались на полях сражений, холмами своих могил оберегая мир. Война, верная самой себе, обрушивает еще один удар на людей, стремясь, чтобы как можно дольше кровоточили нанесенные ею раны, чтобы горе подольше не уходило из-под мирных кровель...

Для рассказа обо всем этом Михаил Алексеев нашел и свои слова и свой тон. Он обстоятелен в своем повествовании, идет ли речь о драматической встрече Марии Соловьевой с мужем или о взаимоотношениях Фени и Авдея Белого, о зарубках на сердце вечно секретаря райкома Федора Федоровича Знобина или о Степаниде Луговой, вдруг обретшей полное счастье, когда какая-то неудачница подкинула ей своего младенца.

Страницы, посвященные Степаниде, ее выпрямлению, одни из лучших в романе. На наших глазах она снова превращается в сильную и гордую женщину, идет «по селу, гордо подняв голову и выпрямив стан, смелый, независимый, бесстрашный человек». В художественно-психологическом отношении эти страницы столь же точны, как сцена, в которой Максим Паклёников, наконец-то решившись сообщить

жене о гибели сыновей, «тяжело поднялся, ватными ногами сделал несколько шагов к стене, где только что повесил сумку, снял ее и, пряча налившиеся влагою глаза от жены, заговорил: «Мать, слышь-ка... Ты только...» Не дала договорить, закричала жутким голосом. Крик ее выметнулся на улицу, вихрем подхватил каких-то баб, кинул их на Максимова подворье...»

То же самое можно сказать и об эпизоде, в котором Сергей сообщает Аграфене Ивановне о смерти ее сына. И о другом событии — о первом поле, вспаханном маленьким Филиппом Угрюмовым пусть и под присмотром Угрюмова-старшего, и о «легкой» смерти Знобнина, и об окрашенном в цвет трагедии описании прощания Фени с сыном, погибшим при защите восточной границы. На этих страницах сердце наше бьется учащенное...

Неторопливость, с какой ведет автор повествование, не имеет ничего общего ни с равнодушием, ни с самоуспокоенностью. Сама тональность авторской речи исполнена внутреннего уважения к героям, убежденностью, что «высок и прекрасен» объект изображения. Герои его — народ горячий. Стоит только послушать дядю Колю, Максима Паклёникова или Виктора Лазаревича Присыпника по прозвищу Точка! Или вспомнить объяснение Фени с председателем сельсовета Санькой Шпичем, начинающееся словами: «А ведь ты больной, Санька! Ты, Сань, снаружи только навроде здоровый, а внутри больной. Ежли к чужому горю глух — больной, значит, ты...»

Впрочем, иногда писатель дает простор и своему авторскому темпераменту. Тогда в романе возникают лирические отступления, такие, например:

«На красной подушечке — ордена, медали. Их немало. О наличии некоторых не догадывались даже близкие товарищи покойного и теперь, стоя в почетном карауле, с удивлением взглядывали на них. Ордена. Награды. Благодарности. А где зыскания? Где выговоры? Простые и строгие? С занесением в личную карточку и без занесения? Где они? Их нет. Говорят, остались лишь в бумагах, хранящихся в молчаливых обкомовских сейфах. Но только ли там? А не зажаты ли, не лежат ли они еще вон в тех горьких складах на маленьком, совсем не сократовом лбу? Говорят еще, что Знобин мог бы и не упоминать о своих выговорах в соответствующей графе анкеты, поскольку выговоры эти сняты. Сня-

ты? Как будто их можно снять. А не остались ли они незримыми зарубинками на разорвавшемся вчерась сердце? И не по тем ли зарубинам прошли роковые трещины? Тот, кто хоть один раз получал партийное зыскание, хорошо знает, где и какой след оставляет оно после себя...»

Критики, пожалуй, будут упрекать Михайла Алексеева за перенасыщенность романа бытовым материалом, жанровыми сценками, частушками, песнями. Наверное, будут говорить и о том, что малоубедителен рассказ о довоенных «чуждачествах» Максима Паклёникова, что сцены «воспитательных бесед» Авдея и Леонтия Сидоровича Угрюмова сами отдают дидактизмом, да и вообще последние годы в романе освещены не столь глубоко, как другие. И это, видимо, будет справедливо.

Но справедливо и другое: рассказав нам о горестях и радостях нашей послевоенной поры, беспримерных трудностях, личных драмах, о работе в полях, на фермах, в садах, писатель сумел показать весь послевоенный период как время подлинно героическое, не уступающее в величии предыдущей эпохе. Избегая однолинейности в оценке героев, автор умеет соотнести их слова и поступки прежде всего с тем **большим**, действительно исторического значения коллективным делом советского народа, которое свершается на наших глазах. Только благодаря этим людям наше государство, выиграв битву с фашизмом, выиграло, можно сказать, будущее человечества. Эту мысль и хочет выразить Максим Паклёников, рядовой из самых рядовых советских людей, когда говорит: «Выдюжили!.. Скажи на милость, выдюжили!.. Да, да!.. Вот когда, Сережа,— вдруг вспомнил он про давний разговор с Ветлугиным,— вот когда, милоч, можно говорить о победе!.. Нет, нет,— обратился он к кому-то строго и гневно,— что бы вы там ни калякали насчет нас, как бы ни каркали, а она у нас дву-жилна, Советская-то власть! Хрен возьмешь ее голыми руками!..»

5

Еще Горький предупреждал советских писателей: чтобы воспитать «человека насквозь и целокупно социалистом подлинным», надо пройти процесс необычайно сложный, связанный с коренным преобразованием интеллекта и психологии людей, с трансформацией или изживанием

одних, приобретением, выработкой других традиций, обычаев, нравов и т. п. Причём, замечал писатель, этот процесс не идет прямолинейно и последовательно. Нередко случается так, что люди эмоционально уже чувствуют себя подлинными строителями нового мира, идеологически же еще не осознают этого, и наоборот — приняв умом наш идеал, психологически продолжают жить как бы по инерции. Это очень трудная проблема, остро волнующая писателей всех стран. В капиталистическом мире есть немало «интеллектуалов», склонных рассматривать психологию людей, мир их эмоций как еле-еле подающийся или совсем не поддающийся воздействию внешней среды. Считают, что сфера психологических глубин, то, что именуется подсознанием, изменяется куда медленнее, нежели интеллектуальный мир человека. Есть, конечно же, сторонники и противоположного мнения.

Разумеется, советские писатели далеки от «психологического фатализма». Они отвергают и прямолинейные решения, доказывая, что кристаллизация нового, советского характера связана с преодолением разных, иногда совершенно неожиданных «осложнений».

Из произведений последних лет, поднимающих нравственные проблемы, как мне представляется, привлекла особое внимание читателей (и критики) повесть азербайджанского писателя Максуда Ибрагимбекова «И не было лучше брата» («Новый мир», 1973, № 10). Если в рассмотренных выше произведениях герои проверяются войной и сложившимися в результате ее обстоятельствами, то в повести «И не было лучше брата» центральный герой испытывается новой человечностью и той атмосферой, какая его окружает.

В критике повесть была истолкована как своеобразный художественный ответ на остро волнующий всех нас вопрос о том, что из накопленных в предшествующие века национальных обычаев, «кодексов чести», нравственных и психологических достижений может быть усвоено, использовано при формировании социалистической личности и что, напротив, способно помешать ее росту, сковать его. Между тем это, на мой взгляд, все-таки не самый главный, хотя и важный аспект произведения. Максуд Ибрагимбеков, как настоящий художник-реалист, идет от характеров. Он дает им возможность раскрываться под воздействи-

ем сил, заложенных в них самих. Поэтому и однолинейное истолкование этих характеров исключается.

Можно ли безоговорочно признать отрицательным героем Джалил-муаллима? Отец его погиб на фронте чуть ли не в первые дни войны. Чтобы прокормить троих детей, мать пошла работать уборщицей, а он, старший, бросив учебу, стал почтальоном и крутился как вчолок, делая все возможное и невозможное, чтобы освободить мать от непосильной работы, младшим братьям дать образование, родственнику же, помогавшему их семье, отплатить добром. Джалил всю жизнь ощущает вину за то, что самый младший брат, истощенный недоеданием, умер в конце войны от скарлатины. Тем горячее его любовь к матери и брату Симургу.

Честен и безупречен он на работе. И это оценено. После войны Джалила назначили начальником почты. Он проявляет в работе выдумку, чутко реагирует на критические замечания, прислушивается к мнению сотрудников, относясь к ним с предельной корректностью. В своем убеждении он совершенно непоколебим: «...любой честный труд почетен».

Как семьянин Джалил тоже человек положительный. У него хороший домик с возделанным его руками цветущим садом. Джалил — образцовый сын, всегда почтительный с матерью, и безупречный муж и отец, ни разу не повысивший голоса ни на жену, ни на дочь. Мечтая выучить брата на врача, ничего для этого не жалеет. Соседи им не могли нахвалиться. В случае споров они обращались к нему как к арбитру и его решения принимали безоговорочно. Знали они также, что Джалил в помощи никому никогда не откажет.

Следует сказать, что Джалил-муаллим с молоком матери впитал представление о добропорядочности, основанное на вековых традициях. И Максуд Ибрагимбеков очень искусно оттеняет эту национальную специфику во всем, что думает, переживает, делает Джалил, в самой манере его поведения. Джалил немногословен, предельно сдержан в выражении чувств. Открытому упреку предпочитает долгий укоризненный взгляд. При женщине не ведет разговоров на серьезные темы. По воскресеньям посещает баню, во время массажа комментирует стихи Физули, которые ему читает Гусейн, потом обязательно пьет ароматный чай в чайхане, расположенной здесь же, во

дворе бани, и благодарит при посетителях чайханщика Азиза. В споры вступает только с людьми достойными. Младшим во всем служит примером. К старшим обращается неизменно почтительно. Женится Джалил-муаллим, строго соблюдая обычай, на девушке, сосватанной ему родственниками («До свадьбы они повидались всего два раза»).

В результате, как говорится в повести, до столкновения с любимым братом Джалил «был абсолютно счастливым человеком». У него годами сохранялось постоянным ровное настроение, он получал удовольствие от работы, и от дома, и от всего, что давал ему окружающий мир.

Но почему же чем больше хорошего рассказывает нам автор о своем герое, тем настороженнее мы к нему относимся? Почему даже самые возвышенные его добродетели нам не кажутся полноценными, смущают нас, словно в них спрятано что-то от карикатуры или примитива? Неужели только потому, что первую нашу встречу с ним автор устраивает тогда, когда Джалил не в духе, испытывает яростный прилив ненависти и гнева? Но мы ведь не знаем, на кого он так сильно разгневан. А вдруг объект его гнева — негодай? Настораживает как бы мимоходом брошенное замечание, что этого человека удивительно прямой жизненной линии недолюбливают пчелы, а выращенная им собака не признает его за хозяина. И ранним воскресным утром, когда люди во всей округе наслаждаются отдыхом, имея полное право поспать подольше, Джалил без всякой надобности бешено стучит молотком по ступенькам крыльца...

Да ведь он просто-напросто добропорядочный негодай, готовы мы сказать, но не успеваем этого сделать, увлеченные рассказом о суровом детстве Джалила, о его первой, но оказавшейся единственной и неразделенной любви к Рахшанде, и мы готовы принять его за человека несчастного, вынужденного всю последующую жизнь довольствоваться жалкими имитациями чувства, которые стали его второй натурой.

Однако искренние переживания Джалил-муаллима, вызванные поездкой с матерью в Кисловодск, и еще более глубокие волнения, связанные с газетным фельетоном «Автодельцы и длинный рубль» (в махинациях автодельцов оказался замешанным Симург), вызывают у нас и некоторую симпатию к нему.

Но автор заставляет Джалил-муаллима рас-

крыться перед нами полностью, и мы видим, что этот человек безукоризненно прямой жизненной линии, человек, мнящий себя начисто лишенным эгоизма, вдруг не только не может понять собственного брата, но превращается чуть ли не в смертельного врага Симурга, того Симурга, который живет среди людей, не скрывая от них ни своих радостей, ни своих горестей, помогает людям открыто и сам пользуется их помощью... Он не может простить брату, что тот встречается с дочерью простого шофера, не может допустить, что брат женится на бесприданнице (что осуждается традицией). Он до глубины души оскорблен тем, что его брат сидит у ног своей невесты. Всю жизнь скрывая даже от самого себя кровоточащую рану души своей, он отказывается понять ясные, как безоблачное небо, и глубокие, как оно, ничем не одолимые слова: «Я ее люблю». Всю жизнь стремясь показывать младшим пример заботливости и доброты к ним, он искусственно нагнетает в себе чувство ненависти к брату, к его невесте, а потом жене — Дюльбар. И что удивительно: брат его давно взялся за ум, стал превосходным рабочим-нефтяником, завоевал уважение самых солидных людей (среди них и прокурора Гасанова), к его мнению прислушиваются окружающие, а Джалил-муаллим не желает с ним знаться, не идет на объяснение.

Постепенно Джалил замыкается в себе, становится человеком угрюмым, нелюдимым, теряет интерес к работе. Душу его переполняет черная ненависть: и сказать никому нельзя ничего, не станешь ведь о родном брате посторонним рассказывать... Позор!

И мы снова готовы возненавидеть Джалил-муаллима. Припоминаем, как он стеснялся в детстве говорить соседям, что его мать — уборщица, как и в лучшие времена он жил не внутренним интересом к людям, к работе, а лишь тем, в какой мере все это способствовало установлению и упрочению его репутации добропорядочного человека. А как оценить тот факт, что за всю жизнь он прочел всего одну книгу — сборник сказок?

Наступает момент, когда, настроив себя против брата, Джалил-муаллим раздражается по адресу Симурга страшной бранью, трясясь от безудержной ненависти и злости. Он стремится выкричать все, что копились годами. Прибежавший на крик Симург видит, что брата поразил удар...

«—Он что-то хочет сказать, по-моему,— прошептал врач, изо всех сил массируя ему сердце.

У Джалил-муаллима несколько раз еле заметно дрогнули губы. Ему было удивительно спокойно и хорошо так лежать в окружении всех своих родных. И он продолжал говорить. Он говорил, что ему очень жаль, что из-за каких-то нестоящих пустяков они столько времени не виделись, но, в общем, все это поправимо, лишь бы все были живы и здоровы и любили бы друг друга, как подобает родным людям. Он с изумлением спрашивал у Симурга: во имя чего столько времени они безжалостно мучали друг друга?»

Жаль только, что язык отказал Джалил-муаллиму раньше, чем драгоценные слова сложились во фразы в его голове. И жаль, что до них люди успели постареть, а он, Джалил-муаллим, разорвал себе сердце. Конечно, в его несчастье повинны изжившие себя представления о «добропорядочности». Но только ли они? А сколько людей, совершенно свободных от них, мучают других лишь потому, что сами потерпели в чем-то неудачу, либо опоздали сказать то, что другие сказали лучше, либо сочли чью-то благодарность недостаточной за сделанное ими благое дело, или же просто черт знает почему?! В трагедии Джалил-муаллима, говорят критики, виноваты устаревшие национальные традиции, сковывающие ум и сердце его. Верно, конечно, но далеко не исчерпывающе. Речь идет еще о противоречивости как радио героя, так и его интуицию, его психологию, их внутренней неслаженности. А ведь Джалил-муаллим, казалось бы, хотел только одного: чтобы люди «любили бы друг друга, как подобает родным людям»...

6

Роман «Территория» Олега Куваева («Наш современник», 1974, №№ 4, 5) хочется поставить в интересующий нас ряд произведений потому, что это талантливое произведение проблему современного человека, человека действия разрабатывает в энергичной, почти яростной полемике с пошлостью потребительского существования. Автор и его герой непримиримы к тем, кто поражен страшным микробом. Прораб-промывальщик Салахов о своей бывшей жене Валентине, из-за которой он, в прошлом десантник, оказался в тюрьме, не может думать спокойно и много лет спустя: «Сволочи, куркули проклятые, ничего в жизни не

знают, кроме ковров, телевизоров, сберкнижки. Ничего, кроме кофточек в чемоданах, знать не хотят. На дефиците мозги свихнули». Ему вторит рафинированный интеллигент и сноб Гурин, как всегда сгущая краски и играя в нигилизм: «Всеобщее заблудение. Квартиры, финская мебель, итальянские кофточки, мечта жизни — машина. Приобретатели всерьез собрались захватить мир. И ну его к черту!.. Переезды помогают мне не иметь вещей и сберкнижки. Так проще».

События, описываемые О. Куваевым, происходят за Полярным кругом. Герои романа — геологи. Они ищут золото для Советского государства. Они сумели преодолеть соблазны, связанные с золотом, которое бессильно перед узами, соединяющими всех их в коллектив, диктующий каждому из них высокий кодекс чести.

Надо еще сказать, что геологи эти специализированы не на золоте, а на олове, поскольку считается, что в обширнейшем Заполярном районе, условно именуемом Территорией («Северстрой»), золота нет. С этим, однако, не согласен главный инженер седьмого участка Чинков (по прозвищу Будда). Но его мнение не разделяют ни начальник управления Фурдецкий, ни главный инженер «Северстроя» Робыкин — люди, строго придерживающиеся предписаний, инструкций, смет и штатных расписаний, предпочитающие ничем не рисковать. Однако напористый, инициативный, энергичный до нахальства Чинков поручает геологам своего участка параллельно с поисками олова исследовать Территорию, взяв пробы и на золото.

Писатель влюблен в богатырей «Северстроя». Он считает их людьми особой породы, не раз пользуется при характеристике того или другого словом «сверхчеловек». Они обладают беспримерной выносливостью, адским терпением, нечеловеческим упорством, бесстрашием и, главное, влюбленностью в свое дело, высоким профессионализмом. Таковы и самые молодые из них — геологи Бахлаков и Апратин, петрограф Гурин. Но вернемся к Чинкову.

Жизнь он понимает не как оборону, а как наступление. Знает: не верить всегда безопаснее. Сам он верит в себя, верит в свои знания, верит в свою интуицию, верит в то, что, если надо, сумеет с каждым справиться. Все это однажды уже принесло ему крупный успех, сделало знаменитым на всей «Территории». И вот интуи-

ция как инженерный метод познания мира снова подсказывает ему, что, несмотря на общепризнанную истину о несовместимости в одних и тех же местах золота и олова, он, Чинков, найдет его именно здесь.

«Если ты удачлив, способен на риск и упорен — ты личность со всех сторон. Он, Чинков, и есть такая многократная личность». Вот этот самонадеянный, дерзкий человек и является главным героем романа. Его не тяготит ни отсутствие друзей, ни репутация жесткого руководителя, ни происки завистников. Он живет только делом и ценит подчиненных только по тому, как они относятся к порученному им делу. Любит сообразительных, дерзких, обладающих настоящими знаниями и профессиональной интуицией, но поступает с ними «по методу большого болота»: «Подводят человека к большому и коварному болоту и дают задание сходить на ту сторону и вернуться... Болото, знаете, опасное. Трава обманчивая, трясины, окна, всякие подгнившие веточки. Если вернется — значит, будет ходить». Это его собственные слова.

Он занят только одной мыслью: золото должно быть, оно есть. «Ныряет, выныривает и снова ныряет...» У него есть уже и первое подтверждение гипотезы — мешочек с золотом. С мешочком, никому не сказавшись, Чинков улетает в Москву, добивается поддержки министерства, затем едет к главному геологу Калдиню в Ригу, рассчитывая заручиться и его благословением. Калдинь лежит в больнице. Он при смерти. Но Чинков прямо с поезда приходит в больницу и договаривается с ним обо всем. Прощаясь, Калдинь, смеясь, говорит: «Вы лучший посетитель из всех. Ко мне много приходит друзей. Но вы единственный из всех, кто даже не спросил, чем я болен. Не надо извинений, Чинков. Все правильно. Теперь я спокоен за управление. Вы бросьте на пол свой собственный труп и сами через него перешагнете, но управление достигнет цели. Я искренне рад».

О. Куваев создает образ далеко не однозначный. Перед нами человек действия, человек, как бы заглядывающий в завтрашний день научно-технической революции. Он весь концентрированная энергия. Держа постоянно свой мозг в раскаленном состоянии, Чинков в то же время исповедует принцип: «Не рассуждать, а действовать». Иногда во что бы то ни стало. Он «лишен предрассудков», как утверждает Гурин. Он не знает, что такое жалость, он бросает вы-

зов всему, что отдает сентиментальностью, мягкостью. От него никто не ждет ласкового слова. Каждый знает: Чинков сломит любого, кто встанет у него на пути. И сам Чинков знает все это о самом себе и чувствует себя полным сил, честолюбия и веры в успех. Наконец, он не боится отменять приказы, решения, инструкции, если они мешают людям идти к цели.

Спрашивается, как должно относиться к такому человеку? Несомненно, создавая образ Чинкова, автор воплотил в нем некоторые типические черты. Несомненно также, что образ Чинкова возник в прямой полемике с такими произведениями, где герои склонны отводить труду, творчеству второстепенное место в своей жизни (ссылаясь на то, что человек имеет и другие потребности) и незаметно для себя оказываются рядом с людьми «нового психологического типа, которые, весьма ловко приспособившись к условиям социалистического общества, развернули деятельность в духе самого настоящего буржуазного приобретательства» (Гурам Асатиани, «Дыхание эпоса». «Дружба народов», 1975, № 1).

Автор любит своего Чинкова за ум, за решительность, за то, что весь смысл жизни для него в его деле. Чинков не откажется от славы, от лауреатства, от всего, что выделит его среди коллег, но живет он не для этого. Высшее наслаждение для него — в самом процессе труда и познания.

В самом начале романа есть примечательный эпизод. Промывальщик Салахов попадает в дом, именуемый «барак-на-косе». В нем зимуют неженатые итэровцы управления — инженеры, техники и прорабы. «Салахов быстро понял, что для парней, населявших семидесяткоечный барак с сугробами по углам, главным в жизни были не деньги, не жизненные удобства, даже не самолюбие. Они весело и твердо подчинялись неписаному своду законов. Твоя ценность по тем законам определялась, во-первых, умением жить в коллективе, шутить и сносить бесцеремонные шутки. Еще главнее было твое умение работать, твоя ежечасная готовность к работе. И еще главнее была твоя преданность вере в то, что это. И есть единственно правильная жизнь на земле. Салахов истово принял неписанный кодекс».

Если мы внимательно исследуем весь духовный мир Чинкова, отделим в нем действительное от того, что он «напускает» на себя, стремясь выглядеть железным руково-

дителем, мы обнаружим, что он живет, подчиняясь тому же неписаному кодексу чести, и что никакой он не сверхчеловек. Автор готов простить ему и жестокость, и резкость, и многое другое, что коробит иных героев романа при встрече с ним. И при всем том Чинков вряд ли может стать человеком, с которого можно безоговорочно брать пример...

Автор счел необходимым указать нам на полемическую заостренность своего произведения. Он пишет, заканчивая роман: «День сегодняшний есть следствие дня вчерашнего, и причина грядущего дня создается сегодня. Так почему же, допустим, вас не было на тех тракторных санях и не вы же, а чье-то другое лицо обжигал морозный февральский ветер? Где были, чем занимались вы все эти годы? Довольны ли вы собой?»

Не думаю, что роман стал бы беднее без заключительного абзаца, только что мною приведенного. О. Куваев словно не верит, что читатель правильно поймет нарисованную им картину, и спешит дать к ней поясняющую надпись. Писатель вообще не всегда экономен в описаниях, почти не индивидуализирует речевые характеристики персонажей, а порой сбивается на газетный стиль. Не буду специально останавливаться на этом. Сейчас меня волнует вопрос о месте Чинкова в ряду героев современности. Уточнить, сформулировать ответ нам поможет рассмотрение некоторых других произведений сегодняшних дней, изображающих людей действия.

7

Естественно, что в этом случае ищешь прежде всего произведения, созданные на материале жизни нашего рабочего класса.

Замечу, что ни о чем не пишется в нашей литературной критике с такой озабоченностью, как о теме рабочего класса. Мы все сознаем ее исключительную важность, все жаждем прочесть хорошее произведение о современном рабочем классе. Но со времен «Журбиных» книги, достойные этого объекта, появляются не часто. Говорят, рабочий класс стал другим, НТР его преобразила. Возможно. Вот и показать бы, как его преобразили!

Выступая на обсуждении эстонской прозы за «круглым столом» в журнале «Дружба народов», Виллем Гросс с сожалением отмечал: «Завод, рабочая среда и ее будничная мирная жизнь с сегодняшними полюса-

ми напряжения ни разу не возникали в свою натуральную величину на моем читательском горизонте за добрый десяток последних лет. Конечно, при этом надо учесть, что я слежу за новинками художественной литературы главным образом по переводам на эстонский язык. Но трудно предположить, что переводчики нашей республики оставили бы без внимания более или менее заметное произведение о рабочем классе» («Дружба народов», 1974, № 11).

Уточним: наши писатели не обходят эту область стороной. Но достоверно показать жизнь рабочих им удается не часто. Тем заботливее мы должны поддерживать даже небольшие успехи в этой области, не снижая, понятно, высокой требовательности к тому, что пишется о рабочем классе — о «становом хребте» нашего общества, его определяющей силе.

Роман «Изотопы для Алтунина» Михаила Колесникова («Знамя», 1974, №№ 1, 2) переносит нас на большой современный завод, расположенный где-то в Сибири. Рядом тайга. Но завод во всех отношениях современный. Люди, работающие в его цехах, живут заботами современности. М. Колесников убежденно говорит о том, что мировосприятие и чувства рабочего в нашей стране бесконечно расширились, углубились и утончились, именно это он и стремится показать в романе.

Руководитель бригады кузнецов Сергей Алтунин, рассматривая колоссальный гидропресс, только что доставленный на завод, говорит: «За его пультом, конечно же, у любого возникнет чувство превосходства над всеми теми, кому приходится обслуживать паровоздушные молоты и всякие там пресс-ножницы, ковочные вальцы, гибочные и правильные автоматы». Обратим внимание на очень точно найденные слова «чувство превосходства», ибо в них главный пафос произведения. С одной стороны, «чувство превосходства» играет огромную положительную роль, когда повышает у людей собственное достоинство (как, например, у инженера-рационализатора Карзанова), помогает в борьбе за новое. С другой — оно обладает несомненным отрицательным зарядом.

И это прекрасно видит М. Колесников. Он показывает бригаду, где рабочие, приобщившись к новейшим знаниям, к технике, тем не менее не изжили в себе индивидуализма. Один из них — Скатерщикова. Почувствовав силу науки и техники в наше

время, он решил «одним махом выбиться в люди». На его языке это означает славу, почет, материальное благополучие. Скатерщиков считает, что цель оправдывает любые средства. Он презирает «общественников», «неудачников», грубит товарищам по работе, наконец, пытается едва ли не целый завод подчинить своей личной цели. Внеся рационализаторское предложение (автоматизация свободнойковки), он мнит себя исключительной личностью, ни с кем и ни с чем не считаясь. И в конце концов терпит поражение. Терпит потому, что пренебрег советами опытного начальника цеха Самарина, своего друга бригадира Алтунина. Если на то пошло, рационализаторское предложение загубил не столько технический просчет, сколько индивидуализм Скатерщикова, что убедительно показано М. Колесниковым. И это составляет привлекательную сторону его романа.

Осуждая Скатерщикова, его неумное стремление любой ценой «выбиться наверх», стать большим начальником, член рабочей бригады Букреев очень хорошо объясняет, почему даже в рабочей среде обнаруживается «индивидуализм этот проклятый»: «У одного и того же человека различные моральные черты могут быть развиты неодинаково, или сказать так: запас прочности у них разный».

Писатель стоит на позициях нравственного максимализма, считая, что подлинная человечность предполагает подлинную глубину развития в всех лучших нравственных черт. Беззаветно предан науке, заводу инженер Карзанов. Он жертвует отпуском, бодрствует по восемнадцать часов в сутки, разрабатывая бесконтактный автомат свободнойковки. Он бескорыстен, умен, красив, молод, лишен чувства зависти. И тем не менее, отдавая ему должное, писатель «заставляет» невесту Карзанова уйти от этого прекрасного энтузиаста, от этого «рыцаря научно-технической революции». В своем стремлении подчинить технику людям Карзанов, как и Чинков, нередко забывает о самих людях, или, как однажды подумал о нем Алтунин, изотопы свои Карзанов любит больше, чем то человечество, которому он так желает облегчить условия труда, а значит, и условия жизни. «Человек до бесчеловечности», — сказала о нем как-то Кира. И она, кажется, права.

«Изотопы для Алтунина» — роман о рабочем коллективе современного завода, о множестве самых разных людей. В боль-

шинстве они умелые работники. Многие учатся в вечерних школах и заочных институтах. Но среди них есть и Сухарев, который не раз попадал в вытрезвитель, и Панкратов, который дошел до рукоприкладства. Известный уже нам Скатерщиков. Целая бригада без возражений выслушивала его разглагольствования о том, как прогнаться наверх. «Но, видно, — говорит Букреев, — кое в ком из нас сидел тот же бес. Только он стыдливо прятался, а Скатерщиков выпустил его наружу, как бы снял запрет. Оправдываться этим нельзя, а понять людей можно. При нынешнем прогрессе да в нашей стране — каждому сам черт не брат — только успевай проявлять себя. А тут тоже граница есть.

— В чем?

— А вот в этом самопроявлении. Проявляйся себе на здоровье, но не за счет других».

Именно так проявляет себя — не за счет других, а на благо других — центральный герой романа Сергей Алтунин. Сын рабочего, закрывшего своей грудью в годы войны амбразуру японского дота, он начисто лишен «этого проклятого индивидуализма». всю жизнь Сергей мечтает об одном — стать достойным своего отца. Алтунин научился сдерживать себя, не дергать людей, искать с ними контакт, осторожно расширять круг их интересов, увлекать поэзией труда. В этом его отличие от Чинкова, хотя работает Сергей не менее артистически. Писатель умеет передать живые картины труда, не скрывая его тяжести.

Рабочий Алтунин — человек с раскованным мышлением, у него инженерный талант. Это он подает Карзанову идею применить изотопы для автоматизирования свободнойковки, а потом помогает реализовать ее практически.

В романе «Изотопы для Алтунина» большое место отводится описанию всевозможных производственных процессов. Лет двадцать назад роман так и назвали бы — «производственный». Но описания производственного процесса здесь не приобретают самодовлеющего значения, не отгесняют на второй план людей. Неотрывно следишь за развитием взаимоотношений Алтунина и Кире Самариной, радуясь, что в конце концов герои добиваются счастья. Волнует сцена, в которой Алтунин слышит слова о своем отце: «Твой батя тоже всегда бурлил, все на весы сердца брал. Был Человеком с большой буквы, а не человеци-

шжом. За весь мир готов был ответственность взвалить на себя, а было ему в ту пору столько же лет, сколько тебе сейчас... Может, и менее того...»

8

В центре романа белорусского писателя Ивана Шамякина «Атланты и кариатиды» («Дружба народов», 1974, №№ 11, 12) тоже человек действия, человек талантливый — главный архитектор города Максим Карнач. Его деятельность, взаимоотношения с руководителями города, семейная драма — все это основа для серьезного разговора о нашем человеке вообще, о моральных устоях советского общества, о сложных проблемах дня и века. Так же, как и другие произведения этого писателя, роман острозожен, характеры рельефны, их столкновения держат нас в напряжении. Вот конфликт: с одной стороны, смело, оригинально мыслящий архитектор, который справедливо считает, что советский человек заслуживает того, чтобы его дом был не только жильем, но и олицетворением подлинной красоты нашего общества; с другой стороны, умный, но не в меру самоуверенный и самолюбивый секретарь горкома Игнатович. Конфликт погружен в глубины повседневности и настолько осложнен, что позволяет писателю поставить десятки больших и малых вопросов, волнующих каждого из нас: тут и семейные сложности, и вопрос о соотношении личного и общественного, тут и то, что можно назвать ножницами между инструкцией и инициативой, и старый как мир вопрос о соотношении мысли и действия, таланта и смелости. И все эти вопросы развернуты в будущее. Будущее города, дома, в котором должны чувствовать себя по-настоящему счастливыми советский человек, советская семья.

Главные герои — архитекторы, и поэтому, естественно, чаще всего ведутся споры о современной архитектуре, о том, выражает ли она лицо нашего времени, как ее оценят через столетия и т. п. В беседе с заместителем председателя Госстроя Максим Карнач говорит: «Дом живет не один день. По нашим домам потомки будут изучать эпоху... великих социальных сдвигов и таких же великих открытий. Расщепление атома... Космические корабли... И наша... простите... порой архаичная, убогая планировка, безликая архитектура и вдобавок невысокое качество строительства... Представляю, как будет ломать голову будущий историк куль-

туры эпохи». «Черт возьми! В конце концов, мы ставим не только градостроительный эксперимент, но и социологический! Пора уже повести решительную борьбу с отчужденностью людей по месту жительства. В доме, в районе, как на заводе и в учреждении, должен быть коллектив. Разве такая цель не оправдывает средства?»

На пути героя к его цели — бюрократические рогадки и многое другое, в частности психологические препятствия. Недаром один из архитекторов, Виктор Шугачев, говорит своему другу и коллеге Максиму Карначу: «Я смел в воображении... это для нас, архитекторов, далеко не все. Смелость на практике — вот истинная смелость. Ты смел на практике. В этом твое преимущество над такими, как я. Ты обладаешь пробивной силой. В наше время и особенно в нашей профессии это много значит — уметь пробить, организовать».

Максим Карнач придерживается тактики — не защищаться, не протестовать, а наступать и требовать. В результате он не дал дилетантам испортить архитектурный облик города. Но построить город таким, каким он виделся ему в воображении, пока что не смог...

О Карначе говорится в романе: «Да, всю жизнь он стремился быть объективным. Другое дело, что это не всегда удается. И потому, что сам он просто человек, и потому, что вокруг тоже люди, самые разные, и взаимодействие их в процессе производства никогда не выражается простым уравнением, формула взаимоотношений между людьми всегда сложна, как в высшей математике».

Не знаю, убедительной ли покажется читателю развязка романа. Мне она представляется ослабленной конъюнктурными влияниями. Насколько реалистична вся линия в романе, связанная с образом Игнатовича, настолько же идилличны главы, раскрывающие интересно задуманный, но традиционно разработанный образ Сосновского. Почти трафаретны сцены «семейной жизни» Игнатовича. Хорошо, психологически убедительно показано истязание Карнача его женой-мещанкой Дашей, хотя написано не очень лаконично. В романе можно обнаружить и другие недостатки. Но создание центрального образа следует признать несомненной удачей писателя.

В Карначе, как и в Чинкове, предельно «акцентирована» деловитость, смелость, то, что Шугачев выражает словами «смелость

на практике». Это, несомненно, очень ценные качества современного человека. Но Иван Шамякин тоже настаивает на одном неприменимом условии: эти качества должны сочетаться с истинной человечностью, с чувством коллективизма, внимательным отношением к товарищам, друзьям, подчиненным. В противовес Чинкову герой И. Шамякина подкупает нас своей чуткостью к окружающим, внутренним, а не показным демократизмом. У него много настоящих друзей, он умеет заботиться о них, а они о нем.

Игнатович из романа «Атланты и кариатиды» в чем-то напоминает Чинкова. Он долгое время выставлял себя другом Карначи, но никогда по-настоящему не знал, чем живет архитектор. И потому так легко «открестился» от него в разговоре с Сосновским, секретарем обкома партии. К счастью, последний оказался более человечным, нежели «деловой» Игнатович. Сосновский говорит об истинных критериях человечности. Его слова характерны, как мне кажется, для сегодняшнего большого разговора о человеке в нашей литературе. Вот они:

«— Я записал бы в наш партийный мо-

ральный кодекс: наказывать за дружбу половинчатую, однобокую..»

— А как же это сочетать с партийной принципиальностью?

— А принципиальность должна включать в себя искренность, душевность. И наоборот. Настоящая дружба — это прежде всего принципиальность».

Закончу свои заметки о проблеме человека в современной прозе обращением к книге М. Шагинян «Четыре урока у Ленина». Беря «уроки у Ленина», писательница в первом же очерке ставит вопрос: какими качествами должен обладать коммунистический человек? Ответом на вопрос является увлекательный анализ воспоминаний старых революционеров о Ленине. Чем очаровывал их Ленин? Величием и определенностью своих взглядов. Неисчерпаемостью революционной энергии. Отсутствием честолюбия. Бескорыстием. Чутким, внимательным отношением к человеку, стремлением до конца понять его мысли, поступки, чувства, стремления.

Учась этому у Ленина, советский человек ощущает себя сильнее, умнее, красивее, он стремится жить по-ленински, его мыслями и делами, его заботами, его стремлениями.



ЖИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ



ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

В. Косолапов. Это тоже был фронт... — **Виталий Коротич.** Направление роста. — **В. Новиков.** Высокое достоинство реализма.

ПОЛИТИКА И НАУКА

Н. Наумов. Последние версты войны. — **С. Троицкий.** Биография Александра Невского: поиски и находки.

Литература и искусство

ЭТО ТОЖЕ БЫЛ ФРОНТ...

Савва Дангулов. Кузнецкий мост. Роман. Книга первая — «Дружба народов», 1972, №№ 7—10; книга вторая — «Дружба народов», 1975, №№ 2—4.

После той незабываемой весны сорок пятого, когда «майскими короткими ночами, отгремев, закончились бои», идет уже четвертое десятилетие, а литература наша и сегодня продолжает обращаться к огненным героическим годам. Создаваемая коллективными усилиями советских писателей, художественная летопись великой битвы народов с фашизмом пополняется произведениями, поднимающими все новые пласты этой неисчерпаемой темы, освещающими новые ее аспекты, новые грани. К числу таких книг может быть отнесен и роман Саввы Дангулова «Кузнецкий мост».

Внешняя политика нашей партии и Советского государства в годы Отечественной войны — таков главный идейный стержень этого многопланового романа. Его страницы посвящены сражениям на одном из важных фронтов борьбы против немецко-фашистских захватчиков — на фронте дипломатическом. Сражениям бескровным, но исключительно упорным и напряженным, требующим всесторонней и тщательной подготовки, терпения и выдержки, ясности и гибкости ума, немалого мужества

и твердой, негибкой воли. Все тысячу четыреста восемнадцать военных дней и ночей вела советская дипломатия эти сражения. Вела их своими средствами — за столом переговоров, «в рамках протокола» воюя за укрепление антигитлеровской коалиции, за открытие второго фронта в Европе. В том, что в те годы на практике была доказана возможность эффективного политического и военного сотрудничества государств с различным социальным строем, — немалая заслуга наших бойцов дипломатического фронта.

Они-то и являются основными действующими лицами романа. Это прежде всего работники Наркомата иностранных дел, размещавшегося тогда в хорошо известном москвичам пятиэтажном доме на улице со старинным названием Кузнецкий мост (отсюда и заголовок романа). Это советские послы и сотрудники наших посольств в Лондоне, Вашингтоне, Стокгольме...

Центральные персонажи романа — Егор Бардин и Сергей Бекетов связаны между собой не только работой на дипломатическом поприще, но и узами давней и крепкой личной дружбы. Первый — ответствен-

ный работник Наркоминдела, принимающий непосредственное участие в переговорах с представителями союзных держав и в подготовке важнейших внешнеполитических документов. Второй в начале войны назначен советником нашего посольства в Лондоне.

На мой взгляд, образы и Бардина и Бекетова удалась автору. Перед нами интересные, живые, достоверно выписанные характеры, сильные, цельные. Оба героя обладают острым умом и бойцовскими качествами, широким политическим кругозором и завидной эрудицией, умеют разглядеть подлинную, классовую суть хитросплетений западной дипломатии, предвидеть ее возможные очередные ходы. Короче говоря, оба достойные представители советской ленинской дипломатической школы, становление которой связано с именами таких выдающихся деятелей, как Георгий Чичерин и Вацлав Воровский.

Автор книги «Ленин разговаривает с Америкой», романа «Дипломаты» и других произведений, рассказывающих о первом поколении бойцов советского дипломатического фронта, Савва Дангулов в новом своем романе отчетливо и последовательно проводит мысль о незыблемости ленинских принципов внешней политики социалистического государства, о преемственности традиций, сложившихся в советской дипломатии под влиянием ленинских идей. Это ведь очень символично, когда дом на Кузнецком те, кто трудится в нем, называют «домом Чичерина». И это вполне закономерно, когда на страницах романа — и в разговорах действующих лиц и в авторских отступлениях — неоднократно возникают имена Чичерина и Воровского.

Вот, к примеру, одно из таких отступлений. Георгий Васильевич Чичерин каждое утро ходил на работу одной и той же дорогой: выйдя из «Метрополя», где он тогда жил, нарком пересекал улицу у Малого театра и шел по Петровке до Кузнецкого моста. Его путь лежал мимо памятника Воровскому, установленного на небольшой площади перед Наркоминделом. «Где Георгий Васильевич видел Воровского последний раз? Ну, разумеется, весна двадцать второго года и милая Генуя!..» И в памяти Чичерина возникают слова Воровского, говорившего о том, что истории неведомо, чтобы мир вот так раскалывался надвое, как он раскололся с Октябрем, что, конечно, дипломатов можно и впрямь

именовать дипломатами, но если смотреть в корень, то нечто новое восприняла их древняя профессия, что советский дипломат — солдат революции...

Это отступление органично вписывается в те страницы романа, которые воссоздают напряженнейшую атмосферу жизни «дома Чичерина» в пору военного лихолетья, когда вражеское нашествие поставило под угрозу завоевания Октябрьской революции, само существование советской власти.

Но вернемся к центральным персонажам романа. Всякий раз, когда Бардин бывает в Лондоне или Бекетов приезжает в Москву, друзья хоть и с трудом, но обязательно выкраивают время для встречи. Им важно самим для себя трезво проанализировать и оценить сложную, быстро меняющуюся в зависимости от положения на фронтах международную обстановку, поделиться впечатлениями о разговорах с лидерами или представителями дипломатического мира союзных стран, выжать из этих впечатлений все самое существенное, что завтра может понадобиться для очередного дипломатического сражения. В беседах, переходящих порой в горячие споры, каждый из них стремится проверить точность своих наблюдений, свои выводы и прогнозы. И надо сказать, эти страницы романа, где главное — пытливая, ищущая мысль, рождающаяся в споре, в столкновении мнений истина, читаются с большим интересом.

Среди других выведенных в романе советских дипломатов наиболее, пожалуй, запоминается молодой наркоминделец, референт отдела печати Николай Тамбиев. В начале романа мы узнаем, что Николай всего год работает в доме на Кузнецком, но то, как он держится при встречах с иностранными корреспондентами, как точно улавливает оттенки их настроений, как оценивает и обобщает их взгляды и мнения, убеждает в том, что это толковый, способный работник, наделенный качествами, необходимыми дипломату социалистического государства.

На страницах «Кузнецкого моста» наряду с персонажами вымышленными, созданными художественным воображением автора мы встречаем немало исторических лиц и прежде всего тех, кто в годы минувшей войны определял и направлял внешнюю политику Советского Союза и других стран антигитлеровской коалиции. Это продиктовано самим замыслом романа политическим

го, в основе которого лежат подлинные исторические события. Среди таких персонажей романа Сталин, Молотов, Ворошилов, Коллонтай, Литвинов, Потемкин, а также Черчилль, Рузвельт, генерал де Голль, Бивербрук, Иден, Гопкинс, Гарриман, Хэлл, Маршалл и другие.

Реальные персонажи необходимы автору не для того, чтобы упомянуть их фамилии в публицистических отступлениях. Некоторые из них — полноправные действующие лица романа и живут на его страницах своей жизнью. Читатели «Кузнецкого моста», разумеется, обратили внимание и на то, что пути вымышленных и реальных персонажей в романе часто пересекаются, что во многих сценах и эпизодах автор смело сводит их вместе. Так, Егор Бардин присутствует в кабинете Сталина при переговорах с Гопкинсом, с Бивербруком и Гарриманом, с Иденом. Он же сопровождает Молотова в Лондон и Вашингтон, участвует там в переговорах с Черчиллем и Рузвельтом. В Стокгольме Бардин встречается с нашим послом в Швеции Александрой Михайловной Коллонтай. Сергей Бекетов в Лондоне часто видится с политическими лидерами Великобритании, с учеными, издателями, журналистами, писателями, в том числе с давним другом нашей страны Бернардом Шоу. В дни приездов из Лондона в Москву Бекетов дважды приглашается на кунцевскую дачу, где с глазу на глаз беседует со Сталиным, который знает Сергея еще по Царицынскому фронту. Сталин интересуется мнением профессионального дипломата о самых кардинальных внешнеполитических проблемах: второй фронт, послевоенные границы, судьбы Германии, Европы, мира. Осенью сорок третьего года Бекетов и Бардин как советники участвуют в Тегеранской конференции «большой тройки».

Таким образом, писательский вымысел все время тесно переплетается в романе с подлинными событиями и фактами, составляющими яркие страницы истории советской дипломатии. Перед автором стояла задача: в художественной форме точно воссоздать эти события и факты; объективно и достоверно изобразить исторические лица, их роль во внешнеполитической деятельности в годы войны, их соответствующее внутренней логике характеров поведение за «круглым столом» переговоров. Что и говорить, нелегкая задача! В ее решении автору помогли не только чутье, такт

художника и возросшее с годами писательского труда литературное мастерство, не только личный опыт наркоминдельской и заграничной дипломатической работы, но и глубокое исследование архивных материалов и документов, изучение обширной научно-исторической и мемуарной литературы, отечественной и зарубежной.

Дом на Кузнецком жил одной жизнью с народом, жил, как и вся страна, событиями, развертывающимися на советско-германском фронте. Почти у каждого наркоминдельца кто-то из родных и близких ушел на войну. Воюет старший брат Егора Бардина, кадровый военный, генерал Яков Бардин, воюет сын Егора Сергей... Отдел печати Наркоминдела организует поездки на фронт иностранных корреспондентов, и мы, таким образом, оказываемся в местах боевых действий, встречаемся с бойцами и командирами нашей армии. Есть в романе страницы, которые переносят нас в блокадный Ленинград, страницы, показывающие воистину героический труд его рабочего класса. Мы видим в романе и то, как неудачи в начальный период войны и последующие успехи нашей армии сказывались на ходе ведущихся дипломатических переговоров, на поставках союзниками военной техники, боеприпасов, стратегического сырья...

Интересно показан С. Дангуловым иностранный корреспондентский корпус. Особенно выразительны образы американца Джерми, французского корреспондента Галуа, англичанина Ральфа Баркера. Среди инкоров были люди разных политических взглядов и убеждений. И наши друзья. И наши скрытые и явные недруги, такие, как выведенный в романе корреспондент агентства Рейтер Клин. Своими корреспонденциями из Москвы — кто информируя честно и объективно, а кто и умышленно дезинформируя читателей — каждый из них в той или иной мере влиял на формирование общественного мнения в своих странах.

Саввой Дангуловым написан роман политически острый и актуальный, раскрывающий широкому кругу читателей всю сложность и драматизм борьбы, которую вела советская дипломатия во имя нашей победы, во имя торжества справедливого и прочного мира на земле. К самым сильным страницам и главам романа относятся, на мой взгляд, те, где происходят подлинные исторические события, где воссоздается сам ход дипломатических переговоров, их

напряженная атмосфера, где разворачивается битва идей, происходит столкновение умов и характеров.

В центре этой борьбы на протяжении всего романа — проблема второго фронта. Отношение к ней в политических и общественных кругах союзных нам стран — участник антигитлеровской коалиции далеко не единодушное. Автор стремится показать весь спектр этих отношений. На одном из его полюсов стоят люди вроде американского сенатора Гарри Трумэна, который считает, что самое лучшее, если в этой войне русские и немцы побольше уничтожат друг друга; второй полюс представляют друзья нашей страны, такие, как Бернард Шоу, люди, искренне сочувствующие нашему народу и пытающиеся в меру своих сил и возможностей оказать ему реальную помощь.

Примечательный разговор происходит еще летом сорок первого года между нашим послом в Лондоне и лордом Бивербруком. «Как вы знаете, я защищаю идею второго фронта,— произнес Бивербрук, глядя на Михайлова.— Но своей победой под Ельней вы затруднили мне борьбу и вооружили моих противников... Мне говорят: «Вот видите, русские не так слабы, они протянут и без нас!» Дай бог победать вам и впредь, но каждая ваша победа затрудняет мою борьбу за открытие второго фронта. Диалектика, не правда ли? Вот вы победите под Москвой и лишите меня последних шансов, а?»

Во время прогулки по ночному Лондону Бекетов говорит Бардину: «Нам не надо приучать себя к мысли, что у нас есть надежда, кроме надежды на самих себя... Есть только мы, и никого больше.

— Тех... тоже нет? — указал Бардин на Вестминстер...

— Для Америки, наверно, они есть, для нас нет. По крайней мере, все наши расчеты надо строить так, как будто их нет вовсе,— произнес Бекетов, не спуская глаз с Вестминстера, который точно поворачивался в ночи, становясь все различимее.

— Это тебе подсказал год жизни в Лондоне? — спросил Егор Иванович.

— Да, пожалуй, этот лондонский год, Черчилль здесь видится лучше.

И далее Бекетов с горечью говорит о том, что позиция Черчилля — обещать, заведомо зная, что не выполнит этого обещания. «В этой позиции ничего нет от импровизации. Она — плод ума зрелого,

логики неодолимой. Цель — переложить всю тяжесть войны на плечи Республики Советов и сберечь силы для последнего удара по немцам и по русским, который решит судьбу войны».

Даже в Тегеране стремление Черчилля отвлечь внимание конференции от главного — от конкретных сроков открытия союзниками второго фронта — было настолько очевидным, что на одном из пленарных заседаний Сталин встал и, взглянув на Молотова и Ворошилова, сказал: «Идемте, нам здесь делать нечего, у нас много дел на фронте...»

Только после этого на следующие сутки Сталину было сообщено о том, что состоялось решение британского и американского штабов: высадка десанта союзников начнется в мае сорок четвертого года. Сталин, в свою очередь, сказал Черчиллю и Рузвельту, а затем и на заключительном заседании конференции, что русские хотят лишиться немцев возможности перебрасывать силы с востока на запад и в связи с этим предпримут в мае наступление, атаковав немцев в нескольких местах...

Такие страницы романа, повторяю, показали мне особенно интересными. Куда более, чем те, где речь идет не о внешнеполитических проблемах, а о личной жизни, семейном быте действующих лиц, о сфере их личных чувств. Здесь интерес к повествованию заметно ослабевает. Характеры ряда персонажей романа остались, по моему, недостаточно прописанными, некоторые сюжетные линии не получили ожидаемого развития. Если глава бардинского рода старый Иоанн Бардин написан колоритно, ярко и, несомненно, запомнится читателям, то интересно задуманным образам его старшего сына Якова и особенно младшего, Мирона, «повезло» в романе куда как меньше. К недостаточно прописанным, намеченным лишь пунктиром я бы отнес и образы братьев Глаголевых — хирурга Александра Романовича и военного историка и военного дипломата Маркела Романовича, а также образ Софы Глаголевой.

...Под последней страницей романа обозначено: «Конец второй книги». За ее пределами остались такие важные исторические события заключительного периода войны, как само открытие союзниками второго фронта, Ялтинская и Потсдамская конференции глав великих держав. Но фраза «Конец второй книги» является как бы авторским обещанием продолжить повест-

вовании, довести его до победоносного завершения войны, а быть может, коснуться и первых послевоенных лет, которые были во всех отношениях, в том числе и в международном аспекте, годами весьма сложными и нелегкими, годами, когда советским

дипломатам было не до отдыха. Если предположения о дальнейших намерениях автора верны, то нам остается пожелать ему успеха. Как говорится, в добрый час!

В. КОСОЛАПОВ.



НАПРАВЛЕНИЕ РОСТА

Роберт Рождественский. За двадцать лет. Избранные стихотворения и поэмы. М. «Художественная литература». 1973. 464 стр.

Роберт Рождественский. Перед праздником. Стихи и поэмы. М. «Детская литература»: 1974. 222 стр.

В дни, когда я писал эту статью, газеты публиковали много материалов о космонавтах, межзвездных полетах, путях проникновения во Вселенную. В одной из газет я прочел следующее о двух героях космоса, внимательно обследованных учеными: у космонавтов «прежде всего отмечен адекватный уровень притязаний, т. е. оба знают уровень своих возможностей, свою точную человеческую цену. Обоих космонавтов отличает, по мнению специалистов, высокая степень интериоризации — степень усвоения общественного опыта, — что позволяет им правильно оценивать все явления окружающей среды и ясно представлять свое место в этой среде...».

Литератор, в особенности поэт, «с адекватным уровнем притязаний» — явление довольно редкое, тем более что из стихотворцев, живущих одновременно, знаменитое «я гений!..» воскликнет конечно же Игорь Северянин, а не Александр Блок. Старый тезис о необходимости судить художника по законам, установленным им же, пошатывается при столкновении с иными поэтическими темпераментами. Многие слова в трактовке различных литераторов звучат совсем непохоже, что и вовсе лишает иного из них способности «правильно оценивать все явления окружающей среды и ясно представлять свое место в этой среде». У разных критиков одни и те же термины бывают и похвалой и руганью: «романтик» — «реалист», «городской» — «деревенский», «новатор» — «традиционалист», «громкий» — «тихий».

Обычай проклинать пулю, а не стрелка удивительно живуч, и, возможно, поэтому во многих статьях о литературе споры о «наречении» явлений более обстоятельны, чем исследование. Возвращаясь к цитате,

приведенной в самом начале, я продолжаю думать о важности опущения поэтом «своей точной человеческой цены» и места своего в обществе. В разговоре о Роберте Рождественском мне хочется от классификаций отступить вовсе, ибо поэту они, как мне кажется, малополезны. Сказано, к примеру, в предисловии к его сборнику «Перед праздником»: «...лирик и публицист, памфлетист и песенник». Ну и что? Так ведь можно написать о ком угодно. Хотя надо заметить, что при некотором желании Роберта Рождественского и вправду можно классифицировать «по разным гильдиям», то запомнив его декларацию из тех, что привычно причисляемы к романтическим:

Мы пришли
в этот мир,
чтоб смеяться и плакать,
видеть смерть
и в открытое море бросаюсь.
песни петь.
целовать неприступных красавиц!.. —

то услышав иронию в его же трактовке «сакраментального термина»:

Вышли в жизнь товарищи
слишком желторотыми.
Вышли в жизнь романтики,
ум
у книг занявшие...

Полезно учесть, что в сборнике избранного «За двадцать лет» между приведенными отрывками — более трехсот страниц стихов. Интересно и характерно для поэта, что он не боится представить на читательский суд стихи, разные по уровню реализации замысла, даже по отношению к теме. Ведь только к грехам молодости следует отнести мечту $\bar{0}$ том, как, «в открытое море бросаюсь... целовать неприступных красавиц». Но как бы там ни

было — будем исходить из очевидного: за двадцать лет работы сформировался литератор с репутацией, основательно устоявшейся среди поэтов нашего поколения.

Поэтам, начавшим печататься в 50-х, исполнилось уже или на днях исполнится по сорок; интересно взглянуть со стороны на самих себя. И вправду ведь: как же выглядит поэт, которому сейчас примерно столько лет, сколько было в годы его дебюта Константину Симонову, Ираклию Абашидзе, Эдуардасу Межелайтису, Андрею Малышко, Аркадию Кулешову? Я не говорю уж об очевидном: что Маяковский и Тициан Табидзе, Есенин и Чаренц, Уткин и Гудзенко не дожили до нынешнего возраста ровесников Роберта Рождественского...

Думаю, что при таком сравнении — по высшему счету — почти любой из поэтов нашего поколения проигрывает, и немало. Но по своей популярности у читателей Роберт Рождественский может ныне быть сравниваем с наиболее широко читаемыми поэтами — множество примеров тому.

...Мы наблюдали с алма-атинским поэтом Олжасом Сулейменовым книжный базар в казахстанской столице. Поэтические книги продавали там стопками: пять-шесть сборников перевязывали розовой ленточкой, а сверху прибинтовывали книгу Роберта Рождественского обложкой вверх. Получался пакет, именуемый отныне подарком. Люди охотно покупали оный пакет во имя одного сборника, лежащего сверху и заслоняющего собой книги, судьба которых, по всёму судя, прискорбна. Не хочу это событие, не столь уж редкостное, превращать в притчу, но то, что творчество Роберта Рождественского в определенном смысле «определяет уровень», бесспорно. Константин Симонов, разбираясь в причинах этого, в своей вступительной статье к сборнику Рождественского «За двадцать лет» выделяет вот что: «...поэту органически присуща способность, разбираясь в самом себе, помнить о других людях. Мысль о том: как жить мне? — неотделима для него как для поэта от мысли: как жить и другим людям? Не только мне, а им? Именно с этим, и прежде всего с этим, на мой взгляд, и связано то широкое общественное звучание, которое приобрела у нас талантливая лирика Рождественского и его неотделимые от этой лирики поэмы».

Думаю, уважаемый поэт прав. Оценка

Симонова интересна еще и потому, что как поэт Роберт Рождественский, по моему, тесно связан именно с Константином Симоновым и его ученичеством в школе поэта Симонова ощущается не только в сходстве используемых формальных приемов. В том, скажем, что мы видим у Роберта Рождественского откровенное желание откликаться на сегодняшние события сегодня, составлять поэтическую хронику в традициях лучших образцов советской «газетной» поэзии, ощутимы уроки многих поэтов военного поколения, но Симонова, мне кажется, прежде других.

Собственно, это черта, присущая сегодня многим писателям, при всей ими декларируемой несхожести. Отмечалось качество это не раз и по множеству поводов. Отмечалось и то, что литературское обозрение и литературское осмысление далеко не одно и то же. Евгений Сидоров, скажем, в статье «Сорокалетье — строгая пора» пишет, имея в виду Е. Евтушенко: «Ваш бог — ежеминутность, мгновенный отклик... вам чрезвычайно важно запечатлеть ускользящее мгновение, не всегда понятное вами как момент личной и общественной истории». Упрек серьезный и применимый к Рождественскому, хотя и не в таком объеме.

Роберт Рождественский четко осмысливает жизнь в ее взаимосвязанности с общественной историей. Но — лично — он охотнее идентифицирует себя со множествами. Мне кажется, в этом один из корней массовой популярности поэта: всегда рядом и такой, как другие... Но в этом же одна из угроз ему; думаю, что Рождественский сам ее ощутил и преодолевает, особенно в песнях: ведь большинство из них не для строевого хора, а для раздумий наедине. И поэт ищет свою целостность, уходя время от времени из столь милого ему массового общения и вовремя вспоминая, что тезис Маяковского «голос единицы тоньше писка» употреблен Владимиром Владимировичем в совершенно точном контексте и не всеобъемлющ.

Тем не менее именно как поэт «массовый», «громкий» (видите, как торжествуют классификаторские термины, над которыми я только что иронизировал) Роберт Рождественский по-настоящему силен и уверен в себе.

Впрочем, позволю себе привести еще одно высказывание Константина Симонова, оценивающего некоторые свои сочинения

тридцатилетней давности: «...еще борьба не кончилась, и долг художника состоит в том, чтобы каждое его произведение было прежде всего агитационным, а потом уже аналитическим». Роберт Рождественский во многих стихах, особенно в написанных за границей, сознательно декларативно-агитационен, и многие произведения, скажем «Чисто деловое письмо из Нью-Йорка Сэму Звягину...», «Рулетка», «В буддийском монастыре», не поднимаются в анализе над уровнем злободневной карикатуры на международную тему. Но — автор заявляет со всей откровенностью: «Впрочем, ладно,— не будем в религию лезть глубоко...» И нам остается принять предложенные им правила.

Но, как во многих других случаях, убедительно последовательно даримое Робертом Рождественским читателю ощущение своей надежности, правоты. Причем ощущение это прежде всего исходит от написанного поэтом, а не от мимолетных обещаний и заверений, разбросанных по газетным колонкам,— поэт на них не так уж и щедр. Впрочем, в стихах же у него содержится одна из откровеннейших исповедей, читанных мною: об ощущении, непременно переживаемом любым художником, подверженным самоконтролю. Ощущении переживаемом, но редко выставляемом на всеобщее обозрение. Помните это место из поэмы «Посвящение»?

Мне кажется:
я взял
чужой билет.
Совсем другому
он
предназначался...
А я
святым неверьем взят в кольцо.
С большой афиши,
белой, будто полюс,
испуганно глядит
мое
лицо,
топорщится
подделанная
подпись.
И мне то тяжело,
то трин-трава.
Чужие голоса
в меня
проникли.
В знакомых песнях
не мои
слова!
Написываю я
чужие
книги!..

Такое ощущение может возникнуть лишь у поэта, с ответственностью относящегося

к своему труду. И еще у поэта, предельно откровенного с читателями и с собою самим. Можно бы сказать, что «Посвящение» — не новейшее произведение Роберта Рождественского, но он включил его в оба рецензируемых сборника избранного, вышедших в последнее время. А стихи в них вопреки традиции напечатаны без дат, лишь со ссылками на книги: поэт отвечает за любое в равной степени и каждое просит считать написанным сегодня. Думаю, что такой способ составления избранного не совсем удобен для исследователей, но благороден, ибо поэтов, заслоняющихся от времени датами написания стихов, гораздо больше, чем тех, кто не ищет оправданий в переменчивых ветрах времени.

В творческой эволюции человек, вырастающий из себя, но не стыдящийся себя прежнего, представляется мне очень перспективным. Достоинство, сохраняемое в процессе творчества, уважение к слову (и тому, что писал ты сам) — так вот и создается ощущение надежности, основательности художника, столь импонирующее читателям. Суетливость утомляет. Последовательность на избранном однажды пути вызывает уважение.

...И я составлял «Избранное» из собственных стихов, и я знаю, как для любого поэта труднопреодолим соблазн представить себя «с конца» или, по крайней мере, с той поры, как ощутишь полнокровную зрелость написанного. Избранное далеко не в каждом случае всеобъемлюще, но уже то, что стихи располагаются в порядке их написания, имеет свои плюсы и свои минусы — испытание. Мог ли ты быть постоянной личностью в различные времена?..

И так же, как подозрительна всякая непоследовательность, играющая на разнице конъюнктур, заслуживает уважения человек, вдумчиво относящийся к труду, в том числе собственному.

Достоинство художника — богатство бесценное. И прекрасно, что сегодня поэт сохранил без всяческих расщеплений свой человеческий, гражданский свой комплекс, не исчерпал «запаса надежности», необходимого во всяком полете. Лирический герой Роберта Рождественского социально определен, а поступки его естественны — отсюда читательское доверие, доверие к надежному человеку. Еще раз говорю об этом и радуюсь этому.

Роберта Рождественского можно принимать либо не принимать — вкусы человеческие разнообразны, — но нельзя сомневаться в его искренности, твердой вере в то, что избранная дорога верна и стоит идти по ней, легко ли, трудно ли будет это. В небольшом стихотворении «Человек» он пишет о достойной жизни таким образом:

«Держи себя в рамках...»
А он отвечал дерзко!
«Держи себя в рамках...»
А он презирал страхи.
А он смеялся!
Ему было в рамках тесно...

Стихотворение из тех, что читаются на вечерах, посвященных Маяковскому, Хикмету, Неруде. Образцам последовательности. Учителям... Но напомнив это стихотворение, напомню и взгляды, бывшие общими для многих сорокалетних поэтов разных времен. Один из тех, кому сорок было в годы дебюта Рождественского, Константин Симонов, пишет: «...когда я читал книгу избранных стихов и поэм Роберта Рождественского, у меня было ощущение, что, собирая эту книгу, он не проводил резкой разделительной черты между собой и читателем. Да, конечно, — это книга, составленная для читателей. И в то же время это книга, составленная и для самого себя». Очень важное признание литературного единомышленника, поэта одной школы. А ведь именно о школе можно и интересно говорить, размышляя о стихах, написанных любым поэтом, как следует проследживать течение любой реки до истоков. Разные поэты, бесспорно, воздействовали на Роберта Рождественского, но не в том смысле, что превращали его в бледную свою копию. Вообще мы недостаточно говорим о родословных, которые поэтами составляются каждым для себя; порой принимаем подражателей и поклонников за последователей. Мне думается, что говорить о школе в ее моральном понимании тоже необходимо, ибо если поэт не всегда и сам знает, чья именно интонация, чья строфика повлияла на него больше всего, то уж перед кем совестно — знает наверняка. Кроме чувства гордости и других достойных и весьма высоких чувств, думаешь о чувствах ответственности и совестливости, направленных подчас к кому-то совершенно конкретному, кого поэт считает своим судьей, имеющим право на категоричные приговоры.

Чувство ответственности, чувство совестливости перед человеком большим, прожившим или живущим как следует, неистребимо в настоящем поэте. Изучающе вслушиваясь в разговорность манеры одного, перенимая тропы другого, литератор по-особенному внимателен в школе гражданственности, порядочности, и не только поэты сопровождают Рождественского в ней. Он не устает декларировать единство свое с читателями — вернее, ответственность перед людьми, с книгой в руках размышляющими над жизнью. И не случайно слова о Гагарине, Ландау, Королеве сшиты нитью слова «незаменимы», а Сарьян «рисует, будто судит». Именно из чувства высокой ответственности мог родиться ставший знаменитым призыв «за себя и за того парня», а когда поэт обращается к погибшему за освобождение Болгарии советскому солдату, то делает это, вопрошая себя:

Той ли я жизнью живу,
за которую
ты перестал
жить?
Верь.
Это мой постоянный
экзамен!
Я все время
сдаю его.
Твоими безжалостными глазами
гляжу
на себя самого.

Думаю, что все настоящее на свете немисливо без чувства ответственности. Но важно не только общее утверждение — ответственность Рождественского предметна, связана с людьми, с идеей, с окончательной убежденностью в правоте избранного пути. Поэзия все время вырывается за привычно рисуемые для нее рамки и смыкается с прочими заботами мира. Жизнерадостность и совестливость поэта вовсе не остаются в сферах литературных. Победы, поражения, предательства и союзы — все они оцениваются формулировками, порой плакатными, но естественными, как вот в этом конкретном случае: «Расстреляйте — не изменю флагу цвета крови моей...»

Плакатность такой декларации подтверждается и самим образом поэтического мышления Роберта Рождественского, и той атмосферой взаимного доверия, что издавна установилась между ним и читателями. Иные качества и понятия переведены нами в разряд абстрактных,

но от этого не менее важно обладание ими, а еще — повседневное подчинение им и (в ожидании завтрашних стихов) предельно порядочное и ответственное отношение к сегодняшним:

За нами —
нашей силы
нарастание!
Мы ждем открытий.
Мы друзей зовем,
Друг другу говорим
слова несладкие..

Это тоже из принципов советской поэтической школы — уроки ее не только в поэтических словарях...

Думаю, что установление триединства поэт — лирический герой — читатель и продолжение триединства этого в сфере нормальных человеческих взаимоотношений — одна из последовательных позиций Роберта Рождественского в литературе.

Так или иначе, но в личности художника должна отражаться эпоха. Рождественский активен, воспринимая мир. Говоря «мы возьмем судьбу за лацканы и посмотрим ей в глаза», он очень серьезен. Так и должно быть. Писать стихи, не определив собственного отношения к миру, нельзя — это еще один из очевидных уроков, усвоенных Робертом Рождественским.

Теоретически любим из наших поэтов, в том числе и поэтами «срединного» теперь поколения, сорокалетнего, усвоено множество прописных, но от этого не менее важных истин. Проблема — в мастерстве их реализации. С читателем можно говорить только таким образом, чтобы самому поэту было интересно, — на равных. Рождественский постоянно прислушивается к себе, и поэзия начинает выкристаллизовываться из густеющего с годами раствора.

Мне все труднее
пишется.
Мне все сложнее
видится.

И, думается, именно «образ видения» Роберта Рождественского наиболее интересен в разговоре о нем. Советская поэзия как никакая другая славна художниками, заметнейшие из которых были яркими личностями, утверждающими себя в мире. Не мельтешащими подмастерьями, а именно художником и личностью одновременно. «Выстраивать себя» Рождественскому приходится на весьма непростых гранях, и точность не должна ему изменять. Когда я

читаю: «Войти без стука в ваши дома. Войти без шуточек в ваши сердца...» — то понимаю, насколько такая декларация опасна, ибо не один уже человек малоталантливый выдавал собственное косноязычие за попытку быть общепонятным, «входить без шуточек». Да и сегодня столько мы говорим о критериях простоты, а любителей путать неграмотность и народность не убавляется...

Роберту Рождественскому и впредь еще будет нелегко выполнять собственные обещания, определяя критерии простоты и стремясь не забывать неимоверной сложности, многозначности самых привычных слов: «Какое это чудо — человек! Какая это мерзость — человек!»

Здесь все вместе — и осмысливание постулатов современной философии, и рифмы на «непоэтичные» слова вроде «несовместимость» и «ветошь», и настойчиво ведомая из стихотворения в стихотворение тема отвращения к понятию «предательство». И еще — повторяемая в разных вариантах фраза едва ли не из первого советского букваря: «Не люблю рабов»...

...Ищем критерии, по которым можно выверить друг друга: у самых старших ведь была революция, у тех, кто помоложе, — война. У нас что?

Все сразу? Пожалуй, все сразу...

Но многообразный, многоугольный мир — далеко не целостный — должен восприниматься поэтом как целостный. Роберт Рождественский именно таков, об этом было сказано.

Не было сказано о любовной лирике поэта: но древо ее плодоносит в том же саду — она интересна, хоть и не всегда удивительна; при многих находках, открытиях в ней пока маловато. Но всегда, повторяю, лирика Рождественского интересна как разговор о любви с добрым, искренним и умным товарищем. Дистанции между читателем и поэтом нет: Роберт Рождественский последователен в тоне и в методе.

Не думаю, что мне вменялось в обязанность напомнить о декламируемом наизусть и поющемся «Реквиеме», перечислять стихи Рождественского о заграничах (которые мне не все нравятся) и традиционно упрекнуть его в не изжитых до конца рационализме и многословии. Мне хотелось говорить о человеческих качествах, определяющих человеческую судьбу. В том числе и судьбу советского поэта Роберта Рождественского. Думается, что издание подрядя

двух одномышленников избранного проводит не столько черту под каким-то периодом его творчества, сколько прогнозирует направление дальнейшего роста. Рост этот интересен, замечен и поучителен. Волна людей, стартовавших в литературе лет двадцать назад, достигает (по формуле Павло Тычины) «своих роста и силы».

Замыслив статью эту, я хотел большую Киев.

часть ее строить вокруг чисто текстового анализа, но увлекся рассуждениями не столько о литературной технике, сколько о «литературной тактике». А что? Совсем не часто мы ведем такие разговоры публично.

Виталий КОРОТИЧ.



ВЫСОКОЕ ДОСТОИНСТВО РЕАЛИЗМА

Борис Сучков. Исторические судьбы реализма. Размышления о творческом методе. Издание третье, дополненное. М. «Советский писатель». 1973. 504 стр.

После выхода в свет постановления ЦК КПСС «О литературно-художественной критике» заметно вырос читательский спрос на работы общетеоретического плана, трактующие принципиальные проблемы развития искусства, и в частности проблемы социалистического реализма.

И не удивителен тот живой интерес, с которым встречено читателем и критикой третье, расширенное издание известного труда Бориса Сучкова «Исторические судьбы реализма». Этот интерес обострен и тем отрадным обстоятельством, что книга Б. Сучкова выдвинута на соискание Государственной премии 1975 года. Побуждая к раздумьям о путях и судьбах реализма, над капитальными вопросами марксистско-ленинской эстетики, эта книга ведет борьбу за утверждение подлинно научного взгляда на самый широкий круг художественных явлений.

Мы все помним яркий доклад Бориса Леонтьевича Сучкова о Достоевском на юбилейном собрании в Большом театре, его боевое выступление на заседании МАЛКа¹ в Москве об основных тенденциях в современной мировой литературе, глубокие и оригинальные соображения, касающиеся теории социалистического реализма, высказанные им на пленуме СП СССР, посвященном второй годовщине постановления ЦК КПСС «О литературно-художественной критике».

Это был талантливый ученый, один из ярких представителей современного марксистского литературоведения. Мне, знавшему Б. Л. Сучкова с аспирантских времен,

¹ МАЛК — Международная ассоциация литературных критиков.

трудно писать слово «был». До сих пор не могу смириться с мыслью, что его нет среди нас, что мы больше не услышим его голоса. Но судьба неумолима. Б. Сучков умер, участвуя в заседании МАЛКа в Будапеште. И сейчас нам важно оценить тот вклад, который он внес в советское литературоведение.

Над своей главной книгой «Исторические судьбы реализма» Б. Сучков работал много лет, уточняя концепцию и внося в текст дополнения и изменения. Третье издание книги (последнее прижизненное) — самое полное и значительное. Здесь с особой силой проявился талант автора — исследователя и критика.

Книга Б. Сучкова охватывает историю мировой литературы в диапазоне от античных времен и до наших дней. Отмеченная зрелостью и глубиной подхода к чрезвычайно сложному материалу, несущая на себе печать широкой авторской эрудиции, книга Б. Сучкова вошла в историю советского литературоведения и внесла заметный вклад в его развитие. Более того, не будет преувеличением сказать, что она приобрела европейскую известность, переведена на английский и французский языки, издана в ГДР (на немецком языке), переведена на чешский и финский языки, получила высокую оценку в Англии и ряде других стран.

Книга родилась в атмосфере острой идейной борьбы в период 60-х годов, когда на мировой арене усилились нападки на реализм. Б. Сучков был первым из тех, кто решительно выступил со статьей против книги французского ревизиониста Роже Гароди «Реализм без берегов» и показал,

что в этом случае перед нами попытка подменить реализм модернизмом и отбросить прочь завоевания социалистического реализма. В полемику с Роже Гароди Б. Сучков вступил во всеоружии марксистской методологии, doskonaльного знания реалистического искусства. Но одной статьи или даже цикла статей было мало. Базу полемики с ревизионизмом требовалось расширить. Борьба вокруг теории и практики социалистического реализма разгоралась. В нападениях на социалистическое искусство и реализм Р. Гароди поддержали Д. Лукач и Э. Фишер. В этой обстановке перед Б. Сучковым встала задача написать книгу по истории реализма, противопоставить субъективистским, спекулятивным высказываниям богатую картину развития реализма, показать его мировые успехи и перспективу. И Б. Сучков блистательно справился с этой задачей.

В книге Б. Сучкова «Исторические судьбы реализма» охарактеризованы три самых сложных и плодотворных этапа развития реализма — эпоха Возрождения, эпоха капитализма (XIX век) и эпоха мировых войн и социалистических революций (XX век).

Первую стадию в развитии реализма автор связывает с освобождением личности от пут феодальных отношений и ростом капитализма. Обращаясь к творчеству самых значительных представителей реалистического искусства каждого периода, он на конкретных примерах раскрывает особенности реализма как метода. Главными признаками реализма Б. Сучков считает социальный анализ, глубину исторического мышления, позволяющие писателю увидеть в жизни существенное, характерное, создать типические характеры, раскрыть мир личности в свете исторического прогресса, в свете классового, социальной борьбы... Эти важнейшие посылы определяют твердую методологическую базу книги Б. Сучкова, позволяя автору рассматривать реализм как живое, исторически обусловленное явление. «Подобно тому как наука обогащала человечество знаниями о законах природы, так и формирующееся реалистическое искусство, исследуя духовный и социальный опыт человека, сферу его деяния, чувства и мысли, познавало природу исторического процесса», — сказано в книге Б. Сучкова. Исследуя судьбу человеческую в неразрывной связи с судьбой народной, конфликты эпохи и социальные битвы, потрясшие многие страны, ре-

ализм обогатил искусство гениальными произведениями, ставшими выражением художественного самосознания народа, великих, гуманных идеалов эпохи. В этом плане анализируются Б. Сучковым произведения Сервантеса, Рабле, Шекспира, Гёте, Пушкина, Толстого.

Анализ реалистического творчества в его неразрывной связи с историей позволяет автору дать характеристику реализма во всем многообразии его аспектов. Показывая, как происходило формирование реалистических принципов в истории литературы, Б. Сучков рисует сложную картину борьбы и взаимодействия различных направлений в литературе. Им высказано много новых и оригинальных мыслей о борьбе реализма с классицизмом, о роли революционного романтизма в развитии литературы. Б. Сучков считает, например, Шелли с его «Освобожденным Прометеем» и утверждением свободы личности прямым предтечей социалистического искусства.

Живая диалектика авторской мысли, я сказал бы, находится во внутреннем согласии с диалектикой развития реализма. Б. Сучков показывает, что на ранней стадии, когда капитализм освобождал личность от феодальных оков, его относительная историческая прогрессивность оказала плодотворное воздействие на развитие реализма. Но капитализм по самой своей сути враждебен духовному производству, а значит, и основам реалистического искусства. Он породил такое явление, как отчуждение личности, различные реакционные философские системы, декадентские течения в искусстве, отражающие распад личности и буржуазного сознания. По мере выявления реакционной сущности капитализма на творчество реалистов начали оказывать мощное воздействие идеи освободительного движения. Реализм стал явлением, противостоящим буржуазным отношениям.

Б. Сучков раскрывает антикапиталистический характер творчества Бальзака, Стендаля, Вальтера Скотта, Диккенса, Пушкина. Показывая, какой силы достиг социальный анализ в творчестве этих реалистов, он выдвигает как главный признак реализма и с т о р и з м художественного мышления. Еще не владея в полном объеме монистическим взглядом на историю (эта задача оказалась по плечу марксизму), писатели-реалисты тем не менее дали сокрушительную критику устоев капитализма, с беспощадностью вскрыли основной конфликт эпохи

(Вальтер Скотт, по мнению Б. Сучкова, пронизывал свои произведения идеей классовой борьбы). «Они,— пишет автор,— оставили энциклопедическое по своей полноте изображение целой исторической эпохи, ее нравов и быта, ее идей и типов...» И далее говорится в книге: «За столкновением и борьбой интересов, разделяющих и обособляющих людей, они открыли борьбу классов, борьбу материальных интересов». Нравственное начало творчества писателей-реалистов противостояло буржуазной идеологии, и, несмотря на ограниченность, а порой даже ошибочность их политических идеалов (вспомним о легитимизме Бальзака), оно было демократичным по существу, так как объективно совпадало с устремлениями народных масс, противящихся наступлению капитализма на права человека.

Говоря о судьбах реализма в XIX, а затем о его разложении в ряде капиталистических стран на Западе в конце XIX и начале XX века, Б. Сучков особо подчеркивает заслуги великих русских писателей в развитии мировой литературы.

Не секрет, что зарубежные историки мировой литературы, несмотря на великие завоевания русской классики, в своих курсах обычно отводили ей периферийное значение. Книга Б. Сучкова прямо противостоит такой тенденции. Творчество Пушкина, например, в ней интересно и плодотворно сопоставляется с творчеством Бальзака, а творчество Гоголя — с творчеством Диккенса и Вальтера Скотта, величайших реалистов XIX века. Нисколько не умаляя значения Бальзака, Диккенса, Вальтера Скотта в развитии реализма, в критике капиталистической действительности, Б. Сучков показывает небывалое величие Пушкина и Гоголя как писателей, которые отразили чаяния народные в первый период освободительного движения в России. Вершинами в развитии реализма XIX века предстают в книге Б. Сучкова Достоевский и Толстой. Глубоко характеризуя их творческий метод, автор показывает, что они воссоздали в своих произведениях переломную эпоху, когда шел процесс бурного созревания народного самосознания. Опорой для такой постановки вопроса в книге Б. Сучкова служит известное положение В. И. Ленина из статьи «Л. Н. Толстой»: «Рисуя эту полосу в исторической жизни России, Л. Толстой сумел поставить в своих работах столько великих вопросов, сумел подняться до такой художественной силы, что его

произведения заняли одно из первых мест в мировой художественной литературе. Эпоха подготовки революции в одной из стран, придавленных крепостниками, выступила, благодаря гениальному освещению Толстого, как шаг вперед в художественном развитии всего человечества»².

Пафосом утверждения силы реализма в русской литературе, его великих открытий и завоеваний проникнута вся книга Б. Сучкова. Автор пишет: «Свою художественную материализацию в искусстве чувства и надежды народные с наибольшей полнотой обрели в русском критическом реализме, развивавшемся в обстановке подготовки и нарастания величайшей революции, навсегда преобразившей облик современного мира.

Этическая мощь русской литературы, ее человечность и народолюбие, ее смелость в постановке вопросов, имеющих непосредственное отношение к судьбам человека в собственническом обществе, делали ее вместилищем народного сознания, а с началом социалистического преобразования России и народного самосознания».

Картина развития реализма в мировой литературе XIX века, нарисованная Б. Сучковым, широка и многогранна. Читатель видит, что переход капитализма на Западе в последнюю стадию загнивания (империализм) ведет к разложению реализма и появлению декадентских течений, а связь русских реалистов с народными чаяниями, с освободительным движением, постановками русскими писателями коренных вопросов народной жизни выдвигает русскую литературу во второй половине XIX века в авангард мировой литературы.

В книге Б. Сучкова есть ощущение внутренней динамики самой истории и динамики литературного развития. Автор показывает влияние передовых идей эпохи на развитие реализма. А. Мясников в своей рецензии на книгу Б. Сучкова удачно сказал, что в ней действуют три героини: История, Философия, Литература.

Рисуя широкую, величественную картину развития реализма в XIX веке, Б. Сучков показывает, что социалистический реализм является новым этапом в развитии мировой литературы. Едва ли не впервые в истории советского литературо-

² В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 20, стр. 19.

ведения в книге Б. Сучкова творчество крупнейших представителей советской литературы органически включается в единый контекст развития мировой литературы. Автор показывает новаторские открытия М. Горького, В. Маяковского, Д. Фурманова, М. Шолохова, Л. Леонова, А. Твардовского, М. Ауэзова, обогащавшие практику социалистического реализма.

В книге Б. Сучкова дана широкая и динамическая картина развития мировой литературы XX века. Б. Сучков был специалистом по зарубежной литературе — вспомним его книгу «Лики времени». В ней содержатся очерки о Франце Кафке, Стефане Цвейге, Гансе Фалладе, Лионе Фейхтвангере, Томасе Манне. После этой книги Б. Сучков написал очерки о К. Чапеке и М. Прусте. В книге «Исторические судьбы реализма» свои знания зарубежной литературы XX века он поставил на службу теоретическому анализу судеб реализма в XX веке и раскрытию значения социалистического реализма как нового этапа в развитии мировой литературы.

Особое внимание уделяет Б. Сучков значению Великой Октябрьской революции как новому этапу в развитии человечества. Всю пеструю картину искусства, философии и истории литературы в XX веке Б. Сучков рассматривает сквозь призму грандиозных октябрьских преобразований. Убедительно показано в книге, как под влиянием социалистических идей происходит обогащение творчества крупных реалистов XX века — Р. Роллана, Т. Драйзера, Т. Манна — и как неуклонно приближаются они к позициям социалистического реализма. Р. Роллан создает грандиозное полотно — роман-эпопею «Очарованная душа», Т. Драйзер — «Американскую трагедию», Т. Манн — роман «Доктор Фаустус». Даже такой писатель, как Мартен дю Гар, в «Семье Тибо» сохраняет верность принципам реализма под влиянием социалистической идеологии. Отрицательное же отношение к социалистической идеологии и Октябрьской революции толкает писателя в лагерь реакции, декадентства (К. Гамсун), порождает произведения упаднические, проникнутые антигуманными идеями, неверием в силу человеческого разума («Путешествие на край ночи» Селина или «Прекрасный новый мир» Хаксли). Разложение империализма на Западе сопровождается в сфере искусства такими

декадентскими явлениями, как сюрреализм, театр абсурда, поп-арт и др.

Б. Сучков дает точную, высококвалифицированную оценку всех упаднических течений на Западе, показывает, что никакого «нового слова» в искусстве декаденты не сказали и не могли сказать, что их творчество объективно есть выражение крайнего индивидуализма, направлено на то, чтобы убить волю в человеке, разбудить «подпольные» инстинкты, развенчать в человеке человеческое.

Декадентскому искусству в XX веке противостоит социалистическое искусство, проникнутое идеями гуманизма, прославляющее нравственную силу человека, его способность победить в мире зло и перестроить общество на новых началах. Социалистический реализм продолжает в XX веке лучшие традиции классического реализма и выдвигает произведения, которыми отмечен новый этап в развитии мирового искусства. Именно под таким углом зрения Б. Сучков рассматривает «Мать» Горького, «Тихий Дон» Шолохова, «Чапаева» Фурманова, «Русский лес» Леонова, «Василия Теркина» Твардовского и др.

Основой новаторства социалистического реализма являются новые общественные отношения и новые условия существования личности при социализме как составной единицы коллектива, строящего новый мир. Б. Сучков показывает, что в социалистическом искусстве возникают новые возможности синтетического обобщения и глубокого психологизма в раскрытии чувств, мыслей, героических дел личности в свете новых общественных идеалов. Декадентское искусство лишено этих возможностей. Оно воспринимает мир в раздробленном состоянии и потому лишено главной возможности — синтезировать и обобщать. Даже писатели, объявляющие себя реалистами, но работающие в русле авангардистских течений (сторонники «нового романа» во Франции), не способны вырваться из хаоса субъективизма и отражают только внешние признаки («вещи») или осколки сложного мира. Человек исчезает из поля зрения этих писателей. И творчество их противостоит гуманизму.

Для Б. Сучкова характерно умение связать в органическое единство анализ теоретических проблем с пристальным вниманием к творчеству отдельного художника. Автор проявляет при этом тонкий эстетиче-

ский вкус и способность раскрывать индивидуальные особенности стиля писателя. Конкретное при этом выступает как часть общего, не утрачивая своей специфики.

Так, характеризуя реализм Фолкнера, Б. Сучков вскрывает индивидуальные особенности стиля писателя и показывает, что влияние декадентских теорий ослабило его реализм.

Любовно и тонко, в сопоставлении с широким кругом имен и явлений анализируется в книге Б. Сучкова творчество Л. Леонова и М. Шолохова. Автор раскрывает творческую манеру этих писателей и показывает их вклад в практику социалистического реализма и в историю мировой литературы. «Для Леонова,— пишет Б. Сучков,— умеющего мыслить масштабами исторических эпох, не меньший интерес представляют личностные переживания человека, но они лишены у него замкнутости и автономии, ибо их высвечивают крутые исторические события, с которыми их соединяют незримые, но ощутимые нити. Поэтому каждому из его персонажей, кому выпала доля решать собственные личные проблемы, приходится порой весьма драматично выходить на рубежи истории...»

Б. Сучков выступает против механического сравнения психологизма Леонова с психологизмом Достоевского, метод которого нередко считается прообразом леоновского подхода к феномену человеческого сознания: «Для Леонова аффект, свойственный поискам человека в человеке у Достоевского, внутренне не близок. Даже в самые драматические моменты в судьбах своих героев он показывает, как жизнетворческое начало их личности воссоединяется со здоровыми силами и потенциями века, общества, социальных устремлений народа. Сложная, контрапунктическая структура его романов, в которых есть место и символу и гротеску, где переливается живая и многоцветная русская речь, подчинена у него выявлению внутренних духовных богатств человека, как и весь психологический реализм Леонова».

Следует особо сказать, что книга Б. Сучкова опровергает не только ревизионистские теории о социалистическом реализме, но также направлена и против узкого, догматического представления о новаторской сущности социалистического реализма. Б. Сучков крупно поставил вопрос о том, что социалистический реализм — это

новая эстетическая система, которая не отгорожена глухой стеной от прогрессивных явлений XX века и включает в себя достижения мирового искусства. В этом плане автор рассматривает такую сложную проблему, как взаимодействие социалистического реализма с другими методами, в частности с методом романтизма. Б. Сучков решительно выступил против попытки некоторых авторов установить в советской литературе рядом с методом социалистического реализма особый метод — революционный романтизм. Б. Сучков показал, что такие попытки ведут или к размыванию монистического единства социалистического реализма, или даже к подмене его революционным романтизмом. Автор книги выступил также против сведения многообразных форм обобщения в социалистическом реализме к одной форме — изображению жизни в формах самой жизни. И все это воспринимается как естественное развитие мыслей о художественном многообразии советского искусства, высказанных на XXIV съезде КПСС.

Необходимо подчеркнуть, что в книге Б. Сучкова сделана плодотворная попытка решить вопрос о соотношении метода и новых форм художественного обобщения. Здесь Б. Сучков идет нехоженными путями, ставит проблемы, которые находятся в центре внимания современной критики и литературоведения. Подход Б. Сучкова к вопросу диалектичен. Отстаивая монистическое единство метода социалистического реализма, он в то же время показывает, как на основе этого метода происходит синтетическое освоение новой действительности, вырабатываются новые формы художественного обобщения, происходит обогащение самих принципов, составляющих основу социалистического реализма. Б. Сучков ставит вопрос о динамическом развитии социалистического реализма, определенном ускоренным темпом развития социализма и обогащением внутреннего мира личности в процессе строительства коммунизма. Он пишет: «Искусство социалистического реализма не является застывшим и завершенным эстетическим образованием, его развитие, обогащение, видоизменение идет постоянно. Новые фазы становления социализма вносят перемены и в художественный язык, эстетические свойства социалистического реализма, вводят в него новые темы, конфликты, проблемы, новые характеры и типы. Единство мировоззренческой

основы социалистического реализма не препятствует художественному поиску, богатству способов эстетического освоения жизни, доступных его творческому методу.

Внутри искусства социалистического реализма явственно ощутимо присутствие различных художественных течений, не отделенных друг от друга жесткими границами, но отличающихся одно от другого способами изображения действительности».

В книге Б. Сучкова мы находим пример творческого отношения к новым явлениям советской литературы. Намечая линии, характеризующие различные стилевые формообразования внутри социалистического метода, он выделяет несколько стиливых направлений. «Одно из них, наиболее распространенное, воспроизводит жизнь в объективных, существующих в самой жизни формах». «Весьма значительное место в советской литературе занимает психологический реализм, наиболее выдающиеся завоевания которого связаны в первую очередь с творчеством Леонида Леонова».

Еще одно «свойственное социалистическому реализму художественное течение передает жизнь в условно-метафорической форме, нередко далеко отходя от жизнеподобия изображения, придавая образу многозначность, гиперболизируя и видоизменяя явления и ситуации действительности».

Особо выделяет исследователь художественное течение, которое отмечено лирико-патетическим подходом к объекту изображения, его поэтизацией. Принцип «жизнеподобия» в рамках этого течения принимается с весьма существенной поправкой на обобщенность в передаче явлений и событий.

Решая важнейшую проблему новаторства и художественного многообразия социалистического реализма, обретшую особую важность после XXIV съезда КПСС, Б. Сучков отлично понимал, что диалектика единства и многообразия социалистического реализма предопределила и обусловила методологическое единство и художественное многообразие всей многонациональной советской литературы.

В книге Б. Сучкова «Исторические судьбы реализма» с глубокой партийной убеж-

денностью отстаиваются неисчерпаемые возможности социалистического реализма в изображении новых явлений жизни, дается отпор не только ревизионистским попыткам умалить значение социалистического искусства, заменить его достижения декадентскими изысками (Роже Гароди), но и узкодогматическому пониманию закономерностей развития и особенностей реализма в целом. По-боевому Б. Сучков защищает роль марксизма как передового учения, вооружающего художника самым верным взглядом на мир и оказывающего на его творчество плодотворное воздействие. Он это показал на примере творчества М. Горького, Р. Роллана, В. Маяковского. Его слово исследователя и критика звучит весомо, ибо основано на глубоком знании законов общественного развития, специфики искусства, истории мировой и советской литературы.

Многие страницы книги проникнуты подлинным вдохновением ученого, для которого служение истине было высшей целью его жизни. Вот что пишет Б. Сучков, подытоживая свою работу:

«Реалистическое искусство — и в этом его величие, залог его могучего развития, его блистательного будущего — изобразило движение человека по путям истории, его подъем к осознанию собственной роли как творца истории, ее демиурга, как активного начала интеллектуального и общественного прогресса.

Человек в величии его дел и страданий, в полноте и сложности его духовных проявлений, его возможностей, его воли к созиданию — вот истинный объект реалистического искусства. Человек, вырывающийся из-под власти несвободы, несправедливости к подлинной свободе, — вот его герой, которому принадлежит будущее».

Книга Б. Сучкова — крупное явление в современном советском литературоведении. По масштабу мысли, научной глубине и богатству материала она заметно выделяется среди книг, посвященных теории реализма.

В. НОВИКОВ,

*доктор филологических наук,
профессор.*



Политика и наука

ПОСЛЕДНИЕ ВЕРСТЫ ВОЙНЫ

Ф. Д. Воробьев, И. В. Паротькин, А. Н. Шиманский. Последний штурм
(Берлинская операция 1945 г.). М. Воениздат. 1975. 455 стр.

Уже в названии монографии авторы ее сформулировали самое существенное, что заключалось в Берлинской операции: она была последней, а по напряженности, накалу боев представляла собой непрерывный двухнедельный штурм многочисленных позиций врага на подступах и в самом Берлине.

Но Берлинская операция являлась не просто завершающей битвой Великой Отечественной войны. С падением Берлина, цитадели германского фашизма, у каждого советского солдата, каждого советского человека связывалась мысль о крахе гитлеризма, об окончании самой военной страды и возвращении к мирной жизни.

Народы многих поработанных фашизмом стран соединяли свои надежды на освобождение также со взятием столицы третьего рейха Советской Армией.

Прекрасно понимали все это и сами нацистские главарь, придававшие обороне Берлина первостепенное значение. Недавно в приказе по войскам о защите города от 9 марта 1945 года подчеркивалось: «Речь идет вовсе не о том, чтобы каждый защитник германской столицы во всех тонкостях овладел техникой военного дела, а прежде всего в том, чтобы каждый боец был проникнут фанатической волей и стремлением к борьбе, чтобы он сознавал, что мир затаив дыхание следит за ходом этой борьбы и что борьба за Берлин может решить исход войны».

Вот почему уже отрезанный в своем «фюрер-бункере» в осажденном советскими войсками Берлине от всего внешнего мира Гитлер еще продолжает категорически требовать, обращаясь к гросс-адмиралу Деницу: «Борьба за Берлин является роковой битвой Германии. По отношению к ней все другие задачи и фронты имеют второстепенное значение. Поэтому прошу Вас оказать всяческую поддержку этой борьбе, оставив в стороне, если это нужно, все остальные задачи...»

А Геббельс, согласно сохранившейся стенографической записи, как раз в дни этой «роковой битвы», в свою очередь, убеждает фюрера, что только «в Берлине можно до-

стичь морального успеха мирового значения.. ибо на Берлине сконцентрированы взгляды всего мира».

Фашистские главарь стремились удержать Берлин в своих руках не только из простого фанатизма. Они все еще надеялись, что в антигитлеровской коалиции наступит раскол, что им удастся сговориться с нашими западными союзниками, запугав их «жупелом» большевизации Европы. При этом они рассчитывали, что именно Берлин явится тем яблоком раздора, которое рассорит союзников, а потому очень важно выиграть время, по возможности затянув эту битву.

Нельзя сказать, чтобы надежды гитлеровской верхушки в этом отношении были совсем беспочвенными. Гитлер знал о миссии обергруппенфюрера СС Карла Вольфа, который установил в Швейцарии контакт с уполномоченным американской стратегической разведки Аленом Даллесом, и связывал с нею определенные планы на будущее.

Известно кроме того, что У. Черчилль за две недели до начала Берлинской операции писал президенту Рузвельту: «Русские армии, несомненно, захватят всю Австрию и войдут в Вену. Если они захватят также Берлин, то не создается ли у них слишком преувеличенное представление о том, будто они внесли подавляющий вклад в нашу общую победу... Поэтому я считаю, что с политической точки зрения нам следует продвигаться в Германии как можно дальше на восток и что в том случае, если Берлин окажется в пределах нашей досягаемости, мы, несомненно, должны его взять».

А ведь такая попытка овладеть Берлином означала бы вторжение в зону действий Советской Армии, что шло вразрез с решением Ялтинской конференции.

Впрочем, надежды фюрера на обострение противоречий в лагере союзников в этот заключительный период войны не сбылись хотя бы потому, что события развивались слишком стремительно и время, как принято было тогда говорить, работало не на Гитлера. В тот момент, когда Ставка Верховного Главнокомандования вносила последние коррективы в план Берлинской опе-

рации, советские войска находились всего в шестидесяти пяти километрах от Берлина, союзным же армиям предстояло еще преодолеть расстояние свыше трехсот километров!..

Естественно, что советское Верховное Командование, учитывая всю сложность политической обстановки, сложившейся весной 1945 года, стремилось возможно быстрее выбить и этот последний козырь из рук гитлеровских главарей и, овладев Берлином, лишить их всяких реальных возможностей вести какие-либо сепаратные переговоры.

Стратегический замысел Берлинской операции у советского командования в общем виде сложился еще в ноябре 1944 года. Она должна была составить второй этап зимней кампании.

Сокрушительный разгром армий противника в Западной Польше создавал определенные предпосылки для наступления на Берлин в ходе Висло-Одерской операции. Многим казалось, что еще некоторое напряжение сил, еще один бросок — и цитадель фашизма будет взята.

Соображения о взятии Берлина возникали и у Ставки. Командующие I Белорусским и I Украинским фронтами представили их в Генеральный штаб к концу января. Однако огромный опыт, обретенный Ставкой в нелегкие годы войны, заставил повременить с броском на Берлин, за что буржуазные историки пытаются обвинить ее в затягивании войны. Но дальнейшее развитие событий подтвердило дальновидность такого решения. Немецко-фашистское командование спешно подняло к Берлину силы со всех фронтов. К 10 февраля оно на 27 дивизий усилило группу армий «Висла», на которую возлагалась оборона Берлина. Обозначилась угроза и на наших флангах, особенно I Белорусского фронта. На подступах к столице Германии начали лихорадочно возводиться многочисленные дополнительные оборонительные позиции, а сама она превращалась в неприступную крепость: здесь создавались прочные блокгаузы, доты, закапывались в землю танки, в форты преобразовывались здания, улицы перегораживались баррикадами. Для обороны Берлина привлекались отборные полицейские и эсэсовские части. Как отмечает в своих воспоминаниях маршал Г. К. Жуков, «немецко-фашистское командование рассчитывало, что ему удастся заставить нас последовательно прогрызть рубеж за рубежом, затянуть сраже-

ние до предела, обессилить наши войска и остановить их на ближайших подступах. Предполагалось поступить с нашими войсками так же, как советские войска поступили с немецкими на подступах к Москве».

В попытке взять столицу фашистской Германии армиями, вышедшими на Одер, так сказать, с ходу, таился слишком большой риск: Берлин — один из крупнейших городов мира, для его обороны противник стянул крупные силы; союзники еще только готовились к наступлению, а начали его два месяца спустя; наши тылы и авиация отстали. В такой обстановке наступление на Берлин могло кончиться неудачей. Известно, что в 1760 году русские войска овладели Берлином, но удерживали его в своих руках всего три дня. Если нечто подобное повторилось бы весной 1945 года, военные и политические последствия такой неудачи могли оказаться очень серьезными. Поэтому Ставка и решила, завершив разгром войск противника к востоку от Одера и Нейсе, провести самую тщательную подготовку к последней операции, привлечь к ней дополнительные силы III Белорусского фронта, который заканчивал ликвидацию восточно-прусской группировки врага. Только тогда можно было рассчитывать на полный успех.

Разработка окончательного плана Берлинской операции завершилась 1 апреля 1945 года. По этому плану предусматривалось нанесение трех мощных ударов: один непосредственно на Берлин и два севернее и южнее его. Предполагалось изолировать Берлин от притока свежих частей с севера, юга и запада. Кроме того, такой маневр позволил бы одновременно окружить две крупные группировки врага — в Берлине и к юго-востоку от него. Это неизбежно привело бы к крушению всего фронта обороны фашистской Германии и позволило бы овладеть ее столицей.

К Берлинской операции наше командование привлекло 2,5 миллиона человек, 42 тысячи орудий и минометов, 6250 танков и самоходно-артиллерийских установок, 7500 боевых самолетов. Для взламывания обороны противника создавались самые высокие плотности огневых средств — 233—295 орудий и минометов на километр участка прорыва.

Усилия артиллерии дополнялись ударами авиации, что вело к созданию на участках прорыва огромной массы огня. Высокими

были плотности стрелковых войск, а танковых — наивысшие за всю войну. На направлении главного удара I Белорусского фронта они достигли 136 танков на километр.

Нельзя не согласиться с авторами рецензируемого труда, когда они возражают некоторым оппонентам, ставящим под сомнение целесообразность очевидным, — гарантию прорыва могли создать только очень высокая степень огневого поражения и большое превосходство над противником. И еще: чем выше плотность войск, тем меньше потери при осуществлении прорыва — начального, самого трудного этапа всякой наступательной операции. Меньше потери — больше солдат вернется к своим семьям живыми и здоровыми. Вот причины, заставившие советское командование добиваться максимальной концентрации сил и средств на направлениях главных ударов.

Сложность партийно-политической работы при подготовке этой завершающей операции заключалась в том, что, создавая у бойцов, понимавших приближение конца войны, высокий боевой подъем, который позволил бы им сломить любую преграду, необходимо было настроить их так, чтобы у них не родилось чувство гнева к немецкому народу за то горе и страдания, которые принесли советским людям гитлеровцы, за гибель боевых друзей, павших накануне окончательного разгрома врага.

Военные советы фронтов обратились к войскам со специальным воззванием, в котором ясно была изложена наша позиция по этому вопросу. Суть ее в одном из подобных обращений формулировалась так: «Наш закон таков — воин Красной Армии никогда не уподобится фашистским людоедам, никогда не уронит достоинства советского гражданина».

С этой же целью политработники обращали внимание бойцов на зверства гитлеровцев по отношению к своему собственному народу, как они, осуществляя приказ Гитлера, уничтожали продовольственные запасы, расстреливали и вешали на фонарных столбах тех солдат, которые устали от войны или поняли бессмысленность ее продолжения, прикрепляя к телам повешенных

плакатики «Он не хотел защищать фюрера!».

Не требовалось долго убеждать советского воина, что Гитлер с его приспешниками и немецкий народ не одно и то же. Гитлеровцев надо громить, немецкий народ своим поведением убеждать в том, что ни о какой мести наши бойцы и не помышляют! Впрочем, простые люди Германии вскоре убедились в этом сами, что подтверждает хотя бы факт добровольной сдачи советским частям древнего германского города Грейфсвальда полковником Р. Петерсхагеном и местными властями, которых за подобный шаг чуть было не расстреляли фашисты.

...16 апреля в 5 часов по московскому времени темноту весенней ночи осветило зарево от залпа 19 тысяч орудий I Белорусского фронта. Началась артиллерийская подготовка. От разрывов снарядов земля утробно гудела, казалось, на неприятельской стороне kloкотал вулкан. За двадцать минут наша артиллерия выпустила на позиции врага 500 тысяч снарядов и мин. 745 бомбардировщиков обрушили на них свой смертоносный груз. Как только огонь сместился в глубину, мощные зенитные прожекторы ослепили оборону гитлеровцев.

Пехота пошла в атаку. Противник, не ожидавший нашего наступления ночью, в первое время после столь мощной артподготовки не оказывал значительного сопротивления. Однако нашим наступающим войскам было все же нелегко. Поднятая взрывами пыль рассеивала свет прожекторов. Образовался своеобразный густой туман, в котором сложно было ориентироваться, находить и поражать цели. С рассветом сопротивление врага намного возросло. И все же главная группировка I Белорусского фронта к исходу дня подошла к Зееловским высотам.

Войска I Украинского фронта под прикрытием огня и дымов форсировали реку Нейсе и атаковали позиции противника, продвинувшись за день до тринадцати километров.

Результаты наступления первого дня на обоих фронтах оказались скромнее, чем в Висло-Одерской операции. Меньшего, особенно I Белорусский фронт, они добились и в последующие дни. Авторы книги «Последний штурм» справедливо отмечают, что гитлеровское командование создало самые высокие за всю вторую мировую войну плотности войск в берлинской обороне. Так,

против Кюстринского плацдарма они достигли восьми километров на дивизию, а с учетом войск второго эшелона — три километра на дивизию, или два-три человека на погонный метр. Плотность артиллерии составляла 66 орудий и минометов, а танков — 17 на километр фронта.

Кроме того, как уже отмечалось выше, определенную роль в том упорстве, с каким гитлеровские части защищали столицу, сыграл и приказ о «фанатической воле», какую призван был проявить каждый из оборонявших Берлин солдат.

Но как ни сопротивлялся враг, на шестой день его оборона на Одере и Нейсе рухнула. 20 апреля, в день рождения Гитлера, войска I Украинского фронта прорвались на ближние подступы к Берлину с юга, I Белорусского — с востока. На следующий день они вступили в его пригороды и начали обстрел центра города из дальнобойных орудий. Это потрясло Гитлера. Как записано в дневнике оперативного руководства ОКВ, он впервые во всеуслышание заявил, что война проиграна. Представители фашистской верхушки начали разбегаться. Петляя среди руин, окрашенных багровым отблеском пожаров, машины разных марок увозили высших чиновников партии и государственного аппарата, генералов и офицеров с секретными бумагами, ценностями, награбленным имуществом. Геринг укатил в Баварию, Риббентроп — на север. Исчез Гиммлер. С жалкой горсткой оставшихся рядом с ним приближенных Гитлер продолжает безнадежную борьбу за Берлин, обрекая его жителей на все тяготы уличных боев.

Падение столицы третьего рейха было уже делом ближайших суток. 24 апреля 3-я гвардейская танковая армия, форсировав Тельтов-канал, повела наступление к ее центру. На следующий день кольцо окружения замкнулось вокруг берлинской и франкфуртско-губенской группировок. Никакую помощь Берлину извне оказать уже было невозможно.

26 апреля начался штурм столицы третьего рейха. Артиллерия и авиация нанесли удары по узлам обороны, батареям противника, размещившихся в многочисленных парках. Орудия прямой наводки, танки и самоходно-артиллерийские установки открыли огонь по ближним целям, а штурмовые группы пошли в атаку. Тяжкими были бои по овладению домами, кварталами, улицами. Противник стрелял из подвалов, с

верхних этажей зданий, вдоль и поперек городских магистралей. От фаустпатронов вспыхивали танки. Но наши войска шли вперед, вбивали глубокие клинья в оборону врага, раскалывая ее на части. Этот способ борьбы позволял исключать из зоны ближних боев кварталы, забитые гражданскими берлинцами, что намного уменьшало число жертв среди них.

Солдаты старались не завязывать бои за подвалы, забитые жителями столицы, хотя нередко гитлеровцы смешивались с ними, открывали огонь в спину наступающим.

В книге «Последний штурм» немало примеров гуманизма советских воинов во время боев за Берлин... На площадь выбежала немецкая женщина с ребенком. Автоматная очередь из дома, где отчаянно оборонялись гитлеровцы, сразила ее. Ребенок залился громким плачем. К нему метнулся Саша Мерзоев, но бойца подстрелили враги. Тогда по его следам устремился неизвестный пехотинец. Фашисты снова открыли огонь; но в действие вступили наши пулеметы, под их прикрытием советский солдат схватил мальчонку и кинулся назад.

Час за часом линия фронта все больше сокращалась. К исходу второго дня штурма противник оказался зажатым в центральной части города и в отдельных районах к северу и западу от центра. Имперская канцелярия попала в зону ближнего огня. Там, в «фюрер-бункере», в обстановке полной растерянности, страха, истерии разыгрывались последние акты жалкого фарса: самоубийство Гитлера и Евы Браун, сожжение их облитых бензином трупов в яме во дворе имперской канцелярии...

Но все напряжение последних боев в Берлине, пожалуй, ярче всего проявилось в штурме рейхстага, который начали войска 3-й ударной армии. Рейхстаг обороняли более 5 тысяч вооруженных до зубов курсантов морской школы, летчиков, солдат дивизий СС и фольксштурма, которые получили строжайший приказ Гитлера удерживать здание любой ценой.

Эта постройка с толстыми стенами, заделанными кирпичом проемами окон и дверей, в которых имелись лишь отверстия для бойниц и амбразур, надежно защищала гарнизон даже от разрывов крупных снарядов. Но предстояло еще форсировать реку Шпрее, захватить ряд строений, приспособленных к длительной обороне, в том числе «дом Гиммлера», Кроль оперу, откуда простреливались подступы к рейхстагу. Овла-

деть плацдармом на южном берегу Шпрее удалось только к утру 30 апреля, выйдя к Кенигсплац. На восточной ее стороне находился рейхстаг, на западной — Кроль опера.

В 5 часов утра по ним ударила артиллерия. Пехота смогла достичь только рва, заполненного водой. До рейхстага оставалось триста — триста пятьдесят самых трудных во всей войне метров. Противник перешел в контратаку, стремясь помешать сосредоточению нашей пехоты.

В 13 часов 30 апреля 89 орудий всех калибров прямой наводкой ударили по рейхстагу, пехотинцы — фаустпатронами. Но наш первый общий штурм противник отразил. Второй начался в 18 часов. Бойцы офицеров С. А. Неустроева, В. И. Давыдова и К. Я. Самсонова стремительно ворвались в рейхстаг. Бои разгорелись в вестибюлях, коридорах, залах, затем перекинулись на второй этаж, достигли крыши. Огонь преимущественно велся в упор, нередко завязывались рукопашные схватки. В 22 часа 30 минут красное знамя взвилось на скульп-

турной группе фронтона, а в ночь на 1 мая советские воины М. В. Кантария и М. А. Егоров водрузили на крыше рейхстага знамя Победы. Освещенное сотнями ракет, оно гордо колыхалось на ветру, возвещая миру о полном разгроме германского фашизма...

Так завершилась одна из крупнейших операций второй мировой войны, которую Маршал Советского Союза А. М. Василевский в предисловии к рецензируемой книге справедливо назвал «жемчужиной советского военного искусства».

Сегодня, по прошествии трех десятилетий со дня окончания Берлинской битвы, историческая роль ее представляется еще более значительной. И книга военных историков Ф. Воробьева, И. Пароткина и А. Шиманского, в которой дается глубокий анализ подготовки и самого хода этого сражения, помогает нам лучше понять его масштаб и значение.

Н. НАУМОВ,
полковник.



БИОГРАФИЯ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО: ПОИСКИ И НАХОДКИ

В. Пашуто. Александр Невский. («ЖЗЛ») М. «Молодая гвардия». 1974. 160 стр.

В истории каждого народа есть свои герои. Их жизнь и дела вызывают восхищение у современников и волнуют потомков, способствуя воспитанию у них патриотических чувств, любви к Родине. Одним из таких замечательных героев отечественной истории является Александр Невский, с чьим именем связаны выдающиеся успехи русского народа в борьбе за свою независимость.

Внимание историков, писателей, поэтов, художников, скульпторов, композиторов не раз привлекала яркая и самобытная фигура князя Александра Невского, действовавшего в ту сложную и опасную пору, когда решался жизненно важный вопрос: быть или не быть Руси самостоятельным государством. Однако до недавнего времени в литературе отсутствовала научная биография этого выдающегося государственного деятеля, талантливого полководца, тонкого дипломата. С опубликованием книги известного исследователя истории Древней Руси доктора исторических наук профессора В. Пашуто этот пробел в историографии можно считать устраненным.

Автор поставил перед собой чрезвычайно

сложную и ответственную задачу — попытаться восстановить основные этапы жизни и деятельности Александра Невского, выявить черты его характера и раскрыть его думы и чувства. Трудности осуществления подобного замысла сопровождают работу каждого автора, выступающего в биографическом жанре, будь он писателем или историком, ибо все они обычно испытывают недостаток в данных для воссоздания характера интересующего их лица. Однако подобные трудности увеличиваются во много раз, когда исследователь обращается к изучению биографий деятелей далекого прошлого, ибо история обычно сохраняет весьма скудные сведения об их жизни и делах.

Все сказанное полностью относится к биографии князя Александра Невского, жившего свыше семисот лет назад. Как правильно пишет во введении к книге В. Пашуто, «все средневековые свидетельства об Александре Невском, дошедшие до нас», насчитывают «не более» десятка страниц. К этому следует добавить, что такое количество информации о выдающемся государственном деятеле Древней Руси, далеко не равноценной по степени полноты, до-

стоверности и по своему значению для освящения разных периодов жизни Александра Невского, исследователь может получить лишь тогда, когда он соберет воедино отрывочные упоминания о нем в самых разнородных и идейно разнонаправленных источниках: в русских летописях, правовых договорах, составленных или только одобренных князем, в его церковном «Житии», а также в немецких хрониках, скандинавских сагах, двух посланиях папы римского...

Пытаясь полнее и глубже показать процесс формирования характера и личности Александра Невского, а также раскрыть его роль в исторических судьбах Древней Руси, В. Пашуто, на наш взгляд, пошел по единственно правильному пути, стремясь скупые и отрывочные известия источников о государственной деятельности князя «вплести» в историю страны, справедливо полагая, что «чем полнее представим мы себе Русь времен Александра, тем больше узнаем о нем самом, тем глубже поймем значение его жизни». Применение подобного приема нередко таит угрозу подмены исследования биографии реальной личности описанием истории государства, его внутренней и внешней политики. Однако думается, что в целом автор рецензируемой книги избежал подобного недостатка. Ему удалось убедительно, исторически достоверно показать процесс формирования характера Александра Невского.

Привлекая широкий круг источников по истории Древней Руси, В. Пашуто подробно прослеживает, в каких условиях рос и воспитывался князь Александр Ярославич, чему его учили в детстве и юности, что он читал, каково было его домашнее и придворное окружение, как рано он начал участвовать в обсуждении и решении государственных дел вместе со своим отцом и братьями.

«При тогдашнем воспитании,— пишет автор,— сильные характеры складывались в княжеской среде очень рано. Остро-контрастные впечатления, вызванные участием с детских лет в походах в разные, порой очень несхожие по жизненному укладу земли Руси и ее соседей, зрелища кровавых битв, пожаров, горе частых разлук и ранних утрат — все эти переживания развивали потребность познавать, вырабатывали наблюдательность, усиливали способность обобщения. Словом, ускоряли формирование личности широко

мыслящего, чуждого горемычной замкнутости мелких князьков общерусского радателя». Приведенный в книге материал свидетельствует также о том, что на складывание черт характера Александра Невского оказали значительное влияние семейные традиции, стремление к единой державе и независимости росто-суздальских князей — его отца Ярослава и деда Всеволода Большое Гнездо, чье могущество было воспето автором «Слова о полку Игореве».

Одно из главных достоинств рецензируемой книги — ее глубокий историзм, достоверность трактовки политики князя Александра Невского, ибо автор следовал ленинскому указанию о том, что основным критерием при оценке любой реальной личности являются ее «действия»¹.

Переплетение фактов биографии Александра Невского с важнейшими событиями социально-экономической, политической и культурной истории Руси XIII столетия дало возможность автору представить жизнь этого выдающегося государственного деятеля на широком историческом фоне и показать глубокую обусловленность его внутренней и внешней политики потребностями своего времени. В результате князь Александр Невский предстает перед читателем действительно как выдающийся государственный деятель, талантливый полководец, тонкий и дальновидный дипломат, посвятивший всю свою жизнь борьбе за укрепление единства Руси, защите ее независимости от нашествий шведских и немецких рыцарей и вторжений монголо-татарских полчищ.

Такое восприятие исторического значения деятельности Александра Невского вытекает из всего содержания книги В. Пашуто. Этому немало способствует и то, что оценка жизни и поступков князя дана автором в двух планах: глазами современников Александра Невского и с позиций современной советской науки. В результате читатель получает широкую историческую перспективу для правильного понимания роли этой выдающейся личности в судьбах страны. За свою блестящую победу над шведскими рыцарями в 1240 году двадцатилетний князь Александр Ярославич получил у современников прозвище Невского, свидетельствующее о высоком признании его заслуг в обороне Руси от внешней угрозы. После сокрушительного разгрома немецких

¹ В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 1, стр. 423—424.

рыцарей-крестоносцев на льду Чудского озера древний автор «Жития» Александра так оценил значение его побед в тогдашнем мире: «...нача слыти имя его по всем странам и до моря Египетского, и до гор Араратских, и об ону страну моря Варяжского (Балтийского), и до великого Рима». Когда же в 1263 году Александр умер, то новгородский летописец скупно выразил горечь многих современников по поводу этой утраты: «...иже потрудися за Новгород и за всю Русьскую землю».

Объединение русских земель и успешная борьба Руси за свою независимость в правление князя Александра Невского высоко оцениваются и советскими учеными, чьи труды обогатили наши знания по истории древнерусского государства. «Своей осторожной осмотрительной политикой,— заключает В. Пашуто свою характеристику государственной деятельности Александра Невского,— он уберег Русь от окончательного разорения ратями кочевников. Вооруженной борьбой, торговой политикой, избирательной дипломатией он избежал новых войн на Севере и Западе, возможного, но губительного для Руси союза с папством и сближения курии и крестоносцев с Ордой. Он выиграл время, дав Руси окрепнуть и оправиться от страшного разорения. Он — родоначальник политики московских князей, политики возрождения России».

Показывая крупные исторические заслуги Александра Невского, автор отнюдь не идеализирует его деятельность. В его изображении князь не только выразитель общерусских интересов и организатор борьбы с внешней опасностью, но и представитель класса феодалов, сын своего времени, прибегавший к самым различным средствам для достижения целей и жестоко подавлявший недовольство крестьян и ремесленников, более всего страдавших от княжеских поборов и междоусобиц, а также от разорительных вторжений иноземцев.

Несмотря на небольшой объем, книга насыщена большим фактическим материалом по истории Древней Руси, который имеет большое познавательное значение. Читая ее, постоянно чувствуешь «связь времен», ибо героическое прошлое не только хранится в памяти русского народа, но и неразрывно связано с его настоящим. Об этом говорит не только содержание рецензируемой книги, но и послесловие автора, в котором рассказано о бережном отношении народа к памяти этого выдающегося деятеля, а также о судьбе некоторых советских воинов, награжденных во время Великой Отечественной войны орденом Александра Невского.

С. ТРОИЦКИЙ,
доктор исторических наук.



КОРОТКО О КНИГАХ



О. В. СВЕНЦИЦКАЯ. Фриц Платтен — пламенный революционер. М. «Мысль». 1974. 184 стр.

В письмах и статьях В. И. Ленина неоднократно упоминается имя Ф. Платтена. «Друг рабочих и враг капиталистов всех стран»¹ — так называл его Ленин, характеризуя его как «социалиста, секретаря партии (Социал-демократической партии Швейцарии.— А. М.), интернационалиста, участника Циммервальда и Кинтала»², участника революции 1905 года.

Автор рецензируемой книги, восстанавливая биографию Ф. Платтена, рисует его как крупного деятеля швейцарского и международного коммунистического движения.

Читатель шаг за шагом прослеживает формирование личности Платтена — молодого рабочего-металлиста, ставшего затем одним из образованнейших марксистов. Он участвовал в подготовке V съезда РСДРП и руководил в 1912 году всеобщей стачкой пролетариев Цюриха, в 1913 году организовывал Цюрихский союз помощи политическим заключенным в России, а в годы первой мировой войны выступал против империалистической бойни, призывал рабочий класс Швейцарии к консолидации с рабочим классом других стран.

В 1915 году Ф. Платтен занят подготовкой Циммервальдской международной социалистической конференции. Много труда и энергии отдает он тому, чтобы издать на русском и немецком языках брошюру В. И. Ленина «Социализм и война». Время торопит — брошюра предназначается участникам предстоящей конференции. На ней Платтен впервые встречается с В. И. Лениным. «Он ощутил, — замечает О. Свенцицкая, — исполинскую силу духа, гениальную прозрачность и ясность предвидения В. И. Ленина. Отныне весь жизненный путь, вся политическая деятельность Платтена были неотделимы от Ленина, с которым он с этого времени продолжал поддерживать непрерывный и самый тесный контакт».

Жизнеописание, развернутое на страницах книги, интересно, достоверно. Автор рассказывает не только о делах и поступках Платтена, но стремится показать его духовный мир: думы, устремления, стимулы поступков, привлекая для этого широ-

кий круг разнообразных исторических источников. В числе их — фонды архивов Москвы, Куйбышева, Латвийской ССР, статьи и заметки Платтена, воспоминания и дневники его современников, отечественная и зарубежная пресса, документальные публикации, труды советских и иностранных ученых.

Все эти источники дополняются воспоминаниями О. Свенцицкой, адресованными ей записками и письмами Ф. Платтена. На протяжении многих лет она была его близким другом, сохранила в своей памяти многие его рассказы, беседы с ним. «В 1909 г., — пишет она, — Роза Люксембург познакомила Платтена с только что полученной ею от Ленина книгой «Материализм и эмпириокритицизм»...» Подстрочная ссылка подтверждает это так: «Из личного рассказа Ф. Платтена». А заключительная глава называется «Мои встречи с Фрицем Платтеном». Таким образом, рецензируемый труд представляет собой своеобразный сплав научного исследования и мемуаров. При этом элемент исследовательский преобладает над мемуарным.

Из контекста книги вырастает образ трезвого и зрелого пролетарского политика, человека высокого настроения души, беззаветного в служении великим идеалам революции, идеалам коммунизма. Именно эти качества ценил В. И. Ленин в Платтене, поручая ему самые сложные дела, в частности связанные с возвращением весной 1917 года русских эмигрантов в Россию, другие ответственные задания и поручения.

О. Свенцицкая продолжила и углубила ранее уже начатое в нашей историографии изучение жизни и деятельности Ф. Платтена. Первым шагом в этом направлении было издание в 1963 году брошюры А. Иванова. О. Свенцицкая более широко и полно по сравнению со своим предшественником воссоздала ныне биографию замечательного революционера. Ее книга уже получила положительную оценку в нашей прессе. При соединяясь к ней, мы не можем не отметить, что в книге есть и недостатки. Автор оказывается порой как бы в плену у исторических источников, перекладывая на них свои чисто авторские функции, подменяя собственное изложение обильным цитированием. Хотелось бы, чтобы автор выступал более раскованно, более определенно высказывал свое суждение по всем затрагиваемым им проблемам.

Есть и фактические неточности. Так, рас-

¹ В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 31, стр. 224.

² Там же, стр. 178.

сказывая о захвате в 1920 году Литвы и Белоруссии интервентами, О. Свенцицкая пишет: «...Белопольские войска, воспользовавшись тем, что силы Красной Армии были еще отвлечены на борьбу с Колчаком и Деникиным, вступили на территорию этих республик». Но общеизвестно, что когда буржуазно-помещичья Польша напала на Советское государство, Красная Армия уже разгромила и Колчака и Деникина. Подобные неточности встречаются и в других местах.

...Выйдем за рамки книги. Вспомним: 19 июля 1973 года в Москве на Метростроевской улице у здания Московского государственного педагогического института иностранных языков имени Мориса Тореза собрались представители советской общечеловечности. Состоялся торжественный митинг. Под звуки оркестра, исполнявшего «Интернационал», была открыта мемориальная доска. И собравшиеся прочли: «Здесь с 1931 по 1938 гг. работал видный деятель международного рабочего движения швейцарский коммунист Фриц Платтен»³.

А. Мельников,
кандидат исторических наук.



ЮРИЙ АВДЕНКО. *Дикий хмель.* Роман. М. «Московский рабочий». 1974. 352 стр.

«Дикий хмель» — роман о нравственном становлении молодого человека, о традициях и духовно-этическом наследии, которое получает младшее поколение от старшего. Отец главной героини Наташи Мироновой героически погиб на фронте Великой Отечественной войны, он был кавалером трех орденов Славы. Память о нем свято чтут в семье и при жизни матери Наташи и после ее смерти. Образ отца — мужественного и доброго человека, чистая нравственная атмосфера в семье оказывают огромное влияние на духовное созревание героини.

Мать Наташи прошла нелегкий жизненный путь, она знала цену хлеба, заработанного собственным трудом. И это умение ценить кусок хлеба, быть честной, принципиальной, трудолюбивой она сумела привить дочери. Несмотря Наташа часто вспоминает мать, в трудную минуту задаваясь вопросом, как бы в этом случае поступила она. В образе матери — истоки характера Наташи.

Творчески расти, плодотворно трудиться Наташе во многом помогает и трудовой коллектив фабрики, куда она попала еще девочкой, отказавшись от заманчивой возможности пожить до окончания школы в обеспеченной семье своей подруги.

В книге шаг за шагом прослежен процесс созревания характера героини. Главное в нем — настойчивость и целеустремленность, независимость и самостоятельность. Постоянную озабоченность интересами коллектива Наташа проявляет с первых и до пос-

³ Е. И. Дружинина, «Открытие мемориальной доски Фрицу Платтену». «Новая и новейшая история», 1973, № 6, стр. 215.

ледних дней работы на фабрике (в конце повествования ее, уже Наталью Алексеевну, приглашают в райком партии инструктором). Так было, когда Миронова, новичок на фабрике, не побоялась выступить в многотиражке с фельетоном. Так было и в отношениях с друзьями-сослуживцами. Большая работа в партбюро, в народном контроле ускоряет формирование ее как личности. Ибо тут она в самом центре всеобщих забот и дел.

Человек и коллектив, рабочий и его производство — тема эта решена в «Диком хмеле» не в одноплановой схеме «производственного романа», а проведена обстоятельно и правдиво через характеры и судьбы. Герои книги являются живыми проявлениями многообразия людских характеров. Взять хотя бы Люську Закурдаеву — образ вроде бы несложный. Легкомысленная девица, несдержанная на язык, не совсем дисциплинированная на работе, — и вдруг она каким-то чудом уловила, «откуда ветер дует», и сорвала с почина, задуманного всей бригадой, «лавры» и аплодисменты для себя лично. Характер Люсски, как видим, оказывается не так-то прост.

Автор книги наблюдателен. Он умеет подметить и какие-то, казалось бы, малосущественные детали в жизни своих героев, но несущие в себе простую правду житейскую. Муж Наташи Буров, редактор многотиражки на фабрике, получает зарплату меньше, чем его жена, работница на конвейере. И это влияет не только на их, так сказать, бытовые отношения, но и проецируется на область этическую, что еще раз напоминает нам о том, что так многое в жизни взаимосвязано и обусловлено... Вот Андрей Буров уезжает на Северную Двину, устраивается ответственным секретарем в районную газету. Не страсть к приключениям, не погоня за длинным рублем сорвали его с насиженного места, а желание найти себя заново. Потому что, в то время как его жена духовно росла, он топтался на месте и «пообмелел»...

Книга «Дикий хмель» открывает в издательстве «Московский рабочий» новую серию «Современный городской роман». Начало, на наш взгляд, удачное.

В. Богатырев.



СМЕНА ЛИТЕРАТУРНЫХ СТИЛЕЙ. На материале русской литературы XIX—XX веков. М. «Наука». 1974. 385 стр.

Автора, взявшего темой исследования художественные стили, подстерегают Сцилла и Харибда. Бесконечность конкретного материала способна захлестнуть дотошного литературоведа, а мостки, протянутые от эмпирики к общим выводам, в таком случае могут оказаться шаткими. С другой стороны, есть соблазн уйти в метафизическую глобальность или мнимую широту априорных схем.

Нельзя сказать, что авторы рецензируемого сборника всегда счастливо минуют две крайние опасности. Нетрудно обнару-

жить статью, где идет безостановочное любовное познание частностей. Или столкнуться с концепцией, важным элементом которой оказывается соображение о том, что Толстой мыслит мир в формах самого мира (о ком из классиков-реалистов нельзя сказать того же?). По-видимому, издержки такого рода почти неизбежны. И не они определяют уровень труда, а глубокий исследовательский пафос.

О том, что такое стиль, спорили и будут спорить: это тема научной дискуссии, не имеющей предела. Книга вносит в нее заметную лепту. И не потому, что читатель станет обладателем каких-то новых компактных определений. Стиль как явление проясняется все полнее и полнее, по мере того как рассматривается в своем временном течении. Выявляются два основных его плана. Речь идет о том, как мощный индивидуальный стиль приобретает силу литературной тенденции, и о том, как из малых элементов образуется господствующий стиль времени. Показывая его истоки, рост, его кульминацию, умирание и воскрешение в ином качестве, авторы все ближе пробиваются к тому, что принято именовать «сущностью явления». Если прибегнуть к сравнению (оно поможет воссоединить разные, а подчас отдаляющиеся друг от друга концепции), то художественный опыт есть некое движущееся зеркало, из потаенной глубины которого восходят к поверхности образы мира. В одной зеркальной «плоскости» уместаются все емкости и объемы эпохи, и притом так, что тем самым приумножается богатство реальной действительности. Намечаются линии дальнейшего развития литератур и литературных героев. С. Бочаров в своей содержательной статье показывает, как Макар Девушкин смотрит в зеркало гоголевской «Шинели», как узнает себя в нем, как в смущении затем отворачивается. Стыд бедного человека, с которого сброшены лохмотья «при всех», чувствует Девушкин. И это «Шинель» говорит ему, «что он наг». Вот толчок к «явному модусу существования». Достоевский созидает мир по особым законам, не тем, которые были созданы его гениальным предшественником. Эти мысли о рождении и движении стиля как исторического явления основательно развивают Е. Ермилова, охватывающая в своем выступлении малоизученный период истории русской поэзии — конец XIX столетия, и Г. Белая, широко, аналитически рассматривая сказовую традицию русской прозы (на материале литературы 20-х годов).

Автор и герой — центральная проблема гносеологии стиля. И она разрабатывается учеными, в частности Н. Драгомирецкой в ее фундаментальной статье «Стилевая иерархия как принцип формы». Исследователь раскрывает своеобразную двучастность художественного мышления Гоголя, которая исходит из неустанного, неослабевающего противоборства двух языков: «интеллигентского (литературного, книжного) и простонародного (устного, сказового, песенного), «грамотного языка» и

«мужицкого наречия»...» Второй созидает стихию народного эпоса, первый ее укрощает. Нетрудно предположить, что перед мысленным взглядом автора был все время классический спор Белинского со славянофилами по поводу эпического характера творчества Гоголя. Оригинальная работа Н. Драгомирецкой представляет не только научный, академический интерес — она может найти место и в учебной практике.

Коллективный труд ученых Института мировой литературы имени А. М. Горького — несомненная творческая удача. Книга может заинтересовать не одних литературоведов, филологов, критиков. Привлечет она и современного поэта и прозаика, которые получат заманчивую возможность в широком культурном контексте глубже понять особенности собственного стиля, художественного «я», глубже прочувствовать движение традиции. Нелишним окажется сборник и на письменном столе учителя средней школы. Словом, этот теоретический труд обращен к сегодняшней живой жизни.

Л. Аятопольский.



БОРИС НЕМЕНСКИЙ. *Распахни окно. Мысли художника об эстетическом воспитании.* М. «Молодая гвардия». 1974. 188 стр.

Книга Б. Неменского подкупает прежде всего своей гражданственностью, глубокой личной озабоченностью состоянием наших дел на фронте эстетического воспитания.

«Тов. Б. М. Неменский!.. Не обманывайтесь ли Вы, говоря о необходимости искусства для нашей жизни?» — пишет автору книги Наташа Казанцева. Нет, сама она любит искусство и хотела бы стать художником. Но девушка с грустью констатирует, что за десять лет учебы в школе ее не научили даже азам в этой области (вот тебе и «необходимое» искусство!).

Книга Б. Неменского — ответ Наташе (разумеется, не только ей), ответ горячий и убедительный.

На большом количестве «человеческих документов» (писем, бесед), на фактах и цифрах автор раскрывает, как недопустимо недооценивается в школах, в вузах (в том числе и в педагогических), в повседневном быту наше эстетическое воспитание. Из стен учебных заведений выходят в жизнь выпускники технически грамотные, научно подготовленные, но не секрет, что среди них встречаются люди эмоционально обедненные, художественно неполноценные, по-человечески скудные, видящие в произведениях искусства только инструкцию для поведения или развлечение, позволяющее вполне интеллигентно «убить время».

Пафос книги основывается на глубоком убеждении, что эстетическое воспитание — это не наведение светского глянца, не овладение навыками многозначительной, но пустопорожней болтовни по поводу искусства, а приобщение новых поколений к богатствам духовной культуры. Той культуры, которая является мерой человечности,

которая определяет и социальное и индивидуальное наше поведение, делает нас способными к счастью. Разговоры о том, что вовсе не обязательно для эстетического воспитания вводить искусство в школьные программы, ибо эстетически воспитывает «вся жизнь», любой учебный предмет, правильно отмечаются Б. Неменским как пустая демагогия. Счету можно учить и возле магазинных касс и на уроках географии. Но таким путем дальше первобытности в математике не уйдешь. Современного уровня математического развития можно достигнуть только при специальном преподавании комплекса математических дисциплин. Столь же невозможно возвыситься над первобытностью в сфере эстетической, нравственной — вообще идеологической — без приобщения к искусству. Аккумуляция и передача духовных ценностей, выработанных человечеством, — в этом ведь и состоит социальная функция искусства, в этом его смысл.

Автор рассказывает об опыте целенаправленного эстетического воспитания, накопленном у нас в стране и за рубежом (Венгрия, Япония), знакомит с отдельными энтузиастами, создававшими в сельских клубах, в школах, при домоуправлениях форпосты борьбы за всеобщую народную культуру, систематизирует принятые на этот счет государственные решения и призывает каждого, кому дорого будущее, внести сильный вклад в общее дело.

Не все главы книги получились равноценными. Кое-где автор в погоне за широкой охвата скатывается к простому перечислению фактов, кое-где переходит на слишком прямолинейно-поведенческий тон. Обойдены в книге работы теоретиков эстетического воспитания.

Все эти минусы с лихвой перекрываются многочисленными плюсами: глубокой трактовкой сущности и путей эстетического воспитания, убедительностью фактов, продуманностью аргументов и страстностью изложения.

А. Нуйкия.



ОЛИВЕР ГОЛДСМИТ. *Гражданин мира, или Письма китайского философа, проживающего в Лондоне, своим друзьям на Востоке.* М. «Наука». 1974. 383 стр.

В XVIII веке любили облекать мысль в шутовскую форму и не считали, что она оттого теряет свое достоинство. Начало этому положили вольнодумные и циничные аристократы XVII века, не стеснявшиеся потешаться над пороками своего класса. Потом это оружие обратилось против них самих. В XVIII веке им воспользовались просветители и направили удары против всей социальной системы, основанной на произволе и привилегиях власть имущих.

В числе деятелей демократического про-

светительства был и автор этой книги английский писатель Оливер Голдсмит (1728—1774), всемирную известность которому принес роман «Векфильдский священник». Разностороннее дарование Голдсмита проявилось не только в романе; он был поэтом, драматургом, эссеистом и сатириком. Его «Гражданин мира» (1762) — собрание нравоописательных и сатирических очерков в форме переписки между китайцем, живущим в Лондоне, его другом в Пекине и некоторыми другими лицами. Читатель без особого усилия воспринимал прием «острашения», заимствованный Голдсмитом у французского просветителя Монтескье, автора «Персидских писем» (1721).

Едва ли какая-нибудь сторона общественной жизни и частных нравов нарождающегося буржуазного общества Англии осталась вне поля зрения «китайского» наблюдателя. Впрочем, он включил в круг наблюдений также другие европейские страны и нарисовал такую картину, которая оправдывала горестный итог: «Как ни рассматривай европейскую историю, она неизменно видится клубком преступлений, безумств и несчастий, безрассудной политики и бессмысленных войн».

Однако автор писем и его адресат не теряют надежды. Они возлагают ее на воспитательную роль разума. Впрочем, выполнить свою просветительную миссию людям разума нелегко, ибо их положение в буржуазном и аристократическом обществе является зависимым. «Люди, выросшие в роскоши, видят жизнь только с одной стороны и, конечно, не могут судить о человеческой природе. Да, они способны описать церемонию, праздник или бал, но это люди, воспитанные среди мертвящего этикета, привыкшие видеть вокруг лишь почтительные улыбочки. Как они могут притязать на знание человеческого сердца!» Писатель-демократ отстаивал права литературных пролетариев, к числу которых он принадлежал, боролся за правду в искусстве, за то, чтобы литература служила просвещению народа.

Тон сатирика-памфлетиста далеко не безраздельно господствует в книге. В ней встречаются странцы, полные юмора, когда автор описывает повседневный быт англичан, есть интересные зарисовки современных типов. Суждения Голдсмита базируются на широком знании окружающей жизни, ее картины дают прочную основу оценкам писателя. Боевая книга английского просветителя достойна стоять в одном ряду с сатирическими творениями Свифта и Филдинга, чьи традиции она продолжала.

Статья и обстоятельные комментарии А. Ингера знакомят с писателем, развитием жанра сатирических очерков и условиями эпохи, давшей жизнь этой интересной книге.

А. Аникст.



КНИЖНЫЕ НОВИНКИ



ПОЛИТИЗДАТ

В. И. Ленин. Две тактики социал-демократии в демократической революции. 142 стр. Цена 20 к.

Ф. Энгельс. Происхождение семьи, частной собственности и государства. В связи с исследованиями Льюиса Г. Моргана. 240 стр. Цена 33 к.

Д. Голиков. Крушение антисоветского подполья в СССР. 1917—1925 гг. 704 стр. Цена 1 р. 70 к.

Р. Орлова. Познавший меч. Повесть о Джоне Брауне. («Пламенные революционеры») 439 стр. Цена 82 к.

В. Платновский. В. И. Ленин о диктатуре пролетариата и социалистическом государстве. 368 стр. Цена 1 р. 52 к.

«СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

Г. Бакланов. Военные повести. 496 стр. Цена 88 к.

Н. Браун. К вершине века. Новые стихи. 1968—1973. 151 стр. Цена 43 к.

Я. Брыль. Птицы и гнезда. Книга одной молодости. Перевод с белорусского А. Островского. 342 стр. Цена 63 к.

Г. Гор. Геометрический лес. Повести и рассказы. 424 стр. Цена 95 к.

С. Данилов. Зимнее солнце. Книга стихов. Перевод с якутского В. Шаргунова. 183 стр. Цена 61 к.

О. Дмитриев. Осенние прогулки. Новая книга лирики. 142 стр. Цена 40 к.

С. Михалков. Пощечина. Сатирические пьесы. 263 стр. Цена 84 к.

М. Поляков. Цена пророчества и бунта. О поэзии XIX века. Проблемы поэтики и истории. 567 стр. Цена 1 р. 57 к.

Б. Слуцкий. Продленный полдень. Книга стихов. 158 стр. Цена 46 к.

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

Э. Ади. Стихи. Перевод с венгерского и предисловие Л. Мартынова. 191 стр. Цена 15 к.

А. Азеведо. Мулат. Перевод с португальского Е. Голубевой. Предисловие И. Тертеряна. 299 стр. Цена 70 к.

Х. М. Варас. Мы и другие. Перевод с испанского. Предисловие В. Тейтельбойма. 175 стр. Цена 56 к.

П. Васильев. Стихотворения. Предисловие и составление С. Поделкова. («Библиотека советской поэзии») 285 стр. Цена 38 к.

Из мрака к рассвету. Поэзия антифашистского Сопротивления Чехословакии. Перевод с чешского и словацкого. 238 стр. Цена 76 к.

М. Рохас. Сын вора. Роман. Перевод с испанского. («Зарубежный роман XX века») 304 стр. Цена 82 к.

М. Рыльский. Высокая песнь. Избранные стихи. Вступительная статья Л. Новиченко. 409 стр. Цена 1 р. 70 к.

И. Рядченко. Избранные стихотворения и поэмы. Предисловие С. Васильева. 302 стр. Цена 96 к.

Фронтная лирика. 1941—1945. Составитель В. Буланова. 182 стр. Цена 2 р.

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

Т. Аргези. Избранная лирика. Перевод с румынского. Составитель А. Садецкий. («Избранная зарубежная лирика») 79 стр. Цена 21 к.

Л. Беллев. Дожди грибные. Стихи. Предисловие С. Викулова. («Молодые голоса») 32 стр. Цена 12 к.

К. Булычев. Люди как люди. Фантастические рассказы. («Библиотека советской фантастики») 258 стр. Цена 38 к.

Гон спозаранку. Рассказы американских писателей о молодежи. Перевод с английского. 286 стр. Цена 1 р. 6 к.

Кадрья. Улыбка Луны. Стихи. Перевод с ногайского. Предисловие К. Кулиева. («Молодые голоса») 31 стр. Цена 12 к.

Л. Леонов, К. Федин, М. Шолохов. Слово к молодым. Составитель Е. Сидоров. 110 стр. Цена 15 к.

К. Симонов. Разные дни войны. Дневник писателя. 496 стр. Цена 1 р. 13 к.

Р. Солнцев. Птицы с яркими глазами. Лирика. 63 стр. Цена 17 к.

«СОВРЕМЕННОК»

А. Ананьев. Танки идут ромбом. Роман. («Библиотека российского романа») 208 стр. Цена 56 к.

В. Волков. Винь-сторона. Книга стихов. («Новинки «Современника») 70 стр. Цена 25 к.

И. Евсеенко. Бревенчатый дом. Рассказы и повесть. Предисловие Е. Носова. («Первая книга в столице») 205 стр. Цена 32 к.

И. Кашафутдинов. Последний снег. Повести и рассказы. («Новинки «Современника») 252 стр. Цена 59 к.

Ю. Пашков. Колосница. Книга стихов. («Новинки «Современника») 93 стр. Цена 24 к.

«ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

В. Белинский. Избранные статьи. Вступительная статья С. Машинского. 223 стр. Цена 57 к.

И. Бредель. Братья витальеры. Роман о Клаусе Штертебекере. Перевод с немецкого и послесловие А. Девеля и А. Ломана. 176 стр. Цена 43 к.

Я. Брыль. Иду в родное. Повести и рассказы. 223 стр. Цена 52 к.

С. Маршак. Рассказы в стихах. 126 стр. Цена 39 к.

Солдатский подвиг. Рассказы о Советской Армии. Предисловие С. Баруздина. 352 стр. Цена 78 к.

Е. Чарушин. Васька, Вобка и Крольчиха. Рассказ. 16 стр. Цена 6 к.

ВОЕНИЗДАТ

Н. Сноморохов. Боем живет истребитель. Документальная повесть. 291 стр. Цена 70 к.

И. Смирнов. Дружество. Стихи и поэмы. 168 стр. Цена 72 к.

И. Якубовский. Земля в огне. («Военные мемуары») 568 стр. Цена 1 р. 77 к.

«СОВЕТСКАЯ РОССИЯ»

В. Астафьев. Перевал. Повесть. 135 стр. Цена 1 р. 1 к.

Х. Ашинов. Всадник переходит через реку. Роман. Перевод с адыгейского Е. Босняцкого. 188 стр. Цена 44 к.

С. Болдырев. Путь на Индигирку. Повесть о том, что действительно было. 208 стр. Цена 54 к.

Л. Кузьмина. Ты, да я, да все мы вместе. Повесть. 176 стр. Цена 25 к.

«ПРОГРЕСС»

Из современной турецкой поэзии. Ф. Х. Даглараджа, О. Рифат, Р. Ылгаз, А. Ариф. Переводы. Предисловие и составление Т. Меликова. 308 стр. Цена 94 к.

Р. Радев. Критика неомизма. Перевод с болгарского. 446 стр. Цена 2 р. 16 к.

«ИСКУССТВО»

Виктор Михайлович Васнецов. 1848—1926. Альбом. Вступительная статья и составление Н. Шаниной. 143 стр. Цена 3 р. 97 к.

А. Мачерет. Художественность фильма. 255 стр. Цена 1 р. 24 к.

Г. Франк. Карта Птоломея. Записки кинодокументалиста. 231 стр. Цена 1 р. 31 к.

«НАУКА»

Абхазские народные сказки. Перевод с абхазского. Составитель К. Шахрыл. 470 стр. Цена 1 р. 94 к.

Л. Землянова. Современная американская фольклористика. Теоретические направления и тенденции. 312 стр. Цена 1 р. 2 к.

Е. Львова. Изобразительное искусство Болгарии эпохи национального Возрождения. 207 стр. Цена 1 р. 60 к.

В. Нечаева. Журнал М. М. и Ф. М. Достоевских «Эпоха». 1864—1865. 303 стр. Цена 1 р. 52 к.

К. Рылеев. Думы. Издание подготовил Л. Фризмай. («Литературные памятники») 254 стр. Цена 78 к.

Современная литературно-художествен-

ная критика. Актуальные проблемы. 264 стр. Цена 1 р. 41 к.

Цзацзуань. Изречения китайских писателей IX—XIX вв. Составитель В. Вельгус. Перевод и предисловие Ц. Циперович. 136 стр. Цена 29 к.

«МЫСЛЬ»

И. Андреева. Проблема мира в западно-европейской философии. 223 стр. Цена 98 к.

В. Асмус. Платон. («Мыслители прошлого») 224 стр. Цена 26 к.

А. Бережной. В. И. Ленин — публицист и редактор. 159 стр. Цена 27 к.

Т. Хачатуров. Советская экономика на современном этапе. 367 стр. Цена 1 р. 42 к.

«МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ»

В. Бережнов. Рождение коалиции. Воспоминания. 248 стр. Цена 33 к.

Система международной эксплуатации. Мировое хозяйство при капитализме. Сборник статей. 199 стр. Цена 1 р. 2 к.

МЕСТНЫЕ ИЗДАТЕЛЬСТВА

Чингиз Айтматов. Очерки, статьи и рецензии о творчестве писателя. Составитель К. Абдылдабеков. Фрунзе. «Кыргызстан». 321 стр. Цена 71 к.

Н. Волокитин. В пору грибных туманов. Повесть и рассказы. Предисловие В. Колыхалова. Красноярск. Книжное издательство. 191 стр. Цена 45 к.

Д. Долинский. Белый месяц. Стихи и поэма. Предисловие Д. Кугультинова. Элиста. Калмыкиониздат. 111 стр. Цена 35 к.

И. Каменюков. Жить воспрещается. Рассказы, очерки и повесть. Предисловие Э. Межелайтиса. Баку. «Ганджлик». 186 стр. Цена 26 к.

О. Лутс. На задворках. Повести. Перевод с эстонского. Таллин. «Ээсти раамат». 532 стр. Цена 90 к.

И. Фоняков. Стихотворения. Предисловие Л. Озерова. («Библиотека сибирской поэзии»). Новосибирск. Западно-Сибирское издательство. 287 стр. Цена 1 р. 5 к.

Фронтные строки. Стихи горьковских и Кировских поэтов-фронтовиков. Горький. Волго-Вятское издательство. 159 стр. Цена 92 к.

Главный редактор **С. С. Наровчатов**

Редакционная коллегия:

Ч. Айтматов, Ф. К. Видрашку (ответственный секретарь), **Е. М. Винокуров, Р. Г. Гамзатов, М. Б. Козьмин** (первый зам. главного редактора), **В. А. Косолапов, А. А. Кулешов, В. М. Литвинов, А. И. Овчаренко, А. Е. Рекемчук, А. Я. Сахнин, О. П. Смирнов** (зам. главного редактора), **Ф. Н. Таурин, К. А. Федия**

Редакция: Малый Путинковский пер., д. 1/2. Тел. 299-81-77
Издательство «Известия Советов депутатов трудящихся СССР»
Почтовый адрес: 103806, Москва, К-6, Пушкинская пл., д. 5.

Сдано в набор 13/V 1975 г. Объем 18 п. л. Подписано к печати 11/VII 1975 г.
Формат бумаги 70×108¹/₄, 28,7 уч.-изд. л., 9 бум. л. (25,2 усл. печ. л.)
А 02113. Тираж 175.000 экз. Заказ 1720.

Отпечатано с матриц типографии издательства «Известия Советов депутатов трудящихся СССР», Москва, Пушкинская пл., 5, в ордене Ленина комбинате печати издательства «Радянська Україна», Киев-47, Брест-Литовский проспект, 94. Зак. 04045.

Цена 70 коп.

70636